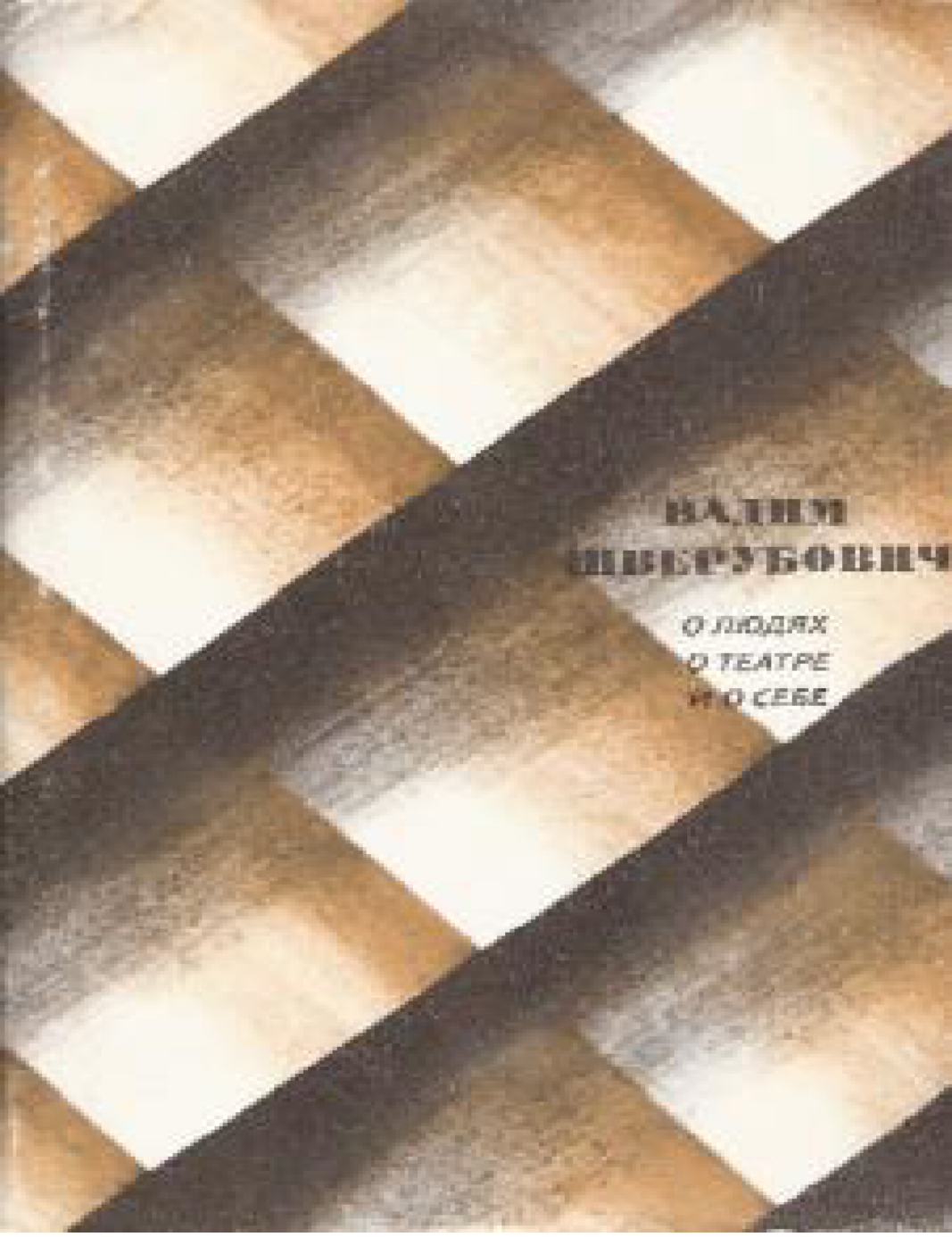
ВАЛИН
ЗИБЕРУБОВИЧ
О ЛЮДЯХ
О ТЕАТРЕ
И О СЕБЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В. В. Шверубович — сын выдающегося советского артиста В. И. Качалова — описывает в книге свою юность, встречи с замечательными артистами начала века и нашего времени. Автор — активный деятель советского театра, преподаватель Школы-студии МХАТ.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

- Вадим Шверубович
  - Живое прошлое
  - Введение
  - Первые впечатления
  - Вильно
  - 1905 год
  - Заграничная поездка театра 1906 года
  - «Приезжайте — будете довольны»
  - Быт и среда
  - Константин Сергеевич
  - «Гамлет», Крэг, Сулер
  - Война
  - Февраль, 1917
  - Октябрь
  - Организация летней поездки
  - Харьков
  - По югу России
  - В Грузии
  - София
  - Югославия
  - Вена
  - Прага
  - Берлин
  - Конец группы
  - Последние гастроли
  - Возвращение
  - Алексинское лето
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

○ 7
○ 8
○ 9

Вадим Шверубович
О людях, о театре и о себе

Живое прошлое

У этой книги есть одна удивительная особенность: начиная с первых же строк она вся воспринимается как бы на слух, в каком-то едином, постепенно все более вас увлекающем напоре слышимой речи. И, перевернув последнюю страницу, вы, наверно, еще долго будете слышать этот — теперь уже знакомый — голос, поток неприбранных, разговорных интонаций, взволнованный ритм изустного повествования, которое как будто с трудом удалось автору втиснуть в рамки хотя бы минимальной последовательности частей и глав, а лучше было бы так и оставить сплошным, вылить все сразу, без передышки, не считаясь с законами восприятия.

Живая непосредственность намеренно «нелитературного» рассказа приводит к тому, что все самое важное здесь раскрывается без предуведомления и словно даже неожиданно. Так, В. В. Шверубович, начав свою повесть о театре со «смешного», со своеобразного культа юмора, характерного для его отца В. И. Качалова и для всего качаловского дома, не выходя за пределы качаловской «высокой богемы» с ее талантливым весельем, бурными эстетическими спорами и политической разноголосицей, постепенно вовлекает нас в духовный мир передовой художественной интеллигенции периода 1905–1917 годов. Так же незаметно, как будто через незнакомый обыкновенным зрителям «служебный вход», он приводит нас прямо из качаловской квартиры в Московский Художественный театр, и не только на его спектакли, но и за кулисы, а иногда даже в святая святых театрального творчества — на репетиции. О них он рассказывает преимущественно со слов родителей, со всей тогдашней конкретностью, увлеченностью и пристрастностью их оценок. И вдруг сквозь пестроту той давней театральной злобы дня, уже в *его* рассказе, проступает нечто идущее из самых глубин, из самых основ искусства Художественного театра. По ходу рассказа о детстве, об играх, вдохновляемых Л. А. Сулержицким, вдруг возникает определение сущности «системы Станиславского». В калейдоскопе будней театрального сезона вдруг приковывает к себе наше внимание мучительная неудовлетворенность Качалова своим триумфальным успехом в заглавной роли «Анатэмы» Леонида Андреева. Или спор двух непримиримых мировоззрений, разделяющих Художественный театр и театр Гордона Крэга при постановке «Гамлета». Или подспудные признаки нарастающего кризиса театра накануне Октября. И еще многое, многое другое, чрезвычайно

существенное для исторической правды о МХАТ.

А в то же время на страницах книги В. В. Шверубовича как бы изнутри театральной жизни, театрального быта, театральной атмосферы, все так же незаметно, исподволь, путем вовсе не обязательных на первый взгляд отступлений в сторону протягиваются и напрягаются нити, которые связывают театр с его окружением, с тем, что творится за его стенами, с тем, что вот-вот навсегда разрушит и что будет заново строить небывалая в мире революция.

В своей книге Шверубович пишет и о том, каким сложным был для некоторой части художественной интеллигенции путь к пониманию Октябрьской революции и ее исторических перспектив.

Книга Шверубовича необычна еще и тем, что она, очевидно, сама собой выстроясь, так и существует без каких-либо внешних опор и скреп, но зато — на прочной внутренней основе, которая ее и держит и одухотворяет. С самого детства автора Художественный театр заполняет и направляет всю его жизнь: это его ближайший мир, его любовь, его родина в искусстве (и это, разумеется, гораздо шире его первоначально скромной, а впоследствии руководящей деятельности в Постановочной части МХАТ). Задумав написать хотя бы только часть биографии МХАТ, вернее, восполнить один из ее пробелов, он неизбежно должен был начать рассказывать о самом себе. Биография театра переплелась с его автобиографией, которую он, собственно, и не думал писать. Выбранный им для подробного описания период кончается 1922 годом — двадцать первым годом его жизни. Значит, перед нами — его «детство, отрочество, юность» и через них возникающая повесть о Художественном театре. Даже переходящая почти в летописную хронику театральной жизни вторая часть повести не размывает крепости этой внутренней связи: театр и здесь не перестает оставаться его «юностью».

Мне кажется, что в этом безраздельном слиянии — главный внутренний смысл, своеобразие и обаяние книги Шверубовича. Здесь на каждом шагу к истории примешивается исповедь, а исповедь поверяется историей, которая помогает автору восстанавливать вехи своего детского, отроческого и юношеского мировосприятия, свой былой «символ веры». Из этого сплава и возникает правдивость воспоминаний, искренность и беспощадность автора к самому себе, даже в такие моменты, остроту которых многие из нас невольно постарались бы как-нибудь сгладить.

Именно из слияния биографии театра с автобиографией Вадима Шверубовича только и мог возникнуть такой образ

Станиславского, каким он предстает в этих воспоминаниях. Это его, шверубовичевский Станиславский, *его* бесконечно любимый Константин Сергеевич, которого он не променяет ни на полноту театроведческого анализа, ни на законченность литературного портрета. *Его* Станиславский — весь из противоречий, которые были бы вопиюще непримиримыми в любом другом человеке: мудрый и детски наивный; доверчивый и подозрительный; грубый и нежный; грозный, гневный, непрощающий и чутко отзывчивый; гиперболист и фантаст во всем, даже в самом будничном, и во всем — художник, даже в своих анекдотических страхах, в своих нелепейших выдумках, в своем «фантазерстве» во имя Театра. Самое удивительное — это то, что Шверубович даже и не пытается конкретно характеризовать его как режиссера, даже редко вспоминает его в прославленных ролях, даже больше любит в некоторых его ролях других актеров. Он почти не выходит за рамки театрального и околотеатрального быта, не боится смешного. И тем не менее Станиславский живет в этой книге во всей несомненности гения, как чудо неповторимое, причем ощутимое, живое, а не скрытое под слоем «хрестоматийного глянца».

Таким же неожиданно новым предстает в этой книге Василий Иванович Качалов — и как актер и как личность. С такой глубиной проникновения, с такой любовью внутренний мир Качалова еще не был раскрыт, потому что не был так понят еще никем.

И Станиславский, и Качалов, и Книппер, и Сулержицкий, и Грибунин, и Литовцева, и многие другие действующие лица книги потому-то и получились у автора такими живыми, что он обещал себе говорить о них «только оттуда», как бы из прошлого, ничего не позволяя себе ни подновлять, ни корректировать.

Этот принцип определил достоинства книги, но он таил в себе и опасность суждений односторонних, характеристик объективно неверных, прежде всего в силу их неполноты. Так не повезло в рассказе Шверубовича Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. Он «туда» не попал, не вместился; он «там» всего лишь присутствует, все время заслоняемый другими. Его образ и значение не охватываются не только застольными разговорами в качаловском доме, запомнившимися автору с детства, но и отрывками из его позднейших писем или отдельными строчками из дневника Качалова. Не издержками ли того же принципа — рассказывать только «оттуда» — объясняется и бросающаяся в глаза сгущенность отрицательной характеристики А. А. Санина или жесткая однолинейность некоторых суждений, касающихся деятельности И. Н. Берсенева в

период 1919–1923 годов. Но таких случаев немного.

Особое место в воспоминаниях Шверубовича занимает рассказ о трехлетних гастролях-скитаниях по югу России, а потом и за рубежом значительной группы артистов Художественного театра в 1919–1922 годах — рассказ о так называемой «качаловской группе». Существенно, что в историю театра теперь включен один из самых сложных и острых периодов становления нового МХАТ как театра Советской эпохи. До сих пор все мы так или иначе упрощали или просто плохо знали историю разъединения и воссоединения монолитного до тех пор гиганта русской театральной культуры. В книге Шверубовича она восстановлена последовательно, почти день за днем, на основании огромного фактического материала и благодаря талантливой памяти автора.

Перед нами проходит в лихорадочно напряженной атмосфере вся ежедневная работа коллектива артистов во главе с В. И. Качаловым, О. Л. Книппер-Чеховой, М. Н. Германовой, Н. О. Массалитиновым, Н. Н. Литовцевой, И. И. Берсеневым, к которым потом присоединяются только еще начинающая свой актерский путь А. К. Тарасова и уже знаменитый в провинции М. М. Тарханов.

Читая эту хронику, мы вместе с ними переживаем волнение каждой премьеры, от возобновления старых чеховских спектаклей и «На дне» М. Горького до новой постановки «Гамлета». Мы узнаём много нового и порой чрезвычайно важного для творческой биографии Качалова, Книппер-Чеховой, Тарасовой, знакомимся ближе с Германовой, Массалитиновым, Бакшеевым. Все спектакли «группы» описаны, разобраны, оценены не критиком, а каким-то особенно тонким и чутким зрителем, который к тому же еще может подробно рассказать нам, как все это готовилось, делалось, какого напряжения сил, каких страданий иногда стоило. Кажется, что восприятие театра и оценки автора взрослеют вместе с ним, и это тоже одна из особых сторон его рассказа о театре.

А рядом с этими рецензиями изнутри театра перед нами разворачивается трудный кочевой быт артистов-странников: пути и перепутья, теплушки и палубы, случайные пристанища и комфортабельные передышки, бесчисленные зрительные залы — то страстно влюбленные, то холодно враждебные; проводы и встречи, общие невзгоды, общие радости и — думы, думы о родине, пронизывающие весь этот странный вздыбленный быт, уже не только соединяющие, но и разъединяющие «группу». Вот из таких-то дум, без какой-либо тенденциозности, как бы сама собой, и возникает совсем по-новому в этой хронике, то и дело

срывающейся на «исповедь горячего сердца», вечная проблема искусства и жизни, театра и его общественного предназначения, его социального и нравственного смысла. Среди всех трудностей, разочарований, тревог, переживаемых «группой», есть нечто самое главное, самое мучительное и уже непреоборимое для Качалова, для Книппер-Чеховой и для тех, кто к ним наиболее близок. Это их убеждение, что, оторвавшись от родины, от Москвы, от заново строящейся там жизни, группа сильнейших и коренных «мхатовцев» становится уже не только неполноценным МХАТом, но и «анти-МХАТом», что любой, даже самый высокий по мастерству их спектакль превращается в прозаическую гастроль, лишенную идейной сверхзадачи, да и самое мастерство бледнеет, лишаясь почвы и горизонта. Они, вероятно, не говорили об этом тогда с полной определенностью. Но В. В. Шверубович досказал это сегодня в своей книге, досказал тоже как бы «оттуда», сквозь горечь, и споры, и слезы тех лет.

Что же касается его автобиографии, продолжающейся, как уже сказано, и в перипетиях истории «качаловской группы», то здесь становится до конца явственным тот внутренний, подспудный ее лейтмотив, который до сих пор звучал в его рассказе вторым планом. Этот внутренний лейтмотив воспоминаний я бы назвал его чувством Родины.

Россия в душе — всегда… «Москва, Родина, Россия — все самое близкое сердцу, все, перед чем оно замирает, чем гордится, что любит…». Так он сам пишет об этом. На страшной грани возможной эмиграции эта любовь превращается у него в «непрерывно щемящую и кровоточащую рану». Он ощущает ее в этот момент особенно остро еще и потому, что совсем недавно мальчишеская бредовая идея чуть не привела его к полной катастрофе, когда он пошел семнадцатилетним добровольцем в белую армию. Он и об этом рассказывает в своей книге с обычной прямотой и искренностью.

Но к концу книги его чувство Родины, как будто сконцентрированное силой катастрофических обстоятельств на судьбе его родного театра, прорывается далеко за пределы и театра и собственной недавней трагедии. В тех выстраданных простых словах, которыми Шверубович об этом говорит, звучат одновременно и боль ностальгии, и чувство новой ответственности, и раскаяние, и вера, и великая гордость за русскую духовную культуру. Все это окрашивает с возрастающей интенсивностью его первые соприкосновения с Западом, его первый выход в широкий мир. Но полнота ощущения начала новой эпохи еще только ждет его впереди. Об этом он рассказывает в главе «Возвращение» и в заключающей книгу

главе.

Мне бы очень хотелось написать о литературном таланте В. В. Шверубовича подробно. О том, например, как из его «первых слов», то есть первыми приходящих на ум, заранее не подчиненных определенной стилистике, формируется у него ясная, крепкая, образная фраза. Как свобода его повествовательной интонации рождает упругие и послушные его настроению ритмы. Как он умеет в нескольких строчках схватить черты и краски времени в облике целого города или даже страны. Как зорко видит в какой-нибудь одной детали внешности внутренний мир человека. Но это превратило бы уже и так растянувшееся предисловие в рецензию. Внимательный читатель оценит все это и без посторонней помощи.

В. Виленкин

Введение

В огромном количестве литературы о Московском Художественном театре есть один пробел: никак не описаны те три года (1919–1922), когда от его основного ядра отделилась большая и очень значительная как по своему творческому, так и по организационному значению группа; эта группа потом называлась «качаловской». Трудности этих тяжелых по многим и разным причинам лет были усугублены отрывом от труппы театра таких нужнейших актеров, как О. Л. Книппер-Чехова, В. И. Качалов, М. Н. Германова, Н. О. Массалитинов, П. А. Бакшеев, И. Н. Берсенев, А. К. Тарасова, таких перспективных деятелей в области режиссуры, как тот же Массалитинов, в области управления театром — как тот же Берсенев, в художественно-постановочной части — как И. Я. Гремиславский.

Этот отрыв вызвал много сложностей для оставшейся в Москве труппы.

В свою очередь, отделившаяся группа прожила эти три года очень сложно, очень трудно, пережила немалое число побед и поражений, познала славу и унижение. В ней выросли и сформировались актерские индивидуальности, она пронесла глубины мысли русской литературы, правду русского театра, аромат мхатовского творчества по всей Европе. Во время скитаний в лучших ее людях окрепла любовь к Родине, к родному театру, преданность его идеалам, готовность отдать себя им. Отрыв от родных корней не вызвал отчуждения от них, а, наоборот, разбередил тягу к ним, сделал стремление к воссоединению с театром мощным и страстным.

След этих лет в истории не только МХАТ, но и всего русского театра глубок и значителен, но если, что касается этих лет в Москве, их история легко поддается исследованию и изучению (есть документы, хранящиеся в архиве МХАТ, есть подшивки газет и журналов этих лет), то о годах странствий группы почти никаких документов не сохранилось. О них, в сущности, почти ничего не известно. Мне казалось необходимым рассказать о них — ведь к середине 50-х годов нас, участников поездки, в живых осталось всего несколько человек. Сначала я мечтал сделать это вместе с Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, но нам, то ей, то мне, было все время некогда, и мы откладывали это на «следующее лето», пока не стало поздно… Это несчастье заставило меня, пока «не стало поздно» и со мной, взяться за дело одному. Не хотелось допустить, чтобы эти странствия ушли в

полное забвение. Думаю, что я не преувеличиваю, и эти три года действительно имеют то значение, какое я им придаю, хотя, разумеется, возможно, что та роль, какую они сыграли в моей личной судьбе и в жизни нашей семьи, отражается на моем восприятии их. Очень трудно при рассказе об исторических (в данном случае историко-театральных по преимуществу) событиях, в которых участвовал сам, сохранить полную объективность оценок. Может быть, некоторое преувеличение значения события сделает описание его более рельефным и четким, а излишки темперамента повествователя будут читателем сочувственно учтены и великодушно прощены.

Начать мы с Ольгой Леонардовной собирались прямо с подготовки поездки, но, когда я стал писать один, мне показалось как-то трудно сделать это без разбега, не сказав о людях, об атмосфере… Приступив к «разбегу», я отходил все дальше и дальше, пока не уперся спиной в первые почти воспоминания, но не первые вообще, а первые театральные, о людях театра. Вот почему получилось, что больше трети книги именно об этом. Это об объеме и построении работы, а о содержании, об основной задаче хочется сказать следующее: больше всего я боялся, вспоминая, воспринимать те события со знанием того, к чему они пришли. Оценивать и их и людей так, как оценил бы их я теперешний… Мне хотелось писать «оттуда» — как будто я нашел записи тех дней. Не знаю, удалось ли мне это; если да, — помогло мне то, что я действительно нашел свой дневник 1919–1920 годов, каким-то чудом уцелевший в хаосе скитаний и переездов. Помогла и специфика стариковской памяти, которой свойственно крепко и ясно хранить давнее и мгновенно терять впечатление вчерашнего дня.

Характеристики некоторых людей определялись моим, нашим (моей семьи и близких ей людей) того времени отношением к ним, реакцией на их тогдашнее поведение, на их поступки в те именно времена. Теперь они самому мне кажутся (и, конечно, покажутся читателю) пристрастными, иногда несправедливыми. Но я сохраняю их, чтобы донести атмосферу, строй мыслей тех лет. То же и в отношениях к событиям: я с трудом сохранил некоторые «восторги», не вычеркнул некоторые «ужасы» — такими дикими они выглядят теперь, когда все это ушло в прошлое и начала стали ясными в свете своих концов, когда даже самым косным из моего поколения стало понятно, «что такое хорошо и что такое плохо».

Я поборол боязнь продемонстрировать свою тогдашнюю политическую слепоту. Зачем? Во-первых, ради правды, из стремления восстановить истинное настроение определенного

круга людей той эпохи. Во-вторых, чтобы современные люди, люди второго полувека новой эры, увидели, как трудно нам далось понимание того, что для них несомненность, в чем они выросли с пеленок. Чтобы поняли и осознали ценность добытого муками чувств и трудом мысли. Поняли и выше ценили и крепче любили свою Родину, эпоху, в которую они живут.

Была у меня и еще одна задача. Я очень люблю театральную среду, точнее сказать — люблю актеров. Когда я начинал писать эти воспоминания, мне хотелось предпослать им в виде эпиграфа монолог Несчастливцева из пятого акта «Леса»: «Комедианты? Нет, мы артисты… Мы коли любим, так уж любим; коли не любим, так ссоримся или деремся; коли помогаем, так уж последним трудовым грошом».

Как и Несчастливцев, я отлично знаю все недостатки, свойственные актерам по преимуществу, так же как и те, которые они разделяют со всеми другими людьми, и все-таки считаю, что они не хуже, а часто лучше неактеров. Лучше потому, что сама профессия делает их тоньше, чувствительнее, отзывчивее, понятливее.

Доказать это я не берусь, но сам в это верю крепко и очень был бы счастлив, если бы в это поверили мои читатели. Поверили и полюбили бы наше «сословие».

Первые впечатления

То ли родители меня считали глупее, чем я был, то ли просто по легкомыслию и молодости они не задумывались о том, что можно и чего нельзя говорить при четырехлетнем ребенке, — не знаю. Но говорили при мне обо всем, и я все понимал. Правда, многое, почти все, я понимал навыворот или, во всяком случае, очень неправильно. После полусотни (с большим гаком) лет трудно восстановить в памяти детские представления, но некоторые каким-то чудом еще всплывают в памяти…

Постом в Москву приезжали «на бюро»[1] актеры из провинции. Приезжали цветущими, нарядными. Мужчины носили цепочки с брелоками, золотые пенсне, перстни с печатками, щеголяли серебряными портсигарами с массой золотых монограмм, спичечницами с эмалью, тростями с ручками в виде серебряной русалки. Галстуки были заколоты золотыми булавками с жемчужиной или камеей. Рассказывая о своих триумфах, они рокотали хрипловато-бархатными басами и, «скромно» прерывая себя жестом, стучали по столу твердо накрахмаленными круглыми манжетами, в которых позвякивали большие тяжелые запонки.

К нам они приходили с цветами, коробками конфет, щепочными корзиночками с пирожными и птифурами; мне лично приносили какую-нибудь особенную грушу, какой-нибудь «дюшес», причем подчеркивалось: «с твою голову». Женщины звенели браслетами, тонкими пальцами перебирали кольца, из высоких причесок падали черепаховые шпильки («Поклонника потеряете!» — «Ах!» — Страдальчески-загадочные улыбки морщили губы, подтекст: «Не страшно, их столько!..»).

К концу поста все было иначе. Первыми исчезали портсигары, и вместо них появлялись коробки с табаком и бумажками. В эти коробки «рассеянно» клали недокуренные папиросы собеседников. Цепочки на жилетах держались долго, но ни часов, ни брелоков на них уже не было. Запонок и булавок не было видно — их не в чем было носить: не было ни манжет, ни галстуков, белоснежная крахмальная рубашка заменялась черной косовороткой «смерть прачкам». Брились реже (до сих пор помню жгучие прикосновения актерских подбородков к моим щекам), запахи менялись — то, что пахло еще недавно одеколоном, бриолином, вежеталью, начинало вонять грязными волосами, никотином, кислой капустой… Дыхание через желтые, нечищенные зубы распространяло водочный перегар… Голоса не журчали и не рокотали, а с сипловатым свистом сквозь зубы

сволочили «мерзавцев» и «подлецов» антрепренеров и «свиней-товарищей»: «Где порядочность, где джентльменство, все проститутки, хамы, кулаки, барышники». Женщины негодовали и, кусая губы, страдали за какую-то Кручино-Байкальскую, которая пала до того, что «виляла задом, и перед кем! Мужик! Прасол!»

В дом ничего не приносили, а иногда забегали перед обедом, пока еще не было ни хозяев, ни, главное, других гостей, и просили у нашей Кати «закусить», чтобы, съев глубокую миску лапши со сметаной, за обедом рассеянно пощипывать хлеб и оставлять на своей тарелке недоеденной рыбу и дичь.

Родители мои сами служили до МХТ в провинции, они понимали, любили своих товарищей и прощали им все. Мне кажется, что они (отец и мать) немного стеснялись своего московского благополучия, своей сытости, «буржуйскости». (Когда я уже позже, в двенадцать-тринадцать лет, спросил отца, к какому классу мы принадлежим, он, подумав, ответил: «Мы — обуржуившаяся богема, разжиревший люмпен-пролетариат».)

Чувство неловкости от спокойной устроенности, так резко отличавшей их от товарищей, которые должны были из года в год искать ангажемент на следующий сезон, толкало их на некоторое «предательство» своего театра. В больших, серьезных вопросах они дорожили знаменем МХТ, не давали его в обиду и поношение никому и ни за что, но в мелочах, во второстепенном, его (театр) оглупляли со смаком. Не было дня, чтобы при возвращении с репетиции они не приносили очередных рассказов-анекдотов. Еще из передней слышалось веселое повизгивание смеха отца и звонкое клохтанье матери — это они переживали очередную аварию «Володи» или оговорку «Кости», как они фамильярно-нежно называли своих глубоко и почтительно любимых руководителей.

Театр любили глубоко и искренне, но смеяться над ним любили еще больше. Особенно когда в период «бюро», то есть в великий пост, дома была хорошая аудитория.

Смеяться они любили очень, любили страстно… Смеялись даже над самым любимым, над самым дорогим… Мне кажется, что они не любили того, над чем нельзя было смеяться. Этот смех был признаком любви, признанием человека человеком. «Не смешной» — было страшной, убийственной характеристикой человека и явления. Смеяться и смешить, смешить не только с целью вызвать смех, что можно сделать и не смеясь, не радуясь самому, а смешить — делиться смешным, делиться радостью, общаться, объединяться в смехе, — это было едва ли не главное в домашне-общественной жизни всей компании моих родителей. Это была компания Художественного театра в основном, но не

только.

Гостили (иногда жили по два-три месяца) провинциальные актеры, некоторые из них раньше бывшие в МХТ. Д. А. Шенберг-Дмитриев (брат А. А. Санина), например, живал у нас подолгу, как у себя дома. Он по первой профессии был врачом-акушером и принимал при появлении на свет меня. Моя бонна-немка (вернее, эстонка, выдававшая себя за немку) называла его: «каспатин, котори родил Дима». Часто живала и В. П. Веригина, которая тоже когда-то была сотрудницей Художественного театра, потом стала снова провинциальной, а потом петербургской актрисой. Оба они, уйдя из Художественного театра, сохранили к нему любовь и, злясь и со смехом злословя про отдельных актеров и актрис, театр в целом и главном чтили и уважали.

Бывали и только провинциальные актеры; один из них, по фамилии Волжанин (это был, по-видимому, псевдоним), и был из тех, кто особенно заметно менял свой облик от первой до седьмой недели поста. Публикой, аудиторией они все были хорошей, и в эти дни и месяцы рассказы, имитации, розыгрыши клубились, перегоняя один другой. Мне кажется, что к посту специально копили, откладывали, сберегали все эти «номера», как называли у нас дома все то, чем можно было рассмешить людей.

В «На дне» есть фраза, которую, прежде чем вложить смысл ее в уста Сатина, Алексей Максимович говорил у нас в доме. Про одного веселого и доброго человека — Б. М. Саблина, юриста, брата книгоиздателя, Алексей Максимович сказал: «Хороший, славный мужик — любит смешить людей, значит, любит их. Славно».

Было в этой среде определение человеческих качеств, которое я никогда и нигде больше не слышал, — это было слово «номерной», «номерная». Это означало способность спеть, сыграть, рассказать, сымитировать кого-нибудь… Про кого-то из актеров говорили: «Глупый, злой, но номерной…», про кого-то: «Барахло, бездарь на сцене, но по номерам — талант».

Надо сказать, что теперь, когда я перебираю в памяти этих людей, мне ясно, что в основном большинство «номерных» людей были и актерами и людьми второго сорта — кроме таких блестящих исключений, как Сулер. Сулером друзья звали (а друзей у него было бесконечно много) Леопольда Антоновича Сулержицкого. Он родился в семье польского мастера-ремесленника на правобережной Украине. В молодости он был матросом торгового флота, ходил в кругосветное плавание на самых разных (и по флагам, и по командам, и по грузу, и по оснастке) судах. Ходил в дальнее плавание и на парусниках. Когда подошел год его призыва на военную службу — он служить

отказался. К этому времени он познакомился с несколькими последователями учения Л. Н. Толстого, читал его статьи и, получив возможность побывать у Льва Николаевича, заслужил его пристальное внимание.

Лев Николаевич очень привязался к Сулеру, относился к нему с большой нежностью. Сулер мог бы объявить себя менонитом — была такая секта, которая с очень давних времен, чуть ли не с конца XVIII века, имела высочайше утвержденное разрешение не носить оружия, — но солгать даже во имя соблюдения верности своим убеждениям Сулер не мог и отказался служить, считая, что «христианину этого делать нельзя», то есть объявил этим самым все «православное воинство», все государство нехристианским. За это он был арестован, судим и сослан в Среднюю Азию, в Туркестан.

Там он два года был на каторжных работах.

Рассказы Сулера об этих годах были упоительно интересны, полны наблюдательности, юмора и любви к людям. Потом он по поручению Льва Николаевича организовал дело переселения нескольких тысяч русских духоборов (христианская секта, близкая к толстовцам) в Соединенные Штаты и Канаду. Для этого переселения ему пришлось проделать титаническую работу: арендовать несколько пароходов, обучить команду для них из числа самих духоборов, организовать питание в пути от Батума до Нью-Йорка, медицинское обслуживание, транспорт от порта высадки до места поселения, и, наконец, самое главное, — он получил для них землю, кредит на приобретение живого и мертвого инвентаря, семян, фуража, питания… Руководил ими в постройке жилищ, организации хозяйства, быта, самоуправления, налаживал их взаимоотношения с правительством США и Канады, с переселенческими управлениями, с соседями (а соседями были и фермеры европейского происхождения и полудикие племена американских индейцев).

Всю эту работу Сулер выполнил с честью. Полный веры в свои силы, в свое умение помогать людям, в возможность устроить людям хорошую жизнь, в необходимость этой жизни и, главное, в необходимость работать во имя этой жизни, строить ее теперь же, немедленно, — он вернулся в Россию. Через Льва Николаевича он познакомился с А. М. Горьким, а через него — с Московским Художественным театром.

Моя мать любила рассказывать, как Сулер впервые появился у них в доме. В морозную ночь зимы 1900/01 года после спектакля Василий Иванович вернулся домой с каким-то новым гостем. Кухарка, встретивши их в передней, попыталась снять с гостя пальто, он сначала уговаривал ее, что ему снимать нечего,

но так как глухая старуха упорно тянула его за воротник и за рукав, он ловко вывернулся и с веселым хохлацким: «Та нет же, та не дамся я тоби, бабо», — влетел в столовую. На нем была шерстяная, грубой рыбацкой вязки, с высоким воротом фуфайка и куртка, которая заменяла ему и пальто и пиджак…

С улыбкой вошел в нашу жизнь Сулер, «дядя Лёпа», как его звали мы, дети, и с улыбкой сквозь слезы вспоминали его, когда он ушел из нее. Это был человек огромной не только душевной, но и физической силы, невысокого роста, очень широкоплечий, с мощной широкой и мускулистой грудью. Он бегал, прыгал, боролся лучше всех, с кем он на моих глазах соревновался, но особенно хорошо и отважно он плавал. В Алуште, помню, мы (сын Сулера Митя, трех лет, и я, пяти лет) каждый раз начинали скулить как щенки, когда он уплывал так далеко, что исчезал из виду и мы думали, что он уже не вернется. Мне не хочется говорить о его душевных силах — их мощь видна в том, что он сделал для духоборов, и в том, что он сделал в театре: работа над «Гамлетом», «Синей птицей», создание Первой студии…

В доме родителей Сулер был душой и сердцем всех затей, всех шуток и розыгрышей. Он никогда не пил, но всегда был пьяней, веселей, озорней всех самых весело-пьяных. Пел, танцевал, организовывал цирковые номера, сам показывал свою силу и ловкость. Меня поражало, как он, такой маленький, хватал, подкидывал и сажал на плечи таких высоких и плотных людей, как Н. А. Румянцев, например. Непонятным, необъяснимым казалось мне превращение отца в маленького человека, когда он садился «на закорки» к Сулеру и с метлой под мышкой изображал казачью атаку — «разгон студентов у Казанского собора». Студентов (совершенно помимо ее воли) изображала мать, которую они встречали этой атакой, когда она выходила из ванной, и преследовали, несмотря на ее бурные протесты, до тех пор, пока она не выливала и на «лошадь» и на «всадника» по кувшину воды. Отец превращался в мальчика, «как Юрка» (это был мой друг, года на три старше меня), и по росту, сокращение которого благодаря сидению «на закорках» мне казалось чудом, и по возрасту — такими детьми они становились.

Когда вечерами мать и отец шли играть в театр, я представлял себе, что они там играют в игру «театр». Да оно отчасти так и было — уж очень они молоды были все.

В 1904-м (год, с которого я их помню) Станиславскому («старику») был сорок один, отцу — двадцать девять, Москвину — тридцать, матери — двадцать шесть, Сулеру — тридцать два. А другие — «молодежь»: Подгорный, Комаровская, Веригина, Асланов — были совсем юными.

Это восприятие театра как места игр или даже как игры поддерживалось постоянными увлеченными и увлекательными рассказами о том, сколько сегодня хохотали, когда «Костя», играя Вершинина («Три сестры»), представился Лужскому — Андрею Прозорову: «Прозоров» и Василий Васильевич взвыл, закрыл рот рукой и, шатаясь, выкатился со сцены. Смеялись весь спектакль; вспоминая намерение (конечно, в шутку) Лужского ответить Константину Сергеевичу: «Представьте, я тоже». Затем обычно шла серия оговорок: «Безумнейший, ты не в своей тарелке» (вместо «любезнейший» — «Горе от ума»), «пойдемте в гостиницу» (вместо «в гостиную» в «Трех сестрах») и так далее без конца.

К сожалению, я мало и плохо помню, уж очень давно это было, ведь больше полувека прошло.

Любили рассказывать о фантазерстве Константина Сергеевича, фантазерстве абсолютно бескорыстном. Для убедительности своего высказывания он мог привести самый невероятный довод. Почтительный потомок самых почтенных родителей, он как-то сказал про какую-то актрису, игравшую кокотку (может быть, в «Травиате» или в «Даме с камелиями»): «Таких кокоток не бывает, я знаю, моя бабушка была кокотка». Не принимая звона бубенцов (звуковой эффект отъезда тройки), он утверждал, что сам служил в ямщиках. Знамениты его «один очень интеллигентный господин», сидевший в партере с градусником и жаловавшийся на холод, «почтенная старушка, почти глухая», слышавшая шум из-за кулис во время антракта, и т. д.

Что касается Немировича-Данченко, рассказывалось главным образом о его «епиходовщине» и его «двадцати двух несчастьях». То как, въезжая во двор театра, извозчичья пролетка, на которой он ехал, задела колесом за тумбу, резко качнулась, и сидевший в ней, как обычно гордо и величаво выпрямившись, Владимир Иванович подскочил, ткнулся носом в спину извозчика, и с него свалился и упал под колеса его знаменитый гордо лоснящийся цилиндр. И как назло по двору шла большая группа актеров, которые, конечно, не удержали взрыва веселого хохота. Владимир Иванович, подобрав цилиндр, нанял другого извозчика и уехал домой. И еще — как он опрокинул себе на живот и колени стакан очень горячего чая и, оглянувшись, поискав глазами Василия Ивановича, прячущего за чужие спины смеющееся лицо, сказал ему: «Ну почему со мной все это случается обязательно в вашем присутствии, ведь я знаю, что вы это коллекционируете». Дунул в портсигар и запорошил себе глаза; элегантно присел на край режиссерского стола — и крышка стола перевернулась, на Владимира Ивановича полетели графин, чернила, лампа…

Споткнулся о чью-то ногу и растянулся в проходе между креслами в партере. И, наконец, любимейший рассказ: во время какой-то очень напряженной паузы, последовавшей за очень резким замечанием Владимира Ивановича одной из актрис, он вскочил, вылетел из-за режиссерского стола в средний проход и начал с хриплыми возгласами «ай! ай! ай!» кружиться вокруг своей оси и бить себя ладонями по бедрам и груди, потом сорвал с себя пиджак и стал топтать его ногами… Оказалось, что у него загорелись в кармане спички и прожгли большие дыры в брюках и пиджаке. Репетиция сорвалась.

На другой день В. В. Лужский рассказывал эту историю с невероятными подробностями: Немирович горел так, что пришлось вызывать две пожарные команды, они развернули шланг, направили струю воды на Владимира Ивановича и смыли его в водосточную трубу — «решетка у нас широкая, а он такой маленький, что проскочил было совсем, но Костя его увидел и вытащил». Ну и так далее.

Лужский имел способность бесконечно развивать такие фантастические повести, вводя в них все новых и новых действующих лиц — от министра Витте, полицеймейстера Модля, директора цирка Чинизелли, психиатра Баженова — до Дмитрия Максимовича Лубенина (старшего курьера театра), Алексея Александровича Прокофьева (буфетчика), «Котика» (жены Владимира Ивановича), городового Стрижака, который стоял на посту на углу Тверской и Камергерского, и т. д. Все эти лица в самых неожиданных и причудливых комбинациях участвовали в стремительно развертывающейся фабуле его повествования. Для всех находилась короткая, но яркая характеристика, своеобразная манера речи, собственный лексикон, дикция и голос.

Лужский любил и умел смешить и сам был необыкновенно и неудержимо смешлив. Как-то раз во двор театра въехал извозчик, у которого на сиденье пролетки лежала трость с гнутой серебряной ручкой, а сзади на втором извозчике ехал Лужский и хохотал. Хохотал и его извозчик так, что чуть не валился с козел. Так они прохохотали на радость встречным прохожим от самого Сивцева Вражка, где Василий Васильевич нанял первого извозчика, глухого старика, многократно возившего его и без приказа знавшего, куда надо ехать, — Лужский успел только положить на сиденье палку и занести ногу, когда извозчик тронул и поехал. Василий Васильевич нанял другого и поехал следом за первым. Так он приехал в Художественный театр на двух извозчиках. По этому поводу хохотали почти до конца сезона, придумывая все новые и новые варианты того, как и с кем это еще могло произойти.

До меня эти варианты доходили в пересказе отца, и, так как я не умел отделить вымысел фантастический от вымысла же (правды в этих рассказах почти не бывало) реалистического, — в голове у меня создавалось совсем уже сумбурное представление о том, что делается в театре, где играют не дети, а большие, взрослые люди. Поэтому я никак не мог вначале всерьез принять (понять я это и не пытался) рассказ о том, как «Володя глубоко вскопнул», а «Костя гениально, ну воистину гениально показал» кому-то. Я везде искал и ждал — а когда будет смешно. Но смешно бывало далеко не всегда.

Не могу сказать, что рассказы комические уступали место рассказам восхищенно-влюбленным, нет, они шли параллельно, пародии и юмор обвивались вокруг серьезного, но я постепенно начинал прислушиваться и к серьезным и старался не принимать их за неудавшиеся шутки (раз что не смеются), а соображать, что в театре «играют» иногда и всерьез.

Я не знаю, кого больше любили и чтили у нас в доме. У матери, как человека более импульсивного, отношение менялось в зависимости от того, как относятся к ней, как принимают ее. У отца отношение к людям было более стабильным и объективным.

И Константина Сергеевича и Владимира Ивановича он ценил и уважал бесконечно глубоко. Я думаю, больше всех на свете. Была у него к обоим и огромная любовь и нежность. Была и острая тревога за их здоровье, настроение, благополучие… Боязнь, чтобы кто-нибудь их не огорчил, не обидел. Но в характере отношения к ним была очень большая разница.

Отец любил больше Константина Сергеевича, чтил в нем гения, сверхчеловека; к нему не подходили обычные мерки, которыми определялся человек: «добрый» — нет, никак, скорее жестокий; «злой» — нет, ни в коем случае, он же благостный; «кроткий» — в чем-то да, но часто свирепый, беспощадный, безжалостный… безжалостный больше всего к себе — в своем безжалостном преодолении своей же жалости к человеку; «умный» — нет, но гений — да. Считал, что у него нет ума — такта, ума — умения наладить отношения с человеком, но есть гениальная способность (и глубокий ум в этом) подойти и разбудить творчество в актере. Он может быть бестактен, бесполезно груб с актером-человеком, но умеет с нежностью и мудростью проникать в самые глубины психики актера-творца.

У отца были периоды острого неприятия Константина Сергеевича, мучительного раздражения его поведением, его жестокостью… Потом под влиянием какого-то открытия, какой-то гениальной находки Константина Сергеевича, а иногда после какой-нибудь смешной оговорки или нелепого ляпсуса это

проходило и сменялось почти обожанием. «Бурбон», «самодур», «Тит Титыч», — говорил он о нем. Причем бледнел, дрожали губы и пальцы. А потом: «Ну гений же, ну до чего талантлив, эх, если бы можно было идти за ним!» Недоступность для актера, заоблачность высот, на которые звал Константин Сергеевич, недостижимость его пределов — это было большой трагедией и для самого отца и, с его точки зрения, для всего театра, для всей деятельности Станиславского. Иногда он винил только себя, свою «трусость», свой «кокотизм» (стремление нравиться, любовь к успеху), но часто злился за это и на Константина Сергеевича.

Владимира Ивановича отец любил человечески меньше, но работать с ним он любил больше, чем с Константином Сергеевичем.

Если Константин Сергеевич звал отца к вершинам творчества, вел его по труднейшему, почти непреодолимо трудному пути и был его учителем и наставником в этике творчества, в методе подготовки себя к творчеству, в перевоспитании себя в творца, в умении раскрыть себя для лучшего и подавить в себе худшее (как в творческом работнике), звал к отваге духа, смелости, вере в истинно прекрасное и правдивое искусство и презрению к псевдокрасивому и лживому ремеслу — одним словом, помогал его творческому самопознанию, — то Владимир Иванович помогал ему конкретно в создании роли. Первое редко давало радость и никогда не давало удовлетворения. Оно было несовместимо с ним. Удовлетворение, удовлетворенность, довольство — несовместимы с той взыскательностью, к которой вел Константин Сергеевич. Второе же (работа над ролью) часто давало радость и нередко удовлетворение.

Помню, как за обедом: «Молодец Володя, так разутюжил сцену — все на место встало», и ясный, веселый и, главное, довольный, довольный и собой тоже (а ему это так редко доводилось!) взгляд.

На Владимира Ивановича отец злился, вернее, раздражался за стремление к славе, успеху, радостям жизни. Он не считал его гением и сверхчеловеком, как Константина Сергеевича, но верил в его ум и огромный талант. Ум Владимира Ивановича он считал вполне человеческим, европейски-деловым даже в решении философских и отвлеченно эстетических вопросов. В его «прозрения» не верил, но в чутье и в искусстве, и в литературе, и, конечно, в актерском мастерстве — верил очень.

В четыре-пять лет я, конечно, не так понимал, как написал теперь, но написал я это по глубоко врезавшимся в память самым детским воспоминаниям, провспоминавшимся через всю долгую жизнь, по-разному в разное время осмысленным, но в основном

сохранившим первые контуры.

Так я воспринял этих двух великих людей, воспринял раз и навсегда, и никакие другие отзывы, никакие личные впечатления от долгих лет работы с ними и жизни подле них не могли стушевать и изменить тот их образ, который вычеканил во мне отец в самом раннем детстве.

Огромную роль в моем детском восприятии Константина Сергеевича и Владимира Ивановича играли еще и их внешние данные (Константин Сергеевич — огромный красавец, да еще с усами; Владимир Иванович — маленький и с бородой, «как у доктора»), их квартиры (у Константина Сергеевича — огромные, просторные светлые залы, лестницы, шкафы с рыцарями; у Владимира Ивановича — тесные комнаты, заставленные мягкой плюшевой мебелью, тоже «как у доктора»); у Константина Сергеевича — пес Каштанка, который «пел» — лаял под рояль, ласковая красивая Кира и тихий, нежный Игорь; у Владимира Ивановича — один Миша, который для гостей пилит по часу на скрипке.

Смущало только богатство Константина Сергеевича.

Мать читала мне басню «Стрекоза и Муравей», и толкование морали этой басни у нее было своеобразное: веселая и милая актриса Стрекоза жила, как и полагается жить всякому порядочному существу, то есть веселилась, гуляла, пела, радовалась жизни и, будучи сама доброй, надеялась на доброту других. А негодяй Муравей, жадный лавочник, скупой мещанин, злой, *как все богатые*, с издевательством оттолкнул ее. Она бы погибла от голода и холода, но добрый, сам бедный Навозный жук поделился с ней последним, и они дружно и весело перезимовали. Этот конец был придуман нами вместе, чтоб не дать умереть бедной актрисе.

Богатые обязательно жадные и злые, иначе они бы не были богатыми… Это, видимо, было крепко засевшей в нашей семье этической нормой.

В этом смысле богатство, «фабрикантство» Константина Сергеевича меня ужасно огорчало, и я должен был подыскивать разные «смягчающие вину обстоятельства», чтобы простить ему его общественное и имущественное положение. Одним из самых убедительных «смягчений» было то, что он получил богатство от отца и еще не успел его растратить, но он постарается, и к моей взрослости, когда я по-настоящему смогу дружить с ним (а об этом я очень мечтал), он уже будет «как мы», то есть будет проедать и пропивать все жалованье. Самое смешное, что так оно и случилось…

Если в смысле «социальном» и «экономическом» я был

совершенно единодушен с родителями и всей их компанией, то в смысле политическом — наоборот. В пять лет, когда у нас ночевали прятавшиеся от полиции эсдеки, когда отец был зарегистрирован в охранном отделении как неблагонадежный и сам себя считал марксистом и социал-демократом, — я при всем честном народе, то есть при «революционно мыслящих» актерах заявил: «Нет, без царя скучно». Это была бомба. Отец был смущен, сконфужен, опозорен… Мать возмущена и со свойственной ей энергией и активностью начала выяснять, кто на меня так влияет. Подозрения падали на немку — фрау Митци, которая носила фамилию Витте и гордилась этим («А чем гордиться, ведь Витте — царский сатрап и негодяй»), и, главное, на швейцара Михаилу, который был под подозрением («А он не охранник?») в черносотенстве.

С Михайлой я был в хороших отношениях, но в моей любви к царю он был не виновен. Царя я любил как самого первого военного, самого главного генерала. Ведь он украсил грудь дяди Эразма целым иконостасом крестов и медалей. Короли и цари во всех сказках были творцами счастья героев, царевичи и королевичи были красивыми, храбрыми, добрыми, а ведь это же они потом становились царями и королями.

Отец несколько раз принимался убеждать меня в необходимости народовластия, но я оставался непоколебим. Это совершенно серьезно мучило моих родителей, и уж очень не ко двору в интеллигентской и революционной семье был «монархист», хотя бы и пятилетний. Это компрометировало признанную крамольность нашей семьи. Мать колебалась между большевиками и эсерами. Отец был то большевиком (после встреч с А. А. Сольцем), то «левым» меньшевиком (сразу после очередного приезда Б. И. Гольдмана). Оба были его товарищами по гимназии, очень с ним дружили, верили ему и мучились его политической неустойчивостью.

Сольц появлялся редко, обычно вызывая отца куда-то на свидания, о месте которых отец не говорил даже матери. Борис Гольдман приезжал прямо к нам — то после отбытия заключения, то сбежав из ссылки, то незаконно приехав в Москву из какой-нибудь глуши, где жил под гласным надзором. Проспавши сутки у отца на диване, вымывшись, он пил с отцом по ночам чай и спорил, спорил… Кончалось его посещение полным поворотом в сторону меньшевизма. Как действовал Арон Александрович Сольц, я не представляю, но поворот был такой же радикальный.

Все это было особенно остро в 1905–1906 годах. И даже моя детская «политическая ориентация» не оставалась без внимания. Но возможно, что меня, а может быть, и друг друга в какой-то

мере разыгрывали.

Как я уже говорил — шутке, розыгрышу, смеху в атмосфере нашей жизни в те годы отдавалось много места. Соседствование драмы с почти фарсом отец считал закономерным именно для лучшего восприятия серьезного в искусстве и в жизни. Часто в ответ на обвинение в том, что он комикует в драматических местах своих ролей (делать это в драматических местах других актеров считается большой подлостью), он говорил, что слезы легче всего текут после улыбки и что никогда человек так весело не смеется, как утирая слезы. Так и в быту нашем серьезность, драма, даже трагедия разрешались хохотом, а розыгрыш завершался ссорой и слезами, за которыми следовал смех.

Разыгрывали друг друга всеми возможными способами без конца. Когда перебираешь в памяти все эти опрокидывающиеся на голову кувшины с водой, испачканные сажей полотенца, чтобы умывавшийся вышел с черными пятнами на лице, куски льда в постели, щетки под простыней, напудренных угольной пылью двух проснувшихся людей, когда они покатывались от хохота, показывая пальцами друг на друга, — все это не кажется достаточно смешным и, главное, кажется уж очень глупым, недостойным быть рассказанным. В пересказе это как будто принижает этих очень хороших и умных людей. Вспоминая, я сам смеюсь с умилением и любовью, — другим этого лучше не сообщать: вместо улыбки это может вызвать только пожатие плечами…

И все же я говорю об этом, говорю только для того, чтобы была понятнее атмосфера того времени в нашем доме и компании моих родителей.

Люди жили стремлением рассмешить и поделиться с другими, оделить их радостью. Но «комедиантами» они не были, они были истинными артистами, артистами, задача которых — распространять радость и добро и со сцены и в жизни. Чувства в этой среде были искренними, и радость и горе переживались по-настоящему глубоко и сильно. Обыватель же, изолгавшийся и изживший в суете и заботе о своем благополучии способность что-либо настоящее чувствовать по-настоящему, принимал умение выражать чувства, талантливость в способе их *выражения* за умение *изображать*. Отсюда его мнение, что актер лжив, кривляка и т. д.

Любовь к эпатированию, стремление поразить, удивить, заинтересовать (очень свойственные актеру, особенно провинциальному) поддерживали в «публике» ее неуважение к актеру, ее ощущение его якобы человеческой неполноценности. На самом же деле сама профессия актера — я говорю об актерах

серьезных и глубоких — делает человека глубже, сложнее, чувствительнее, нежнее, понятливее и, в общем, добрее и умнее.

Вильно

Летом 1905 года мои родители в первый раз в жизни выехали за границу. Меня на это время поселили у деда в Вильно. Приехали в Вильно всей семьей, но через три-четыре дня отец с матерью выехали через Вержболово на Берлин и дальше, а меня с бонной — фрау Митци — оставили на попечение деда и двух его дочерей, моих вдовых теток.

Мать очень не любила отцовской семьи; эту нелюбовь отец объяснял тем, как ее с самого начала встретили там. Приезд со мной не был первым знакомством. А при первой встрече свекор (дед) долго рассматривал свою молодую сноху, потом тяжело вздохнул, махнул рукой и сказал: «Ничаво, он тожа некрасивый». Мать, молоденькую (ей было тогда немного больше двадцати лет), очень хорошенькую, имевшую большой успех и избалованную им, этот отзыв поразил и оскорбил. Через семь-восемь лет она рассказывала об этом с юмором, но тогда это была катастрофа. Эстетические нормы у деда были, конечно, своеобразные, с нашей точки зрения. Красивым, с его точки зрения, был старший сын Анастасий — огромный (четырнадцать вершков, как тогда говорили), дородный, румяный; еще «красивее» был Эразм — уже пятнадцати вершков, восьми пудов веса, усы с подусниками, красные щеки и нос, ярко-голубые глаза, и все это в оформлении парадной формы сначала Малороссийского драгунского, а потом Приморского драгунского полка, которым он под конец своей службы командовал. Сам дед тоже был высок и дороден. Отец, хотя и немалого роста (1 м. 85 см.), но худ, бледен, брит, близорук, узкоплеч сравнительно с гигантами братьями. Мать же, у которой лицо было, скорее, восточного, грузинского или еврейского типа — большой нос с горбинкой, темные глаза, — ростом была на голову меньше своих золовок и в полтора раза уже их, тоньше и худее. Такая пигалица не могла внушить деду ничего, кроме грустной жалости.

Я, кроме деда, теток и дяди Эразма, никого из своих «предков» с отцовской стороны не видел, но, по рассказам, знаю, что род этот был физически очень могучим. Дядя Эразм, за которым, когда он шел по Москве в своей маньчжурской черной папахе, люди бежали вслед и мальчишки кричали: «Дядя генерал, поймай воробышка!», — был в этом роде и племени нормальным явлением. Эразм в войну 1877–1878 годов в пятнадцать лет ушел добровольцем из пятого класса гимназии и в рядах Малороссийского драгунского полка в звании штык-, а потом

портупей-юнкера воевал с турками; окончил в Варшаве школу прапорщиков, был произведен в корнеты (а не в прапорщики, так как имел Георгиевский крест) и сражался в Китае во время боксерского восстания; остался в Приморье воевать с хунхузами, там его застала русско-японская война. В отряде генерала Мищенко, командуя отдельным дивизионом Приморского драгунского полка, он заслужил все мыслимые для армейского офицера награды и в 1908 году получил полк. В том же году он со всем своим семейством, женой-сибирячкой и дочкой Таней, гостил у нас в Москве. Отец очень умилял его тем, что сохранил для него вырезки из газетных корреспонденции, где о нем упоминалось. Одна из них (в какой газете, не помню) была даже озаглавлена «Лихие поиски ротмистра Шверубовича». Эту заметку отец хранил очень долго, хотя рецензий о себе не хранил в это время совсем. Само собой разумеется, что для меня, семилетнего мальчика, большего героя, чем дядя Эразм, не было.

Из других членов шверубовичевского рода знаменит был дядя отца, двоюродный брат моего деда, как и он, православный священник. Но если дед был спокойным, обыкновенным рядовым попом, без всякого фанатизма — религиозного или националистического, — отец Хрисанф мнил себя миссионером и чудотворцем. В качестве первого он стремился русифицировать, то есть привлечь к православию (в те времена в Западном крае это было одно и то же), как можно больше литовских и белорусских крестьян, которые по вине своих отцов и дедов «впали в схизму», то есть родились католиками. Крещение евреев тоже входило в его планы. Самым страшным, роковым для его клерикальной карьеры оказалось намерение убедить своих прихожан в том, что, имея веру хоть в горчичное зерно, можно приказать горе сдвинуться — и она сдвинется, — убедить, сотворив чудо. И вот произошло следующее. С утра в воскресный день, когда церковь заполнилась молящимися, он запер врата храма и спрятал ключ в ризнице. Через час-полтора богослужения люди начали кряхтеть и стонать — настоятель был неумолим, и, только закончив обедню, молебен, произнеся часовую проповедь на тему о всесилии веры, он открыл храм и отправился со всем причтом и прихожанами к берегу реки Вилии, где его ждала специальная лодка с настилом вровень с бортами. Он вошел в лодку и отплыл на середину реки. Там, подняв святые дары выше головы, он смело и уверенно ступил с настила на поверхность воды, намереваясь пройти по ней «яко по суху», — и стремительно пошел ко дну. Его выловили, откачали, но святые дары утонули, и за это святотатство, а также за смущение верующих он был заточен на три года в монастырь со строгой

епитимьей.

Хрисанф был знаменит и своими гимнами, которые сочинял к различным событиям государственной жизни. К коронации Александра III он сочинил и исполнял в церкви следующий «хорал»:

«В семнадцатый день мая Москва ликовала,
Вождя она честью и правдой встречала,
И всея России стомиллионный народ
Вовек будет помнить тот день и
Тысяча восемьсот восемьдесят первый год!»

Отец очень любил петь его гимны и исполнял их на какой-то им самим выдуманный мотив и с карикатурно-белорусским акцентом, которым он владел хорошо, и мог не только говорить, но и читать с акцентом стихи. Одним из его «номеров» было исполнение монолога Чацкого гродненским семинаристом. Сам он только к окончанию гимназии и в Петербургском университете с трудом избавился от этого акцента. Сестра же его до конца жизни говорила «чатирэ» (четыре), «тутэшный» и т. п.

Дед говорил с очень сильным акцентом не только по-русски, но и по-славянски (в богослужении) и даже по-латыни. Он знал наизусть несколько отрывков из Овидия и охотно читал их, но произносил их по-белорусски. Изображение этого было также «номером» отца. Этими рассказами и «номерами» я в свои четыре года был подготовлен к несколько юмористическому облику деда. Оказалось не совсем то. Дед был молчалив, суров, серьезно и умно смотрел на меня и улыбался, только когда мы с ним были с глазу на глаз. Тогда он мне даже подмигивал и тихо говорил: «Ты ийх ня слухай, ани жа бабы» — это относилось и к матери, и к теткам (его дочерям), и, главное, к моей Митци, которую он невзлюбил главным образом после того, как она смеялась над евреями. У него был приятель Янкель, державший «универсальный магазин» — крошечную лавчонку, где продавалась всякая снедь, мыло и свечи. Кроме того, Янкель был портным, и первые форменные костюмы отцу шил он.

Василий Иванович рассказывал, как он умолял Янкеля не шить ему шинель «на вырост», как этого требовал дед. Для этого он перед примеркой забегал к портному и заклинал его всем святым «не делать из него шута горохового», чтоб «с него не смеялась вся Вильна». Когда Янкель умер, дед так разволновался, что заболел.

Дед любил свое дело и служил с увлечением, но это не лишало его наблюдательности и элементов актерства. Однажды

он приказал, чтобы меня привели в церковь к обедне, когда он служил, «чтоб смотрел, как дед служит», только чтоб без лютеранки (фрау Митци). Та презрительно пожала плечами — для нее это богослужение являлось «Heidentum» (язычеством). Я не помню богослужения, помню только как тетя Соня сказала после его конца тете Саше: «Папаша как маленький старался, служил как перед митрополитом — это он внуку понравиться хочет».

Соня всегда была строга и беспощадна в своих суждениях о людях. Она была вдовой пехотного капитана, с которым прожила всего восемь лет и за эти годы потеряла шестилетнюю дочь, которую безумно любила и помнила всю жизнь. Ни одного ребенка, родного или просто близкого, полюбить она не могла. Всякую возникавшую привязанность она в себе глушила, так как была убеждена, что приносит несчастье тем, кто ей дорог. Соня была умна, наблюдательна, остроумна, хорошо рассказывала, слегка копируя того, о ком говорила. Она служила классной дамой и давала уроки музыки на рояле. Сама играла мало и редко («потому что люблю музыку»), тоненьким и тихим голосом пела. В отношениях с людьми была сдержанна и не допускала к себе никого. Отца моего любила безумно. Она была на девять лет старше его и была ему как бы няней. Она очень смешно рассказывала, как к ней прибежали мальчишки с сообщением: «Пани Зосю, там ваш Васька удавиуся, юш синий, ня дышыт заусем». Оказалось, что пятилетний Вася засунул голову между прутьями железной ограды там, где эти прутья были чуть подальше один от другого, потом упал, попал в узкое место и стал задыхаться. Четырнадцатилетняя Соня рванула его за плечи и, оборвав ему в кровь уши, вытащила его оттуда. Мать мою она никогда не любила, считая, что она и недостойна отца и, главное, не так, как надо, ценит его.

Театр драматический Соня не любила, а МХТ терпеть не могла, считая, что там играют не по чувствам, а по науке. «Этот Станиславский сам плохой актер, не талантливый, потому ему нужна какая-то система, он без нее никуда не годится, так он и таких актеров, как Вася, хочет заставить играть не душой, а по системе». Считала, что Василий Иванович добился бы большего, если бы был в провинции, а потом на императорской сцене.

На императорскую сцену пытался устроить Василия Ивановича и его брат Эразм. Приехав к нам в 1908 году, он рассказывал: «Знаешь, Василий, я от самого Хабаровска ехал с одним артистом императорского Малого театра, с господином Л., я его поил всю дорогу и коньяком, и мадерой, и даже шампанским, и он обещал оказать тебе свою протекцию для

поступления на императорскую сцену». Этот господин Л. был помощником режиссера в Малом театре и получал пятьдесят рублей в месяц, когда отца звали туда на тысячу.

Ко мне Соня относилась хорошо, считала только, что меня плохо воспитывают, в недостаточном благоговении к отцу. Не знаю почему, но с ней я часто распускался и озорничал больше и грубее, чем с другими. Я боялся ее, но почему-то стыдился этого и доказывал себе и ей, что не боюсь ее. Своей бонны, которая лупила меня иногда здорово, я боялся в десять раз больше, но не стыдился этого — этот страх был естественным, а страх перед молчаливой и никогда не тронувшей меня пальцем Соней казался мне постыдным.

Совсем другой была тетя Саша. У нее была неистовая доброта, страшно активная и требовательная к ее приятию — то есть она добротворила насилием. Для животных, которых она любила сверхъестественно, это было в самый раз, но людей она доводила до того, что они скрывались от нее или хамили ей. Детей она портила в самый короткий срок — самому воспитанному ребенку достаточно было двух недель ее общества, чтобы превратиться в отвратительного барчука. Животные (собаки и кошки), бывшие на ее попечении, питались всегда тем, что любили, а она подъедала то, что от них оставалось; спали у нее на постели и рычали, если она занимала в ней слишком много места или беспокоила их своими движениями и даже вздохами. Из взрослых людей она, кроме своего отца, сестры и «Васеньки», по-моему, никого по-настоящему не любила. В ней было какое-то странное озорство, она могла дразнить людей, говорить им неприятное, причем делала это довольно изысканно, находя у них самые болезненно чувствительные струны. Но это не мешало ей активно благотворить и служить им. Причем, как и в отношении с животными, служа людям, она делала это, всегда почти отрывая от себя, жертвуя своим покоем, удобством, отдавая необходимое. Только животных она никогда не попрекала этим, а людям, отдав последний кусок если не хлеба (до этого, по-моему, не доходило), то мяса или пирожного, могла сказать: «Ну вот и спасибо, я теперь голодная осталась». Она была замужем за каким-то чиновником Морошкиным, который оказался горьким пьяницей и скандалистом. После двух лет супружества она убежала от него и жила у отца. Вскоре муж спился и умер. Свое вдовство она несла далеко не так строго, как ее младшая сестра, — темперамент ее был совсем другим, у нее были постоянно какие-то романы, начинавшиеся с жаления и помогания и кончавшиеся тем, что жертва ее доброты не в силах была перенести напора благодеяний и бежала от нее.

Когда меня привезли в Вильно, Саша тоже приехала туда в отпуск из Петербурга, где служила старшей фельдшерицей (у нее было среднее медицинское образование) в «богоугодном заведении» — в сиротском приюте Брусницына. Поступила она туда потому, что управляющему показалось пикантным собирать к Брусницыну служащих с «ягодной» фамилией. Фамилия его самого была Рябинин, сестра-хозяйка была Малиновская, старший дворник был Вишняк. Через два года я гостил у нее в приюте, и меня совершенно пленила эта коллекция фамилий, я думал, что так полагается везде, и был недоволен, что в МХТ актеры носят фамилии не по смыслу, а какие попало.

После отъезда родителей мы всей семьей, к которой еще добавилась моя одиннадцатилетняя двоюродная сестра Вера, дочь Анастасия, учившаяся в Петербурге в Сиротском Николаевском институте, переехали на дачу в Верки (дачное место под Вильно). Вера была круглая сирота, ее родители умерли почти одновременно от туберкулеза. Так как Анастасий был чиновником какого-то класса, ее приняли в институт, обеспечивавший своих питомцев от девятого до первого класса (у них был обратный счет классов) всем необходимым, вплоть до полного приданого при выходе из последнего, «пепиньерского» класса.

Вера была (и осталась такой до взрослости) тихой, предельно молчаливой, замкнутой, очень скрытной девочкой. Единственным явным ее свойством, которое она не умела скрыть, была неистовая любовь к сладкому. Как-то раз она, вынимая из кармана платок, вытащила вместе с ним большую ложку. Она носила ее в кармане «на всякий случай» — вдруг окажется где-нибудь наедине с вареньем или компотом, — чтобы не искать ложки, чтобы быть всегда «во всеоружии».

Верки были недалеко от Вильно, и дед приезжал к нам на свои свободные дни, когда служил второй священник. Как-то раз он пришел, неся на голове качалку, за что тетки упрекали его: «Вам, папаша, не к сану ходить с мебелью на голове, с вас вся Вильна будет удивляться, ведь вы еще и благочинный». Благочинный — это священник, наблюдающий за поведением и священнической деятельностью других духовных лиц в своем округе. Должен сказать, что я никогда не видел в доме деда никаких духовных лиц, — он, видимо, ни с кем из них не дружил.

Бывали в доме сосед-домовладелец, учитель латинского языка, бывал аптекарь-еврей и кое-кто из родственников (Хрутские, Лечицкие, Воскобойниковы), но все это были чиновники, служащие, бывшие товарищи и сослуживцы рано умершего дяди Анастасия.

Анастасий, окончивший юридический факультет Петербургского университета, служил в Привислянском статистическом управлении главным статистиком. Он хорошо поставил это дело, издавал журнал — какие-то «ведомости» или «ведомости чего-то». Недавно сравнительно я получил от Н. Д. Волкова книгу «Братья Кукольники», написанную А. И. Шверубовичем, изданную в Вильне и «продающуюся у о. Иоанна Шверубовича» и еще где-то. Это был, по-видимому, вполне интеллигентный человек, добрый, веселый, талантливый. Очень хорошо пел. «Лучше, чем ваш Шаляпин», — как утверждала его сестра. Его карьерой, как, впрочем, и военной карьерой Эразма, дед очень гордился, чего нельзя сказать о карьере Василия. Когда его спрашивали: «А младшенький ваш, Васенька, что делает?» — он неохотно отвечал: «А он так, по ученой части…» Тетка рассказывала о недоразумении, которое возникло у родителей, когда в рецензии было написано: «Князь (г. Качалов) убил свою жену». Матушка в ужасе прибежала к отцу Иоанну: «Васенька жену убил!» Тот весь задрожал, но, разобрав, в чем дело, обругал жену: «От дура! То же на позорище[2]!»

Матушку (мою бабушку, мать отца) я никогда не видел, она умерла, когда мне было меньше года. Это, видимо, была тихая и застенчивая женщина. Она происходила из хорошей полупольской (Воржековская по отцу), полулитовской (Гинтовт по матери), но давно обрусевшей, то есть православной, семьи. Вообще была добродушной и терпимой, но иногда вспыхивала, и тогда все от нее уходили, хотя и без особого страха, скорее даже посмеиваясь, но избегая ее ядовитых и язвительных обличений. Тетя Соня рассказывала, что как-то, придя от обедни, которую служил дед, она накинулась на него: «Стыдно тебе, отец, старый ты, а бабник. Старух крестом, как прикладываться идут, по губам да по зубам бьешь, альбо пошвидче, а к молодым да красивым сам с крестом тянешься, будто они не к кресту, а к тебе прикладываются. Грех это, грех, ведь ты пастырь, грех…» Дед, смущенный, отругивался, оглядываясь на дочерей. «От дура, чего выдумала, ведь клямишь (врешь), старая!» Гостей она принимала приветливо, хотя жили они скромно и питались только досыта, без разносолов.

В Верках мы жили совсем уединенно. Через месяц или полтора приехали мои родители, полные восторгов от своего путешествия. Они были в Германии, в Швейцарии, Италии и Австрии. В Берлине бегали по музеям, восхищались всем виденным — от дворцов, музеев, церквей до магазинов и сортиров. Мать со свойственным ей темпераментом стремилась все увидеть, что полагается; отца тянуло больше посидеть в кафе

или пивной за кружкой «Märzbier» (мартовского пива) с сосисками и понаблюдать толпу. Впервые попав в Европу, они наслаждались налаженностью жизни, комфортом, чистотой, вежливостью людей… В Швейцарии лазили по глетчерам, доступным для массового туризма, видели восход солнца на Юнгфрау, ездили по зубчатой и канатной дорогам, были на озерах. Наслаждались всеми этими красотами, как полагалось, по «Бедекеру». Потом, в зрелом возрасте, они немного посмеивались над этой своей тогдашней наивностью, с какой они проделывали все полагающиеся маршруты и любовались «schöne Aussicht» (прекрасным видом) там, где это было предусмотрено.

В Италии они были в Милане и в Венеции. В этой стране отец оказался «на коне»: он отлично знал латынь и поэтому быстро научился объясняться с итальянцами, с которыми вообще легко говорить благодаря их хорошему отношению к иностранцам и большой веселости и гибкости ума. Мать же, прилично говорившая и понимавшая по-немецки, здесь оказалась в худшем положении. В Италии отец совсем изнемог от музеев и галерей и все чаще и чаще бастовал и сбегал в какую-нибудь «Locanda» или «Albergo», где просиживал долгие часы, пока мать изучала все достопримечательности. Через очаровавшую их Вену они вернулись в Россию. У меня сохранилась записная книжка отца — дневничок этого путешествия, и последняя запись в ней следующая:

«10 июля 1905 г. Вот она, граница. Все-таки как приятно увидеть русские рожи и услышать русскую речь. Милые рожи носильщиков — целая артель великороссов. И как жаль все-таки, что не попадаешь сразу в настоящую Россию, что нет этого русского контраста, который был бы так очарователен. Но и эта официальная, пограничная полу-Россия встретила неожиданно приятно и любезно».

Вообще весь этот дневничок, к сожалению, слишком интимный и личный, чтобы его можно было цитировать хоть по три-четыре строки подряд, рассказывает о молодых веселых русских актерах за границей. Об их восторгах, ссорах, насмешках друг над другом, о сильной, крепкой, молодой любви друг к другу. Без охов и ахов, они с открытой душой, с влюбленными в красоту сердцами, но одновременно и с юмором и критикой восприняли открывшийся им мир. Новый для них мир, так отличавшийся от тогдашней России…

1905 год

Вскоре кончилось и это лето, и мы все вернулись в Москву.

Начался новый сезон — сезон 1905/06 года. У матери да и у отца была уже к этому времени тесная дружба с М. Ф. Андреевой. Эта дружба была причиной того, что мать начала принимать деятельное участие в подпольной работе РСДРП. Ей давали разные поручения, главным образом по связи, передачам и т. д. Она их выполняла, видимо, хорошо. Это я заключаю из того, что задания становились раз от разу серьезнее и труднее. Мать моя была очень подвижна, ловка и очень отважна. Она была коренной москвичкой, знала город, по ее выражению, «как извозчик», знала проходные дворы, проходные парадные, через которые можно было с улицы попасть во двор или в сад, а там из сада через забор в другой сад и опять через дом на другую, далекую улицу. Изящная, хорошо одетая, владеющая бойкой, чисто московской речью со всеми прибаутками, поговорками и острыми словечками, она умела отшутиться и отбраниться в случае какого-нибудь столкновения. Это все было ей очень кстати при выполнении различных заданий: выяснить, «чиста» ли та или другая явка, отвести слежку, «раскрыть» филера (определить, что «извозчик» или «разносчик» на самом деле сыщик), передать письмо, сообщить пароль и отзыв и выполнить другие, такие же простые, но рискованные поручения.

Только много лет спустя, уже после Октябрьской революции, я узнал, что на адрес отца приходили из-за границы директивные письма для МК РСДРП, а от его имени шли за рубеж материалы для «Искры». Все это было глубоко засекречено, и ни отец, ни мать не были посвящены в содержание пересылаемого, но они охотно разрешали пользоваться своим адресом, а мать со всей энергией принимала самое непосредственное участие в технике пересылки, хранении и передаче всего, что проходило через ее руки.

Оба они сознавали риск, которому подвергались, но вера в необходимость революционной деятельности поддерживала в них полную убежденность, что отказаться от такого почетного и лестного риска мог только «трус и обыватель» (выражение отца) или уж отъявленный черносотенец. Прослыть же тем или другим было для них страшнее ареста, охранки и всех жандармов Российской империи. Общественное мнение, традиции, среда требовали от каждого честного интеллигента если не прямой революционной деятельности, то уж по крайней мере посильной помощи революционерам.

Знакомство с Н. Э. Бауманом, перешедшее в дальнейшем в теплую дружбу, произошло именно во время такой деятельности. Эта история уже многократно рассказывалась, мне ее повторять ни к чему, тем более что я не был, конечно, посвящен в эти дела. Помню только смешливого «дядю Тигра», как я его почему-то называл, веселую возню с ним, щекотку от мягкой бородки, которая попадала мне за шиворот, когда он, изображая зверя, загрызал меня — охотника. Ярче всего помню веселые, совсем не страшные глаза «зверя» и щекотно-ласковую бородку — ведь бороды в нашем актерском доме были редкостью.

Помню рассказ, почти сказку, которую мне рассказывала мать, сдерживаясь, чтобы не заплакать, что с ней случалось тогда очень, очень редко — она была совсем не слезлива. Рассказ был о добром человеке, за которым гнались враги; он убежал от них и долго ходил, больной и голодный, по улицам под дождем и снегом, в ветреную ночь поздней осени. Но он знал, что есть один дом, где его примут, обласкают, обогреют, накормят, напоят горячим чаем с малиновым вареньем и уложат спать в чистую, теплую постель под толстое пушистое одеяло. Там он будет в безопасности, ни один враг не будет знать, где он, там он сможет отдохнуть и подлечиться. Он уже предвкушал все это, когда поднимался по лестнице этого дома, но, когда позвонил и ему отворили, женщина, встретившая его, задала ему какие-то нелепые, непонятные вопросы и, еле выслушав его сбивчивые, бестолковые ответы, закрыла дверь перед его носом. Он, шатаясь от слабости, спустился и снова вышел под снег и дождь, но надежды на приют у него уже не оставалось.

Самое для меня тогда непонятное было то, что мать моя, такая беспощадная ко всем трусам, безжалостным, на мое возмущение и злобные слезы по адресу этой женщины сказала: «Она не виновата, она иначе не могла».

Это была не сказка — так оно было на самом деле: мать обещала принять и спрятать человека, который придет к ней в ту ночь, но он должен был произнести определенным образом построенную фразу-пароль, который Мария Федоровна Андреева заставила мать вызубрить абсолютно точно наизусть и велела никого другого, точно не знающего этот пароль, допустившего малейшую ошибку в его произнесении, не впускать. Больной Бауман — а это был он — забыл пароль, и мать его не впустила. Она была права — это мог быть охранник, и Бауман, придя после него, попал бы в ловушку. Но мать почувствовала, что пришел тот, кого она ждала. Она, выждав какое-то время, окольными путями помчалась к Марии Федоровне, рассказала ей о внешности приходившего, и та с огромным трудом, после ночи

беготни по всей Москве, под утро разыскала Николая Эрнестовича в каком-то извозчичьем трактире, напомнила ему пароль, и когда он вторично пришел в наш дом, то был принят и прожил у нас несколько недель.

В это время и завязалась крепкая дружба его с отцом и матерью, дружба, длившаяся до самой его страшной смерти.

В декабре, когда началось вооруженное восстание, мы жили в самом центре города, дом наш смотрел на боковой фасад Большого театра, на боковой фасад Солодовниковского театра (где была Опера Зимина) и на Благородное собрание (ныне Дом Союзов). И хотя окна нашей квартиры выходили во двор, место казалось уж слишком центральным и потому опасным. Говорили, что эсеры-боевики заняли Большой театр и укрепляют его, что верные правительству войска будут разносить его из пушек; говорили, что в Благородном собрании революционерами спрятана пушка, которая будет стрелять по войскам. Мне кажется, что у нас в семье особой тревоги не было, родители мои не были трусами и, главное, уж очень революционно были настроены, но тем не менее персонально меня решили «эвакуировать».

Очень ясно помню морозный декабрьский вечер и закрытую карету, в которой меня везли к Станиславским в Каретный ряд. Их дом, расположенный за бульварным кольцом, в тихой, населенной интеллигенцией и торговыми служащими части Москвы, казался им безопаснее нашего, стоявшего «на юру» дома.

Недели две я прожил под одним кровом с Константином Сергеевичем, и образ его стал мне много яснее и гораздо милее. Ничто не противоречило тому представлению о нем, которое вычеканилось во мне рассказами отца, но многое чудацкое, нелепое, смешное, во что, как в вату, любовно укутывал его своими рассказами мой отец, рассеялось, стало прозрачнее, а то и совсем исчезло. Сам я еще не умел видеть смешное во взрослых (кроме того, на что мне указывали), а светлое сияние благорасположения, теплый свет ласки, очарование приветливости и, главное, серьезный, вдумчивый, «на равных» интерес к моим высказываниям, к мнениям и ощущениям — все это чувствовал в какой-то непосильной мне мере. Совпадение такого восприятия Константина Сергеевича с тем, что, мне казалось, так же принимал его мой отец, наполняло меня огромным счастьем и гордостью. От этого я еще больше любил обоих.

Очень грело мою душу осознавание одинаковости построения миров дома Станиславских и нашего. Как у них, так и у нас был огромный центр мира — у них больший, у нас меньший (такое ощущение масштабов мне внушил отец), но единственный и

всеопределяющий. Этот центр ничего не делает для того, чтобы быть центром, — он только сияет, только распространяет свои лучи света, тепла, ума и добра. А то, что его окружает, поглощает это лучеиспускание и отражает его в обожании, в абсолютной преданности. Причем у них, как и у нас, обоготворение отнюдь не мешает высмеиванию, одергиванию и осаживанию, а иногда и пилению своего божества. Я уже знал и другие «миры» — бывал в других семьях и видел, что не у всех, далеко не у всех так, как у нас. Например, у Эфросов — он умнее, он лучше, но центр — она, потому что она считается лучше. Она (Н. А. Смирнова) решила, что она и умна и талантлива, а он (Н. Е. Эфрос) просто кадет-журналист. Решили, и вот те, кому так удобнее, верят в это. Но она была центром дома, а ни моя мать, ни Мария Петровна Лилина не были центрами, хотя (во всяком случае, Мария Петровна) имели на это не меньшее, чем Смирнова, право. Не были — потому что был центром Константин Сергеевич, а у нас — Василий Иванович. Бедный же Эфрос работал ночами, писал книги, был членом редакции одной из известных тогдашних газет, был умен, людьми уважаем, но из него центра не вышло.

Много сложных и долгих дум мучило мою детскую голову по этому поводу. Но сознание и чувство было: у Станиславских, Сулеров и у нас — правильно. У Эфросов, Дживилеговых и многих других — неверно.

За короткое время моего житья у Станиславских я на всю жизнь полюбил и его и Марию Петровну Лилину, жену Константина Сергеевича. Она больше всего несла в себе и щедро распространяла эту особую атмосферу нежности, но без нежничанья; любви, но без любезничанья; ласки, но без всякого поглаживания. Она была чуть суховата, чуть резковата, и мне она казалась не округлой и сладковато-липкой, как другие ласковые дамы, а жестковатой и шершавой почти до колючести. Но от нее исходило стойкое тепло и свет.

Значительно позже я понял то, что не умел себе объяснить тогда и только ощущал: Мария Петровна была нежна без сладости и женственна без бабства. Это тепло и суховато-жестковатая ласка, исходившая от нее, — это и было проявлением глубокой утонченной аристократической женственности.

В первую же ночь я проснулся оттого, что кто-то укрывал меня одеялом — подтыкал его под перинку. Это была Мария Петровна, а в дверях стоял Константин Сергеевич и, разглядывая меня из-за Марии Петровны, смешно, как птица, поводил головой. Он о чем-то (по поводу меня) спросил ее, и она ответила: «Да, очень хорошо». Никто не поцеловал меня, только Константин Сергеевич от двери перекрестил, и я уютно и счастливо заснул.

Марию Петровну мой отец считал самым строгим и справедливым ценителем актерского искусства и верил ей, ее вкусу, пожалуй, больше, чем кому бы то ни было, включая сюда и Константина Сергеевича и Владимира Ивановича. Не верил ей он, только если играл роли Константина Сергеевича — Вершинина, Ракитина, Гаева, Штокмана: считал, что она после Константина Сергеевича в его роли никого принять не может. В Штокмане он так ей и не показался, но говорил, что очень ее отзыва ждет — трепещет.

Василий Иванович вообще не верил в беспристрастие актера, если речь шла о его, этого актера, ролях. Он говорил, что в роли, которую когда-либо играл, не может принять другого актера, что это органически невозможно. Отношение же Марии Петровны к ролям Константина Сергеевича он, видимо, приравнивал к отношению актера к своим ролям.

Мать моя тоже очень ценила Марию Петровну, считала ее самой настоящей, самой непосредственной, ничего из себя не пытающейся изобразить, среди женщин, которых знала. Действительно, мне кажется, что ложь, ломанье, разрыв между «казаться» и «быть» были абсолютно несовместимы с внутренним обликом Марии Петровны. Несправедлива, небеспристрастна она была только во всем, что касалось Константина Сергеевича. Особенно если ей казалось, что кто-то недостаточно ценит его, кто-то недостаточно чтит его. Как-то она показала Василию Ивановичу стихотворение Блока «Я вам поведал неземное» и сказала, что это написано о Константине Сергеевиче и актерах МХТ. Это была абсолютная убежденность и твердая вера. Не идущие безоговорочно за Константином Сергеевичем, сомневающиеся, где-то и в чем-то несогласные с ним — это те, о ком сказано: «Ваши девы слепы, у юношей безогнен взор. Назад! Во мглу! В глухие склепы! Вам нужен бич, а не топор!» Она шла за ним и верила ему безгранично, хотя на репетициях спорила с ним, но эти споры были только приемом, чтобы крепче убедить себя в его правоте. Она как бы подставляла ему свои возражения для разбития их, для заострения на них его диалектики. Иногда же она высказывала свое несогласие для того, чтобы, разбивая ее, он убеждал других. Она сама делала этим из себя подопытного кролика. При этом оба входили в азарт, она — забывая свою первоначальную цель, он — не зная о ней, и ссорились до взаимных обид.

Отец считал Марию Петровну замечательной актрисой, безусловно лучшей актрисой Художественного театра. Он говорил, что она не стала великой актрисой главным образом потому, что сама себя не видела такой. Она была не то чтобы

скромного мнения о своем актерском качестве, нет, она признавала себя хорошей актрисой, но была убежденно «вторым» человеком и художником. Вторым при великом первом. Это было, видимо, следствием структуры ее домашнего мира. То же ощущала, но уже жалуясь на это, моя мать — она была убеждена, что ее личная жизнь погубила ей карьеру, что, если бы она была сама по себе (а не жена Качалова), она бы добилась большего. Чтобы доказать это себе и другим, она в 1907 году подписала на сезон контракт к Незлобину в Ригу, взяв годовой отпуск в Художественном театре. Там она заболела, стала хромой и потеряла возможность работы на сцене на долгие годы.

Судьба матери, мне кажется, одна из самых трагических, какие я знаю. В тридцать лет в результате болезни, начавшейся с нарыва в ухе и перешедшей в общее заражение крови, она перестала быть актрисой, пробыв ею довольно (а в провинции даже очень) успешно все десять лет; лишилась возможности рожать (а в детях она хотела бы видеть утешение в потере сцены), потеряла возможность быть самой собой — она была энергична, ловка и спортивна, физически великолепно развита, любила танцы, прыжки, бег, дальние прогулки, — а стала хромой, требующей чужой помощи даже для того, чтобы вымыться и одеться. Так в тридцать лет она одним ударом судьбы была выбита из жизни.

Несмотря на все эти несчастья, не выдуманные, не преувеличенные, а действительные, она не потеряла воли к жизни. Правда, несколько раз до меня доходили ее разговоры о самоубийстве, о покупке револьвера для этой цели, но разговоры эти были, мне кажется, не совсем серьезными. Больше в них было мысли о том, что «всякий другой на ее месте покончил бы, мол, с собой», что жить после того, что с ней случилось, как-то вроде и неприлично… Сила жизни, энергия, крепость привязанности ко всему земному были в ней мощнее самолюбивых соображений о том, что бы сделал на ее месте «другой» — характерный для того времени, якобы по-настоящему мужественный человек.

Ведь это был период самоубийств. Много людей в нашей среде и компании пошли этим путем за гораздо менее убедительными зовами, чем те, что были у нее. Но как только от «скамеечки» она перешла к двум палкам, потом к одной, потом к зонтику (правда, с особо крепкой, стальной основой) — все изменилось, она начала вести хозяйство, принимать у себя, ходить по гостям, заниматься моим воспитанием, а вскоре ее пригласили в лучшую тогда драматическую школу Адашева, и она начала педагогическую работу, которую и вела почти до конца жизни, то есть лет сорок пять.

Всему, что она делала, она умела отдаваться (вернее, не умела не отдаваться) целиком и полностью. Все, что она делала, всегда казалось ей самым главным, самым важным, самым решающим. Для тех, кого она учила, ради кого работала, она была готова на все. Для тех, кто был рядом, но не с ней, она была невыносима. Ее бурная энергия сметала все, что было на ее пути. Она не знала усталости, у нее никогда не возникала мысль о том, что и кто-нибудь еще может выполнить ее работу, нет — она все всегда стремилась сделать сама. Работать с ней было тяжело — она никого (как и себя) не щадила, ничего никому не спускала… Давалось ей это все с трудом — ведь авторитета больших мастеров у нее не было, там, где тем достаточно было высказать желание, ей надо было продалбливать стены. И она их продалбливала. Но зато для опекаемых ею она могла своротить горы.

Режиссерскую и педагогическую работу, особенно с женщинами, Нина Николаевна вела очень хорошо. Находила тонкие и яркие манки для актерской фантазии, очень чувствовала фальшь, очень умела бороться с нею. Не мне об этом судить, но мне кажется, что у нее было острое психологическое чутье, особенно к женским драматическим образам и к женским средствам актерской передачи. Во всяком случае, я часто слышал да и теперь слышу благодарность ей от многих актрис, с которыми она работала.

Вот так, трудом, Нина Николаевна победила свое несчастье, свое отчаяние… Разговоров о самоубийстве я уже не слышал больше. Наоборот, она как-то закалилась, душевно окрепла. И если огорчалась и раздражалась из-за мелочей, то серьезные удары умела переносить удивительно спокойно и мужественно. Не хочется нарушать хронологическую последовательность рассказа и перескакивать через десятки лет, а то бы я мог рассказать о том, с какой выдержкой, как храбро и спокойно она вела себя во время бомбежек, как находчива и деятельна бывала у постели тяжелобольных, как не терялась и не пугалась при разных несчастных случаях, быстро находя себе самое нужное в этот момент дело, и как энергично и оперативно действовала.

Заграничная поездка театра 1906 года

В январе 1906 года была решена заграничная поездка всего театра.

К этому времени выяснилось, что часть нашего дома должны сломать, чтобы строить новый, «громадный» (в четыре этажа!), и мы должны были на следующий год оказаться во дворе-колодце или переехать в новую квартиру на четвертом этаже нового дома. Выбрано было второе. Видимо, лучше стало с деньгами.

Все выходило удачно: за время поездки закончат новый дом, и мы осенью переедем туда. Но главным было, конечно, не это, а самая поездка всей труппой, со всеми друзьями в Берлин и Вену, которые отец и мать уже знали по прошлогодней поездке, в Прагу и в рейнские города, о которых они только мечтали.

Решили ехать всем семейством, то есть со мной и с моей бонной. Сборы и дорогу помню плохо, но приезд в Берлин и устройство в пансионе у фрау Линде помню отлично. В пансионе поселились из экономии: условия поездки были такие, что надо было жить на половинное против московского жалованье, а нас было четверо. Приняла нас фрау Линде необыкновенно приветливо. Я был и Engelchen (ангелок), и süßes Kind (милый ребенок), мать — gnädige Frau (милостивая государыня), отец — Exelenz (превосходительство), фрау Митци — meine Allerliebste (моя любезная).

Оказывается, снимавший комнаты агент администрации сказал, что мы из высшего русского дворянства, отец не то генерал, не то тайный советник и т. д.

Через два дня выяснилось, что мы актеры. Все резко изменилось. Подушечки, коврики, дорожки, которыми была в изобилии украшена комната, исчезли. Потом стала исчезать и заменяться на плохие предметы мебель. Потом постельное белье и, главное, — потому что стало холодно спать — Federbett'ы (перинки) были заменены старым рваньем. Посуда к трапезам стала подаваться скверная, обеды и завтраки стали несъедобными. Уборка прекратилась, а при обнаружении нами сора хозяйка сквозь зубы бормотала: «Lumpen!» («Отребья!»)

Жить стало невыносимо. Решили переезжать. Хозяйка, когда ей об этом сообщили, сказала, что она не возражает, так как у нее приличный дом и «актерам и другим цыганам» у нее не место, но потребовала платы за все три недели, на которые была снята комната. Разразился грандиозный скандал. Больше всех старалась

моя Митци: благодаря своему немецкому языку она чувствовала себя защитницей нашей семьи, ее естественной опорой и покровительницей. Крик был стеносокрушающий, отец сбежал, мать была больна и лежала в постели. Навещавший ее друг нашей семьи Н. А. Подгорный подбежал к ней и потребовал сообщить ему какое-нибудь ругательство. Мать сказала ему: «Stillschweigen!» («Замолчать!»), и он подскочил к хозяйке, поднял кулаки над головой и завопил во всю мощь своей актерской глотки. Хозяйка испугалась почему-то и, хлопнув дверью, убежала. Дело кончилось тем, что представитель русского консула с представителем германского министерства иностранных дел и с агентом специальной полиции наблюдали за нашим переездом на новую квартиру. Хозяйка опять лебезила и плакала о том, что из-за недоразумения и интриг этой подозрительной личности, фрау Митци, она лишается таких хороших жильцов.

Следующая квартира была совершенно противоположной — приняли нас сухо-вежливо, но потом так подружились, что при расставании рыдали. Там были кроме хозяйки, которую я не помню (а это тоже хороший признак), ее отец и мать. Прелестные старички «ума» и «упа», которые баловали меня — она пряниками, а он — чтением Священного писания и обучением молитвам и псалмам. Их внуки — восьмилетний Йорх и шестилетняя Лотта — были моими друзьями. С детьми я вскоре стал бегать в детский сад, а по воскресеньям мы всей семьей (я разумею свою новую «немецкую» семью) ходили в кирху, где я по мере сил пел лютеранские псалмы. Мои родители уехали в поездку по Германии и Австрии, а я с фрау Митци жил в этой уютной семье.

Пока мы жили еще на первой квартире, с родителями произошел следующий казус. Они довольно большой компанией актеров (Лужский с женой, Румянцев, Подгорный, наши) отправились в полицейский участок регистрировать свои паспорта. Вошли во двор, остановились у входа, увидели ручку звонка подергали ее — над ручкой была надпись: «Bei Alarm — ziehen» («По тревоге дергать, тянуть»). Через несколько секунд мимо них, придерживая тесаки, пронеслись пять-шесть шуцманов, наши побежали за ними, чтобы посмотреть, что случилось. Шуцманы, добежав до улицы, с недоумением остановились, постояли и вернулись обратно. Спросили наших, не видели ли они, кто дергал ручку. Наши сказали, что это они. Полицейские рассвирепели — ведь надо же быть ослами, чтобы не прочесть «Bei Alarm» («По тревоге»). Покачивая головами, возмущенные и пораженные глупостью «этих русских», шуцманы с нашими

ввалились в участок. Там и поражались и смеялись. Но когда мой отец на вопрос, сколько он зарабатывает, назвал, с точки зрения шуцмана, слишком крупную сумму и тот изумленно спросил: «Warum so viel?» («Почему так много?»), а отец ответил: «Aber nicht allein, mit meiner Gemüse» («Но не один, со своей овощью»), — весь участок грохнул; отец слово «Gemahlin» («супруга») спутал с «Gemüse» и назвал овощью мою мать.

Участок хохотал долго и громко, как могли хохотать пруссаки, да еще военные, и зарегистрировал паспорта без всяких формальных придирок. Хохотали и в театре, где прозвище укрепилось за матерью на несколько месяцев. В. В. Лужский даже меня называл иногда «kleines Gemüse».

Особенный интерес, главным образом, зависть, вызывал во мне один из «мальчиков» в труппе. Это был юный Ванечка Гремиславский, сын главного гримера МХТ Якова Ивановича Иванова-Гремиславского.

Потом, когда мы с ним вместе работали и он был моим начальником, воспитателем и учителем, я с удивлением узнал, что ему было тогда уже двадцать лет. Я же помню мальчика Ваню, мальчика с фотоаппаратом. Завидовал я его необыкновенной воспитанности, элегантности, аристократичности. Это был образцово-показательный мальчик. Все дамы МХТ — П. А. Калужская, Е. М. Раевская, Е. Н. Немирович-Данченко — были от него в полном восторге. «Откуда это, ведь родители же простые ремесленники, а мальчик просто лорд!»

Мне ставили в пример воспитанность и Миши Немировича, и Саши и Жени Калужских, но Ваню даже и в пример не ставили. Видимо, он был на совершенно уже недосягаемой для меня высоте. Можно ли было себе представить, что этот нежный мальчик превратится в человека железной воли, кипучей энергии, титанической трудоспособности и выносливости.

Воспоминания мои об этой поездке настолько личны и ребячливы, что не заслуживают внимания. Из рассказов взрослых помню восхищенный рассказ отца про то, как Владимир Иванович бил цилиндром по физиономии какого-то огромного роста пожарного, который позволил себе «поухаживать» за Кирой Алексеевой (дочерью Константина Сергеевича) — дернул ее за косу, когда она в костюме «белоснежки» в «Царе Федоре» шла через сцену. Владимир Иванович дрался цилиндром, так как рукой дотянуться до лица верзилы не мог. Я тоже восхищался этим и мечтал, чтобы кого-нибудь побил и мой герой — Константин Сергеевич. Этого не случилось, но зато мой отец подрался и побил какого-то немца.

Дело было так. Компания актеров Художественного театра

ужинала в одном из лучших берлинских ресторанов; в составе ужинавших были молодой миллионер, друг и пайщик Художественного театра Н. Л. Тарасов и его друг, впоследствии актер Художественного театра Никита Балиев. За соседним столом кутила компания буршей. Один из них нарисовал что-то непристойное и, протянув свой рисунок Балиеву, показал на его лицо, желая дать понять, что лицо Балиева похоже на зад. Балиев ответил дерзостью, чем вызвал у немцев возмущение, и один из них сказал: «Мало вас, русских, били!» Отец, по его словам, трезвый, но очень недовольный всей этой сценой и разозленный, подошел к буршу, сказал: «А вот так бьют обнаглевших немцев!» — и ударил его кулаком по лицу. Видимо, счет, который предстояло оплатить Тарасову, был больше счета буршей, или просто компания русских была официантам и метрдотелю симпатичнее, но буршей с большой скоростью выдворили из ресторана, а наши продолжали ужинать. Вспоминая эту историю, отец в 1914 году говорил, что первым войну с Германией начал он.

Много смешных рассказов ходило о наших актерах — про заказ обеда по немецкому меню: ткнул пальцем — суп, ткнул другим — мороженое, ткнул третьим — зубочистка. Про твердо выученное «битте дункель»[3], про меня, как я поцеловал в Дюссельдорфе руку подарившему мне плитку шоколада портье гостиницы. Про маленького Леню Леонидова, как он, заблудившись ночью в гостинице, переночевал в постели у каких-то посторонних пожилых супругов. Про Загарова, как он вез в город, где была хорошая вода, бутыль воды из другого города, где вода была плохая, и при выходе разбил трехлитровую бутыль и облил какую-то барышню, которая подняла дикий визг, и встречавший ее офицер уже обнажил саблю, чтобы кровью смыть оскорбление, нанесенное его невесте водой. Смеха, как всегда, было очень много, недоразумений, путаниц, оговорок («Уж больно Дрезден я, великий государь») у Артема и у других было много. Много их и выдумывали.

Поездка была, видимо («видимо» — потому что я о ней судить не могу), изумительная. Молодая, дружная, талантливая труппа имела действительно большой успех. Удивление вызывала высокая культура труда, прекрасное искусство, высота этики, великолепная дисциплина, умение себя держать…

По всей Средней Европе театр прошел триумфально. Работали бешено и жили весело. Радость творчества и радость жизни сливались в одну великую радость.

Весной приехали в Варшаву. Это уже была Российская империя, но именно здесь театр чувствовал себя самым

нежелательным, самым чужим. Польская интеллигенция, упорно боровшаяся за свою национальную культуру, против обрусительной политики Российской империи, видела в приезде русского драматического театра еще один великодержавный прием для уничтожения польского национального духа. Но истинная человечность Художественного театра покорила и их. К концу гастролей вокруг театра создалась атмосфера дружбы и признания. Это не мешало приказчикам в магазинах «не розумить по-русску», а встречным прохожим направлять «москалей» в обратном спрашиваемому направлении. Но это были булавочные уколы по сравнению с глубоким дружелюбием польских актеров, художников, писателей. Часто впоследствии я слышал воспоминания об этих варшавских гастролях как об одной из самых трудных и славных побед Художественного театра.

Отец, недурно говоривший по-польски, знавший наизусть и с большим темпераментом читавший кое-что из Мицкевича, польские басни, рассказывавший по-польски несколько смешных анекдотов и отлично, чисто по-польски танцевавший мазурку, имел кроме актерского еще и большой светский успех.

«Приезжайте — будете довольны»

Сезон, очень тяжелый и утомительный, заканчивался. Надо было подумать о летнем отдыхе. И тут как раз вовремя пришло письмо от Сулера, который в поездке не участвовал и в это время был в Крыму, около Алушты, в поселке, который назывался «Профессорский уголок». Сулер писал, что это рай: солнце, море, деревья, луг — все чудесно, и что ждет всех туда. Мать написала ему письмо, состоявшее из десятков вопросов: везти ли с собой постельное белье, посуду, хорошее ли молоко, какая вода, далеко ли врач и т. д. и т. п. — все, что может интересовать мать довольно избалованного ребенка и жену, очень заботившуюся о здоровье своего мужа, и женщину, уже привыкшую к известному комфорту.

Сулер ко всему этому относился гораздо легче и, любя и ценя мою мать, считал в то же время, что эти барские привычки надо в ней истреблять, что она лучше, чем сама себя выказывает, что в ней «барство» наносное, и, главное, считал, что лучше не испорченной человеком природы на свете ничего нет. Он ответил короткой телеграммой: «Приезжайте — будете довольны. Сулер». Наши поверили этому сообщению и, заехав на несколько часов в Москву, в которой даже квартиры не было, поехали в Крым.

Помню красивый Севастополь с его аквариумом и путешествие на пароходике до Ялты и на катере от Ялты до Алушты. Это было мое первое морское путешествие, первая встреча с морем. Была мертвая зыбь. Я запомнил ее как «мертвый язык» — морской болезнью страдали все, я один был бодр и весел и требовал, чтобы меня вели на палубу или отпустили туда одного. Повел меня, так как одного меня не пускали — «его же смоют волны», — зеленый и шатающийся от морской болезни Подгорный (Бакуля, как его почему-то звали у нас в доме). Никаких волн не было, но пароходик, действительно, качался и укачивал всех пассажиров. Митци моя выла и молилась, она как-то особенно страдала. Я чувствовал свое превосходство и был им горд.

«Профессорский уголок» оказался прелестным местом, но удобства были сомнительными. Вместо кроватей были козлы с досками, на которые клали мешки, набитые соломой или водорослями; белья постельного не было — спали на ряднах и укрывались ими же. Посуды было «крест да пуговица». Но было так красиво, тепло и душисто, Сулер и его очаровательная добрейшая жена Ольга Ивановна были так веселы и радушны, что моя мать махнула рукой на все свои вопросы и запросы и решила

жить «как птицы небесные», как ее учил жить Сулер.

Через два дня в Ялте должен был идти спектакль «Сын мандарина», который организовал и в котором участвовал Сулер. Все взрослые отправились туда. В нашем отстоящем довольно далеко от других домов домике остались только дети и прислуга во главе с моей Митци.

Я проснулся на раннем рассвете, дрожа от холода, сидя под кустом на одеяле — в четырех-пяти саженях от меня пылал наш дом. Другие ребята — Митя Сулержицкий и Тамара и Лель (племянники О. И. Сулержицкой-Поль) — сидели недалеко от меня и таращили заспанные глаза на огонь. Кухарка выла, нянька Полей кидалась в огонь, пытаясь хоть что-нибудь спасти. Митци ухитрилась вытащить все наше имущество, которое за неимением шкафов лежало в чемоданах, и ругала на своем русско-балтийском диалекте «глюпых думкопфов» и «русских таугенихтсов», затеявших эту сумасшедшую поездку, когда можно было жить на Остзее со всеми удобствами и в цивилизованной стране, а не среди «диких татар».

Дом догорел весь, и крыша рухнула и провалилась между сложенными из дикого камня стенами.

Утром появился Сулер прямо из зарослей, посмотрел, присел от удивления, проверил — целы ли все, и исчез в кустах. Он ехал с моими родителями и с Ольгой Ивановной на извозчике, и, когда начался «серпантин» (петляющая дорога), его охватило нетерпение, он выскочил и взбежал по крутизне к нашему поселку. Исчез он, чтобы встретить всех и подготовить к страшному зрелищу.

Мать рассказывала, что он скатился с обрыва прямо под ноги лошадям так, что они чуть не встали на дыбы, и сказал: «Все живы и здоровы, но дача сгорела, не пугайтесь». Через два-три поворота им открылась картина пожарища. Нас все щупали, целовали, плакали от мысли, что бы могло быть, если бы… Целовали и благословляли гордую Митци, которая первая услышала запах дыма и разбудила всех, когда крыша была уже вся в огне.

Мать вспоминала, что в первую паузу Василий Иванович сказал: «Вот уж действительно: „Приезжайте — будете довольны. Сулер“». И, несмотря на весь трагизм, на все слезы и вздохи, вся компания во главе с Сулером грохнула от неистового смеха. Эту фразу в нашей среде повторяли десятки лет, когда случалось что-нибудь не соответствующее ожиданиям или надеждам.

Кроме сгоревшего дома на участке стояла еще частично застекленная беседка. В ней вповалку на полу поселились все «погорельцы». Из камней, оставшихся от сгоревшего дома,

сложили печку-очаг (когда клали печь, я ухитрился ввалиться и сесть в кадку с жидкой глиной — тут родилось знаменитое сулеровское «от бисова тиснота!»), и жизнь продолжалась совсем уже «по-простому», что так нравилось Сулеру, а потом было оценено и всеми.

Сулер воспитывал всех. Самого ленивого из компании, Василия Ивановича, он заставлял собирать дрова, мыть посуду (это было нетрудно, посуды было меньше, чем едоков), приносить с огорода редиску. Как-то он спросил: «А почему нет редиски?» Отец ответил: «Никто не хочет». — «А ты спрашивал, сукин сын?» — и погнал его на огород, подхлестывая по ногам веревкой.

Каждое утро Сулер собирал всех жителей от мала до велика «на великий совет племени» и распределял, кто что делает. Портила дело Митци — она была слишком взрослой, не такой «сумасшедшей», по ее мнению, и слишком глупой, по мнению Сулера, чтобы играть в индейцев, как глупые мальчики, и не приходила на совет. Остальные же все являлись и весь день выполняли намеченный план работ и занятий. Работа заключалась в собирании горючего, уборке «вигвама» и его окрестностей, приготовлении пищи и т. п. Один из взрослых должен был «пасти» детей.

Нашим праздником было, когда «пастухом» бывал сам «дядя Лёпа». Он делал это необыкновенно талантливо, каждый раз придумывал какую-нибудь новую игру-задание. То мы были робинзонами на необитаемом острове и обследовали его вдоль и поперек, выясняя, какие растения можно есть, какие нельзя и почему, что из растущего и как можно использовать. То мы попали в безводную пустыню и нашли в ней источник — надо было очистить его и сделать резервуар для воды. То мы искали алмазы и для этого изучали песок и гравий в море. Эти игры помогали нам познавать природу и делать полезные людям дела — мы обнаружили, очистили и обложили камнями несколько источников питьевой воды, которая так дорога в Крыму.

Мне кажется, что мы *все* получали очень много от этой жизни и игры, все, не только дети, но и взрослые, если они не были такими безнадежными мещанами, как моя бонна. Но такая была одна она, все остальные играли с удовольствием. Засыпал я всегда под пение, руководимое Сулером, под его рассказы, прерываемые веселым хохотом и восклицаниями. Дальше я еще раз вернусь к Сулеру — третья встреча моя с ним была уже более сознательной, чем первые две.

Не помню, что было причиной нашего отъезда, но в середине лета наше семейство переехало — с коротким заездом в Москву, где мы жили в меблированных комнатах какой-то родственницы,

кажется крестной матери Н. А. Подгорного, — в Тверскую губернию, в имение Панафидиных — «Марицыно». Там была снята дача, вернее, флигель — служба при барском доме. Места были красивые, хорошие луга, леса, узенькая лесная речка. Много грибов и ягод. Из смешного помню быка под названием Румянцев. Это был огромный рыжий бык с кольцом в носу, очень злой, считавшийся опасным, но наши, главным образом живший с нами Н. А. Подгорный, приучили его подниматься по нескольким ступенькам к нам на террасу и мычанием выпрашивать хлеб. Морда у него в это время делалась, как говорила мать, «прохиндейской». При хорошем отношении и злое существо делается ласковым, это мне внушали и доказывали и словами и примером.

Из страшного, тревожного я запомнил разговоры об арестах и казнях революционеров и возможности новой вспышки революции. Об этом все время говорили и спорили. Возможно, что из-за этого мы раньше уехали из Крыма, боялись, что в случае железнодорожной стачки, которой ожидали, мы будем уж очень далеко отрезаны от Москвы. Тверская губерния была ближе, можно было бы и на лошадях доехать. Там же, у соседей Панафидиных, у каких-то потомков пушкинских Вульфов, жили Санины, тогда очень дружившие с моими родителями.

Александр Акимович Санин был одним из основателей Художественного театра, он работал с Константином Сергеевичем в Обществе искусства и литературы. Женой А. А. Санина была Лидия Стахиевна Мизинова (Лика).

Еще одно, имевшее большое значение для всего нашего семейства, а для меня особенно, событие явилось результатом этого лета и посещения имения Вульфов: нам там подарили щенка, жесткошерстного фокстерьера, сучку по имени Джипси. Эта собака прожила со мной все мое детство, отрочество и раннюю юность. Это была моя первая «собачья любовь». От пяти до восемнадцати лет она была мне после родителей самым близким существом на свете. Когда мы с отцом, я в тридцать, он в пятьдесят шесть лет, вспоминали самые счастливые минуты нашей жизни, то одной из самых счастливых моих минут оказалась та, когда вернулась домой пропадавшая три или четыре дня (видимо, украденная) наша Джипси. Отец подумал и сказал, что, пожалуй, это утро было и для него если не самым большим счастьем, то, во всяком случае, радостью, оттого, что миновало очень большое горе. Для меня Джипси была другом моего детства (я рос без братьев и сестер); для родителей привязанность к ней была большим и серьезным чувством. Это не было ни кривляньем, ни сантиментом — собака всегда была у нас близким и родным

существом. Без собаки не жили никогда.

Когда отца, который увлекся новой собакой, мать спросила: «Ты что же, Чаплина (нового пса) любишь больше Изоры?» (собака, жившая у нас со щенячьего возраста), — он ответил: «Ну что ты! Отношение к Чапке пока так, юмор, а к Изоре у меня серьезное, большое чувство», — и это не было сказано для смеха, нет, так у нас относились к собакам. Ну а Джипси — это ведь для них кусок лучшего времени жизни, кусок молодости…

Когда мать была смертельно больна, отец в тоске одиночества пил по ночам коньяк, а Джипси ела сахар, пропитанный коньяком, — под конец они оба хмелели и засыпали. Последняя запись в дневнике отца за сентябрь 1948 года, за десять-двенадцать дней до смерти: «Единственное утешение Люк». Это последний пес в его жизни.

А воспетый Есениным легендарный Джим? С ним у отца была настоящая дружба, и гибель его была для отца серьезной драмой. Он часами мог наблюдать собаку, ее поведение, изменение ее настроений, проявления ее характера… Бесконечно ценил и наслаждался ее юмором, коллекционировал свои наблюдения над ней и со смехом потом делился ими. Причем у него не было в этом никакого антропоморфизма, он совсем не приписывал собаке человеческих мыслей и чувств, он знал, что главным двигателем ее поведения являются инстинкты и условные рефлексы, но это не мешало его радости от общения с животными.

В последние годы жизни большую роль для отца стали играть дети. Он стал искать близости с ними и научился находить с ними общий язык. Когда же он был моложе, он очень стеснялся детей и избегал их — не умел пристроиться к ним… Видимо, искреннего интереса не было, а фальшь и притворство были ему всегда противны. С животными же он и в молодости не стеснялся и легко завоевывал их любовь и доверие, которые доставляли ему много радости.

Быт и среда

Зима 1906/07 года была для отца очень трудной, он очень много играл и репетировал. В этот сезон он сыграл две такие грандиозные роли, как Чацкий и Бранд. Однако это не помешало ему жить необыкновенно весело. Дом моих родных был всегда, а в эту зиму особенно, открытым домом. И. М. Москвин называл его «Бубновским бесплатным трактиром» («На дне»). Народ бывал почти каждый вечер, вернее, каждую ночь. После спектакля, часам к двенадцати, приходили к нам ужинать и сидели часов до двух-трех. Не знаю, много ли пили, думаю, что не особенно, так как пьяных не бывало, но вино (вернее, водка и коньяк) присутствовало обязательно. Еда была несложная, то, что оставалось от обеда, и селедка, огурцы, маринады. Часто гости приносили с собой какие-нибудь деликатесы: кто украинское сало, кто замороженные сибирские пельмени, волжскую стерлядь, петербургского сига, рижские копчушки или угри. Эти вещи ценились, именно если были привезены кем-нибудь из этих мест, хотя, вероятно, ими торговали и в Москве. Отцу, например, приезжие из Вильно всегда привозили литовскую полендвицу, она у нас не переводилась.

Кроме этих еженощных сидений раза три-четыре в сезон устраивались большие вечера уже с приглашениями и с подготовкой. Бывало по двадцать пять — тридцать человек. Мать тщательно занавешивала окна и останавливала часы, чтобы рассвет и стрелки часов не разогнали гостей. Видимо, бывало очень весело и интересно, потому что засиживались до позднего утра — расходились, когда надо было идти на репетиции или на утренние спектакли. Меня часто переселяли на эту ночь куда-нибудь к знакомым, чтобы мое присутствие не стесняло гостей и чтобы я мог нормально спать. Иногда же утром, когда мне не удавалось устроить ночлега вне дома, я после почти бессонной ночи (так как заснуть при шуме споров, пении, музыке было трудно) выходил в столовую — там еще пили кофе и спорили об искусстве, боге, поэзии одни, пели под гитару другие, дремали на диване в ожидании, пока подойдет время идти на работу, третьи. В разные годы в нашем доме бывали многие люди театра и литературы; вот приблизительный список тех, кто бывал: Эфрос Николай Ефимович, литератор, театральный критик; Надежда Александровна Смирнова — актриса; ее брат Александр Александрович Смирнов, юрист и переводчик; поэт Ю. К. Балтрушайтис, Алексей Карпович Дживилегов — ученый, литературовед и искусствовед, его жена Екатерина Нерсесовна —

хозяйка московского «салона»; Санины — он, его жена Лика, сестра-переводчица, брат — врач и актер Дмитриев; художник, искусствовед и театровед Кайранский; юристы Лидов и Мандельштам; И. М. Москвин, Е. П. Муратова, Н. Ф. Балиев, М. И. Шуванов, Н. А. и В. А. Подгорные, М. М. Блюменталь-Тамарина, Н. Н. Званцев, Н. П. Асланов, Л. А. Сулержицкий и актерская молодежь: Коонен, Гиацинтова, Берсенев и другие.

Кроме обычных гостей почти всегда бывал кто-нибудь в первый раз (потом он иногда делался постоянным) — так, был скрывавшийся под другой фамилией Н. Э. Бауман, раз или два были Горький, Блок, Константин Коровин, Шаляпин, Собинов, Бахрушин, доктор Боткин, Леонид Андреев… Приглашались не за именитость, никакого «салона» составить не пытались, звали людей веселых, умеющих веселиться и веселить других.

Бывал брат актрисы Художественного театра Ефремовой, которого звали из-за того, вернее, для того, чтобы он организовал цыганщину, и он иногда приводил с собой цыган — миловидную Шуру Мархлаенко и старуху Настю Полякову — и сам аккомпанировал им на гитаре. Шуванов играл на саратовской гармонике и чудно пел. Москвин организовывал русский хор, Сулер — украинский… Где-то в другой комнате читали стихи отец, Вл. Подгорный, острили и каламбурили Балиев, Асланов, Дмитриев… Но больше всего спорили. Спорили до хрипоты, визга и оскорблений, с трудом мирились (а иногда и не мирились, и кто-нибудь уходил, хлопнув дверью, и мирились уже на следующий раз) и опять спорили.

Темы споров были самые разнообразные — и о политике (ведь бывали эсдеки, кадеты, анархисты и даже монархисты) и о философии и религии: Христос и Маркс, Толстой и Ницше, Спиноза, Шопенгауэр, Кант, Гегель, Платон, Блаватская, Достоевский, Розанов, Мережковский, — все имели здесь своих ярых и темпераментных адептов; и об искусстве и, главное, о театре, ролях, актерах, пьесах, режиссерах, спектаклях.

Эти споры были основным содержанием вечера. Все остальное — пение, музыка, шутки и розыгрыши — было больше гарниром к основному — к беседе, к высказыванию своих убеждений, исповеданию и проповедованию своей веры… И так как думали и верили искренне и глубоко, так как свои мысли любили и ценили, то, конечно, стремились убедить и других (одни), утвердить себя в своих убеждениях, укрепить в себе свою веру (другие), — возникали знаменитые русские интеллигентские споры. Интересно, что злее, яростнее всего спорили самые близкие, самые родные (буквально) друг другу люди. Например, не было более резких контроверз, чем у Н. А. Смирновой с ее

братом. Он разбивал ее теории, громил ее построения, доказывал ей ее диалектическую беспомощность, отсутствие логики, несостоятельность мышления… Она плакала, взывала за помощью к Эфросу, тот не поддерживал ее, так как не был с ней одних убеждений, а отступить от них он не мог даже ради уважаемой и бесконечно обожаемой жены. Споры были глубоко принципиальными, никто и ничего личного ими не добивался, ведь люди были все друг от друга независимы, никто ничьих симпатий или благоволения в корыстных или карьеристских целях не завоевывал. Эти люди были нужны друг другу только как друзья, приятели, как питательная среда для своей умственной деятельности. Они тянулись друг к другу и потому тоже, что искали радости, веселья, потому что были приятны друг другу, потому, что составляли компанию, в которой просто, легко и уютно сиделось, хорошо елось и пилось…

Ели и пили, конечно, много. Вечера матери славились вкусностью, обилием еды и питья. Еще накануне мать делала свой знаменитый «соус провансаль», который подавался и к заливной белуге, и к раковым шейкам, варенным в вине, и этим же соусом заправлялся грандиозный салат. Пили водку и заготовленный в двух ведрах крюшон из белого вина, фруктовых отваров и шампанского. К концу ужина пили кофе с коньяком, утром — чай и опять водку под яичницу с черным хлебом. Стоили эти вечера по сто пятьдесят — двести рублей каждый. Вообще пропивали, вернее, проугащивали очень много денег. Это видно из того, как строился бюджет. Отец получал сначала около тысячи, а потом и тысячу рублей в месяц, на все хозяйство мать брала у него триста рублей — их хватало на квартиру с отоплением и освещением (сто двадцать рублей в месяц), на прислугу (сорок рублей), на еду (около ста рублей), на мою учебу (гимназия, языки) и мелкие расходы. Жалованье матери шло на ее одежду и карманные расходы. Значит, семьсот рублей в месяц отец тратил на свой и мой гардероб и на свои «карманные расходы» — из них оплачивались все вечера, из них он тратил на «в долг» (он очень много раздавал), на чаевые, извозчиков, на все развлечения и подарки. В общем, на радость жизни. Не откладывали ни одного рубля. Ничего «ценного» не покупали, даже книги и картины были все дареные. Жили от получки до получки, никакого «страхового фонда» не было. Если нужен был какой-нибудь экстренный расход, занимали у Марии Михайловны Блюменталь-Тамариной, у нее почему-то всегда были свободные деньги, и она охотно их одалживала.

Так же широко и беспечно жили, насколько я знаю, почти все члены компании. Все много зарабатывали и всё, а некоторые

больше того, что имели, проживали. Ни у кого из них не было ни дач, ни счетов в банке, ни ценных бумаг, ни бриллиантов (кроме тех безделушек, которые носили на пальцах и в ушах).

Богатства, зажиточности скорее стеснялись, чем хвалились ими. С нуждающимися делились. Если общество людей, живущих на более скромные средства, было приятно располагающим большими средствами, последние несли расходы и за себя и за первых. Это не праздные слова, вся молодежь Художественного театра широко пользовалась займами у своих старших товарищей. Когда один из молодых актеров — Подгорный — заболел туберкулезом, ему помогли год прожить в Давосе (Швейцария), в одном из лучших санаториев, помогли бескорыстно и без всяких надежд на возмещение. Образцами, трудно достижимыми идеалами для них были профессиональные революционеры, которые жили от ареста до ареста, от высылки до высылки. Их жертвенность была мерилом того, как должны жить, относиться к жизненным благам настоящие люди. Они и земские деятели — учителя, врачи — вот это люди, а все остальные — это или активные, или пассивные мещане.

Боязнь мещанства, буржуазности, ожирелости во многом определяла умонастроение этой среды. Это было, мне кажется, довольно типично для настроений всей русской интеллигенции того времени. Но идеалом для этой части интеллигенции были далеко не всегда цели, программа революционеров, не то, *во имя чего* они действовали, а больше этическая сторона их действий, то, *как* они действовали, как жили, как не жалели себя, как не стремились к личным благам. Почти каждый из этой среды был готов оказать любому нелегальному помощь личную, то есть спрятать, накормить, связать с кем надо и так далее, даже рискуя при этом если не свободой, то, во всяком случае, своим покоем.

К настоящей буржуазии, к богатым меценатам относились очень по-разному. К некоторым шли в гости или по их приглашениям в ресторан, видя в них довольно откровенно только «карасей», то есть богатых угощателей. Некоторых принимали как своих, невзирая на их богатство. Одних — за их ум и вкус (Бахрушин, Щукин), других — за талантливость (Н. Л. Тарасов), третьих — за простоту, радушие, доброту и богемную широту (Комиссаровы). У некоторых ценили умение собрать у себя сливки общества (Л. Г. Марк, Г. Л. Гиршман), у некоторых ничего не ценили, а просто ходили есть омаров и устриц, медвежий окорок и фазанов, пить «мартель» и «редерер», нюхать в январе пармские фиалки и розы из Ниццы.

Компания моих родных была в этом мало грешна. Если и случалось, то это не было типично и происходило главным

образом во время поездок — Одесса, Киев, Петербург…

О некоторых меценатах хочется вспомнить немного подробнее.

Об А. А. Бахрушине и С. И. Щукине всем и без того известно, но вот о Тарасове надо рассказать. Ему было двадцать четыре — двадцать пять лет, когда он познакомился с актерами Художественного театра и полюбил этот театр. В 1906 году, в Берлине, он одолжил театру тридцать тысяч рублей, выручив его из тяжелого финансового положения. Этим он стал не только другом, но и пайщиком театра, членом его Товарищества. Необычайно одаренный дилетант, он с одинаковой легкостью писал стихи, сочинял скетчи и пьески, рисовал карикатуры и эскизы костюмов. Все это было не всерьез, конечно, но очень талантливо и изысканно-тонко по вкусу. Начитан и эрудирован был он до чрезвычайности. Легко владел стихом, свободно и грациозно, но писал всегда «под такого-то» и в стиле того-то. Это были шутки, пародии, иногда и не пародийные, тонко угаданные поэтические подделки, стилизации… То же было и с живописью. Он подарил отцу написанный маслом этюд «под Коровина» с очень похоже сделанной под Коровина подписью. Отец повесил этот этюд на стене своей уборной, и все «знатоки» и «ценители», складывая руки трубочкой, любовались этим произведением и не сомневались в его подлинности. Только А. Н. Бенуа немедленно понял «подлинность» этого произведения.

Отец часто говорил, что если бы не богатство (а Тарасов был мультимиллионером — он владел нефтеносными землями, был совладельцем большого торгового дома в Екатеринодаре, был пайщиком ряда акционерных компаний и предприятий), которое губило его тем, что он ничего не должен был делать, он был бы жизнеспособнее. А одного жизнелюбия, чтобы жить, ему не хватало. Он никому не верил — ни друзьям, ни женщинам, за всяким их отношением к себе видел один стимул — свое богатство.

Отец мой был, может быть, единственным его приятелем, в бескорыстие которого он верил, так как отец никогда ничего у него не брал и ничем не был ему обязан. И вот первый же неудачный роман, подтвердивший его самоощущение, — и этот красивый, здоровый, богатый, умный, одаренный, счастливый, с точки зрения обывателя, молодой человек — застрелился. Женщина, с которой он был в близких отношениях, потребовала у него денег для своего любовника, который грозил ей, что покончит с собой, если она не добудет ему денег. Она сказала Тарасову, что, если тот погибнет, — она тоже убьет себя. Тарасов ответил, что тогда и он застрелится. Узнав о ее смерти, Тарасов

лег в постель, закутался толстым одеялом, чтобы заглушить звук, и выстрелил себе в сердце. Его нашли мертвым через десять часов после этого.

Созданием Тарасова была «Летучая мышь», театр миниатюр, выросший из «капустников» Художественного театра и покоривший впоследствии всю Москву, Петербург, Париж, Лондон и США. Первые программы этого театра были созданы на девяносто процентов им. Он сочинял тексты, подбирал музыку, рисовал эскизы… Если бы он дожил до Октябрьской революции и остался бы в России, это был бы интереснейший деятель театра. Кто знает, что еще таилось в его талантливой и умной голове.

Совсем иным был другой друг Василия Ивановича — Василий Васильевич Прохоров. Он тоже был очень богат, тоже тянулся к искусству, к театру. Это был человек огромного темперамента, жизнерадостности и жизнелюбия, физически он был могуч, здоров и вынослив почти нечеловечески. В него стреляли в упор, он получил несколько ран, они зажили. На самой заре авиации он приобрел во Франции самолет, научился летать на нем и разбил его, разбился при этом сам, пролежал несколько месяцев — и полетел снова, и снова разбился. Чуть не утонул, так как пролежал под обломками самолета, рухнувшего в реку, несколько часов в воде, и… снова летал, как только оправился. Он был охотником. У нас были чучела убитых им огромного волка, рыси, шкура медведя. Думаю, что он был неважным капиталистом — деньги интересовали его только в плане расходов, а не доходов. Тратил он их широко, элегантно и весело. Когда произошла революция, он потерял все состояние, но не потерял главного — любви к жизни, к людям, к искусству. Торгуя на Арбате пирожными, которые делала его жена, он одновременно коллекционировал иконы (главным образом ангелов, архангелов, серафимов и херувимов — «летчики, понимаешь!» — так он объяснил свое увлечение отцу) и воспитывал дочь. Из нее вышла первоклассная балерина, прославившая советский балет в Англии и Италии. В дальнейшем он нашел себе достойное своих знаний, умения и энергии место в советской жизни и хозяйстве и работал инженером на ответственной работе в ВСНХ. Вражды к советскому строю у него быть не могло — он любил людей и жизнь, а не себя; перефразируя Станиславского, — любил жизнь в себе, а не себя в жизни.

Художественному театру была очень близка семья Комиссаровых. Михаил Герасимович Комиссаров был сыном владимирского крестьянина, пришедшего в Москву в лаптях и оставившего сыну большое состояние: несколько доходных домов в Москве, имение и фабрику во Владимирской губернии. Сам

Михаил Герасимович был крупным общественным деятелем и еще более крупным благотворителем. Самая значительная в его состоянии доходная статья была квартирная плата, которую он получал от жильцов своих домов. И эта статья год от года сокращалась — Михаил Герасимович снижал плату, одновременно увеличивая расходы на ремонт и усовершенствование квартир. Делал он это абсолютно сознательно — квартирантами его были люди небогатые, и ему совестно было их эксплуатировать. Это было, так сказать, косвенной благотворительностью, но много он расходовал и напрямую: богадельни, приюты, стипендии и т. д. Его жена, Мария Петровна, была урожденная Смирнова, дочь знаменитого водочника Петра Смирнова. Если наш дом называли «бесплатным трактиром», то уж комиссаровский был бесплатным первоклассне́йшим рестораном. Щедрость, широта, радушие и гостеприимство этой семьи были неслыханными и неправдоподобными. Простота, душевная теплота и ласка покоряли актеров. Это был, в сущности, клуб, в котором в любой день и час можно было уютно посидеть, побеседовать с милыми людьми, успокоить и привести в порядок нервную систему. А это так много значит для человека искусства.

Впоследствии два сына Комиссаровых стали актерами, а Михаил Герасимович, когда лишился всего состояния, поступил в Художественный театр бухгалтером и работал в нем до конца жизни.

Перечел написанное и испугался: может создаться впечатление, что родители и их компания только шутили, смеялись, пьянствовали и веселились, во всяком случае, что мне тогда так казалось. Это было бы неверно. Даже и тогда я понимал, что это не так. Работали они все очень много и очень напряженно. Почти каждое утро, когда бы ни легли накануне, вставали не позже десяти часов, чтобы к одиннадцати быть на репетициях, заканчивающихся в четыре — половине пятого. В пять обедали, спали тридцать-сорок минут и бежали или ехали в театр, чтобы в семь часов начать гримироваться.

Очень ясно помню эти часы (с пяти до половины седьмого), когда в квартире сохранялась полнейшая тишина — все ходили на цыпочках, говорили шепотом. В половине седьмого отец быстро выходил из своей комнаты, выпивал, не садясь, стакан очень крепкого, уже остывшего чая (его наливали минут за десять-пятнадцать до этого), брал портсигар, в который я заранее закладывал за желтые резинки душистые папиросы, и, защелкнув его с громким треском, но абсолютно не больно о мою голову, на что я отвечал ему шлепком по заду (это была наша с ним

традиционная ежевечерняя ласка-шутка), — быстрыми шагами шел в переднюю одеваться. Проделывал он все это абсолютно молча, только иногда громко прочищал горло, как бы откашливался, пробуя голос. Глаза его смотрели куда-то мимо, весь он был другой, чужой, подобранный и сосредоточенный…

И ведь работали не только в театре на спектаклях, репетициях и разных тренировочных занятиях. Часто ночью я просыпался от громкого, не домашнего, не разговорного голоса отца — он работал над ролью, пробовал какое-нибудь сильное место.

У нас одно время была кухарка; она, услышав его ночные занятия, заявила, что уходит, не желает служить в доме, где сумасшедший хозяин сам с собой по ночам разговаривает на разные голоса, смеется, плачет, скулит по-собачьи (отец работал тогда над ролью Анатэмы).

Одно время Василий Иванович увлекался упражнением в умении носить костюм: одетый в легкую пижаму, он выходил к нам, домашним, и каким-нибудь «своим» гостям (у нас всегда почти кто-нибудь обедал) и просил, чтобы мы угадали, «во что он одет». По тому, как он ходит, как садится, как держит голову, руки, мы должны были определить, что на нем — фрак ли, мундир, николаевская ли шинель или испанский плащ… Вот он выходит, переваливаясь, садится, широко расставив ноги, одной рукой разглаживает что-то на груди, другая с трудом охватила пустоту против живота… И ясно видно, что это толстый, сановный, бородатый боярин выпростал бороду из-под бортов шубы, поглаживает лежащее на коленях отвислое брюхо. Так он по очереди являлся то гусарским корнетом, позванивающим шпорой, играющим темляком сабли, то новогодним визитером в непривычном фраке, с цилиндром, который он «грациозно» ставит на пол, бросая в него перчатки, и садится, раскинув фалды, то священником с епитрахилью, то половым — «шестеркой» — и т. д. Он очень радовался, если мы угадывали его замысел, и огорчался, если нет.

Из посторонних, кто присутствовал и принимал участие в этих играх, я помню молодого актера Художественного театра Юрия Ракитина. Он одно время был нашим постоянным гостем и на своей фотографии написал такие стихи:

«Качалов! В грустный час досуга,
когда лишь прошлое в уме,
я вспомню ласкового друга
в домашней, легкой пижаме́.
Ваш Дима, Нина Николавна…

Как я обедать к вам ходил
всегда к пяти часам исправно.
Качалов, я ведь Вас любил!»

Это, конечно, никакого отношения не имеет к костюмным упражнениям, но Ракитин вспомнился как их участник. А стихи эти Василий Иванович очень любил.

Работал над своим телом, над манерой держаться очень много и Константин Сергеевич. У него дома в спальне было огромное трехстворчатое зеркало, в котором он мог себя видеть во весь рост и во всех поворотах. Потом он отвергал пользу таких упражнений, даже допустимость их при «системе», но Мария Петровна говорила, что он все-таки перед этим зеркалом работает.

Надо сказать, что оба они носили фрак (да и вообще всякий костюм) с удивительным искусством. Это не было опереточное, пшютовское изящество фрачного актера, нет, это было мужественное, благородное умение правильно почувствовать себя в этом удивительно красивом костюме.

Лето 1907 года жили в Пузыреве. Необыкновенно красивая местность на озере в Новгородской губернии. В доме, который снимали наши вместе с Эфросом, жили еще и Смирновы — брат Надежды Александровны и его жена, «маленькая Нина», как ее звали, чтобы не путать с Ниной — моей матерью. Жизнь была, видимо, приятная и веселая. Те же шутки и розыгрыши, те же разговоры и споры об искусстве, философии, театре. Те же постоянные «выяснения отношений». Необыкновенно добрый, любящий, ласковый Николай Ефимович Эфрос, веселый Саша Смирнов, который был больше всех «мальчиком» и моим товарищем — делал мне луки и стрелы, жег костры, организовывал большие прогулки, которые у них назывались «Entdeckungsreisen» (экспедиции). Совсем юная, нежная и смешливая его жена. Строгая, иногда свирепая, иногда шутливая и всегда сварливая старуха нянька «баба Анисья», родившаяся в 30-е годы XIX века. Она вынянчила Надежду Александровну и всех ее сестер и братьев и не могла отвыкнуть обращаться с ними, как с детьми. Случалось, что она, рассердившись на кого-нибудь из своих питомцев, снимала с себя фартук, свертывала его жгутом и со свирепым лицом замахивалась на них. Рассказы о ней, изображение ее, ее словечки, определения были постоянным материалом для семейных «номеров». Ее очень любили и, как полагалось в этой среде, очень смеялись над ней.

На другом берегу озера жили Санины. О Лидии Стахиевне я

уже упоминал. В это время она была уже очень далека от девушки — Лики Мизиновой: высокая, очень полная, с пышными, обильными матово-каштановыми волосами и сочными полными губами женщина. Про нее говорили все взрослые: «красавица». Мне это было непонятно — уж очень крупна и полна она была. Красивыми мне казались только ее глаза. Они были какие-то тепло-блестящие, веселые, ясные и мохнатые — это, видимо, от мохнатости густых и мягких, истинно соболиных бровей и темных, длинных и густых ресниц. Но и сами радужные оболочки были какие-то не плоские, а серо-синие и в полоску, казались тоже рельефными и «мохнатыми».

Она, несмотря на свою полноту, не казалась тяжелой, мясистой. Ее полнота была воздушной, она не прижимала ее к земле, а поднимала вверх. Легкая походка, легкие, порывистые движения, жесты, которые как бы подкидывали ее. Волосы, бархатистая кожа плеч, рук и лица — все было пушистым, пронизанным воздухом. Даже почти непрерывно выходивший из ее рта дым (она много курила) не стлался душным слоем, а взлетал легкими пуховками, казавшимися душистыми и свежими. Она была громкой, горячей, то гневной, то хохотуньей, открытая сама и внимательно-заинтересованная в открытии других. С ней никто не «выяснял отношений», они всегда и со всеми были у нее ясными, ей рассказывали о самом сокровенном, самом тайном и мучительном. Видимо, она умела слушать и понимать, видимо, любила людей и умела смотреть в глубину их не с любопытством, а с проникновением и любовью к ним.

В архиве Музея МХАТ хранится письмо моего отца к Лидии Стахиевне. В этом письме он так глубоко распахивает перед ней свою душу, как я не помню, чтобы он это делал перед кем-нибудь, кроме меня в годы моей полной зрелости.

И странно было, что эта тонкая, умная, чуткая на правду женщина так легко обманулась в своем муже. Александр Акимович Санин свою (во всяком случае, театральную) жизнь и деятельность строил на использовании легковерия людей. Сотворенный им себе еще в юности образ чудака-энтузиаста, человека не от мира сего, живущего только во имя «святого искусства», он пронес через весь свой жизненный и творческий путь. В «компании» все это понимали, но из добродушия и, главное, ради Лидии Стахиевны даже подыгрывали ему в этой роли. Лидия Стахиевна же принимала все это в нем глубоко серьезно.

А. А. Санин был, судя по его славе, хорошим, опытным, талантливым режиссером. Он после Художественного театра работал в Петербурге. В 1913 году вернулся в Москву в

Свободный театр, где поставил нашумевшую «Сорочинскую ярмарку», был главным (не по званию, а фактически) режиссером в Малом театре. В 1922–1923 годах и позже ставил оперные спектакли в Париже, Барселоне, Милане, Нью-Йорке и т. д. и т. п., везде и все с неизменным успехом. Но кроме режиссерского таланта, творческой выдумки, темперамента и силы воли у него был ряд демагогических приемов для завоевания популярности у «меньшой братии». Он завоевывал симпатии и готовность хора и кордебалета тем, что знал по имени каждую последнюю фигурантку и льстил им. Узнав окольным путем, кто из «девочек» пользуется покровительством высокого начальства, делал этой фаворитке молниеносную карьеру. Льстил хормейстерам, балетмейстерам, дирижерам, машинистам сцены. Этим он добивался от очень наивных подчас (на Западе особенно) работников театра максимальной отдачи сил. Не привыкшие к вниманию, к тому, чтобы их труд отмечался и оценивался, «маленькие люди» театра верили ему и лезли вон из кожи, чтобы услышать: «Мими, вы, в третьем ряду, вы, именно вы, Мими, моя радость, вы образец грации! Будьте все, как Мими!» Или: «Робер, вы, там, в трюме, вы настоящий мастер, вы артист!» Или: «Оркестр! Молчание! Пусть сыграет соло мой дорогой Жак, соло на контрабасе, вы гений, друг мой!» И т. д. Люди поумнее пожимали плечами, или злились, или смеялись над ним, но веривших ему было неизмеримо больше, и на них он и опирался. При любой ссоре, при любом расхождении мнений он каждому говорил о его полной правоте, о высоте его художественного вкуса, о пошлости, тупости и мещанстве его противника. Через несколько минут то же он говорил противнику. Были редкие случаи, когда его разоблачали, но он сейчас же превращался в абсолютно бестолкового, рассеянного, погруженного в творчество, не от мира сего человека.

Раз я (это было в Париже в 1924 году) сам услышал, как он ругал меня Балиеву за расточительность и бесхозяйственность, а за полчаса до этого он обнимал меня, крестил и благословлял на борьбу с «этим кулаком, Плюшкиным, халтурщиком Балиевым». Когда я подошел к нему и почти плача спросил его, как это он может быть таким, он просто притворился глухим и «не понял», о чем я говорю, но сказал, что мой гнев, смысла которого он не понимает, — святой гнев и мои слезы — светлые и благодатные слезы… Поднял глаза к небу, пробормотал что-то, как бы молясь, потом перекрестил меня и потянулся, чтобы поцеловать в лоб.

За этим летом, последним здоровым летом моей матери, наступила страшная зима. Мать взяла годовой отпуск и подписала контракт на зимний сезон в Ригу к Незлобину. Меня

она взяла с собой. Начала она сезон очень хорошо. Первой ролью (кажется) была Иола в пьесе «Иола» Жулавского. Мы спали с ней в одной комнате; думая, что я сплю, она работала над ролью. Пока это были только слова, я только слушал ее, но когда она по десять-пятнадцать-двадцать раз падала на пол, вырабатывая падение «как подкошенная» (по пьесе, граф, ее муж, подстреливает ее из лука, когда она в состоянии лунатизма ходит ночами по стене замка), мне делалось ее безумно жалко, я ревел под одеялом и клялся, что никогда не буду играть на сцене.

Наступила сырая, дождливая рижская осень, мать простудилась, насморк перешел в воспаление среднего уха, надо было делать прокол нарыва. В Риге были хорошие врачи, но квартирохозяева рекомендовали своего знакомого, но плохого врача. Он сделал прокол так, что началось общее заражение крови. Матери за эту зиму сделали две трепанации черепа и три операции около бедра, где процесс проходил с особой остротой. Кроме того, в эту же зиму ей вырезали аппендикс. Всего, с проколом уха, она перенесла за пять месяцев семь операций под наркозом.

В Москву ее привезли в марте 1908 года совершенным инвалидом. Только летом она начала ходить, вернее, передвигаться: ей сделали скамеечку-козлы, она переставляла их перед собой и таким образом передвигалась с места на место. То, что она все это перенесла и осталась жива, считалось чудом. С ноября, когда меня перевезли из Риги в Москву, и до марта я считался сиротой, и баловали меня все отчаянно.

Лето 1908 года мы жили в селе Спасском, недалеко от Коломны, в имении князей Ливен. Устроил нас туда друг и пайщик, а потом и актер Художественного театра А. А. Стахович. Не будучи ни титулованным, ни особенно родовитым, он был членом самого наивысшего петербургского общества, в 80-е годы окончил Пажеский корпус и был выпущен в лейб-гвардии конный полк. Конногвардейцем он военной карьеры не сделал, но светскую карьеру сделал блестящую. В конце 90-х годов он был флигель-адъютантом и адъютантом московского генерал-губернатора. Живя в Москве, он увлекся Художественным театром, стал его другом, пайщиком, членом его правления, а затем, еще задолго до революции, сравнительно не старым человеком (пятидесяти с чем-то лет) бросил военную службу, вышел в отставку и поступил актером в Художественный театр. Мой отец приветствовал его приход в театр в стихах, из которых я помню только отдельные куски:

«… что вышел ты в запас

всего лишь генерал-майором.
Благословен тот день и час,
когда ты сделался актером.
И генералом будь от сцены
его величества Орла (К. С.),
и адъютантом Мельпомены…»

Он очень дружил с Константином Сергеевичем, был с ним даже на «ты». (Это было, кажется, единственное «ты» Константина Сергеевича, кроме родственников и Ф. И. Шаляпина.) Константин Сергеевич ценил его бескорыстную преданность театру и ему лично, вернее, ему как учителю. Ценил его безукоризненную светскость и тактичность, его действительно хороший тон, так не похожий на «бонтон» изысканно воспитанной буржуазии. В отношении манер, тона, правил поведения он был истинным «arbiter elegantiarum»[4] Художественного театра. Василий Иванович очень принимал его хороший тон и светскость, но тактичным и истинно деликатным не считал. В этом смысле идеалом отца был А. П. Чехов и чеховское в людях — воспитанность и тактичность как производное и отражение душевной изысканности и утонченной внутренней деликатности. Чутье, понимание человека, умение не только не обидеть, не оскорбить, не задеть больного места в человеке, но наоборот — способность внедрить в человека радость, согреть его, приласкать… Стахович же мог в изысканно-вежливой форме дать понять застенчивому человеку, что он не умеет себя вести, и этим окончательно смутить его и надолго уничтожить его веру в себя. Расстроить женщину, высмеяв ее туалет или прическу, когда сменить их уже невозможно, а от его вида и веры в его удачность, может быть, зависит ее судьба — например, в день показа молодой актрисой новой роли, и т. п.

Как актер Стахович был… вернее, он просто не был актером. Это была маска аристократа, живое амплуа. Лучше всего он играл Степана Верховенского в «Николае Ставрогине» — там он был самим собой. В Репетилове он был тем же Стаховичем. В Дон Карлосе («Каменный гость») он был ужасен — вялый барин, петербургский лев, а не сжигаемый пламенем любви и ненависти испанский гранд.

Мы (дети, юноши и девушки) ненавидели его за постоянную фразу: «Это не для молодых ушей», — после чего нам приходилось оставлять комнату. Могли же другие отложить рассказ, дождавшись, когда мы сами уйдем, или завуалировать его. Прислугу он умел не замечать или «дружить» с ней так, что

это получалось обиднее хамства. Он считал, что великолепно умеет обходиться с «людьми», что они его любят и преданы ему, — это они ему блестяще доказали в апреле 1917 года, разгромив его имение в Орловской губернии.

Революция была для Стаховича и экономической и моральной катастрофой — ему во всех смыслах стало нечем жить, она его опустошила и выжгла. В возможность, в свою способность стать профессиональным актером, живущим на свой заработок, он не верил, а уехать за границу и жить на содержании у брата или сына — не хотел. В марте 1919 года он повесился.

Спасское — имение Ливенов, где он нас устроил в 1908 году, было барским имением англо-русского стиля. Дом-дворец в пятьдесят-шестьдесят комнат, с несколькими террасами, галереями, балконами; перед ним — круглая, диаметром в двести саженей, поляна с подстриженным газоном. По ее окружности проезжали лошадей их завода, которых готовили к бегам. Недалеко от дома была идеальная (лучше, чем в Санкт-Петербургском яхт-клубе, как говорил Стахович) теннисная площадка. В конюшнях для господских выездов и для верховой езды стояло двадцать пять — тридцать лошадей. В оранжерее росли орхидеи и ананасы. Вокруг дома был парк, в котором были «руины замка», специально построенные в начале прошлого века. В середине пруда был остров, где во времена крепостного права играл оркестр.

Имение было старинное, но дом-дворец все время модернизировали, все в нем и вокруг него было новым, нарядным, дорогим, первосортным. Хозяева, видимо, не были «разоряющимся дворянством», скорее они чувствовали себя благополучными английскими лендлордами викторианской эпохи.

Нам сдали (как это ни странно, за довольно дорогую плату) домик, в котором жил прежний, женатый управляющий. Теперешний управляющий был холостым, и его поселили в комнату при конторе. Домик был каменный, с водопроводом и теплой уборной, комнатах о шести, с огромной террасой. Жили той же компанией — семья Эфросов и Смирновых и наше семейство с тетей Сашей и моей двоюродной сестрой Верой.

Гостили у нас Надежда Ивановна Комаровская со своим мужем — художником Константином Коровиным. Он писал у нас на завитой хмелем террасе, а Надя Комаровская в красной шелковой кофте позировала ему для пятна-контраста. Ходили к нам в гости и молодые жильцы из дворца — Андрей, Петрик, Машенька, красавица Дженнинька и шестнадцатилетняя Драшка (Александра) — дочери Стаховича. Думаю, что им было у наших

скучно: ни спорта, ни спирта, ни флирта у нас не было, а споры о Шопенгауэре, Скрябине, Врубеле и Ленском им были неинтересны. Пришла как-то и сама «светлейшая» княгиня Ливен, села на террасе, сделала широкий жест и… разбила синюю стеклянную вазу, очень смутилась и велела мне с ней идти во дворец, чтобы прислать со мной другую вазу. Я пошел. Она ушла в дом, оставив меня, в холле. Через несколько минут ливрейный лакей вручил мне серебряное кашпо с металлопластикой. Лакей постучал пальцем, чтобы я услышал звон, и сказал: «Серебро. Небось их светлость дрянь разбили, а отдают!.. Ведь это какая вещь, ведь это капитал!» И вздохнул. Я чуть не заплакал и не убежал, но побоялся демонстрации. Дома я ничего не рассказал, тоже боялся демонстрации, которую могла бы устроить мать. Только зимой рассказал и оказался прав, что молчал, — мать вышла из себя от обиды даже через полгода после происшествия. Отец смеялся: «Лакей же нахамил, а не она, а если бы сказать — ему была бы неприятность. Молодец, что смолчал и там и дома. Вообще хамить нельзя, а стерпеть хамство можно. Даже хорошо. Потом хорошо будет вспомнить, что тебе нахамили, а не ты. А вот если нахамишь — потом тошно бывает на десять лет».

Для меня это лето было знаменательно и памятно тем, что в его середине от нас ушла моя фрау Митци.

Смирнова и Эфрос увидели, что она лупит меня по щекам, и, несмотря на то, что я отрицал это, наши поверили им, а не мне, и ее рассчитали. Я почему-то скрывал ее методы воспитания, хотя меня родители и спрашивали, не бьет ли она меня, так как сигналы до них доходили об этом неоднократно. Скрывал я это из боязни скандала, из страха перемен (вдруг другая еще больнее будет бить) и, как это ни дико, из… любви. Да, я ее, мою тиранку, очень любил и боялся ее лишиться.

Зиму 1908/09 года помню плохо. Праздновался десятилетний юбилей театра. Хотя Василий Иванович был поистине ведущим, как теперь говорят, актером (тогда говорили «премьер»), то, что он не был основателем, ему дали почувствовать. Он был этим очень огорчен. Кроме того, он был очень обижен за мать. Ее как-то уж очень формально приглашали на празднество. Она совсем не пошла, да ей и не хотелось показываться хромой, с палками, «жалкой калекой», как она говорила.

Как прошли юбилейные дни — я не знаю, об этом у нас дома не говорили совсем. Стахович, который пришел приглашать отца и мать на какой-то из юбилейных банкетов, был встречен очень неприветливо не только матерью, но и Василием Ивановичем. Он потом сказал Марии Петровне: «Ils m’ont traité comme un chien» («Они обошлись со мной как с собакой»).

В доме было уныло, мать очень тяжело переносила свое положение калеки. Ей стало лучше, она уже ходила просто с палочкой, но и это ее терзало. Бросалась в изучение то английского языка, то шахмат… Отец очень много работал, и репетировал, и играл, и начал выступать в концертах со стихами и прозой. Проверял свой репертуар очень охотно на мне — не скучно ли мне его слушать, особенно помню «Ярмарку в Голтве» Горького и «Рассказ переплетчика» — не знаю чей. Мать тоже готовила концертный репертуар — хотела попробовать недоступную ей сцену заменить эстрадой и стать чтицей, но и сама была недовольна собой, и у отца все-таки хватило мужества раскритиковать ее. Она и плакала, и приходила в отчаяние от его критики, обвиняла его в жестокости («Отнимаешь у человека последнюю надежду, вместо того чтобы помочь»), но все-таки поверила ему и работу прекратила.

Летом 1909 года мать поехала в Вену, к мировой знаменитости — хирургу, профессору Лоренцу. Он сделал ей бескровную, но невероятно болезненную операцию — выломал и вытянул из тазобедренного сустава ногу. После этой операции она должна была шесть недель быть в гипсовом корсете. Эти шесть недель мы с ней (сначала только я и бонна, а потом и отец) прожили в Чехии, в крошечном городке — местечке Босковиц. Состояние у матери было мучительное — почти полная неподвижность и, главное, невыносимая для очень самолюбивой и гордой матери зависимость от окружающих. Она ничего, буквально ничего не могла сделать сама, а моя помощь, которой она была вынуждена постоянно пользоваться, ее безумно раздражала — я был исключительно неуклюж, неловок и туп. Она плакала от беспомощности и от моей тупости, я — от стыда. Улучшения операция и гипсовый корсет не принесли, и мать уехала с той же хромотой.

По дороге в Москву мы заехали в Вильно, чтобы повидаться с дедом, он был уже очень плох, перенес удар и едва ходил и говорил. Позднее мы его уже не видели — через год он умер.

Сезон 1909/10 года принес отцу один из самых грандиозных успехов в его актерской жизни. Он сыграл Анатэму. Пьеса даже и тогда казалась плохой, псевдоглубокой, с претензией на философскую проблемность, но образ дьявола, страдальца и богоборца, перевоплощавшегося в дельца, очевидно, как-то на редкость удачно «лег» на актерские данные отца. Это был триумф. Не знаю, что писала пресса, но помню заплаканного, с красным носом, с мокрыми от слез усами Н. Е. Эфроса, который прибежал к нам прямо из редакции «Русских ведомостей» утром, когда еще родители спали, как он схватил меня на руки, целовал и

приговаривал: «Твой отец гений, гений твой Вася!» Правда, потом он ругательски ругал Андреева, и театр, и рецензентов, хваливших автора и пьесу. Но отца он ценил предельно высоко.

Другим свидетельством успеха отца была реакция обучавшей меня французскому языку усатой испанки м-м Перера, которая приходила ко мне в двенадцать часов дня и оставалась с нами обедать; так вот, после того как она посмотрела «Анатэму», она, увидев отца, побледнела, закрестилась и, бормоча какие-то не то молитвы, не то заговоры, ушла домой и за стол с отцом не садилась недели две. Она говорила, что у нее сжимается сердце, когда она видит его руки, его пальцы дьявола — «ses doigts crispés du satan», — на которых она видела длинные черные когти. Когтей не было, их сочинила суеверная фантазия старой испанки, учившейся в иезуитском монастыре, но грим был действительно необыкновенно удачен. Изменены были весь череп, шея, грудная клетка, кисти рук. Лицо было преображено и гримом и долгим трудом выработанной мимикой.

Я спектакля не видел, слышал только сначала дома, потом в концертах монологи из него. Мне они никогда не нравились, и, когда я признался в этом отцу, он сказал, что я прав, что у меня правильный вкус, потому что это все дешевка, трюк и кривлянье, что и Константину Сергеевичу это все тоже не нравится, — «можешь этим гордиться».

В том же сезоне отец сыграл Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты». Успех тоже был огромный, может быть, только у другой несколько публики. «Анатэма» нравилась студенческой и философствующей молодежи, читателям Мережковского и Розанова, молодым ницшеанцам и штирнерианцам, членам клубов самоубийц, девицам-садисткам и т. п. московской накипи. «Мудрец» был козырем для поклонников МХТ: «Вот и Островского они играют лучше, чем в Малом». Им восторгались и интеллигенция и буржуазия. Успех Василия Ивановича был огромен. Кроме актерского успеха он имел еще и грандиозный «мужской» успех — он был очень красив, очень по-мужски обаятелен в этой роли. Поклонниц развелись стада, не только ему, даже и мне не давали прохода — «Твой папа красавец», «Божество, вот что такое твой отец», «Аполлон», «Дионис»… Мы выходили из дома черным ходом. Телефон был засекречен — его не было в телефонной книге, его не сообщала справочная, и все-таки номер меняли по два раза в год (у матери была такая запись в телефонной книжке: «Телефонный господин Карл Иванович» — это был кто-то из начальников телефонной станции, который устраивал этот обмен).

Как позже выяснилось, одна из наших горничных продавала

поклонницам поношенные носки отца по десять рублей за носок, по двадцать пять рублей за пару. Его носовые платки ходили по пятнадцать-двадцать рублей, окурки — по рублю за штуку.

Отец и этой своей («На всякого мудреца») работой был недоволен. Недоволен тем, что не мог заставить себя быть смелым, не бояться снижения успеха, того, что «не примут». Понимал, чувствовал, что надо добиваться не успеха и «приема», а высот истинного искусства и высот истины в искусстве. Он мне говорил о сцене из этого спектакля, разрешение которой и определяло и ставило эту проблему. Во втором акте Глумов, оставшись наедине с влюбленной в него Мамаевой, объясняется ей в любви. Он ее не любит, роман с ней нужен ему только для карьеры, кроме того, он боится, что ее муж, его дядя Мамаев, может застать их. В другом театре актер играл бы обманщика, притворщика, вздыхал бы и явно лгал о пламенной любви. Отец же говорил горячо, страстно, *как будто* искренне. Все мастерство его в этой сцене, за которую его хвалили буквально все (кроме… но о том, кроме кого, — дальше), заключалось в том, что его интонации звучали настолько искренно, настолько *правдоподобно*, что Мамаева, слушавшая его отвернувшись, могла действительно верить ему, и публика, если бы только слушала его, то верила бы, что Глумов исступленно влюблен, но публика не только слушала, но и видела то, как он оглядывается, какие тревожные и настороженные взгляды бросает на дверь… У него были глаза человека, слушавшего одновременно и себя и шаги за дверью; фигура человека, готового вскочить и принять во мгновение ока «глумовскую», выражающую готовность услужить позу. Это страшно нравилось, в этой двойственности видели высокое искусство замечательного мастера.

А Константин Сергеевич, игравший Крутицкого, несколько раз оставался на сцене и из кулис смотрел эту сцену и после нескольких спектаклей спросил Василия Ивановича: «А вам не противно, не стыдно таким дешевым приемом завоевывать успех, дешевый успех?» Я не могу цитировать Константина Сергеевича, так как не только не слыхал его слов, но и отец рассказывал лишь смысл его, Константина Сергеевича, понимания этой сцены, а через нее и всего образа Глумова, а значит, и основного смысла всей пьесы.

Глумов большой актер, он не жулик, он одержим карьеризмом, он всегда страстен по-настоящему, ему верят потому, что он, увлеченный своей целью, увлекается и каждой задачей, становящейся перед ним на его пути. Любви Мамаевой он может добиться только любовью к Мамаевой, и в момент объяснения, во всяком случае в этот момент, он «бешено»,

«страстно» — и как там еще говорится в роли — любит ее. Это поднимает и его, и Мамаеву, и всю пьесу.

Отец, недавний Карено, Анатэма, изучавший Гамлета и готовившийся к нему, стремился всей душой ко всякому осерьезниванию любой роли, был полностью готов к такой перестройке этой сцены, а потом и всей роли. Но… не мог. Не мог расстаться с успехом. Не мог набраться мужества отказаться от него. Это он клеймил в себе всю жизнь, «трусостью» называл он эту боязнь остаться непонятым, боязнь остаться в одиночестве, без связи со зрительным залом.

Случай с Глумовым я запомнил потому, что отец приводил его как пример и высоты требований, и глубины понимания Константина Сергеевича, и трудности актеру идти за ним. Особенно ему, такому «трусу и кокотке», говорил он. Чтобы объяснить Константину Сергеевичу, почему он не может перестроиться, он сказал, что Владимиру Ивановичу нравится то, что он делает, и то, как он это делает, и менять что-либо было бы бестактным по отношению к нему. Хотя на самом деле он был уверен, что и Владимир Иванович и Мария Николаевна Германова (Мамаева) с радостью согласились бы на это.

Лето 1910 года жили, как и обычно, с Эфросами на Влахернской платформе по Савеловской дороге (теперь станция Турист). Снимали большой дом у самого женского монастыря Влахернской божьей матери. Дом принадлежал свояченице одного из крупнейших помещиков Средней России Федора Александровича Головина. Неподалеку было и имение самого Головина с дивным парком, переходившим в глухой бор, через который протекала узенькая, но многоводная и быстрая речка Икша. Мать чувствовала себя много крепче, начала ходить без палки. Лето было хорошее. Второго (пятнадцатого) июля праздновали десятилетие свадьбы моих родителей. Приехали гости из Москвы и, конечно, остались ночевать. Было очень шумно и весело. Нас, детей — Катю, Надю (племянниц Н. А. Смирновой) и меня — под надзором «бабы Анисьи» на весь вечер отправили в деревню Свистуху к извозчику Прохору («другу» эфросовской кухарки Фени). Эту ночевку в чистой, просторной крестьянской избе на полу, на душистом сене, накрытом еще более душистыми попонами и нашими простынями, я запомнил на всю жизнь. За стеной всю ночь хрупали сеном десять или двенадцать лошадей Прохора, мычали коровы, с рассветом пели петухи.

Фенечка была необыкновенной женщиной. Она постоянно кого-то выхаживала и выкармливала: то грача со сломанным крылом, то кота, которого чуть не растерзали собаки, то собаку с

перебитой лапой. К этому все привыкли. Но когда она приютила беглого арестанта с пулей в ключице и целый месяц лечила его, кормила, мыла и обшивала, пряча его в дровяном сарайчике, а к этому постояльцу еще присоединились его товарищи с воли, — хозяева перепугались, как бы эти люди не зарезали их. Фенечка упросила оставить их у нее и клялась, что они смирные и добрые ребята. Их оставили. И вот когда тем летом во всей округе начались грабежи и воровство — у нас все было в порядке, а Фенины молодцы кололи ей дрова, носили воду, ставили самовар и т. д.

Н. Е. Эфрос и Н. А. Смирнова долго спорили по этому поводу об исправлении зла добром, о непротивлении злу, о любви христианской… В конце концов все согласились, что если бы не Фенечкины питомцы, нам пришлось бы каждый день убирать все с террасы и запирать все двери и окна или нанимать сторожа с ружьем, и все-таки мы не могли бы спать спокойно.

Благодаря же Фене и ее любви к несчастненьким мы были в полной безопасности, спали с открытыми окнами и сутками оставляли белье на веревках.

В том же году мои родители познакомились с владельцами небольшого именьица, вернее, дачного участка с зимней дачей в Свистухе — семьей инженера Барсова. Впоследствии эта семья стала моей первой взрослой компанией. Мать назвала их потом «Димкины Станиславские» — я бывал у них так же часто и охотно, как Василий Иванович у Станиславских. Семья состояла из самого «инженера» — его так и звали многие, его жены Екатерины Ивановны и сына Кости. Инженер был странной фигурой. Истеричный, болезненный, с ущемленным самолюбием, с комплексом неполноценности, он со своим комплексом боролся тем, что с молодых лет вылгал себе диаметрально противоположный своей истинной сущности образ. Основой была внешность. Можно сказать, костюм и грим — он ходил, когда это было мало-мальски возможно, в коричневой из «чертовой кожи» блузе с широким кожаным ремнем, в высоких охотничьих сапогах, носил большую бороду и длинные волосы. Ходил большими шагами, поводил казавшимися (вернее, желательными ему) широкими, на самом деле щуплыми плечами. Говорил фальшиво-глубоким басом, громко откашливался, харкал на весь дом и плевал в окно. Сморкался в пальцы, вытирая после этого руки шелковым фуляром. «Истинное дитя природы», «столбовой дворянин», «коренной русак», «барин-мужик» — вот чем он хотел казаться. Любил щегольнуть немецкими непристойными стихами, строчкой из трагедии Озерова, игрой на корнет-а-пистоне и, главное, пением арий из итальянских опер. Фальшивил, но орал

так, что синел от напряжения, от его трескучего баритона лопались барабанные перепонки, а аккомпанировала ему обладавшая слухом жена, хотя морщилась и страдала… «Понимал мужика» (они смеялись над ним), «был близок ко всякой животине», поэтому все ел в холодном виде — «ни одна скотина горячего жрать не будет», чувствовал природу — предсказывал погоду, «ноздрей чуял дождь», «ухом слышал вёдро», «горбом ощущал заморозки» — все и всегда невпопад. Говорил он так: «Похарчуй нас, мамахен!», «Испить бы кваску», «Напёрся редьки, аж брюхо трещит», «Что ж ты не жрешь? Али брезгуешь?» Ненавидел немцев, поляков, «хохлов», «чухонцев», петербуржцев, «уважал» почему-то японцев, хотя ни одного японца не видел. Из актеров ценил Сальвини и Мамонта Дальского. Из художников — Васнецова, про которого врал: «Мы с ним водки море выжрали». Говорил: «Пора на полати да храповицкого задавать, а то дюже притомился я нонеча». Жену называл «мамахен» или «Катюха».

Катюха эта была институтка-смольнянка, в восемнадцать лет выскочившая за него сдуру замуж и всю жизнь мучившаяся и стыдившаяся этого поступка. Беременная, она ездила по всей Европе, смотрела на статуи, картины и просто на красивых людей, надеялась таким способом родить сына, похожего не на отца, а на микеланджеловского Давида или на Вильгельма Телля. Сын родился действительно не похожим на отца, он был много некрасивее его, был похож (я знал его девятнадцати лет) на собственную бабушку. Зато был очень умен и добр бесконечно. Может быть, сыграло роль то, что мать его во время беременности слушала в Женеве лекции по романской лингвистике…

Екатерина Ивановна была прелестная женщина, образованная, талантливая переводчица — она переводила Бодлера в очень хороших русских стихах. Были у нее и смешные и неожиданные для смольнянки странности — она всегда и во всем жульничала: в карты с ней играть было абсолютно невозможно, даже в крокет она ухитрялась ловчить — длинным подолом юбки, в которую для этой цели вшита была проволока, она, становясь над шаром, подводила его на хорошую позицию. Приходилось обрисовывать шар на песке кружочком. Она постоянно раскладывала пасьянс, и, если незаметно следить за ней, видно было, что она передергивала карты, жульничала сама с собой.

Но все таланты Екатерины Ивановны развернулись, когда компания свистухинских «помещиков» и их гостей увлеклась спиритизмом. К ним повадился «являться» дух отца Евлампия, он был (по его словам, записанным через блюдечко) беглым монахом, расстригой, пьяницей и ёрником. Подозревать Екатерину Ивановну в данном случае было невозможно:

Евлампий произносил такие изощренные ругательства, какие даже понимать не могла бывшая смольнянка, но тем не менее через несколько лет выяснилось, что лексикон Евлампия принадлежал Екатерине Ивановне. Сын ее Костя учился на физико-математическом, а потом на медицинском факультете, но, кроме того, рисовал, лепил (и то и другое совсем не плохо) и учился петь.

Я стал часто бывать у них, сначала с родителями, а потом и самостоятельно. Лет с двенадцати я стал их постоянным гостем в Москве, а на дачу к ним ездил, как к себе. Как это ни странно, но я был принят в этом семействе (вернее, в части его, то есть у Екатерины Ивановны и Кости, так как «инженер» меня терпеть не мог) за равного. Ко мне относились как к взрослому другу дома. В моем развитии, в выработке миросозерцания общение с ними и их друзьями — соседями и гостями — сыграло огромную роль.

Осень 1910 года началась для театра катастрофически — Константин Сергеевич к сезону не приехал: он лежал больной брюшным тифом в Кисловодске. Планировавшаяся работа над «Гамлетом» была отложена; срочно приступили к «Карамазовым». Я их тогда еще не читал, поэтому, когда у Барсовых приступили к чтению по вечерам отдельных глав из романа, я с огромным интересом слушал эти чтения. Образ Ивана мне не нравился — казался неясным, слишком сложным. Я имел нахальство считать, что Достоевскому средний брат не удался. Разве можно его сравнить с таким живым и страстным Дмитрием и с добрым и умным Алешей?

В «Легенде о великом инквизиторе» я просто ничего не понял. За отца я был огорчен и обижен, что ему дали роль Ивана. Думал, что, если бы Константин Сергеевич был в Москве, такого безобразия бы не произошло. Но, как выяснилось очень скоро, я был не прав — роль Ивана Карамазова стала одной из лучших в репертуаре Василия Ивановича.

«Карамазовых» я стал читать почти ежегодно и лет в шестнадцать понял (вернее — казалось мне, что понял) и оценил и глубоко полюбил именно Ивана с его «Легендой» и «Кошмаром».

Отец, как это ни странно (а может быть, это и не странно), бесконечно серьезно и глубоко работая над Достоевским, над всем романом и особенно, конечно, над философией Ивана, очень полюбив образ Ивана, вернее, сжившись с ним, — философию Достоевского, Достоевского как философа разлюбил и отверг совершенно.

В том же сезоне у отца был и еще один громадный успех — набоб Пер Баст в пьесе Гамсуна «У жизни в лапах». Мне кажется,

ни одной роли ни до, ни после он не играл с таким наслаждением. Он немного стеснялся своего удовольствия от этой роли, уж очень она была сравнительно с шекспировским, достоевским, островским, чеховским репертуаром легковесна, мелодраматична, внешне эффектна, бессодержательна. Ведь даже в дурнотонном «Анатэме» были проблемы более серьезные и глубокие, чем трагедия старения и «власти жизни». Но играть человека смелого, уверенного в себе, своем праве на счастье, страстного жизнелюбца, быть хоть на сцене таким, каким хотел, но не мог быть в жизни Василий Иванович, потому что ему мешал его лабильный темперамент, освободиться от вечных сомнений и колебаний — было весело и приятно. Играл он Баста изумительно. Он был красив, мужествен, дерзок, обаятелен, он был соблазнителен (как говорили женщины). Многие считали, что он был в Басте больше Дон Жуаном, чем в «Каменном госте».

С огромным увлечением занимался Василий Иванович своей внешностью для этой роли — придумывал «коски» для увеличения роста, толщинку для расширения груди и плеч (от нее он потом отказался, она его стесняла и тяжелила фигуру, не придавая ей мощи), парик, цвет лица, нос, бороду. Даже для зубов он придумал грим — покрывал их слоем гримировального лака. Результат был отличный — фигура получилась могучая и, как говорили, «солнечная».

Весь этот сезон он усиленно занимался гимнастикой, чтобы выработать в себе пластичность походки, изучил приемы, помогавшие ему ложиться, садиться, вскакивать легко, «как ягуар».

На генеральной репетиции я почему-то оказался рядом с А. А. Стаховичем. Когда Василий Иванович давил кобру (для треска «черепа кобры» под ковер клали несколько пустых спичечных коробок), я вскочил и дернулся к рампе, и вместе со мной рванулся и Стахович. Оба мы сконфуженно сели на свои места, но крепко, видимо, забирало публику происходящее на сцене, если такая реакция никого не удивила. Потом Стахович сказал: «Вполне понятно, что Дима рванулся, я и сам чуть не вскочил», но на самом деле он вскочил даже раньше меня.

Константин Сергеевич

Лето 1911 года мы со Станиславскими и неизменными Эфросом и Смирновой жили в Бретани, на берегу Атлантического океана, в крошечном городишке-поселке Сен Люнер. Столовались все у Станиславских, которые снимали большую виллу под названием «Le Goéland», что значит «морская чайка». Они наняли хорошую кухарку и ели очень вкусно и обильно. Семья Константина Сергеевича состояла из него, Марии Петровны, Игоря и Киры. Игорю было шестнадцать лет, и с ним приехали два гувернера, которых мы звали Цыфиркин и Вральман. «Цыфиркиным» был окончивший медицинский факультет молодой спортивный врач, борец и судья французской (классической) борьбы Николай Васильевич Демидов. «Вральман» был молодой англичанин, вернее, ирландец, спортсмен и преподаватель английского языка Рэй.

В задачу Демидова входил спортивно-медицинский надзор, физическое воспитание Игоря. После тяжелой болезни (тиф) он очень ослабел, а наследственность была плохая — в семье Алексеевых большинство болело туберкулезом, — вот родители и решили использовать это лето на берегу океана, чтобы укрепить здоровье Игоря. Рэй занимался и с Игорем и с Кирой английским языком и играл с ними в теннис. Это был веселый, энергичный, темпераментный, с быстрой речью и движениями человек — полная противоположность медлительному, педантичному, либо молчавшему, либо бесконечно долго (потому что медленно) говорившему Демидову. Последний увлекался йогами, их школой физического и духовного воспитания человека; отрицая всю мистическую и романтическую сторону их учения, брал только внешнее. Дождавшись паузы в оживленной застольной беседе Марии Петровны, Константина Сергеевича и моей матери, Демидов монотонным голосом заводил бесконечные поучения на тему о жевании, переваривании и усваивании пищи. Со скоростью двенадцати слов в минуту он сообщал о том, что каждый кусок, попавший в рот, должен быть перетерт зубами в мелкую кашицу, смочен слюной и не должен быть проглочен, пока эта процедура не будет повторена тридцать два раза. Все попытки прервать себя он пресекал, форсируя не темп, конечно, а силу звука своей речи. Бедный Игорь покорно жевал, отсчитывая количество «жевательных процедур» на пальцах.

Закончив сообщение, Демидов замолкал и молча ел, смотря перед собой и не принимая участия в разговоре и, кажется, не слыша его. Рэй слушал Демидова, не понимая его (он очень мало

знал русский язык), но самый звук голоса, самый темп речи вызывал в нем, видимо, совершенную ярость. Когда же Кире удавалось со свойственной ей невозмутимостью перевести ему смысл этих поучений, он наливался рыжей кровью, садился на свои руки, задирал подбородок и, уставившись в потолок, тихо топотал по полу каблуками и бормотал какие-то ирландские не то проклятия, не то молитвы о ниспослании ему свыше терпения и сил, чтобы не убить этого йога…

Видимо, все же Демидов не только поучал, но и слушал — через несколько лет он оказался в числе исповедников системы Станиславского и обучал ей и пропагандировал ее в ряде театров.

Я всегда обожал Константина Сергеевича, но за это лето, когда я впервые видел его изо дня в день, слушал его — он был весел и разговорчив в этот период, как давно не был (это утверждала Мария Петровна), — я влюбился в него страстно. Я гулял с ним, и он с удовольствием слушал мои рассказы о наших играх, ссорах, драках даже, советовал мне, как и кому ответить, как, не ввязываясь в драку, оказаться победителем. Больше того — он учил меня плавать. Сначала обучал плавательным движениям на полу или на двух стульях, потом проверял меня, сопровождая на пляж. Он не купался, но разувался и закатывал свои белые брюки выше колен, входил в воду и смотрел, как я выполняю его наставления.

В это лето Константин Сергеевич много работал с Н. Е. Эфросом; он искал в Николае Ефимовиче истолкователя своего учения о театре, об актере. Тот с истинной и глубокой готовностью откликнулся, и они одно время встречались каждый день и, сидя на каменном балконе виллы, работали. Константин Сергеевич надеялся, что Николай Ефимович сможет найти общепонятную форму его мыслям, сможет, не исказив, выразить самое главное, самое сокровенное, что хаотически клубилось в его голове, но при попытке выразить словами превращалось в вульгарность, трюизмы, пошлость (так он говорил сам Николаю Ефимовичу) или оставалось сумбуром. Но, видимо, Николай Ефимович был слишком популяризаторски прямолинеен для поэтического и романтического изложения строя мыслей Константина Сергеевича того времени. Его переложение и обработка их бесед угнетали Константина Сергеевича своей рационалистичностью, сухостью и поверхностностью. Мой отец говорил, что Эфрос слишком честен, что он настолько высоко чтит Константина Сергеевича, что не способен на ложь перед ним, на приспособление к нему и главное — на лесть, к которой Константин Сергеевич уже был приучен своими адептами.

Эфрос добивался точности, ясности до конца,

ответственности за каждое положение, просвечивания мысли до самых ее глубин. И когда в глубине ее иногда никакого ценного зерна не оказывалось, это огорчало и угнетало Константина Сергеевича и приводило его или к сознанию своей творческой немощи, или (и это гораздо чаще) к выводу о невосприимчивости Эфроса.

В Эфросе не было ни на атом евангельской Марии — он не мог сидеть у ног учителя и внимать с раскрытой душой, — слышанное он должен был немедленно изложить в понятных читателю словах; все, что он слышал, он тотчас же видел в типографских знаках на странице… Не было в нем и Марфы (он не интересовался организацией философского и учительского быта и блага Константина Сергеевича), он не мог, как впоследствии другие, взять общепонятную часть услышанного, переработать ее, уснастить и изложить читателям под видом целого и основного — этого ему не позволяла совесть, уважение и любовь к Константину Сергеевичу.

Перескакивая через десяток лет вперед, мне надо тут же сказать об этих «других», которые «впоследствии»… Как всякий гений, Константин Сергеевич был окружен людьми разными, в том числе и маленькими. Не потому, что они были мелки сами по себе, но потому, что уж очень велик был он и маленькими они были рядом с ним. Но много среди них было и маленьких в смысле мелких, таких, которые хотели не брать от него, учась у него, а брать через него, благодаря ему… Для которых он был не источником познания, а источником в смысле благоустройства, карьеры. Они если и учились у него, то не ради самого Искусства и Театра, а ради обеспечения себе будущего в театре и в искусстве. Были возле него не ради любви к нему, к его учению, а ради права сказать потом: «Он говорил мне…» — и учить самим и иметь привилегию владеть «первоисточником познания». Константин Сергеевич же при всей своей гениальности, при всем огромном таланте своего ума был до умилительности доверчив и наивен.

Так вот не удалась ни Константину Сергеевичу, ни Николаю Ефимовичу эта работа — сделать «мысль изреченную» не ложью честный, влюбленный, но, может быть, недостаточно чуткий Эфрос не смог. Дружба их от этого не пострадала. Николай Ефимович, всмотревшись в Константина Сергеевича с лупой, не перестал его чтить и любить, он только увидел его другим, неожиданным…

Константин Сергеевич до всего доходил своим путем, школа не дала ему ни знаний, ни метода к приобретению знаний. Он читал мало, несистематично и не фиксировал прочитанного.

Образование его было типичным для его времени и круга. Тем большего уважения заслуживает то, чем он себя сделал, и то, что он вокруг себя создал. Может быть, от неискушенности образованием, от неискушенности знаниями в нем сохранилась гениальная наивность, детскость, непосредственность.

У Константина Сергеевича не было никакого мелкого самолюбия — он не скрывал своих незнаний, не стыдился узнавать новое, даже если источником узнавания был ребенок или прислуга. Замечательно было то, каким образом эти сведения становились совершенно неожиданными и гениальными примерами и режиссерскими «манками», когда они попадали в какой-то канал, по которому текли на мельницу его творчества. Иногда нельзя было путем простой, общечеловеческой (вернее, рядовой человеческой) логики понять и объяснить эти связи, зависимости или противопоставления. Логика была больше постигавшаяся чувствами, почти прозрениями, логика гения. У него был мощный, независимый от мещанской, «гелертерской» логики ум. Он сопоставлял неожиданности так глубоко и необъяснимо просто, как это бывает только в снах, когда во время них все понятно и ясно, а при пробуждении связь явлений мгновенно расползается и исчезает. Ну как мог просто умный и в яви мыслящий Эфрос постичь и воплотить в логике слов, состоящих из тридцати трех букв алфавита, то, что могло выразиться только интонацией, вздохом, жестом, улыбкой, блеском и потуханием зрачков… Это все равно как если бы рассказывать живопись и попытаться, описывая картину гениального мастера, сделать из этого описания учебник живописи.

Когда я, читая написанное самим Станиславским, вспоминаю свои ощущения от общения с ним, мне кажется, что передо мной только тень грубо вырезанного контура фотографии с картины, — настолько это беднее его творчества, его глубоких, почти нечеловеческих прозрений в подсознательное в человеке-актере. Алогичная связь интуиции с интуицией, воздействие не через рассудок, а иногда вопреки ему, и не на разум, а на чутье, на то непознаваемое, что делает, что составляет художника в актере, — это и было самым основным, самым главным. Самым увлекательным было смотреть на него во время репетиции, когда одно лицо выглядывало из другого, — лицо, отражающее образ, который он ставил задачей, образ создаваемый, застилалось лицом творца, лицом, на котором появлялась то улыбка удовольствия, почти наслаждения от близости, от совпадения задуманного с получающимся, от того, что образ, ощущаемый им в глубине актера, всплывает, приближается к поверхности, почти

совпадает с живущим актером… То горе, страх, отчаяние от того, что образ уходит, пропадает… То гнев, когда истинное подменялось изображаемым. Тоска от непонимания, от невозможности быть понятым сменялась недоумением — как это ясное ему, как свет солнца, может быть непонятным.

И если эта теория, это бледное отражение его прозрений, все-таки стала библией мирового театра, это произошло потому, что, во-первых, есть Художественный театр, во-вторых, есть миф о Станиславском — великом актере и режиссере (миф не в смысле выдумки, а в смысле проекции на вечность и бесконечность), и, в-третьих, потому, что прозрения эти так гигантски масштабны, что и их отображение является откровением для стремящихся к истинному в театре. То зерно правды, которое в них прорастает, — единственный указатель пути к свету.

Все это, конечно, хронологически не относится к лету 1911 года; это то, что мне самому надумалось за годы работы с ним и наслышалось от Василия Ивановича, матери, из разговоров истинных друзей и соратников его и утвердилось за многие годы.

Тогда же было обожание, нежность и бережность — страх, как бы его не обидели, не победили в споре, не огорчили. Мне не хочется расставаться с Константином Сергеевичем, и я, перескочив через годы, продолжаю разговор о нем.

Лето 1913 года мы с отцом жили в Кисловодске, Станиславские жили там же, и мы вместе обедали за табльдотом отеля-пансиона Ганешина. Это лето было слишком увлекательным для меня — я один ходил в дальние прогулки по окрестностям Кисловодска, ездил верхом на наемной лошади, которую приводил «настоящий черкес», вообще же чувствовал себя совершенно взрослым, а на самом деле играл в «героя нашего времени», ощущал себя Печориным, или Максимом Максимычем, или «полудиким лезгином». Я сказал «слишком увлекательным» в том смысле, что мне было не до Константина Сергеевича.

Какие-то споры он вел с отцом, в чем-то ласково упрекал и убеждал О. В. Гзовскую, упрекал молодежь МХТ в равнодушии и пассивности. Все это проходило мимо меня — когда вся компания подолгу засиживалась за столом после ужина и вела, вероятно, интереснейшие разговоры, я с последним куском арбуза или ложкой мороженого вскакивал, благодарил и бежал в парк, к речке, чтобы там продолжать свою одинокую, но увлекательную игру. Раз только Константин Сергеевич вмешался в мою жизнь — я должен был в первый раз в жизни ехать верхом, черкес обещал привести лошадь, я с нетерпением, волнением и, кажется, страхом ждал этого события. Константин Сергеевич, увидев меня

в гетрах и со стеком, спросил, умею ли я ездить. Узнав, что мне предстоит впервые сесть в седло, окликнул сидящего с газетой В. А. Нелидова и попросил его выйти со мной, показать мне основные приемы езды, посадки и т. д. Тот послушно пошел, но, когда мы с ним оказались вне поля зрения Константина Сергеевича, сказал: «Поезжай с богом, держись за луку и подтяни стремена до подмышки». На этом его наставления и своеобразный инструктаж кончились.

Я думаю, он и сам знал не больше — с верховой ездой он был знаком по преимуществу через тотализатор, а не через лошадь. Это, кстати, была одна из любопытнейших фигур театральной бюрократии того времени. Сын российского посла в Турции, воспитанный в императорском Александровском лицее, он был почему-то назначен заведующим московской конторой императорских театров. Кроме связей с пятнадцатилетними ученицами балетного училища и брака с молоденькой актрисой Малого, а потом Художественного театра О. В. Гзовской, у него ничего общего с театром не было. П. М. Садовский выразился о нем так:

> «Вы знаете ли царского слугу —
> делами всеми управляет.
> Он кормится на скаковом лугу,
> а пакостить в театр забегает».

Когда через несколько дней Константин Сергеевич спросил меня, помогли ли мне советы и наставления Нелидова — ведь он превосходно знает конное дело, — я не рассказал ему о том, как мало внимания тот мне уделил, боялся испортить ему настроение… Но его интерес ко мне оценил очень и решил, что обязательно научусь ездить, «как жокей», ведь на овладение этим спортом меня благословил Сам, как он меня благословил на плавание и даже (и совсем не по-нелидовски) преподал мне первые уроки его. Это было, пожалуй, одно, что в какой-то мере связало меня с ним тогда. Потому что я и разговоров с отцом о Константине Сергеевиче в это лето не вел или, во всяком случае, их не запомнил. Очевидно, мальчишеское восприятие романтики Кавказа и, главное, абсолютная, впервые в жизни, свобода от какой бы то ни было, даже моральной, опеки, уже не говоря об «административно-полицейской», бросились мне в голову.

Мать, которая в это время лечилась в Ессентуках, съехавшись с нами, нашла меня очень повзрослевшим. Должно быть, отец слишком отпустил удила моего воспитания, уж очень ему не до меня было.

В курортной газете Минеральных вод писали: «Сезон на водах вступил в свои права: по дороге на Романовскую горку можно встретить элегантную юношескую фигуру Качалова». В своем дневнике того лета он пишет: «Живу широко, много и вкусно трачу денег». Позади труднейшие сезоны с «Гамлетом» и «Карамазовыми», гастроли в Петербурге, Киеве, Одессе; приступы неврастении со всякими страхами, сомнения в своей полноценности как будто развеялись — уж очень за эти годы много сделано и, кажется, действительно хорошо вышло многое. До педагогики ли тут… Да и зачем портить друг другу жизнь, если можно этого не делать? Думаю, что он немного устал в это время от Константина Сергеевича, хотелось освободить мозги от «системы», от театра вообще, поэтому он мне мало говорил о нем, и об искусстве, и о серьезном вообще. Радовался возможности делиться со мной как со взрослым веселым и смешным, наблюдениями, анекдотами, даже характеристиками встречных женщин.

Это лето было прекрасным, но не приблизило меня к Константину Сергеевичу, а, наоборот, отдалило. Зато я повзрослел, стал зрелее и был более способен оценить его при следующей встрече — летом 1914 года.

«Гамлет», Крэг, Сулер

Прежде чем продолжать хронологическую нить своего повествования, прежде чем перейти к рассказу о рубеже, каким оказался во всех наших жизнях 1914 год, год войны, завершившей историю старого мира, мне хочется вернуться назад, к годам 1909–1911. Это годы, когда театр работал над «Гамлетом».

Еще в 1908 году у отца на столе появились экземпляры «Гамлета», их было штук пять-шесть. Мне было очень трудно понять, зачем об одном и том же написано разными словами, но из любопытства, преодолевая скуку, я прочел «Гамлета» в переводах Полевого, Вронченко, Гнедича, Соколовского, Загуляева, Кронеберга, К. Р. Отец, к моему удивлению, читал и перечитывал их все, выписывая, надписывая, поправляя. Мало того, он достал подлинник, пытался со словарем и подстрочником разобраться в смысле, решить задачи-загадки, возникавшие у него при изучении текста. Ни над одним текстом роли он не работал так, как над этим, а ведь сыграл к тому времени уже довольно много переводных пьес. Ни Ибсен, ни Гауптман, ни позднее Гамсун, ни даже сам Шекспир («Юлий Цезарь») не ставили перед ним таких сложных текстологических задач.

В 1909 году Сулер привел к нам в дом удивительно красивого, веселого, легко и изящно грациозного и свободно-элегантного человека. Это был Эдуард Гордон Крэг. Мать, довольно свободно владевшая французским языком, объяснялась с ним без затруднений, но отец очень стеснялся своей безъязычности и невозможности общаться с ним без посредства Сулера. Бывал он у нас немного. В первый приезд был раз семь-восемь, во второй, после годового перерыва, не знаю, был ли два раза. Сулер очень стремился к тому, чтобы подружить их с Василием Ивановичем, он хотел простой человеческой дружбы-приязни между ними и, утомленный постоянной необходимостью быть в роли переводчика в театре, где надо было переводить глубоко принципиальные, философские и литературно-театроведческие и искусствоведческие споры, возникавшие между Константином Сергеевичем и Крэгом, стремился свести беседу к житейским темам, к быту и юмору. Но и Крэг и Василий Иванович были очень заинтересованы друг другом и все сворачивали на главное, на серьезное. А языка, связи не было. Французский язык матери, ее словарный багаж был слишком скуден для глубоких тем; так ничего путного и интересного и не вышло.

Кроме усталости у Сулера (как предполагал впоследствии

Василий Иванович) были еще некоторые тактические соображения: он опасался, как бы Крэг не сделал из Василия Ивановича слишком уж согласного с ним, Крэгом, актера, своего адепта. А это не казалось Сулеру в этот период (в первый приезд Крэга) желательным. По его планам роль Крэга должна была быть главным образом ролью постановщика, истолкователя Шекспира, а функция воплотителя, режиссера-учителя должна была оставаться за Константином Сергеевичем. С актерами должен был работать он, добиваясь от них выполнения заданий, решения задач, достижения целей, поставленных Крэгом.

Во второй приезд Крэга (после сезона, пропущенного из-за болезни Константина Сергеевича, когда вместо работы над «Гамлетом» Владимиром Ивановичем были поставлены «Карамазовы»), в предвыпускной период, противоречия особенно ясно обозначились и между Константином Сергеевичем и Крэгом и между Крэгом и Василием Ивановичем. Были, как вспоминал Василий Иванович, противоречия между Константином Сергеевичем и Василием Ивановичем. Были подозрения у Станиславского, что Качалов где-то и в чем-то слишком близок с Крэгом, что в какой-то мере он «предает» его, Станиславского. Этого, конечно, не было, но стремление согласить их, стремление как-то интегрировать их было. Шло оно и от вообще миролюбивого характера Василия Ивановича, было в этом и влияние Сулера, который особенно страдал от всяческих разногласий в этой работе, но, помимо этого, была и заинтересованность в смелости, в новаторстве Крэга. Было и (может быть, больше всего) увлечение личностью Крэга, его обаянием, обаянием его таланта. Но это было, вернее, бывало только временами, периодами, иногда даже днями, а постоянным было то, что сближало с Константином Сергеевичем, что объединяло их, истинных актеров МХТ, — это было стремление к правде, к искренности, к правдивости в выражении чувств… В той или иной форме это свойственно всем русским художникам, а для юного, тринадцатилетнего Художественного театра это было его кредо, было основой его жизни.

Я не думаю, что Крэг был неискренен (вернее, не был искренен), — вероятно, то, чего он хотел и к чему вел, было или казалось ему правдой, но она была слишком субъективной, и для того, чтобы сделать ее объективной (вернее — убедить в этом), чтобы доказать ее истинность, увлечь ею, он постоянно преувеличивал — говоря теперешним языком, «перегибал». Отец как-то много позже, вспоминая работу с Крэгом, говорил об обидности для них, актеров, художников, людей мыслящих и творящих, этого стремления эпатировать, удивить, поразить и

сразить парадоксами. Это могло быть необходимо Крэгу при полемике с европейскими мещанами, с английскими фарисеями, но с художниками самой духовно свободной страны (какой Качалов считал даже и тогдашнюю Россию) можно и нужно говорить «без запроса». Слишком много он видел в Крэге самовыявления, стремления поразить собой, своей мудростью, своей фантазией, своей глубиной, своей смелостью… Даже своей простотой, больше — своей скромностью. Он ставил спектакль не только, может быть, даже не столько ради спектакля, сколько ради декларации своих постулатов. Это было глубоко чуждо искусству, которое исповедовал Художественный театр, и чуждо и враждебно.

«Режиссер должен умереть в актере» Вл. И. Немировичем-Данченко еще не было сказано, но уже было в душе и разуме художественников, а Крэгу эта мысль, вероятно, показалась бы нелепой — ведь он мечтал об абсолютно противоположном (его марионетки, игра светом, символы…). Здесь, очевидно, и была основная причина того, что из этого симбиоза ничего не получилось.

Я очень ясно помню свое детское восприятие спектакля. Как оно ни глупо и ни наивно, но в нем, как в карикатуре, отобразилось, мне кажется, тогдашнее отношение к «Гамлету» (спектаклю) и самого МХТ и его ближайших друзей.

Как только стало известно, что МХТ ставит «Гамлета», в «Русском слове» появился фельетон-шутка, в котором автор изображал совещание между руководителями Художественного театра. Шла между прочим речь и о том, как показать, что кладбище запущенное, и один из руководителей придумал вывести на сцену привязанную к дереву корову, считая, что это будет, дескать, и реалистично и убедительно. Я (а мне было восемь-девять лет) запомнил из всего фельетона только эту корову и очень надеялся увидеть ее на сцене, когда смотрел генеральную репетицию… Но, увы, не было не только коровы, не только дерева, не было даже земли — могилу «копали» в ровном, прямолинейном полу, а кругом стояли тоже ровные, прямолинейные ширмы, такие же или даже те же, что в спальне и во дворе замка и в комнате Офелии. Я был достаточно смышлен и осторожен, чтобы не насмешить вопросом о корове, но разочарование от холодности, пустоты, безжизненности, ненастоящести окружения я ощутил и запомнил. Тогда не говорили (во всяком случае, до меня это не доходило) о формализме, но неприязнь этот прием вызывал, и побеждать эту неприязнь актерам было трудно. Не корову ждал увидеть в спектакле взрослый зритель, а привычную ему и любимую в этом

театре правду. Путь же к ней шел через тяжелую борьбу с формой спектакля, с его надуманной символикой, с его рационалистической философичностью, такими чуждыми и Шекспиру (в его русском восприятии) и театру и так мучительно неорганичными актеру, мыслителю и человеку Качалову.

Во второй приезд Крэга Сулер тоже приводил его к Василию Ивановичу, пытаясь личными контактами скрепить все больше и больше рвущуюся между ними связь. Дома Крэг был прост, весел, обаятелен. Очень просто и естественно подчеркивал свое уважение, свою высокую оценку Василия Ивановича и скромность своего мнения о себе, вернее, своей репутации в мире искусства… Меня особенно пленил такой разговор. В это время ощенилась наша Джипси, и было решено лучшего щенка наименовать «Гордон Крэг». Когда Крэга спросили, не покажется ли ему это обидным, он энергично замотал головой: «Нет, о нет! Мне это очень лестно, но как отнесется к такому скандально-одиозному имени его мать?»

Но юмор юмором, а искусство искусством, и, хотя отношения между ними оставались отличными и Крэг очень высоко ценил Василия Ивановича и даже в «Гамлете» его принял и очень хвалил («прекрасный, но не мой Гамлет»), Василий Иванович до последних лет вспоминал этот неудавшийся опыт «призвания варяга» и даже как-то, в связи с работой над «Идеальным мужем» Уайльда, пытался обобщить чуждость нашему духу таких «парадоксалистов» и «самовыявителей» — Оскара Уайльда, Обри Бердслея и… Гордона Крэга. Говорил о необходимости серьезности (не серьезничания, которого очень боялся), недопустимости, неинтересности изящества ради изящества, острословия ради острословия и искусства ради искусства. Нам, русским, это просто скучно, потому что чуждо, потому что мы уже и тогда (1909–1911 годы) переросли это, а теперь мы и подавно слишком взрослые, слишком зрелые и, главное, слишком свободные для этого. Нас смелость и вольность мысли, даже парадоксальность не щекочет, нам нужна глубина веры и мысли, нужна серьезность.

Серьезность в работе, в мышлении, в творчестве была всегда очень Василию Ивановичу дорога, и людей, обладавших ею, он ставил где-то очень близко, если не наравне с людьми талантливыми, одаренными. Одной серьезности мало, но ее отсутствие даже при таланте грозит легковесностью, а может быть, даже и бесплодностью. В Крэге он такой серьезности не ощущал, но зато особенно оценил за нее Сулера. Василий Иванович снова и еще больше, еще выше оценил его и еще больше, крепче и уважительнее полюбил.

Мне хочется опять вернуться к нему и к его значению в жизни театра и в нашей личной.

Василий Иванович говорил, что Сулер, несмотря на свое польское происхождение, был образцом русского человека. Он считал умственную и душевную честность, способность к активной вере, способность, раз поверив во что-нибудь, быть готовым все ради этой веры, ради того, во что веришь, отдать и всем пренебречь — свойством преимущественно, главным образом русским.

Сулер был весь пронизан этой действенной верой, она давала ему силу и право руководить людьми, воспитывать их, созидать из них… Но он не стал тупым сектантом, слишком он был умственно широк для этого, он не костенел в своей вере, она диалектически жила в нем и творчески изменялась, но накал ее был в нем всегда ровно высок. Во имя этой веры и любви он умел становиться вторым, а если дело этого требовало, и третьим человеком, ни в коей мере не теряя при этом страсти в самоотдаче.

В работе над «Гамлетом» Сулер был и переводчиком, и толкователем, и создателем необходимых компромиссов ради взаимопонимания Константина Сергеевича с Крэгом, Крэга и актеров, Крэга и макетчиков, машинистов, осветителей. Он был и тем стержнем, вокруг которого все вертелось, он был и смазкой, благодаря которой не загорались части, он был и главным двигателем. Много о его трудовом подвиге, о его такте, таланте, вкусе, чутье, выдумке рассказывал Н. В. Петров, работавший под его и Крэга руководством в макетной. И все это Сулер делал без малейшей саморекламы, ни секунды не подчеркивая своего, себя… Оставаясь незаметным и неоцененным, да и не ожидая ни оценки, ни благодарности…

В отношении Василия Ивановича и всей нашей семьи к Сулеру произошел за этот период новый взлет любви и уважения. Всегда крепкая дружба стала еще крепче и нежнее. Было решено как можно больше жить вместе летом.

Осложнившаяся у Василия Ивановича неврастения заставила его лечиться в Кисловодске, очень на него всегда благотворно действовавшем, а моя мать лето 1912 года провела со мной на Украине, на Днепре, недалеко от могилы Шевченко, где Сулер с семьей, состоявшей, кроме него, из жены Ольги Ивановны и сына Мити девяти лет, уже несколько лет снимал дачу.

В то лето там жили Москвины — Иван Михайлович, Любовь Васильевна, урожденная Гельцер (сестра балерины Екатерины Васильевны Гельцер), их два сына лет девяти и семи, мать Любови Васильевны и племянница Таня одиннадцати лет,

Н. Г. Александров с женой и дочерью Марусей шести лет. Неподалеку жил и хозяин всего этого хутора и прекрасного фруктового сада, в котором стояли эти дома, директор Киевского археологического (или исторического?) музея Беляшевский и его два племянника моего возраста; кроме этих семей там жили еще Л. М. Коренева и В. А. Попов. Нас, детей, было восемь человек.

Какие бы планы занятий ни строили наши родители и воспитатели на лето, все они превращались в прах, если не совпадали с тем, что хотел с нами делать Сулер. Сидели ли мы за пианино, твердя гаммы, зубрили ли немецкую или французскую грамматику, или, как я, решали примеры из арифметики (я по ней в гимназии очень отставал) — как только раздавались переливчатые трели боцманской дудки Сулера («дяди Лёпы»), все бросалось в ту же секунду, и мы, сокрушая всякое сопротивление, мчались к нему. Он был абсолютным повелителем нашим. Его слово было законом, никому в голову не приходило в чем бы то ни было его ослушаться, не с полным самозабвенным рвением выполнить любое его приказание. Причем он никогда не сердился, никогда ничем не грозил. Просто мы его любили и уважали так, как это могут делать дети по отношению к самому светлому герою их мечты, к идеалу их представлений о человеке.

Сулер не жалел своего времени, которое было ему нужно для продумывания, для подготовки своих режиссерских работ по театру и по организации Первой студии Художественного театра, для писательской деятельности, для отдыха, наконец, — не жалел для нас, детей. Часами он занимался нами, нашим воспитанием, нашими играми, прогулками, купанием… Неверно говорить «играми» — это была одна бесконечная на все лето игра, в которую входило все, чем мы занимались. Все игры, занятия, развлечения и работы… Основное в этой игре было то, что мы все были моряки. От Ивана Михайловича Москвина, который был самым главным — он был адмиралом, — до Маруси Александровой, которая была гребцом второй статьи.

Мы были флотом, но не военным, а мирным, всякий элемент военщины изгонялся категорически или пародировался, высмеивался, оглуплялся. Материальная часть нашего флота состояла из дуба — крепкой, большой лодки, в которой гребли четыре человека, одним веслом каждый, а пятый управлял кормовым, «кормчьим» веслом; двух «галер» — лодок, на которых гребли по два человека, двумя веслами каждый, и челнока — на одного гребца и одного пассажира.

Каждый день мы все под командованием Сулера «уходили» (не дай бог никому сказать «уезжали») на дубе с двумя «вахтами» (одна на веслах, другая отдыхает) на другой берег для купания,

обучения плаванию, загорания, гимнастики, бешеных игр в индейцев и т. д. Иногда уходили в «дальнее плавание» — в село Прохоровку на ярмарку; в имение А. П. Ленского; в Канев на могилу Шевченко; еще в какое-нибудь село, где слушали кобзаря, бандуриста, лирника; либо туда, где, Сулер знал, есть гончар, работавший на ножном круге, или еще какой-нибудь ремесленник, мастер-художник своего дела; к учителю в соседнее село, у которого были собраны старинные одежды гуцулов — карпатских горцев…

Были плавания особо дальние — с ночевками у костра, в «вигваме» (из брезента и парусины) или в «типи» (из коры и ветвей). Взрослые допускались в эту нашу игру не очень охотно. Особенно женщины, особенно матери. Они портили игру. Портили, во-первых, тем, что волновались за нас — что мы утонем, что простудимся, сгорим на костре, когда прыгаем через него в диком охотничьем танце племени дакотов; расшибемся, когда ласточкой летим с обрыва в прибрежный песок, и т. д.; во-вторых, еще больше портили игру тем, что не верили в игру. Самое страшное для ребенка — это если кто-то рядом не верит в его «как будто». Мгновенно игра испорчена, и становится скучно и противно. Сулер верил, не притворялся, не подыгрывал нам, а верил. *Верил*. Я знал это, ребенок не может ошибаться, его ни один гениальный актер не надует. Мы знали, что дядя Лёпа, Сулер, играя с нами, верит в то, во что мы верим. Он вместе с нами поднимал со дна моря затонувший сто лет назад пиратский пятидесятипушечный фрегат и открывал бочонки с изумрудами и рубинами, утонувшие на нем… Он раскапывал древний курган и находил там похороненную две тысячи лет назад принцессу (Таню Гельцер), которая спала «лекарическим» сном, и мы ее оживляли и учили говорить по-русски, так как она знала только древний сарматский язык (язык мы тут же сочиняли), и никогда Сулер не портил нам веры в истинность происходящего. В этом и была подлинность проникновения его в систему Станиславского, в самую глубинную сущность Художественного театра.

От этих наших игр, которых Сулер не был режиссером, а только участником, шел прямой и торный путь к созданию Первой студии, в которой Сулер был руководителем.

Нами он не руководил, он только отвращал нас от грубого, жестокого, кровожадного. Можно было, например, охотиться на акулу, «гигантскую пожирательницу детей» — он сам тащил отяжелевшую от времени черную корягу со дна Днепра, падал под «ударами ее хвоста», но нельзя было, даже играя, стрелять из лука в Капсюля или Серку (наших собак), хотя они и были в игре «вепрями» или «медведями».

Характерным результатом педагогики Сулера была история с гусем. Александровы купили к обеду живого молодого гуся, он был очень худ, решено было откормить его. Через неделю он стал самым популярным членом нашей компании — он купался с нами, гулял, участвовал в наших играх. О том, чтобы его зарезать и (о ужас!) съесть, не допускалось и мысли. Федя Москвин сказал: «Лучше уж бабушку».

Но самым большим наслаждением были праздники, которые организовывал Сулер в связи со всякими событиями, юбилеями, именинами и т. д. Самым, пожалуй, торжественным и увлекательным для нас был «день открытия навигации». За несколько дней до этого мы с помощью рыбака из соседней деревни (а вернее, этот рыбак, несмотря на наши старания помочь ему) просмолили днища наших «кораблей» (а заодно и друг друга так, что неделю нас не могли отскоблить). Он, тоже с нашей помощью, сшил из белой парусины парус для дуба, сделал мачту и рею, на мачте, под «ноком», был подвязан блок для подъема флага. Наши «моря□чки» (матери) сшили флаг — он был белый с тремя синими переплетавшимися кольцами — символами вечной правдивости, бодрости и дружбы. В утро торжественного дня «морское собрание» — терраса дома, в котором жили Сулеры и Александровы, — было украшено «флагами расцвечивания» (цветными лоскутами, собранными со всего поселка), гирляндами из листьев и цветов, букетами полевых цветов.

Мы в восемь утра были построены «на палубе» (терраса при необходимости была и палубой), около террасы стояли все дамы в белых платьях с букетами цветов. Сулер был в белом кителе с золотыми пуговицами (вызолотил бронзой какие-то кружочки), Александров — помощник капитана, он же главный кок — был в костюме повара с белым колпаком, Володя Попов — боцман — стоял в строю вместе с нами.

Ровно в восемь часов тридцать минут вместе с боем склянок (Сулер бил в ступку) из дверей соседней дачи показался адмирал — И. М. Москвин. Несмотря на жаркое летнее утро, он был в черном фраке, белом жилете и брюках, с поднятым и подпирающим его щеки крахмальным отложным воротником, с синей орденской лентой через плечо. Все имеющиеся в поселке часы — золотые, серебряные, стальные, черные, большие и маленькие — все компасы были навешаны на его груди вместо орденов. На голове его была огромная, украшенная перьями треуголка из двух сшитых вместе шляп. Он вышел и остановился, чтобы посмотреть на небо, и стоял минуты две неподвижно. Засмеявшаяся было Л. М. Коренева была строго призвана к

порядку — Сулер требовал полной серьезности. И Москвин в этом смысле был на недосягаемой высоте. Расстояние в пятьдесят метров он шел минут десять, сохраняя на лице абсолютную невозмутимость и истинно сановничью важность. Он не представлял, не изображал адмирала, *он играл в адмирала*. Мы не смеялись тогда, мы тоже играли в смотр, играли как настоящие дети — абсолютно серьезно, с полной верой в «как будто»…

Наши матери сдерживали смех — они не играли, но не смели портить игру. Мы были первоклассной актерской труппой — они добросовестными статистками. Хохотали они позже, вечером, и когда через многие годы вспоминали Москвина с его крахмалом, часами и серьезом.

Потом был подъем флага на нашем дубе, подъем паруса, испытания и соревнования гребцов, гонки галер, состязания в плавании, нырянии, прыганий в воду, в выдувании мыльных пузырей. А вечером дивный, совершенно поразительный фейерверк и иллюминация…

Праздновали день свадьбы Москвина; были выступления «всех народов» с поздравлениями супругов: Сулер был венецианским гондольером и пел итальянскую баркароллу, составленную из якобы итальянских слов: «О mosquivane cikalubo…» («О, Москвин Ванечика, Лубочка…»); Н. Г. Александров был «король зулусов» — голый, выкрашенный серой и рыжей глиной, с серьгой в носу, с топором и ассагаем. Он говорил речь и танцевал ритуальный зулусский танец; Володе Попову выбрили голову, оставив только инициалы «И» и «Л», он был персом, весь в черном коленкоре, с голыми плечами и руками. Мы, ребята, были: я китайцем, говорил приветствие по-китайски; Таня — грузинкой, говорила «чхери, чхери и арагви гегечкери» и т. д.; Маруся дарила пирог и говорила по-голландски; Федя — запорожец, говорил «здоровеньки булы»; Митя — индеец племени сиу — весь в боевой татуировке, рычал и пел какие-то шаманские заклинания. Венцом всего был Володя Москвин — он был абсолютно гол, припудрен золотом, с приклеенными к лопаткам гусиными перьями, с золотым обручем в рыжих волосах, он — амур — подходил к отцу и матери и тыкал их стрелой в сердца. В том, что девятилетний мальчик мог, не зная мещанского стыда, выйти на люди абсолютно голым и не застесняться, не наиграть ничего, не быть ни смущенным, ни наглым, — была такая чистота, такая серьезность поведения, какой мог добиться, какую мог внушить только Сулер.

Были и срывы. В день ангела Володи готовилась обширная программа развлечений, мы уже подсмотрели огромный транспарант с буквой «В», который должен был засиять вечером

над нашим домом, знали, что куплен целый набор пиротехники, что будут ряженые гости из Канева, что и для нас готовы маски и костюмы. Мы, нарядные, причесанные, собрались после завтрака у «морского собрания», стали придумывать, во что поиграть, пока дядя Лёпа занят приятными для нас приготовлениями, и неожиданно подрались — я ударил Володю, он меня, а Федя, маленький, но отважный брат его, укусил меня за зад; я бросился бить его, Таня ударила меня палкой, Митя, считавший, что прав я, схватил ее за волосы. Нас быстро усмирили, но в наказание за безобразное поведение все празднества были решительно отменены. Сулер ликовал — вся пиротехника и даже транспарант «В» готов для следующих торжеств — моего дня рождения.

Трудно, конечно, представить себе, какими бы мы все получились без Сулера, но мне кажется — и я думаю, что все те, кто рос под его влиянием, согласились бы со мной, — что все мы были бы много хуже, что большей частью того хорошего, что есть в нас, мы обязаны ему.

Следующее лето, когда мы с матерью там не жили, на Княжей Горе (так назывался тот хутор) жил Е. Б. Вахтангов. Мне кажется, что из Сулеровых игр, из его празднеств, которых в то лето было не меньше, чем в предыдущее, родилась через девять лет игра-праздник «Принцесса Турандот» — гениальное творение Вахтангова. Во всяком случае, когда мы смотрели этот изумительный спектакль, мы все видели Сулеровы игры, слышали Сулерово пение и Сулерову музыку.

«Сулерово пение» — это не пение самого Сулера (хотя он любил петь и пел хорошо, особенно украинские песни), а песни, которые он организовывал, хоры, которыми он руководил, которые создавал, заставляя петь и неумелых.

Через много лет мы, пробуя спеть что-нибудь хором, когда у нас ничего не выходило, вспоминали: «А как же у Сулера мы пели?» Он умел каждого занять в посильной ему «партии», а так как каждый старался делать то, что ему было поручено, самым что ни на есть лучшим образом и именно так, как его учил Сулер, выходило складно. Сила была не в голосах, а в ансамбле, в переходах от замирающего piano к относительно мощному forte, главное же был он сам — вдохновенный организатор, дирижер и хормейстер. Если нужен был оркестр — через четверть часа он был готов: из кастрюль, тазов для варенья, бутылок, по-разному наполненных водой, рюмок, подвешенных за ножки к поставленному на стол стулу, свистулек и дудок и *гребешков с папиросной бумагой*. Кто видел и слышал музыку в «Турандот», поймет, почему это подчеркнуто. И как такой оркестр мог звучать! Сколько радости и веселья было в его звуках, как под

него весело танцевали, как торжественно им отмечались встречи, проводы и наши празднества! Разве в этом не проявлялся главный талант режиссера — талант организатора людей в искусстве?

Для меня это лето было последним летом с Сулером. Видел я его потом только на генеральных в Студии, душой и сердцем которой он был. Бывал он и у нас, но уже гораздо реже — перетасовались, видимо, компании и у наших и у Сулера, да и некогда ему было: он очень много работал в театре и в Студии. И со здоровьем у него стало плохо — болели почки… Одно время он зачастил опять, но не для веселья, а по делам: он организовывал кооператив, хотел, чтобы группа молодежи Студии и лучшие из «стариков», к которым он причислял моих родителей, имели в общественном владении кусок земли на берегу моря, чтобы там вместе жить, работать в садах и вырабатывать в совместном труде и общей жизни настоящую дружбу, настоящую нравственность, истинно творческое и чистое отношение к искусству. Корни настоящего искусства, высокого, светлого, святого Театра он видел в детской, пронизанной верой в истинность ее самой игре и в глубокой, наполняющей человека целиком нравственности, которую можно воспитать только в соприкосновении с землей, общим трудом на земле. Отец охотно согласился, нашлись деньги, и участок земли под Евпаторией был приобретен. Смерть не дала Сулеру выполнить его замыслов.

С Сулером кончился «Sturm- und Drang-Periode» — «период бури и натиска» Художественного театра.

Если бы Сулер прожил еще несколько лет и воспитал настоящих зрелых и крепких последователей и учеников не только в искусстве и в организации искусства, но и в тенденции искусства — ведь как могуча была тенденция в первых спектаклях Студии, — может быть, кризис в Художественном театре 1917–1920 годов не проходил бы так остро.

Но и так, как было, влияние Сулера в Первой студии было огромным. Атмосфера студийности была там, мне кажется, сильнее, чем в каком бы то ни было другом русском театре. Если бы Сулер жил дольше, он стал бы, как мне кажется, третьим вождем Московского Художественного театра. Сознание невозможности творить и жить в искусстве без объединяющей коллектив идеи было главным наследием Сулера.

Незадолго до его смерти я встретился с ним около театра. Увидев с противоположной стороны улицы, как он неуклюже, как-то громоздко слезал с пролетки извозчика, я подбежал к нему. Он скорее тяжело, чем крепко, обнял меня и пристально ощупал мне плечи и ребра: «Хорошо, что худой, таким и держись подольше, не толстей — жирному жить мерзко, противно, скверно и для

здоровья и для души». Лицо у него было больное, старое, грустное, глаза смотрели мимо меня, он явно думал о чем-то трудном и печальном и, совсем забыв обо мне, хотя и опираясь на меня всем весом, вошел во двор и поднялся на три-четыре ступеньки Конторы (так тогда называлось служебное помещение театра). Уже открыв дверь, он оглянулся на меня, вроде как вспомнил, что я тут: «Не обрастай жиром, не забывай про зеленую палочку и про то, что ты наш матрос первой статьи, загребной дуба, не забывай. А может, еще походим по Днепру, а?»

Когда дверь за ним затворилась, я чуть не в голос разрыдался — такая тоска была в его глазах, такая безнадежность звучала в голосе. Никогда я не видел нашего дорогого дядю Лёпу таким. А больше я его уже и вообще не увидел живым. В начале зимы он скончался. На похоронах его, несмотря на лютый мороз, было несколько сот человек, и почти не было видно лиц, на которых не намерзли бы дорожки от слез. Сам я этого не в состоянии был заметить, так как проревел от самого Милютинского переулка, где в костеле проходило заупокойное богослужение (он официально был католиком), до Ново-Девичьего кладбища, где его могила была одной из первых в нашем мхатовском некрополе…

Из дневника Василия Ивановича за декабрь 1916 года:

«Декабрь, 10. […] Хуже Сулеру — опять мало надежды. Дек., 12. […] к Сулеру. Очень сжалось сердце от Сулера, страшно, жалко, хочется плакать… домой — весь в Сулере. Чувствую, что умрет. Дек., 13. О Сулере — каждый час ждут кончины…

Дек., 17. Сегодня в 9 ч. скончался Сулер… И на спектакле все подавлены смертью Сулера. После спектакля — в Студию — встречать тело Сулера. Очень тоскливо сжимается сердце. Необычно, в 2 ч. привезли его, жутко, трагичная красота, страшно и трогательно. Смотрю на мертвое лицо, мучительно думаю, — ничего не понимаю, плачу. Нет сил смотреть на Ольгу Ив., велика простотой горя. Чудесная ночь — на дворе. Как бы Сулер здоровый радовался и приплясывал на морозце. Домой пришел в четвертом часу, сейчас же Нина — от Ольги Ив.

Дек., 18. В 5 ч. панихида. Плачу, почти реву. Очень сдерживаюсь, от этого болит голова и грудь. В 8 ч. опять панихида, католическая. Жалкая и бездарная в сравнении с православной.

Дек., 19. Спешу на похороны. Студия. Костел… Нет сил смотреть на Митю. […] Около театра, поддерживаю гроб. Около Студии „вечная память“, не могу петь, срывается голос от плача… Ничего не понимаю, очень психопатично, но и тело разбитое. Смутно в голове, как с большой водки, слезы намерзли на глаза.

После кладбища домой, дрожь в теле, озноб бьет, ставлю градусник — жара нет…»

25 января 1917 года в Первой студии была устроена гражданская панихида по нем. Я очень стеснялся идти в Студию один, а отец и мать собирались идти туда из театра, после спектакля или репетиции. Услышав об этом, зная мою привязанность к Сулеру, за мной на извозчике заехала Мария Петровна Лилина. Рядом с ней я и сидел все время. Собрание это было необыкновенным, переворачивающим все нутро. Почти никто из выступавших не плакал — это как будто запретил Константин Сергеевич, запретил не словами, а тем, как он сам не позволил себе плакать. Он вышел перед аудиторией (сцены в Первой студии не было) и с минуту, а может быть, и дольше стоял к ней спиной — не хотел показать заплаканное лицо. Потом повернулся, обернулся на зал, но смотря поверх всех лиц, стараясь успокоиться и взять себя в руки. Он очень долго молчал, и это молчание, это его лицо, на котором выражалась его борьба со слезами, было красноречивее, сильнее всего, что он говорил. Даже в его затылке, покрасневшей шее, когда он стоял спиной к нам, да и в самой его спине было столько горя, горя, не размазанного в жалких словах и таких легких и послушных актерам рыданиях, а побежденного, целомудренно спрятанного внутри, — что можно было бы ему и не говорить.

И так пошло потом у всех — все выступавшие больше молчали и до своих слов, и между ними, и после них. И это были такие горестные, такие трагические молчания, так они были полны горячей, страстной нежности, так насыщены любовью, памятью, благодарностью Сулеру…

Несколько дней я ходил потрясенный таким общим чувством горя, разделенного горя, скорби так многих хороших людей об этом лучшем из лучших человеке.

Но прошла неделя, другая, и я стал забывать его. И забыл надолго, ох как надолго! Перестал думать о том, о чем он нас учил думать, и не делал того, к чему он нас призывал, вернее, делал то, чего он не хотел, чтобы мы делали.

Но, конечно, для русского театра с его смертью ушло далеко не все из внесенного им. Прекрасным памятником ему и его наследием был созданный им под руководством Константина Сергеевича театр — Первая студия Художественного театра. Спектакли этого театра, даже выпущенные после его смерти, во всяком случае в первые два-три года, были его спектаклями.

Его они были потому, что носили отпечаток его учения, его воспитания, его личности. Но, конечно, целиком и полностью его были первые спектакли Студии — «Гибель „Надежды“», «Сверчок

на печи», в известной степени его был «Потоп». «Гибель „Надежды“» я помню плохо, был, очевидно, еще слишком молод и глуп, а «Сверчок» до сих пор вспоминаю с наслаждением, как «слезы первые любви».

Именно слезы свои вспоминаю, потому что плакал на спектакле с какой-то особенной радостью, почти с чувством восторга от того, что *так* плачу, не стесняясь своих слез, гордясь их бескорыстием, их чистотой, высотой вызвавшей их причины.

Все в этом спектакле было прекрасно. Прежде всего текст инсценировки, который углублял, умудрял и делал еще более добрым философский и этический смысл рассказа. Прекрасно было внешнее решение — предельно скупое и простое, но такое уютное, как никогда в театре не бывало. Все было очень английским, но не по-английски благостным, это был тонкий и умный перевод английского быта на русское понимание. Перевод, который я потом всегда вспоминал, читая пастернаковские переводы шекспировских сонетов. Но всего прекраснее были, конечно, актеры. И каждый в отдельности и еще больше объединявшая их всех общая атмосфера, легкий, нежный, но крепкий и стойкий аромат спектакля.

Основой этой атмосферы была *доброта*. Не благожелательность, не отсутствие зла, злобности, а именно доброта, активная, действенная доброта.

Я в те годы (1914–1916) при всем своем «милитаризме» и воинственном «патриотизме» еще не дал заглохнуть в себе Сулеровым толстовским началам — любил читать и продумывать Евангелие, пытался если не жить, то хоть воспитывать свою душу согласно ему, но основа его была мне не то что недоступна, но мало понятна, трудно воспринимаема. Любить человека вообще, постороннего «ближнего» я не умел, не постигал возможности искреннего, ненасильственного чувства такой любви.

И именно «Сверчок» с этой его атмосферой помог мне: ощущение благотворности доброты, радости от нее, счастья, которое она дает творящему и испытывающему ее открыло мне смысл и цель жизни. Быть добрым, быть таким, как люди «Сверчка», — в этом я видел тогда основу счастья человека.

Первым и главным носителем, создателем, творцом добра был М. А. Чехов в роли Калеба. Он с такой мощью, с таким накалом, так напряженно любил, так убедителен был в своей вере в добро, что и свирепый Тэкльтон — Вахтангов воспринимался через него и через слепые, но любящие глаза Веры Соловьевой не воистину злым. То, что к концу он преобразится, зритель чувствовал с самого начала, потому что верил, не мог не верить Чехову, который окутывал всех нежным облаком доброты,

светившейся в нем и освещавшей всех, с кем он общался. Но добро нес не только он — и кроткая, слепая дочь его — Соловьева, и Джон — Хмара, и Мэри — Дурасова, и нелепая полудурочка Тилли Слоубой — Успенская. Все были его носителями, все убеждали в его непобедимости, в случайности, преходящести подозрительности, ревности, злобы — всего того, что зло пытается внести в жизнь человека.

Преображение Текльтона — Вахтангова воспринималось не только как победа добра, но и как самый убедительный показ борьбы добра со злом, полем для которой был Тэкльтон. Но мне и моим сверстникам самым ярким, самым светлым казался (а мне и до сего времени кажется) образ Феи — Гиацинтовой. Ее голос звенел так же нежно и лучисто, как сияли ее глаза. Она несла основное волнение автора и режиссера за благополучие исхода событий, и зритель делил с ней это волнение, это напряжение и душевно-деятельное участие в том, что перед ним происходит. То, что это происходило не на сцене, а тут же, в этом маленьком помещении, которое отделялось от зрителя только воображаемой преградой, — делало все еще более близким, волнующим, задевающим самые чувствительные и отзывчивые струны души. Все главное совершалось не только перед зрителем, а внутри его — в его сознании, в его чувствах…

Поэтому таким глубоким было воздействие. Ни одна проповедь, ни одна мистерия не казалась мне в те времена такой впечатляющей, такой активно изменяющей, так перестраивающей нравственный строй человека, как этот прекрасный спектакль. И это в нем было для меня мощно и устойчиво, и каждый раз его воздействие было все тем же, то есть он воспринимался мною всегда с одной и той же силой и в том же направлении, убеждал в радостности самого процесса добротворения. И каждый спектакль и при жизни Сулера и после его смерти говорил со зрителем голосом Сулера, в каждом звучала его интонация.

Но не один «Сверчок» был таким; далеко не первосортная пьеса шведского писателя Бергера «Потоп» дала Студии материал для прекрасного и тоже морально воздействующего спектакля. Чехов — Фрэзер! Мне кажется, что это было его лучшей ролью. В первом акте несчастный и отвратительный в своей злобе, брызжущий ядовитой слюной беспомощный гаденыш. Он как будто наизнанку выворачивался от ненависти ко всему окружающему…

Чистенький, аккуратно, почти элегантно одетый и причесанный, он казался ядовитой жабой, вся его внешняя элегантность забывалась, на него было противно и страшно смотреть. Его скрипучий голос, прерывающаяся, выплевывающая

злобные слова речь — это было омерзительно слушать… И такое полное перерождение во втором акте!

Внешне он менялся в одну сторону: мятая, растерзанная, вылезающая из брюк рубашка с болтающимися расстегнутыми манжетами, дыбом стоящие слипшиеся волосы…

Внутренне — в другую: добрые, растерянные, внутрь себя смотрящие глаза, полный любви и понимания взгляд на и в других людей; полный ласки, любви и сочувствия голос; та же шепелявая и заикающаяся речь звучала теперь добротой, в ней было стремление и умение утешить и порадовать… Я не боюсь сказать, что это перевоплощение, этот переход от зла к добру был у него гениален. Причем это не был другой человек, нет, это был он же, но в другом аспекте, это была другая ипостась той же личности. После этого хотелось в каждом злом видеть его потайную доброту. Казалось не только вероятным, но несомненным наличие в каждом самом плохом человеке скрытого хорошего, а в добром и хорошем — еще лучшего, и это умение увидеть определяло меру доброты в смотрящем…

Я помню наши разговоры в гимназии — с какой силой в нас возникало стремление к добру, близости друг другу, взаимопониманию, — ко всему тому, что мы видели пробуждающимся в действующих лицах второго акта «Потопа».

И третий акт, когда вновь торжествовало зло, нас не разочаровывал: то, что мелькнуло в людях в часы близости гибели — это и есть их истинная сущность, остальное же — лишь защитный панцирь, прикрываться которым вынуждает жизнь.

Конечно, не один Чехов создавал это убеждение, не в нем одном совершалась эта трансформация, но в нем она была всего ярче — уж очень он умел быть омерзительно жалок в первом и прелестно жалок во втором акте. И как актер он был выше всех, и материал роли давал ему эти возможности как никому другому. Обаятелен был Хмара, но, насколько я понимаю, замысел роли был ему не по плечу, он — актер не дорос до образа, к которому стремился, к которому его вели Сулер и Вахтангов. Но эффектен он был чрезвычайно. В сущности, он был дирижером-руководителем акта. Под его влиянием совершалась метаморфоза людей, он давал тон добра. Но ведь может быть, что в оркестре при самом прекрасном дирижере ярче всего звучит, ведет мелодию один из инструментов. Таким ведущим инструментом был Фрэзер — Чехов. Но Сулер и Вахтангов сумели всех, весь ансамбль (и Сушкевича — Страттона, и Смышляева — Чарли, и холодную, хоть и плакавшую ручьями «настоящих» слез Бакланову — Лицци, и очень среднего актера Гейрота — Вира) сделать живыми, настоящими, близкими людьми. Зритель моего

поколения любил их всех, страдал с ними, сочувствовал им всем. И для старшего поколения это был один из самых сильно воздействующих на психику, из самых добротворящих спектаклей. Для воспитанников же Сулера — особенно: в нем для нас звучал его посмертный призыв — напоминание о долге, об обязанности растить в себе добро и изгонять зло. Призыв верить, что добро сильнее и прекраснее и что в нем и есть настоящее счастье. Каким памятником можно отблагодарить его за все это, его, нашего доброго учителя и друга, нашего бесконечно любимого, незабвенного Сулера?..

Война

Лето 1914 года мы все (Станиславские, Эфросы, Санины и мы) проводили в Мариенбаде (нынешнем чехословацком Mariánské Lázné). Нас окружала большая группа очень остроумных людей. В разных комбинациях объединялись и «работали» такие профессионалы, как Никита Балиев (создатель, руководитель и конферансье «Летучей мыши»); Тэффи — постоянная фельетонистка газеты «Русское слово», автор нескольких сборников юмористических рассказов; Семен Авьерино — солист-альтист из Ростова-на-Дону, «испытанный остряк», почти профессиональный анекдотист. Дилетанты — «любители» этого жанра, такие, как Н. А. Смирнова, ее племянник Н. Гольденвейзер, иногда Л. М. Леонидов (в периоды хорошего настроения) и мой отец, у которого был свой жанр — военные и поповские анекдоты, миниатюры и анекдоты «под Вишневского» (А. Л. Вишневский плохо понимал соль анекдотов и рассказывал их всегда с опущенным или перевернутым смыслом), — состязались не без успеха с «профессионалами».

Второго июля (15/VII) отметили десятилетие со дня смерти А. П. Чехова — отстояли панихиду в местной русской православной церкви. В этот же день праздновали годовщину (четырнадцать лет) свадьбы моих родителей. Все были на безалкогольной диете, так что собрались за чаем с тортами. Анекдоты и шутки, розыгрыши и контррозыгрыши пенились и пузырились, как шампанское; утомленные смехом застольники утихли, собирались с силами для новых выдумок, когда один из компании, Н. Гольденвейзер, сказал: «Смеяться осталось недолго — то, что в Сараеве убили эрцгерцога, кончится всеевропейской войной. Тогда всей нашей жизни конец». На него зашикали и продолжали изощряться в остротах, обрадовавшись новой теме. Никто в компании не верил, никто ничего не предчувствовал. А конец всей «той жизни» был совсем, совсем рядом…

После окончания курса лечения компания разбилась. Санины, Эфросы и мы решили провести конец отпуска на море в Италии, недалеко от Генуи, в местечке Сестри Леванте. Первыми выехали туда мы с матерью и Екатериной Акимовной Шенберг, сестрой Санина. Поехали кружным путем: на Нюрнберг, Ротенбург, в Мюнхен, где должны были встретиться с Саниными и Эфросами. Отец, позднее из-за гастролей в Киеве начавший свой курс лечения в Мариенбаде, еще задерживался там и должен был присоединиться к нам потом. Станиславские, кажется, собирались в Женеву, где жила бывшая гувернантка их детей Эрнестина. Отец

должен был ехать с ними до Мюнхена, а потом через Бреннер в Геную к нам.

Наше путешествие по Баварии было чудесным. В Нюрнберге мы осмотрели древнюю крепость с дворцами, садами и Folterkammer — башню пыток со знаменитой Железной девой, где казнили преступников, и со смешной двенадцатилетней пигалицей-гидом, которая, тряся белокурой косичкой и шмурыгая красным острым носиком, рассказывала нам тоненьким голоском о способах казней и пыток: «Вот железные ножницы для отрезания языков, а вот игла для выкалывания глаз; эти лучинки, загнав их под ногти, зажигали… Вот щипцы для раздавливания самых чувствительных частей мужского тела…» и т. д. Нервную Екатерину Акимовну затошнило, а мать шепнула мне: «Запиши и запомни. Будешь рассказывать Константину Сергеевичу — он очень оценит».

Были в доме Ганса Сакса, видели его «восковую персону», его инструменты и кружку, из которой он пил пиво. Я все старательно записывал, много снимал своим «кодаком».

В Ротенбурге не надо было ходить в музеи — весь город был музеем. Окруженный отлично сохранившимися городскими стенами и глубоким рвом, через который были перекинуты когда-то подъемные, а теперь постоянные мосты, ведущие в город сквозь мощные башни, весь город вмещался в своих древних пределах. Узкие улицы, темные дворы, крошечная площадь Ратуши со знаменитыми фигурными часами — все было как будто в заповеднике, таким, каким было триста лет назад. Часы на ратуше были главной гордостью города: в двенадцать часов дня в них открывалась дверка, из нее высовывалась фигурка старичка с кружкой пива в половину его роста, и в двенадцать приемов, пока били часы, он «выпивал» всю кружку, запрокидывая ее все выше и выше — это было памятником спасения Ротенбурга от разгрома вражеским войском во время Тридцатилетней войны. Старый бургомистр обязался выпить ведро пива, за что неприятельский генерал избавил город от гибели.

Мы ходили по улицам и умилялись вкусом немцев и умением беречь старину: на весь город был только один новый дом, наглоновенький, отделанный кафелем с модернистским орнаментом, но, одинокий, он не мог испортить всего ансамбля, а своей пошлостью только оттенял красоту города. Перед этим домом сидел его владелец и, увидев, что мы остановились и смотрим на его собственность, с гордостью сообщил нам: «S’ist mein Haus» («Это мой дом»).

Было дивное знойное лето. Бавария казалась нам процветающей, сытой, доброй и абсолютно, непоколебимо

миролюбивой, даже по сравнению с Австрией, где все-таки хоть изредка проскальзывали антирусские настроения.

Приехали в Мюнхен, осмотрели его изумительную пинакотеку, и старую и новую, окрестности баварской столицы, знаменитые загородные дворцы и парки, прекрасный дендрарий…

Приехали Санины и Эфросы, и вся компания двинулась в Италию. Помню необыкновенной бархатистости зеленые луга Тироля, снежные вершины вдали, быстрые, зеленые сквозь пену горные реки — и пробуждение в Вероне, куда мы, видимо, приехали вечером. Верону плохо помню — мы там были только до полудня; остался в памяти древний, еще римский цирк и тихие улицы, по которым извозчики ездили шагом, как на похоронах. Ночью — Милан, неправдоподобной красоты собор при лунном свете, крепчайший запах чеснока от носильщиков, разговор исключительно жестами — один Эфрос с помощью латыни кое-как объяснялся. Утром — Генуя. Синее море, пароходы, корабли, яхты. Гостиница с парком, в котором прямо на земле, без кадок и горшков, росли пальмы самых разных видов. Когда я увидал, что на огромной пальме сидит стайка самых что ни на есть вульгарных русских воробьев, я ощутил, как мы далеко от родины — уж очень здесь все иначе: другой воздух, другой запах от земли, от растений, от животных и от людей. По-другому печет солнце, по-другому шуршит листва… Если в Вероне все казалось медлительно сонным, то тут, в Генуе, наоборот, все мчалось — извозчики ехали широкой рысью или галопом, трамваи неслись с пронзительным звоном и визгом колес по рельсам на поворотах, газетчики тоже с визгом совали в нос газеты.

После Вероны и ночного Милана как будто уши прочистили и глаза промыли — так все звонко и ярко.

Через день мы уехали по приморской дороге с десятками туннелей в Сестри Леванте. Толстая, усатая, необычайно горластая хозяйка приняла нас, особенно меня («A che bello bambino!»[5]), фамильярно-ласково, будто ждала нас долгие годы, а знает нас с детства. Голосовой аппарат у нее был такой, какого никто из наших не встречал: она то ворковала нежно, как горлица (с гостями), то визжала пронзительно, как кошка (на всю прислугу), то орала хриплым басом, как ломовой извозчик (на поставщиков-рыбаков). Хриплый, лающий хохот Фальстафа мгновенно переходил в молитву.

Не знаю, сколько мы прожили там, думаю, дня два-три, как началась война. Италия еще не воевала, но она была в союзе с Германией и Австрией, которые воевали с нами, значит, могла вступить в войну в любую минуту. Тогда мы, русские, оказались

бы в плену. Правда, наша хозяйка, да и все другие итальянцы клялись, что они ненавидят проклятых tedeschi (немцев) и любят русских и французов и никогда не будут с ними воевать. А уж austriaci (австрийцы) — это ведь извечные враги Италии. Но ведь не они решали! А пока что банки перестали платить по аккредитивам и менять русские бумажные деньги.

Эфрос помчался в Геную, где консулом был (или в консульстве был, не помню) его коллега по «Русским ведомостям» М. А. Осоргин, получил немного денег и, главное, совет: как можно скорее ехать в Венецию, откуда на днях отойдет (последний, может быть!) пароход на Одессу.

В это время группа русских, в которой были отец и Станиславские, была в Мюнхене. Мягкие, веселые и уютные баварцы мгновенно переродились в озверевших хамов. С большим трудом перенеся оскорбления и издевательства вплоть до угрозы расстрела (в виде шутки — «надо их попугать!»), эта группа выбралась в Швейцарию. Выпускали туда по частям, отец просил каждого выпускаемого послать его жене в Италию телеграмму. Содержание телеграмм было разное. Когда казалось, что они интернированы и пробудут в Германии до конца войны, он просил телеграфировать: «Уезжайте в Россию»; когда появилась надежда выбраться в Швейцарию: «Приезжайте в Швейцарию»; когда мелькнула надежда на разрешение следовать по намеченному пути: «Ждите в Сестри Леванте». Те, кому удавалось выбраться, более или менее добросовестно выполняли поручение, и к нам приходили телеграммы противоположного содержания из разных мест Швейцарии.

Мать была в полнейшем отчаянии. Послушавшись одной из телеграмм и уговоров друзей-спутников, она поехала с ними в Венецию, но там, накануне посадки на пароход, получила телеграмму: «Ждать в Италии». Продала билеты, с огромным трудом купленные для нее Эфросом, проводила спутников на пароход, собралась на последние гроши ехать в Геную на свидание с отцом, как вдруг новая телеграмма из Швейцарии: «Уезжайте в Россию». Не разобравшись в датах, мать поплыла со мной и вещами на гондоле к пароходу, но было уже поздно — нас не пустили, и пароход отчалил. Мать ломала руки, я ревел… Вернулись в гостиницу, а тут новая телеграмма: «Немедленно ехать в Берн» (Швейцария). Мать застыла и одеревенела от полнейшего отчаяния, от беспомощности и жути одиночества. Надо было что-то решать, с кем-то советоваться… Я был не в счет: несмотря на свои тринадцать лет, соображал я ситуацию плохо — мечтал только о войне, о том, чтобы пройти через всю Австрию, «все узнать», перейти фронт и сообщить нашим генералам

«главные военные тайны», и от этого наши победят и возьмут Вену и Берлин. А я, как дядя Эразм, сразу получу все ордена, и меня произведут в офицеры и дадут командование подводной лодкой.

Мать и плакала, и молилась, и с ужасом ждала еще одну зеленую бумажку — телеграмму с новым распоряжением. Почему она, такая всегда решительная и самостоятельная, не принимала решения сама, как она всю жизнь это делала, я не понимаю.

Видимо, катастрофа войны, безденежье и ужас от того, что «распалась связь времен», лишили ее свойственной ей смелости. Она не хотела брать на себя никаких решений, хотела подчиниться какому-нибудь диктату. И вдруг этот диктат явился.

К нам в номер вошел портье и указал на мать какому-то маленькому человеку в котелке. Тот, не снимая шляпы, сказал по-немецки: «Сударыня, вы должны немедленно следовать за мной». Нас напугала немецкая речь, такая редкая в Италии, и больше всего, как потом вспоминала мать, не снятый вошедшим котелок. Мы спустились к выходу, нас ждала гондола, быстро и в абсолютном безмолвии мы поплыли куда-то. Мать по своей привычке терла себе руки, чтобы привести в порядок нервы и успокоиться, я представлял себе piombi (тюремную камеру под свинцовой крышей), пытки, кандалы и т. п., будто читал о себе какой-то исторический роман, вроде популярного изложения байроновского «Марино Фальеро», и, конечно, трусил. Мать ехала молча, только когда причалили к какому-то старинному дому, спросила, тоже по-немецки: «Куда мы приехали?» Провожатый пожал плечами и ничего не сказал, а встретивший нас и помогавший матери шагнуть из гондолы слуга сказал: «Маркиз Паулуччи ждет вас». Это имя никого из нас не успокоило, скорее, наоборот. Мы шли по бесконечной анфиладе комнат, увешанных картинами, со странно, по-парадному расставленной мебелью, слуга открывал перед нами двери, пропуская нас вперед, опять обгонял, чтобы открыть. Так почетно мы дошли до большого двусветного зала. Нас попросили подождать, и через несколько минут к нам вышел небольшого роста, очень элегантный пожилой господин, вежливо поклонился матери, потрепал меня по голове и спросил по-французски, на каком языке мадам желает говорить. Услыхав ответ, что французский вполне устраивает, предложил матери сесть и на изысканном французском языке сообщил, что полученные на имя мадам четырнадцать телеграмм различного содержания обратили на себя внимание секретной полиции. Вот досье, в котором копили их, они подобраны по срокам отправки. Он лично разобрался во всем этом деле, выяснил через особые каналы, что супруг мадам, вырвавшись из немецкого плена,

находится в настоящее время в Берне, и мадам должна туда немедленно отправиться. Возможно, что будут и еще телеграммы противоречивого содержания, но они мадам смущать не должны. Тут он улыбнулся и сказал, что лучше их вообще не получать, об этом он позаботится. Что касается билетов до Берна, расчета в гостинице и доставки нас на вокзал — мы беспокоиться не должны. Все будет устроено его секретарем по самой дешевой цене и при самом большом комфорте. Он расспросил про профессию мужа мадам, «с живой радостью узнал», что и мадам тоже артистка, сказал, что артисты — лучшие, избранные люди, приласкал меня и отпустил нас.

Секретарь действительно все устроил: когда мы подъехали к гостинице, в нашу гондолу внесли наши вещи, счет за постой был до смешного маленький, билеты были куплены третьего класса, без плацкарт, но посадили нас в отдельное купе первого класса, и мы, ошеломленные всей этой предупредительностью и оперативностью, покинули Венецию.

При прощании секретарь угрюмо сказал матери на своем тирольско-немецком диалекте, чтобы она не вздумала давать кондуктору на чай, так как полиция это ей запрещает. Тут только мы сообразили, что нашим «благодетелем» был начальник полиции…

Главное в этом деле было то, что мать получила приказание, что с нее была снята ответственность, необходимость решать. Все, что делали и как отнеслись к нам итальянцы, поразило нас глубоким благородством, человечностью, человеколюбием. Ни один итальянец ни в Сестри, ни в Генуе, ни в Венеции не брал с нас чаевых. Итальянские слуги, которые стараются сорвать с иностранца за каждый чих, когда наши предлагали им на чай, возвращали деньги или просто прятали руки за спину со словами: «Dopo la guerra» («После войны»). Жирный и важный портье носился по лестнице, укладывал наши вещи в гондолу и не только не взял предложенную ему матерью лиру, но еще сунул мне пол-лиры, чтобы я съел на вокзале мороженого — «ведь в Венеции лучшее в мире gelato (мороженое)».

Уехали мы со слезами умиления, поклявшись всегда и везде делать добро каждому встречному итальянцу.

Наутро мы переехали швейцарскую границу и среди дня уже были в Берне, где нас на вокзале встретили отец, Владимир и Николай Афанасьевичи Подгорные и Н. О. Массалитинов. Паулуччи телеграфировал в русское посольство с просьбой сообщить господину Качалову день и час приезда его жены. Это было завершением итальянской любезности. А подъезжая, мы с тревогой думали о том, каким способом будем разыскивать

наших, бернского адреса которых мы не знали.

Вся компания жила в одном очень скромном отеле, хозяин которого, давно связанный с русскими эмигрантами, вошел в тяжелое финансовое положение застрявших в Швейцарии и не имевших возможности реализовать свои аккредитивы путешественников и предоставил им полный пансион с сорокапроцентной скидкой (по себестоимости). Пансион был крайне скудным, порции были такие маленькие, что привыкший много и хорошо поесть Константин Сергеевич начал голодать. Он быстро худел и слабел. Вся компания с нетерпением ждала нас, чтобы вместе с нами покинуть уже надоевший, унылый и голодный для них Берн и перебраться в Беатенберг, где русский, кажется, даже московский врач — доктор Членов — владел крупным отелем-санаторием.

Доктор Членов предложил Константину Сергеевичу и всем, за кого тот может поручиться, жить у него на полном, самом первоклассном пансионе в кредит хоть до конца войны. Надо сказать, что тогда никто не допускал и мысли, что война может продлиться больше четырех-пяти месяцев.

В Берне, кроме ямы с медведями, ничего интересного не было. Наши еле расплатились в отеле и самым скромным способом, в третьем классе поезда и на палубе парохода, переехали в Беатенберг.

На Константина Сергеевича, не знавшего никаких лишений, недоедание подействовало угнетающе… Когда наши курильщики покупали папиросы, он, выяснив, сколько они стоят, сказал: «Ох-ох-ох-ох» — и начал разговор о вредности курения, а потом заговорил о необходимости беречь каждый сантим… «Кто знает, долго ли нас Членов прокормит, да и как будет кормить, может быть, придется прикупать, а денег не будет».

Я плохо запомнил короткий переезд по озеру на палубе крошечного, стерильно чистого пароходика. Меня, видимо, больше занимали машины парохода, колеса, плицы, рулевое управление и т. д., чем пейзажи, окружавшие озеро, так как я совсем их не заметил… Потом был интереснейший подъем по фуникулеру от берега озера до самого Беатенберга, который стоял высоко над озером. Гостиница-пансион, принадлежавшая Членову (а может быть, он был только ее совладельцем, не знаю), была самого первого класса, у нас у всех было по отдельной комфортабельной комнате, почти у всех с балконами, выходящими на озеро. С этих балконов была видна цепь снежных гор и красавица Юнгфрау, на которой заходящее солнце обозначало профиль девушки («юнгфрау»). Я этого профиля так ни разу и не разглядел, и Константин Сергеевич тоже, но я врал,

что вижу, а он нет.

Константин Сергеевич очень быстро успокоился, привычные условия комфорта, покоя, предупредительности обслуживания хорошо вышколенным штатом прислуги сгладили впечатление плена в Баварии и скудости Берна. Но все-таки на другой день после приезда Константин Сергеевич слег и несколько дней не выходил из своего просторного номера.

Подгорный послал меня к нему с газетами — немецкими из Германии, немецкими, швейцарскими, французскими из Франции и из Швейцарии, австрийскими и т. д. Константин Сергеевич с ужасом посмотрел на эту кипу и вздохнул — ему хотелось знать о войне, и о политике, и даже о бирже, но читать всю эту массу разноязыкого и разного по направлениям и точкам зрения печатного хлама не хотелось. Вероятно, ему было жалко расстаться со своим блокнотом, в который он вносил свои записи по системе, для того, чтобы медленно и трудно, с помощью словаря читать и сравнивать эти разноречивые сообщения. Вспомнив, что я знаю языки, он спросил, не соглашусь ли я перечитать хотя бы часть газет и рассказать ему, что в них есть. Я с восторгом, с такой радостью, что у меня в ушах загудело, не то что согласился, а схватился за такую почетную работу.

С этого дня я перечитывал с восьми до десяти утра по шесть — восемь газет, сопоставлял прочитанное и к десяти часам, когда Константин Сергеевич кончал свой первый завтрак, приходил к нему и подробно, с цитатами, с демонстрацией карт военных действий, докладывал ему о всех событиях в Европе и мире. Обычно я уже без четверти десять стоял у дверей его номера, и, когда коридорный официант по его звонку входил к нему за посудой от завтрака, я проникал в его спальню и, поцеловавшись с ним, спросив, как он спал, и сообщив, как спали мои папа и мама, как он их называл, приступал к докладу. Сначала это было по мере сил объективное изложение прочитанного в газетах, потом я обнаглел и начал излагать свои собственные соображения, сопоставления и даже (о, нахальство!) прогнозы развития событий. Это может показаться хвастовством, но это действительно было так: Константин Сергеевич спорил со мной иногда, но по большей части он соглашался со мной и в беседах и даже спорах с другими, взрослыми людьми с полной убежденностью ссылался на мой авторитет. Над этим смеялись и пожимали плечами, видели в этом чудачество. Я слышал эти разговоры и, гордясь доверием моего божества, мучился тем, что из-за меня его поднимают на смех, что я являюсь причиной падения его авторитета. Сказать об этом ему, попросить его не ссылаться на меня, чтобы не ставить себя в смешное положение, я

не мог — стыдно было. И вот так, гордясь и страдая, я прожил эти недели. Когда Константин Сергеевич стал выходить, мы отправлялись с ним в парк, и там я излагал ему свои соображения и сообщал о результатах изучения прессы.

В этом же пансионе жил молодой человек, кажется, племянник доктора Членова; он как-то застал нас за разработкой планов предполагаемого нами прорыва русской армии от Лодзи к Данцигу и окружения немцев в Восточной Пруссии. Он, думая, что Константин Сергеевич забавляется со мной, как с ребенком, начал в этом же ключе расспрашивать меня и поддакивать мне так, чтобы рассмешить Константина Сергеевича моей милой детской наивностью, думаю, что он даже подмигивал ему, указывая на меня. Неожиданно Константин Сергеевич рассвирепел, обидевшись за меня, и со всей мощью своего темперамента обрушился на ничего не понимавшего благовоспитанного и очень образованного молодого человека. Очевидно, такое отношение ко мне рикошетом унижало его, раз что он мне верил и принимал меня всерьез. В дальнейшем у Константина Сергеевича было несколько столкновений-споров с этим молодым человеком, очень вежливых и взаимно уважительных по форме, но внутренне полных неприятия друг друга и глубокой антипатии.

Один из споров я помню. Константин Сергеевич утверждал необходимость полного разграничения понятий культуры и цивилизации. Внешняя цивилизация, если она не является следствием внутренней культуры, — вредна и порочна. Цивилизация в той форме, в какой она проникает в народ, особенно в России, несет с собой гибель истинной, глубоко народной культуры. Она губит нравственность, уничтожает этические и эстетические критерии, издревле присущие народу. Он утверждал, что от народного праздника масленицы или дня Ивана Купалы к Высокому Театру путь прямее и ближе, чем через фабричную или помещичью любительщину; от хоровода и игрищ «А мы просо сеяли, сеяли…» ближе к балету, чем от «кадрели»; от старой русской песни — к опере, чем от частушек… Народный костюм, такой разнообразный по губерниям и народностям, прекрасен; «спинжаки», кофты и платья из дешевых ситцев — уродство… Вероятно, в этих утверждениях была наивность, были они слабы и с точки зрения политико-экономической и исторической, было тут и влияние Толстого — Сулера, была и тоска по родине; смутное, свойственное коренному горожанину стремление к природе; раздражение от надоевшего европейского городского мещанства, да еще только что так проявившего себя в милитаризме немцев — «культуртрегеров» и «знаменосцев

цивилизации».

Тогда мне казалось, что он мудр и прав незыблемо и неопровержимо, что сомнения в истинности его утверждений для человека честного и мыслящего невозможны. Но, к моему ужасу, спокойно, логично и методично, систематически оглупляя и остраняя тезисы Константина Сергеевича, «наш с ним» противник не оставлял от положений Константина Сергеевича камня на камне. В общем, он по методу reductio ad absurdum[6] загнал Константина Сергеевича в совершенный тупик, доказал полную несостоятельность его утверждений, наивность и утопичность его воззрений. Я был подавлен поражением моего кумира, да еще и враг был такой ничтожный и презренный. Ночами и во время одиноких прогулок я придумывал доводы, которые мог бы подсказать Константину Сергеевичу, чтобы он разгромил и уничтожил своего противника. Я допускаю предположение, что он спорил больше от досады на мещанское благополучие своего противника и представляемого им мира, так отвратительно оскалившего свои гнилые клыки, чем от искренней веры в возможность буколического счастья народа.

В то же лето Константин Сергеевич интересно, с глубоким, я бы сказал, творческим пониманием рассказывал мне о том, как фабрика Алексеевых реорганизовала производство, перейдя от выпуска золотой канители к выпуску тончайшей медной проволоки для межконтинентальных подводных телеграфных кабелей. Видимо, в экономике, в организации производства, в вопросах мирового рынка он разбирался по-своему.

Все случайно застрявшие в Швейцарии русские путешественники, опомнившись и осмотревшись, начали тем или иным способом пробираться на родину. Одни ехали во Францию, чтобы через Англию, Норвегию и Швецию попасть в Торнио (русско-шведская граница); другие, те, кому трудно было получить все эти транзитные визы, устраивались на русские пароходы, которые война застала во Франции и Италии, путь которых домой шел вокруг всей Северной Европы в Архангельск (путь через не воевавшую еще, но враждебную русским Турцию был этим пароходам закрыт); третьи пробирались через Италию в Грецию, Болгарию и Румынию (они еще были нейтральны).

Нашей компании предстояло решить этот вопрос и выбрать путь. Решение зависело от Константина Сергеевича — возвращаться без него и вообще дробиться не хотели. Кроме любви и дружбы были еще (для части нашей компании решающие) соображения чисто практические: Константин Сергеевич имел несравнимо больший вес в мире, чем все остальные, вместе взятые. Значение его и как признанного вождя

русского театра и в качестве одного из вождей мирового театрального искусства было громадно.

Добиться решения от Константина Сергеевича было очень трудно. Травмированный пережитым в Баварии, он не мог преодолеть страха, возникавшего в нем при одной мысли о возможном плене или даже положении зависимости, подчиненности грубой, враждебной вооруженной силе.

Н. А. Подгорный взял на себя задачу: найти наименее опасный путь возвращения на родину, а также добиться от Константина Сергеевича согласия этим путем отправиться. Задача его, особенно во второй части, оказалась безумно трудной. Способ добраться до России был найден самый лучший: из Марселя в первых числах сентября отходил в Одессу пароход французского общества «Messagerie Maritime». Билеты первого класса с полным питанием в пути нам согласились продать в кредит, с оплатой по прибытии в Одессу. Добраться до Марселя было сравнительно просто: дорогу до Женевы оплачивал (в долг, конечно) доктор Членов, от Женевы до Марселя билеты нам обещала купить Эрнестина (бывшая гувернантка Станиславских). Надо было только доказать Константину Сергеевичу полную безопасность морского перехода и, главное, что турки (которых, очевидно, еще по воспоминаниям детства он до ужаса боялся) еще в войну не вступили и не скоро вступят.

Как-то раз, когда Николай Афанасьевич сослался на С. В. Халютину, которая не побоялась вдвоем с дочкой-девочкой отправиться в гораздо более сложное путешествие через Балканские государства, Константин Сергеевич возразил ему: «А почему вы знаете, что она не сидит сейчас где-нибудь в Константинополе с фиговым листом и не просит милостыню?» Возражать против этого было трудно — сообщения о приезде в Москву ни от кого из уехавших не поступало. Николай Афанасьевич изобретал такие сообщения, якобы слышанные им от «одних знакомых, которые получили известия», но Константин Сергеевич этим разговорам не верил, а показать ему письма или телеграммы нельзя было. И почта и прежняя телеграфная связь с Россией были нарушены и еще вновь не налажены.

Теперь Подгорный по утрам караулил меня, чтобы инструктировать, о чем говорить и, главное, о чем нельзя говорить Константину Сергеевичу. Темой абсолютного запрещения были действия немецких крейсеров «Гебен» и «Бреслау», прорвавшихся в Мраморное море, спасаясь от гнавшихся за ними английских кораблей. Нельзя было касаться вообще действий флота в Средиземном море. Вопрос отношения Турции к странам Согласия был запрещен. Заметки о минах не

пропускались «цензурой». Сообщения о чуме, холере, дизентерии в портовых городах Средиземного моря не должны были попасть к Константину Сергеевичу, даже если эти города не лежали на нашем пути: «А если нас туда буря занесет?»

Я подчинялся Николаю Афанасьевичу и если не врал, то, во всяком случае, молчал о том, что могло напугать Константина Сергеевича или как-то повлиять на его намерение.

Решающим, мне кажется, явилось сложившееся «у нас с ним» убеждение, что, если немцы не посчитались с нейтралитетом Бельгии и, грубо нарушив его, вышли правым флангом в Северную Францию, — они в ближайшее время нарушат нейтралитет Швейцарии, чтобы выйти левым флангом в Прованс и отрезать Францию от Средиземного моря.

У меня долго хранилась вырезанная из газеты карта Европы, на которой рукой Константина Сергеевича были обозначены пути прорыва германской армии через Швейцарию. Выходило, что места предполагаемых нами боев где-то в нашем районе. Это было страшнее «Гебена», холеры и турецких зверств. Константин Сергеевич запретил мне говорить об этом варианте развития военных действий кому бы то ни было («зачем пугать людей зря») и сразу же из успокаиваемого и опекаемого превратился в успокаивающего — ведь самое страшное знал только он (я не в счет) и таил его от более слабых и пугливых. Такая перемена в его психике сыграла большую роль в нашем путешествии: вместо того чтобы прибыть в Марсель в день отплытия или за день до него, мы, подгоняемые Константином Сергеевичем, приехали туда за четыре дня. Это было бы неплохо, если бы не проклятый денежный вопрос. Правда, в связи с войной туризм прекратился и цены в гостиницах и ресторанах Франции очень упали, так что терпевшие убытки хозяева были рады всяким гостям и просто разрывали нас на части, предлагая огромные скидки.

Путешествие от Берна до Женевы я, очевидно, проспал — ничего не помню. Женеву помню как очень красивый, чистый, элегантный город, ярко-синее озеро перед зелеными с белыми вершинами горами.

Приветливая Эрнестина и ее семья. Бодрый, подтянутый, с напряженными (видимо) нервами Константин Сергеевич, и сладкое, пряное чувство тайны между нами. По Женеве проходили швейцарские воинские части — он делал «гм-гм» и показывал мне на них: подтверждение наших догадок. В наш вагон набилось много молодых людей с мешками — «мобилизация», еще подтверждение. Мосты и туннели охраняются солдатами — опять по-нашему выходит. Но — молчок, пока не выедем из Швейцарии, не надо сеять паники.

Лион показался унылым, мрачным. Дорога от Лиона до Марселя очень красива — все время вдоль Роны, очень все живописно и ярко. Ехали в третьем классе, сидя. Спутники менялись почти на каждой станции. Ехало много солдат — запасных, все маленькие, тощие, заросшие, небритые… Разговоры панические. Париж вот-вот возьмут. Наших, то есть французов, убивают, как фазанов, из-за этих идиотских красных штанов и синих мундиров, тогда как немцы все в сером, их и не видно. Настроение паническое и безнадежное, надежда только на африканцев да на русских — «Почему они так долго не приходят», — географию никто не знает.

Узнав, что мы русские, все становились очень сердечными, угощали вином из бутылок; наши, чтобы не обидеть, прикладывались к горлышкам, но пить боялись. Какой-то пожилой крестьянин, уже недалеко от Марселя, войдя в вагон, сел на пол, размотал мешок, вынул из него оковалок копченого сала, головку чесноку, кусок хлеба и бутыль вина. Он с такой грацией отрезал большим складным ножом шматочки сала и куски хлеба, складывал их, потерев предварительно чесночком, и отправлял в рот и долго, вкусно жевал, запивая вином, что Константин Сергеевич залюбовался им, и я заметил, что он бессознательно повторяет его движения. Массалитинов сказал: «Французский Платон Каратаев», но Константин Сергеевич не реагировал, он продолжал со смаком смотреть на крестьянина. До него либо не дошло замечание Массалитинова, либо он не согласился с ним. Вернее же, он просто не любил ссылок на литературу, и его восприятие людей и обстоятельств было свежее и индивидуальнее, ему не нужны были повторы, ссылки на увиденное уже другим, хотя бы и гением; ему было дорого свое, непосредственное. Я думаю, что это (нелюбовь к ссылкам на уже кем-то наблюденное, на уже бывшее, созданное в любом виде искусства) свойственно всем истинным гениям.

Марсель кипел, толпы людей на Каннебьер (главная улица) не расходились до глубокой ночи. Они как-то непрерывно пенились и вскипали, оседали и опять вскипали. То с восторгом вопили, прыгали, почти плясали, приветствуя арабскую конницу из Алжира, то ревели «A mort!» («Смерть!»), несясь вслед за экипажами, в которых провозили пленных немецких офицеров. Их возили, очевидно, для поднятия настроения этих толп.

На другой день после приезда Николай Афанасьевич взял меня с собой в порт посмотреть на «Экватор», который стоял там под погрузкой угля. Пароход нам показался маленьким и каким-то немощным по сравнению с рекламируемыми в разных проспектах бюро путешествий океанскими пароходами. Николай

Афанасьевич откуда-то взял (может быть, и выдумал), что он трехтрубный, и рассказал об этом Константину Сергеевичу, и вдруг у парохода оказалась всего одна труба. Мне приказано было молчать о количестве труб. Надеялись, что Константин Сергеевич не спросит. А он спросил. Николай Афанасьевич вынужден был сказать, что труба всего одна, но зато «во-от какая огромная». Николай Афанасьевич пытался успокоить Константина Сергеевича, щеголяя непонятными Константину Сергеевичу и ему самому словами — «регистровыми тоннами водоизмещения», «узлами хода», «лошадиными силами машины», «атмосферами котла» и т. д., но Константин Сергеевич замрачнел совсем.

Старый вариант «прорыв через Швейцарию» на юге Франции уже не действовал, и опять всплыли страхи морского перехода: от взрыва на мине, потопления немецкой подлодкой, кораблекрушения, пожара на борту, эпидемии, пленения янычарами до простой морской болезни.

До минуты подъема якоря Николай Афанасьевич не был спокоен, а когда отплыли, он заболел сам и почти до Смирны пролежал в каюте. Плавание было на редкость благополучным, первая и последняя качка была где-то у берегов Корсики, а потом до самой Одессы была дивная погода. Свои обязанности по осведомлению Константина Сергеевича я исполнял теперь в очень сокращенном виде: в двенадцать часов дня заходил к пароходному радисту, с которым у меня сложились очень хорошие отношения, и получал от него сводку радиосообщений и координаты нашего местонахождения; с этими сведениями я шел в каюту Константина Сергеевича, из которой он до второго завтрака никогда не выходил, и сообщал ему все, что знал от радиста и что слышал от команды.

Несмотря на отличную погоду, Константин Сергеевич очень мало времени проводил на палубе и самый необходимый минимум времени в столовой и кают-компании. Видимо, он не особенно хорошо себя чувствовал, поэтому кроме часов завтрака и обеда и по четверть часа несколько раз в день прогулок — моцион на палубе — он все время проводил в своей каюте.

Мы почти целый день стояли в порту острова Мальта. На берег никого не спустили, и все пассажиры висели на поручнях, рассматривая городок Ла Валлетта.

У самых бортов парохода плавали и ныряли бронзовые черноголовые мальчишки, выпрашивая деньги, которые им бросали в море, — они ныряли за монетками, исчезая из глаз в многометровой лиловой глубине, и через минуту-полторы напряженного ожидания обнаруживались где-то очень глубоко и выныривали, держа монетку в зубах. Страшная игра собирала все

больше и больше зрителей, вышел и Константин Сергеевич, но после первого же нырка, дождавшись появления маленького водолаза, держась за сердце и за горло, Константин Сергеевич грозным, трескучим от гнева голосом крикнул: «Стыдно, господа, вы же не римляне в цирке!» — и ушел. Почти все пассажиры были русские, многие смутились, другие рассмеялись. Но деньги бросать перестали. Тогда один из младших офицеров, француз, понявший по выражению и интонации, что сказал Константин Сергеевич, снял фуражку, обошел всех пассажиров, собрал насыпанные в его фуражку деньги, спустился в шлюпку, крикнул что-то мальчишкам. Они вплавь собрались вокруг его шлюпки, и он прямо в руки раздал им все собранное. Мальчишки вылезли на берег и прокричали «ура» в честь Франции и в честь России. Офицер, видимо, объяснил им, кто пассажиры этого французского парохода.

Константин Сергеевич, когда узнал о том, каким образом этот офицер довел до разумного конца его справедливое, но грозившее ущербом нищим мальчишкам выступление, подарил ему свою карточку с хорошей надписью.

На Мальте, конечно, стояли корабли британского военного флота, но мы их не заметили. Вообще войну на море мы почувствовали в первый раз уже в Эгейском море.

В тихий солнечный день нас вдруг окружили три или четыре миноносца, мы остановились (при этом пароход сразу начало покачивать); с одного миноносца спустили шлюпку, она быстро подошла к нам, спустился трап, и по нему быстро взбежали два офицера и два матроса с винтовками. Остальные матросы, положив весла, все оказались с винтовками в руках, часть сидела, часть стояла вдоль трапа. Один матрос стал у радиорубки, другой — у штурвала. Офицеры прошли к капитану. Наши пассажиры, особенно дамы, с восторгом разглядывали загорелых гигантов красавцев, какими были все до одного матросы. Улыбались им, махали им платками, чуть не посылали поцелуи; кто-то произносил какие-то английские слова, приветствия и т. п. С ожиданием встречных восторгов сообщали, что мы Russians (русские), но ни один из матросов не улыбнулся. Они сохраняли какую-то пугающую мрачную серьезность. Иногда тихо переговаривались между собой, но полностью игнорировали пассажиров и команду, вели себя так, как будто на пароходе вообще никого не было. Наши были в недоумении: после бурной реакции французов, и штатских и военных, при выяснении, что перед ними русские, поведение матросов казалось непонятным, даже унизительным. Вдруг кто-то сказал: «Господа, а может быть, это немцы?» И тут началась паника — за несколько секунд палуба

опустела, с нее, как волной, смыло всех русских; французы поняли, вернее, догадались о причине паники, и многие захохотали, но англичане (так как это были все-таки англичане) не пошевелились. Ничего не отразилось на их лицах, как будто палуба была пуста с самого начала.

Мой приятель радист сказал мне потом: «Не удивляйтесь, они все такие, особенно во флоте, особенно в состоянии боевой тревоги. Я, как француз, этого не понимаю. По-моему, это признак трусости. Храбрый идет на смерть весело».

До сих пор помню, как неприятно было смотреть на этих неулыб, когда они так и покинули пароход без слова шутки, корректно откозыряв только провожавшему их до трапа капитану.

В Афинах, вернее в Пирее, нас не выпустили на берег. Это было досадно, так как очень хотелось вблизи посмотреть на Парфенон, на остатки кариатид, на синем небе так заманчиво белел Акрополь… Я почти ничего не знал о Древней Греции, кроме нескольких мифов в переложении Натаниэля Готорна, и то меня тянуло туда; воображаю, как расстроены были остальные, взрослые и образованные. Но ничего нельзя было сделать — Смирна предупредила, что если пароход пристанет в Пирее и спустит там пассажиров, то ни один турецкий порт не примет его и, главное, не позволит пополнить запасы угля, так как в Греции якобы холера. Так мы и облизнулись на Афины, простояв три-четыре часа на рейде Пирея, чтобы сдать там почту и какие-то грузы, которые с трудом приняли на баркасы, даже не пришвартованные, а только подведенные к нашему борту. За соблюдением этого следил турецкий консул, плававший вокруг нашего парохода на моторной лодке.

Один из наших матросов ловко запустил ему в ухо яйцом, наполненным чем-то рыжим и вонючим. Им тоже хотелось на берег, и они злились на турок.

В Смирне высадка была разрешена, но без поездки в город, а в порту, кроме рахат-лукума и фесок, ничего интересного не было. Радист накормил меня рахат-лукумом так, что я заболел и не мог сойти в Константинополе. Наши все, кроме Константина Сергеевича и Марии Петровны, высаживались и осматривали Айя-Софию, еще какую-то мечеть, базар и какие-то не то сады, не то кладбища.

Константин Сергеевич сидел в кресле на палубе, смотрел на Золотой Рог и волновался за всех, кто сошел на берег. Напугал и меня до того, что я пошел реветь в каюту, представляя себе, как моих отца и мать схватили янычары и собираются посадить на кол. Но все благополучно вернулись и рассказывали, что с ними все и везде были очень любезны.

К вечеру мы вышли из Константинополя и вошли в Босфор. Через час хода, когда мы уже видели впереди родное Черное море, раздался пушечный выстрел с одного из фортов — это был сигнал, но какая-то пяти- или шестилетняя девочка громко и отчетливо произнесла: «Не попали», и этой фразы оказалось достаточно, чтобы вызвать истерические вопли и рыдания. Уж очень все были напряжены: ведь всего через полчаса нас встретит русский флот, о котором мы знали, что он патрулирует у берегов Турции, опасаясь выхода «Гебена» и «Бреслау». А тут!..

Мы остановились. Подошел катер с турками. Оказалось, что выход из Босфора минирован и для проводки судна нужен лоцман.

Когда мы вновь двинулись, со стороны моря навстречу нам показался низко сидящий серо-зеленый, длинный и чем-то угрожающе страшный военный корабль. Это был знаменитый «Гебен». Он прошел у нас под бортом на расстоянии двадцати — двадцати пяти метров, и вся команда на нем стояла спиной к нам. Мы шли с кормовым французским флагом и с русским — на мачте.

Когда мы разминулись с ним, когда вышли в море и от нас отвалил лоцманский катер, пошел дождь и нас стало немного покачивать, но все пассажиры вышли к столу, а после обеда долго не расходились с палубы, всматриваясь в темноту.

Среди ночи мать увидела луч прожектора, скользивший по иллюминатору и осветивший нашу каюту, она разбудила меня, и мы пошли на палубу. Там были уже почти все пассажиры. Палуба освещалась то с одной, то с другой стороны вращающимися прожекторами, которые выхватывали из черной беззвездной тьмы силуэты двух русских эсминцев, встретивших и провожавших нас до утра. За день мы увидели еще несколько русских военных кораблей, торговых пароходов и рыболовных шхун.

Настроение было торжественное и радостно-приподнятое. Поздно вечером мы были встречены мощным прожектором с броненосца «Святой Евстафий» (кажется), который приказал нам остановиться и ночевать на внешнем рейде. С броненосца отвалил катер и подошел к нам, по трапу взбежал молодой, элегантный в своей белоснежной форме лейтенант и, переговорив на отличном английском языке с капитаном, вошел в кают-компанию первого класса, в которую моментально набились все пассажиры и команда, и ясным, звонким барственно-русским голосом заговорил: «Поздравляю вас, господа, с прибытием на родину, от имени командующего Черноморским флотом и начальника Одесского военного округа выражаю благодарность пароходному обществу, капитану парохода такому-то и всему

экипажу за то, что они благополучно доставили вас всех и еще чрезвычайно ценные грузы, необходимые для победы над общим врагом. Вас всех, господа, я поздравляю еще и со славной победой: после некоторого затишья наши войска перешли в новое наступление и вчера взяли в Галиции город Ярослав. Ура!» Мы орали, вопили, ревели «ура». Константин Сергеевич закричал: «Шампанского! Дюжину!», все заказывали еще и еще шампанского, пели «Боже, царя храни», «Марсельезу», «Боже, храни короля».

Константин Сергеевич раскрывал рот во всю ширь и пел какие-то непонятные слова — он не знал слов этих гимнов. Под крики «ура» лейтенант отплыл к себе на броненосец, а мы долго стояли на палубе, всматриваясь в огни Одессы, и так крепко, так сладко любили родину, Россию, могучую, ласковую, прекрасную нашу Россию, лучшую страну в мире. Константин Сергеевич тоже долго не ложился и в пальто с поднятым воротником и в кепочке сидел на скамье и смотрел в сторону Одессы. Он долго что-то напевал про себя так, как будто около него никого нет, потом запел почти в полный голос «Марсельезу». Оглянувшись, понял, что он не один, сконфуженно засмеялся и заговорил о гимнах. Единственный гимн, который имеет право быть национальным гимном, всенародной песней страны, это «Марсельеза» — она и по словам, и по мелодии, и по ритмам, и по темпу, в котором поется, выражает дух и характер народа, его темперамент, пафос. Она, как и народ, ее создавший и ею теперь ведомый, легка, бравурна, патетична и высока по накалу страсти. Она свойственна именно и только этому народу. Она звучит фальшиво, когда ее поют на другом языке и не французские рты, — он пропел нарочито лениво, как-то вразвалку: «Вставай, подымайся, рабо-о-очий народ!» — и испуганно оглянулся, засмеялся над своим страхом и после большой паузы продолжал; говорил о русском гимне, что он не народен, слишком параден, выспрен, ложно-классичен и холоден, в нем нет главного качества русского народа и русской культуры — простоты, искренности, широты, доброты и силы. Он надут, важен и пуст, а народ скромен и насыщен большими, но тихими чувствами. Надо было бы, чтобы такие композиторы, как Чайковский, Мусоргский, сочинили нам наш русский народный гимн. А пока уж лучше петь «Коль славен наш господь в Сионе».

Ненадолго разошлись поспать и собрать вещи, и с рассветом все были уже на палубе. Быстро, пока «Экватор» вводили в порт, прошли все таможенные формальности и проверку паспортов; о нашем приезде уже знали, и на пристани нас ждали толпы встречающих. Масса веселых старичков-носильщиков вбежала на

борт парохода, и с типично одесскими остротами и шутками они расхватали наши чемоданы. Больше всего шутили над собой — над тем, что они одни остались и для работы и для барышень — всех молодых призвали.

Как-то в радости приезда мы забыли о том, что вернулись в воюющую страну. Но вдруг все стали серьезнее, улыбки, не сходившие с лиц со вчерашнего вечера, соскользнули с них…

В Одессе не ночевали даже, в этот же вечер, после парадного обеда в гостинице «Лондонская», мы сели в два вагона-микст, специально прицепленных для москвичей и петербуржцев (вернее, петроградцев — в наше отсутствие город был переименован).

Дорога была быстрой и веселой. Война ощущалась в том, что меньше стало видно молодых мужчин и что цены на продукты стали много ниже: все, что Россия экспортировала за границу, теперь старались реализовать внутри страны. Изобилие всего съестного в первые месяцы войны было поразительным даже для богатой продуктами России. От Киева в нашем вагоне ехали два офицера с фронта. Они рассказывали о полном, сравнительно легком разгроме австро-венгерской армии, что австрийские солдаты славянского происхождения (чехи, хорваты, словенцы, словаки, русины и даже поляки) не желают воевать и целыми ротами идут в плен, а иногда даже переходят на нашу сторону. Уверенность в своем превосходстве, вера в победу, спокойная убежденность в правоте нашего дела — как это было радостно ощущать, как разительно противоположно это было суетливой, лишенной веры в себя, крикливой «воинственности» толп в Марселе и угнетенности и забитости французских солдат, наших спутников в путешествии Лион — Марсель. Да, наша родина непобедима, она лучшая в мире.

В таких настроениях мы приехали в осеннюю, оранжево-красную и желто-голубую, златоглавую, звонкую Москву.

С Константином Сергеевичем я расстался очень надолго, до полной моей взрослости. Когда я стал работником театра, близости, дружбы, доверия уже не было — Константину Сергеевичу казалось, что я вхожу в разные чуждые ему группировки, представляю и защищаю чьи-то интересы… Одним словом, ясности, простоты и прямоты тех, люнерских и беатенбергских, отношений уже не могло быть. Как мне жаль этого! До сих пор, до старости грущу.

Лето 1915 года я жил на Влахернской платформе. Жил один. Отец был с театром в Петрограде, потом, после короткого заезда в Москву, в Кисловодске. Мать с мая до августа была на фронте. С осени 1914 года она училась на курсах сестер милосердия,

кончила их, практиковала в Ново-Екатерининской больнице и в лазарете, который помещался в части здания Первой студии Художественного театра, поступила в Никольскую общину и в мае уехала с санитарным отрядом Союза городов в Галицию. Она писала мне оттуда интереснейшие письма, в которых для конспирации наша армия называлась «Сергей Николаевич». «Сергей Николаевич чувствует себя неплохо, его посылают в горы» — означало хорошие дела и наступление в Карпатах; «Сергей Николаевич стал часто прихварывать, не пришлось бы ему вернуться домой» — я должен был понять, что положение армии плохое и намечается отступление из пределов Австрии, и т. д. Письма все доходили без единой черной полосы военной цензуры, и я был осведомлен лучше, чем другие, читавшие только газеты. Я был очень горд и доволен тем, что у меня мать на фронте, что она получила Георгиевскую медаль за то, что работала под огнем, и, пожалуй, еще больше тем, что жил один.

Мне сняли комнату с полным пансионом у барсовских друзей Гроссманов. Там же неподалеку снимали дачу Эфросы. Но я очень мало бывал в то лето и у Барсовых и у Эфросов, так как был полностью поглощен, увлечен, очарован семейством Гроссманов. Это была настоящая московская интеллигентская семья, состоявшая из редко бывавшего на даче отца семейства — владельца (в прошлом — мастера) небольшой фитильной фабрики (около сорока рабочих и служащих), прибалтийского немца, но квасного русского патриота Густава Францевича, его жены, в высшей степени интеллигентной, умной и интересной женщины, сына-студента, филолога и пианиста, дочери-курсистки и младшей десятилетней дочери-гимназистки.

Меня принимали там, несмотря на мои четырнадцать лет, как взрослого, давали мне полную свободу, ни в чем меня не стесняли. Вечерами мы слушали музыку, читали вслух Мицкевича («Пан Тадеуш»), Волынского («Леонардо да Винчи») и другие хорошие книги…

Когда отец после Петрограда приехал меня повидать, Н. А. Смирнова пристыдила его за то, что у меня ужасный вид, что я одет как нищий (понятия «беспризорник» тогда не было, а то она сказала бы так), вырос из своей одежды, а брюки еще и порваны. Отец взял меня в Москву, повез к «Жаку» (был такой магазин мужского готового платья) и одел с ног до головы. Обратно на Влахернскую я ехал один и, сойдя с поезда, в первом же лесу снял с себя обновки, достал из чемодана и надел старые брюки, которые отец просил подарить кому-нибудь в деревне. Мне стыдно стало идти к Гроссманам франтом.

Все это лето меня по-прежнему терзало желание попасть на

фронт, и от попыток сбежать в армию удерживал только страх постыдного водворения домой, что произошло с целым рядом моих сверстников. Для этого я был слишком взрослым.

Дела на войне шли плохо. «Сергей Николаевич» вернулся домой и даже больше — он отдал врагу всю Польшу, почти всю Литву и Белоруссию. В Москву с осени нахлынули беженцы. Среди них было много родни и свойственников отца. Это были все больше духовные лица — священники, дьяконы, дьячки и их семьи. Они бывали у нас дома, правда, почти всегда по одному разу — очевидно, весь стиль и тон нашей жизни был уж очень им чужд. Да большинство из них в Москве и не останавливались — они проезжали через нее и селились в губернских, а то и уездных городах. Матери они очень не нравились, ее раздражал их акцент, их манера говорить, их отношение к Москве, их провинциальный апломб. Отца обижало и огорчало ее отношение к ним, ее московский, «великорусский шовинизм». Огорчало то, что она не чувствовала ни милоты их, ни своеобразного обаяния. Он усматривал в этом отсутствие чувства юмора, что для него было серьезным обвинением. На этой почве у них в очень относительно шутливом тоне шла ожесточенная пикировка, то есть ожесточенной она была главным образом со стороны матери; не в стиле, не в духе отца было какое бы то ни было ожесточение. Мать язвила его, издеваясь, высмеивала его родню и особенно его «тупое пристрастие» ко всему поповско-виленскому… Он оборонялся, обвиняя ее в недозволенных приемах, когда она выдвигала аргументом спора сравнение его родни со своими родственниками — актером Ю. М. Юрьевым и художником Д. Н. Кардовским. Это он считал нечестным. Эти ее знаменитые братцы несравненны, а вот с каким-нибудь отставным генералом Левестаммом (троюродный дядя), или с обывателями города Суздаля Стрешневыми, или с угличскими чиновниками Рудаковыми и тверскими помещиками Спиридовыми пусть сравнит, — так, пожалуй, гродненские и брестские батюшки и матушки позанятнее уездных и сельских дворян-зубров.

Мать очень гордилась своим семейством, и не только прославленными Юрьевым и Кардовским, но и всем остальным незнатным, но родовым — полудеревенским, полугубернским — интеллигентным дворянством. Она была дочерью очень бедной вдовы из хорошего дворянского рода Рудаковых. В. Ф. Рудакова вышла замуж за военного чиновника из эстляндских дворян, видно, датского происхождения — Николая Левестамма, который вскоре умер, оставив ей сына шести лет. Она поступила на службу, полюбила своего сослуживца и родила от него дочь, мою мать. Родственники ее покойного мужа, возмущенные такой

«безнравственностью», отобрали у нее сына, а матери моей грозили лишением права носить фамилию Левестамм. Дед моей матери, Федор Дмитриевич Рудаков, закоренелый крепостник, умирая в 1885 году, лишил свою дочь наследства (очень ничтожного — отмена крепостного права его разорила совершенно), чтобы оно не досталось незаконнорожденной.

Мать выросла в очень большой нужде, но в хорошем обществе. Ее мать очень дружила со своей двоюродной сестрой Анной Григорьевной Юрьевой, матерью Юрия Михайловича; через нее и через юного Юрия мать познакомилась и подружилась с дочкой М. Н. Ермоловой и часто бывала в доме у Марии Николаевны. Обожание Марии Николаевны и дружба с юным актером Юрьевым внушили ей стремление к сцене.

Шестнадцати лет, кончив семь классов гимназии, получив звание «домашней учительницы», мать поступила в Московское филармоническое училище, в класс Вл. И. Немировича-Данченко. Через три года она его окончила и стала драматической актрисой. Владимир Иванович очень ценил ее, о чем свидетельствуют письма, которые он писал ей в провинцию. Служила она в Рязани, Казани, Саратове, Астрахани, играла много центральных ролей, везде с успехом. Во время сезона 1898/99 года она познакомилась с Василием Ивановичем, а летом 1900 года в Кисловодске, где служила летний сезон, вышла за него замуж. Когда она стала актрисой, родня мужа ее матери заставила ее переменить фамилию, «чтобы не позорить по подмосткам рыцарскую фамилию Левестаммов». Фамилию Литовцева, которую она взяла случайно (важно было сохранить букву «Л» из-за меток на белье и вензелей на чайных ложках), она не осрамила. В 1901 году мать была принята в МХТ, где играла до 1907 года, когда с ней случилось несчастье, о котором я уже писал.

Лето 1916 года мы опять, на этот раз все вместе, жили на Влахернской. Сняли маленькую избушку-дачу в глухой части леса и переехали туда с кухаркой Аннушкой, ее сыном, восьмилетним Сенькой, с Роландом (овчаркой) и с Джипси. Мать жила, главным образом, в Москве, где работала в лазарете для ослепших солдат; на фронт она больше не поехала.

Мы много времени проводили в доме, так как погода была плохая, дожди шли чуть ли не каждый день. Василий Иванович любил смотреть на возню, которую мы четверо поднимали — Сенька, Роланд, Джипси и я. «Димка, Сенька и собаки возятся, как четыре щенка, большая радость от них», — писал он в своем дневнике. Если бы я тогда, а не через тридцать пять лет, знал об этом, уж как бы я старался доставлять ему радость! А может быть,

если бы знал и старался — совсем ничего бы и не получилось.

Насколько это лето было плохим по погоде, настолько оно показалось нам успешным по военным делам. Генерал Брусилов прорвал фронт австрийцев в Галиции, были взяты десятки тысяч пленных, был занят ряд городов и сел. Настроение в стране изменилось, опять поверили в победу.

У Василия Ивановича был портной-одевальщик Степан Евгеньевич Валдаев. Они очень любили друг друга, и теперь, когда Степочку взяли в армию, Василий Иванович очень скучал о нем и очень мучился, одеваясь без него на спектаклях. Этот Степочка присылал Василию Ивановичу чудные письма, в которых писал, что мечтает о мире, но только о «победительном», и выражал веру в скорую победу. Он кончал свои письма поклонами всему нашему семейству, в том числе и Димандию Ивановичу (мне). С тех пор кличка Димандий Иванович крепко утвердилась за мной на долгие годы.

В конце июля отец начал хворать бронхитом, это был результат сырости от непрестанных дождей. Чтобы привести себя в рабочее состояние к сезону, он на часть августа уехал в Кисловодск. Вскоре после его отъезда мать получила письмо от А. А. Стаховича и В. Л. Мчеделова с предложением принять участие в постановке пьесы Зинаиды Гиппиус «Зеленое кольцо» и взять на себя исполнение центральной женской взрослой роли в пьесе — роли матери Финочки. Мать очень мучилась необходимостью дать срочный ответ, не имея возможности посоветоваться с Василием Ивановичем. Я, как советчик, был не в счет. Ей, конечно, очень хотелось вернуться на сцену, которую она оставила девять лет тому назад, но она боялась своей хромоты. Правда, Мчеделов (режиссер будущего спектакля) писал, что почти вся роль «сидячая», только один выход, но все-таки было страшно. Да не только хромоты, она боялась, что вообще отвыкла от сцены, не была уверена в голосе, жесте…

Послали огромную телеграмму отцу в Кисловодск, изложив в ней все сомнения и страхи, насколько это было возможно в телеграмме. Ответ пришел быстро: «Разумеется, соглашайся». Мать послушалась и вскоре начала работать над ролью. Осенью начались репетиции.

Это был спектакль, которым открывалась Вторая студия Художественного театра, создававшаяся из Театральной школы Александрова, Массалитинова, Подгорного, «школы трех Николаев», как ее называли. Пьеса Гиппиус была о современной молодежи, о ее пессимизме, отчаянии, самоубийствах. «Зеленое кольцо» — это объединение, кружок молодежи для спасения дружбой и любовью тех, кто пал духом и потерял волю к жизни.

Не знаю, не могу судить о том, какова была эта пьеса, но спектакль мне запомнился как что-то удивительно прекрасное. «Старики» — Асланов, Литовцева, даже Стахович — играли просто хорошо, никакого события в этом не было. Значение этого спектакля было в том, что с ним родились новые актеры. Баталов — Петя-переплетчик, А. Зуева — «смешная гимназистка», Вербицкий, Калужский — гимназисты, да еще многие другие, всех и не перечислишь, да и не в перечислении дело — родилась новая молодая труппа, родился театр, появился зачаток, зародыш того, что потом влилось с «Турбиными» в МХТ и обеспечило ему еще много лет прекрасной жизни. И все-таки, как бы значительно все это ни было, — не это было самым главным, самым прекрасным…

Самым большим торжеством «Зеленого кольца» было рождение в нем Аллы Тарасовой — Финочки. До чего же она была хороша! Я ни до, ни после не видел на сцене такой чистоты, строгости, такого целомудрия. Ее тихие, строгие серые глаза смотрели мне прямо в душу, и во мне пробуждалось и тянулось ей навстречу самое лучшее, что было в моей душе. Я никогда, никогда в жизни не видел так, не чувствовал, что передо мной открыта прекрасная, чистая, светлая и богатая душа. Так ощущал не один я — вся Москва полюбила Финочку — Тарасову, за какой-нибудь месяц ее пересмотрело несколько сот человек, и они заразили несколько десятков, а может быть, и сотен тысяч своей нежной любовью к юной актрисе. Когда я как-то похвастался, что опять, в третий раз, иду на «Зеленое кольцо», меня чуть не избили, а один из моих одноклассников сказал, что это «просто подлость»; что я, если я, конечно, порядочный человек, должен отдать свой билет классу для розыгрыша его в лотерею. Пришлось так и поступить.

Я на всю жизнь остался верным поклонником Аллы Константиновны, люблю ее Татьяну («Враги»), Анну Каренину, Юлию Тугину, Кручинину; любил ее Офелию, Соню, но во всех этих ролях я искал (и радовался, находя) мою дорогую Финочку, мою первую любовь, первую любовь моего поколения москвичей.

Для матери «Зеленое кольцо» имело очень большое значение: она вернулась на сцену, почувствовала себя опять актрисой, стала прочно своим человеком во Второй студии и начала постоянно работать в ней режиссером-педагогом, а потом и режиссером-постановщиком.

В годы войны я совсем отдалился от театра. С Константином Сергеевичем, кроме встреч на генеральных, когда он всегда серьезно спрашивал: «Ну, как тебе нравится?», а я бормотал что-то несвязное и он, видя мои страдания от застенчивости, на продолжении «разговора» не настаивал, — никакого общения не

было. Меня в театре начали привлекать не умные разговоры, а хорошенькие женщины. Я был влюблен почти во всех молодых актрис, но ни с одной из них не осмеливался сказать двух слов. Жил я гимназией и войной.

Василий Иванович писал в дневнике: «Огорчает отвратительный милитаризм Димки». Его просто пугала, удручала моя неразвитость, инфантильность — мы с моим другом Валей Мицкевичем, который жил у нас в семье, до пятнадцати-шестнадцатилетнего возраста играли в солдатики. Для этого ездили в Сокольники, строили там траншеи, окопы, ходы сообщения, блиндажи, устанавливали батареи и т. д. и вели военные действия. Солдатами были фигурки из игры «Хальма-Экка», к которым мы научились сами делать добавочные пешки.

Каждый день начинался с перестановки флажков на огромной карте фронтов европейской войны.

Василий Иванович пытался отвлечь меня от этого, заинтересовать поэзией, искусством, но что бы я ни читал, о чем бы ни слышал — во всем я ухитрялся сосредоточиться на военном. Читая «Войну и мир», я нарисовал точный план Шенграбенского сражения — рассчитал дальность полета снарядов тушинской батареи, злился на толстовские неточности в количестве орудийной прислуги, лошадей, и т. д. А вот Курагиных путал с Карагиными, Бориса путал с Бергом, Анатоля с Ипполитом и т. д.

Занят я был тем, что разрабатывал очень подробный и точный план десанта вблизи Босфора, чтобы овладеть Константинополем раньше, чем англичане прорвутся через Дарданеллы. Мог без заминки ответить на любой вопрос о количестве штыков в дивизии и корпусе каждой из воюющих армий, но никак не мог усвоить разницы между художниками «Мира искусства» и передвижниками и постичь, кто из них куда входит. Пытался читать журнал «Аполлон», но ничего не понял и бросил.

Василия Ивановича мой «милитаризм» огорчал потому, что сам он очень скоро после начала войны ее возненавидел остро и болезненно. Когда в 1916 году его призывали, он вернулся с призывного пункта (его освободили «по глазам» и, конечно, по связям) совершенно больным от хамства, злобы, серости и призывавшихся и, главное, призывавших. Офицеры, воинские начальники, военврачи, которые к нему лично (его, конечно, узнали) были по-своему, по-барски хамски любезны, были так невыносимо, нечеловечески надменны с остальными, были так пропитаны (как воздух в казармах пропитан особой вонью) особым военным хамством «тыканья» каждого сверху вниз

вытягивания и щелканья каблуками снизу вверх, так глупы и уверены в собственном остроумии, одним словом, так удручающе отвратительны, что Василий Иванович пришел в состояние панического ужаса. «Ведь это же распространяется как эпидемия, ведь такими делаются каждый день все новые и новые сотни тысяч людей», — говорил он. Ему казалось, что по-офицерски начинают разговаривать все «господа», а им по-холуйски отвечают все «простые». Даже в театре ему слышалось что-то новое и скверное в тоне обращения актеров к обслуживающим и в ответах тех. Это его мучило и оскорбляло очень, но гораздо больше его терзала постоянная мысль об истерзанных телах, об убийствах, о смерти одних по приказу других.

Василий Иванович любил Россию, считал нас в чем-то очень важном лучше других, добрее, скромнее, способнее к пониманию чужого, каким бы далеким оно нам ни представлялось. Как-то мы с ним ехали на извозчике к Савеловскому вокзалу и поравнялись с медленно идущим санитарным трамваем, на котором везли раненых и больных военнопленных. В моторном вагоне сидели и стояли легкораненые, ходячие, а в прицепе помещались лежачие. На задней площадке полулежал бледный до зелени молодой австриец. Вдруг нашего извозчика обогнала какая-то хромая, нищенски одетая старуха, догнала медленно двигавшийся (был уличный затор) трамвай и сунула пленному белую булку. Тот улыбнулся и слабо-слабо кивнул ей. Она перекрестила его и отстала. Трамвай пошел быстрее, мы ехали рядом, австриец нежно и благодарно улыбался, держа на животе булку. «Вот какие у нас люди, это не Марсель, помнишь?» Я понял: я тоже помнил ревущую толпу, преследовавшую экипажи с пленными немцами. «Смерть!» («A mort!») — врагу там, и хлеб с крестом — врагу здесь.

Василий Иванович всю жизнь помнил эту сцену и утешался ею в самые мрачные минуты жизни. И не только старухой, а и всей уличной толпой, одобрительно смотревшей на ее благотворение, и нашим извозчиком, придержавшим лошадь с ласковым «проходи, мамаша». «Это не патриотично», — сказали бы тогда в Германии, Франции, Англии…

Василий Иванович часто стал говорить о том, что война убивает вот такое, что есть в поступке старухи. «За что же умирают люди? Ведь не за это, не за доброе, а за то, чтобы доброе уничтожить». Стал часто с негодованием говорить о недопустимости пропаганды войны, убийства. Он говорил о том, что Эфрос, милый, добрый, нежный Эфрос, шлет людей в мясорубку — ведь он член редакции «Русских ведомостей», член партии кадетов, а они призывают к войне за проливы; Кишкин —

добрый, хороший врач, он вылечит сто человек, а пошлет на смерть тысячу (Кишкин тоже был членом кадетской партии). «Воевать за то, чтобы в титул „император всея России, царь Польский, великий князь Финляндский“ прибавилось еще „царь Персидский“, „великий князь Богемский“ и „господин Цареградский“ и прочая и прочая… Или, наоборот, за то, чтобы в „титуле“ сохранились имеющиеся там „владения“. Да пускай этот „титул“ сократится хоть до „царя Казанского“… И чем меньше русских превратится в трупы или в обрубки, тем больше будет русских, счастливых тем, что они русские, живут в чудной стране, а страна эта, ее народ поистине прекрасны!»

Я раньше много говорил (и довольно иронически) о переменчивости политических убеждений отца. Это правда, они у него колебались, но в отношении к войне, пролитию крови и, главное, в решении вопроса о праве посылать на убийство и смерть он сразу же стал непреклонен. Иногда затаивался и молчал, иногда говорил вслух, но всегда был убежден, что эта война — величайшая подлость.

Году в 1916-м, зимой, мы все трое — отец, мать и я — возвращались около часа ночи из Второй студии (из Милютинского переулка). На углу Камергерского и Большой Дмитровки стоял трамвайный поезд из трех грузовых платформ. Его грузили какими-то странными предметами. Мы подошли ближе; солдаты снимали с подвод голые трупы и, как дрова, складывали их на платформы трамвая. Первый, моторный, был уже нагружен вровень с будкой управления, остальные нагружались. Подводы подходили с двух сторон длинной вереницей. До середины Камергерского мы шли вдоль этого обоза. По большей части это были трупы безруких и безногих. Это было еще страшнее: люди мучились не только умирая, но и раньше, когда их оперировали, и еще раньше, когда их везли раненных, и еще раньше, когда их ранили, и еще раньше, когда их гнали на войну.

«Что ж, нравится? — спросил отец. — Вот твоя война, ты же хочешь изготовлять такие трупы. Отличная профессия!» Он несколько дней был под этим страшным впечатлением и с омерзением смотрел на мой музей трофеев: немецкий штык, австрийскую саблю, шрапнельные стаканы, шанцевый инструмент, каски, обоймы и т. д., которые я развесил на стене и расставил на полке.

Поколебать мое решение стать офицером (я мечтал о гардемаринских классах, чтобы стать военным моряком) отец не мог. Это его огорчало, так как он видел в этом упорстве тупость и злобу. Воспитанник Сулера, бывший «интимный друг и

поверенный» Константина Сергеевича, не говоря уже о его, отца, тихих, осторожных, но постоянных внушениях, — и почему-то упрямо хочет идти по стопам «самого глупого в нашей семье» — Эразма.

Пока это не касалось меня, Василий Иванович и к военной службе вообще и к самому Эразму в частности относился вполне терпимо, с удовольствием рассказывал военные «генеральские» анекдоты, знал все знаки различия, формы, ордена и т. д., но теперь, когда война истерзала страну и грозила ворваться в его семью, он все это возненавидел глубокой и постоянной ненавистью. Василий Иванович не хотел оказывать никакого давления на мой выбор пути в жизни. Только не военным, а в остальном — что угодно.

Никаких талантов у меня не было. В этом он не заблуждался, но он совсем не считал, что так необходимо быть одаренным в какой-нибудь определенной области. Он очень любил людей обыкновенных профессий: врачей, юристов, торговых служащих, инженеров; у него не было кастового чувства людей искусства. Поэтому моя бесталанность его не огорчала и не пугала — он был уверен, что, кем бы я ни стал, я сумею честно работать и находить в этом счастье. Только бы не военный флот, не военное училище.

Как-то раз он с редкой для него злобой сказал, что не видит никакой разницы между гардемаринским классом и юнкерским училищем: «Ну что же, поступай в военное училище, раз тебя к этому так тянет. Осрами нас с матерью». Где-то в душе он не верил в серьезность моих стремлений, надеялся, что это детскость и с годами она уйдет…

Я хорошо менял походки, изображая «галантерейного» приказчика, матроса, «человека в футляре», юнкера тверского кавалерийского училища, извозчика, сошедшего с козел, и т. д. Это очень нравилось отцу, он даже немного преувеличивал, расхваливая меня: видимо, хотел вселить в меня интерес к пантомиме. Он даже как-то сказал, что хотел бы, чтобы я попробовался в кино, может быть, во мне есть мимический талант. Ведь кино тогда было только немое.

Перед рождественскими каникулами у нас в гимназии решили поставить спектакль. Это была традиция — каждый год один из классов (а иногда и два класса) ставил какую-нибудь классическую пьесу. Играли «Недоросля», «Ревизора», «Горе от ума». Теперь был решен «Борис Годунов». Я должен был играть пристава в корчме и Курбского — роли нетрудные, дававшие мне возможность, не волнуясь за себя, принимать участие во всей работе и в общем волнении. Но произошло совершенно для меня неожиданное событие: один из наших лучших «актеров», который

должен был играть Годунова, заболел, и общее собрание двух классов, занятых в спектакле, постановило, чтобы Годунова играл я. Я умолял освободить меня, не идти на риск провала всего спектакля, но собрание было непреклонно, оно было уверено, что я просто ломаюсь, «как пьяница пред чаркою вина», и мне пришлось согласиться — не портить же двум классам праздник.

Начались репетиции. Роль я выучил очень быстро, но репетировать стеснялся исступленно, до судорог, до икоты. Режиссером была наша учительница русского языка З. А. Таргонская. Она приходила в отчаяние от моей полной невыразительности и позвала на помощь отца моего одноклассника, очень известного в то время театрального критика «Русского слова», писателя-очеркиста и знатока театра Сергея Викторовича Яблоновского (Потресова). Он попробовал поработать со мной, объяснил мне смысл каждой фразы, каждого слова, пытался даже показывать мне интонации, но ничего у меня не выходило, я только злился на его трюизмы и внутренне издевался над его шепелявым, визгливым пафосом. Наконец он впал в полное уныние и посоветовал мне обратиться за помощью к Нине Николаевне и к Василию Ивановичу. Я бы этого ни за что не сделал, но он сам позвонил им и просил заняться со мной.

Выхода не было. Начались занятия дома. Мать долго билась со мной, что-то как будто наладила, но в гимназии, перед товарищами, я опять не мог преодолеть застенчивости. Мне казалось, что даже и мать моя, не говоря уже о других, хочет, чтобы я декламировал, «как в Малом театре», а я «стремился к простоте», — получалась же плоская, невразумительная, «простая» до полного отсутствия смысла речь.

Яблоновский опять звонил отцу. Тот попросил меня прочесть ему «Достиг я высшей власти». Я сыграл ему и это, и всю сцену с сыном, с Семеном Годуновым и Шуйским. Он очень серьезно и внимательно слушал, потом сказал, пожав плечами: «По-моему, очень хорошо. Лучше Вишневского. Какого им еще рожна нужно?»

На следующей репетиции Яблоновский спросил меня, почему же я не позанимался с Василием Ивановичем, и, когда я ответил, что занимался, он сказал: «Не заметно».

Пришел день спектакля. Портной отца Степочка подобрал мне в гардеробе театра и подогнал по фигуре парчовый кафтан, сапоги, тюбетейку; Я. И. Гремиславский пришел к нам домой и загримировал меня. Все было первосортно. Когда я вышел и увидел наш рекреационный зал, полный гимназистов, учителей и родителей, я даже не испугался, а просто знал, что провалюсь, и хотел только, чтобы это произошло поскорее. Поэтому вел все сцены и особенно монолог в бешеном темпе, все ускорял его и

ускорял. Из-за меня и все начали спешить, кто кого обгонит, так что из зала кричали: «Не торопитесь», «пореже», «куда вас черт гонит», «ничего не поймешь!» и т. д. Спектакль мы доиграли. Сцены, где меня не было (келья, корчма, фонтан), прошли очень хорошо. Нам всем (даже и мне) дружно и долго хлопали.

Когда мы с моим лучшим другом Сашей Шульманом шли домой, он долго молчал, потом, прощаясь, сказал только: «Зря ты все-таки согласился играть». А он был одним из самых настойчивых в уговаривании меня.

Василий Иванович, узнав всю эту историю (на спектакль, к удивлению всей гимназии, никто из моих близких не пришел, я умолил не ходить), особенно то, что и как сказал Шульман, долго пытался сдержаться, а потом прыснул и залился своим неудержимым хохотом. Он изо всех сил старался сдержаться, думая, что я очень убит своим провалом и что его смех меня еще больше огорчит, но когда и я начал смеяться, он взглянул на меня и перестал хохотать. «Ну, если ты после всего этого не расстроен, значит, из тебя никогда актера не будет, ни в кинематографе, ни в театре».

Как-то он наткнулся на мое гимназическое сочинение и тоже расстроился: таланта или даже намека на литературные способности он в нем не обнаружил.

По математике я учился плохо — значит, не инженер; к изобразительному искусству способностей тоже не было… Неужели только и остается, что военная служба? Это его непрерывно и мучительно тревожило.

Февраль, 1917

Февральскую революцию Василий Иванович воспринял прежде всего как близкий конец войне. Это совершенно противоречило восприятию революции компанией моих родителей — они все считали, что революция и сделана-то была Думой и Союзом земств и городов для того, чтобы лучше воевать и вернее разбить немцев и завладеть проливами, Константинополем, турецкой Арменией («с выходом к Средиземному морю в Александретте», как полагал А. К. Дживилегов, мечтавший о Великой Армении в составе Русской республики).

Отец охотно и радостно принимал лозунг большевиков «Долой войну!», но далек был от лозунга превращения империалистической войны в гражданскую.

Когда летом 1917 года я плясал от радости, читая в «Русском слове» сообщение с фронта о переходе «революционной русской армии» в наступление (это было короткое и бесславное наступление 18 июня), он с презрением и горем смотрел на меня и вышвырнул все газеты, пестревшие ликующими заголовками.

Летом 1917 года наша семья оказалась в совершенно новой и неожиданной компании. В Москве жила семья богатых немцев — семья Марк. Хозяина я плохо знал и сейчас совсем не помню, а хозяйка была довольно популярная в московских интеллигентских (особенно актерских и музыкальных) кругах — Лили Гуговна Марк, урожденная Вогау. В семье было еще два сына. При нас они говорили по-русски, но полагаю, что без нас по-немецки. А думали и чувствовали они только по-немецки. Это были богатые люди, владевшие хорошим домом в Москве и имением-дачей по Савеловской дороге (станция Марк). В это лето, боясь жить в имении, где их могли разгромить и как помещиков и как немцев, они сняли большую дачу в Савелове на Волге и предложили жить у них на положении платных гостей Вишневским, Хмаре с Шевченко, Массалитиновым и нам. Все приглашенные часто бывали у них в Москве. Григорий Хмара и Фаина Шевченко пели у них дуэты (Хмара артистически владел гитарой), Вишневский помогал в организации ее вечеров, ее «салона», да и сам считался интересным гостем — один из основателей Художественного театра и один из его ведущих актеров.

На вечерах в Москве то, как у них кормили, либо не играло роли, либо они были тароватее и хлебосольнее, здесь же актерские желудки взбунтовались очень быстро. К утреннему

завтраку подавалась яичница из одного яйца (а может быть, и меньше) на человека, по два тоненьких ломтика поджаренного хлеба, по крошечному шарику (три-четыре грамма, вероятно) масла и жидкий, не всегда даже горячий кофе с ограниченным количеством молока. В этом же роде обед, и совсем уже скудный ужин. Первым отделился Вишневский, потом Массалитиновы; Хмара и Шевченко покупали в деревне творог, сметану и яйца и наедались перед обедом и после ужина у себя в комнате. Мать моя поехала в гости к Барсовым, которые жили на платформе Влахернской по той же дороге, подружилась там с актрисой театра «Летучая мышь» Тамарой Дейкархановой и осталась жить на даче, которую та снимала. Мы с Василием Ивановичем держались до последнего, но, во-первых, было голодно, а во-вторых, (это «во-вторых» было, конечно, важнее), атмосфера там была уж очень противная. Марки были бы рады приходу германских усмирителей и «упорядочителей». Мы это очень чувствовали — это была первая наша встреча с контрреволюцией, потому что все разногласия в нашей среде не заходили дальше различного понимания путей революции, но отнюдь не допускали мысли о борьбе с революцией. Но наши хозяева были не только немцы, они были «ультраевропейцы» и не скрывали своего презрения к русским. Правда, нас они подчеркнуто выделяли из остального русского народа, но это было еще оскорбительнее — мы чувствовали, что предаем свой народ. Это было невыносимо подло, и под каким-то предлогом, чуть ли не под тем, что нам трудно следить за тремя собаками и кормить их (с нами жили там Джипси, Роланд и его сын — щенок Фис), мы с Василием Ивановичем сбежали тоже к Тамаре Дейкархановой.

Жили очень тесно (я даже не уместился и ночевал у знакомых на чердаке), но очень весело и уютно. Вся атмосфера, весь стиль быта был диаметрально противоположен марковскому. Тамара, ставшая после этого лета на всю жизнь лучшим, ближайшим другом нашей семьи, была совсем особенным существом. Наполовину армянка, наполовину француженка, очень талантливая актриса (для театра миниатюр особенно), она служила в «Летучей мыши» у Балиева (о нем и о его театре я расскажу потом). Талантлива и темпераментна она была не только на сцене, но и в жизни. Тон и приемы поведения менялись у нее с калейдоскопической скоростью: принимает каких-то буржуазных гостей — светски-очаровательна, любезна, внимательная хозяйка, но вот они ушли, остались свои — все другое: озорство, град веселых непристойностей, пародий на всех и на себя, «матрону», в первую очередь… Ради юмора, для того чтобы посмешить, она не щадила никого, особенно себя.

Хорошенькая, элегантная, утонченно-изысканно воспитанная, физически вытренированная и выхоленная женщина, она могла, чтобы эпатировать ухаживавших за ней «душек-военных» и, главное, посмешить нас, ответить пригласившему ее на тур вальса офицеру: «Извините, я не танцую, у меня от танцев очень ноги потеют». Она свободно говорила и читала по-английски и по-французски, хорошо знала историю искусств, в совершенстве знала систему Далькроза, училась у Дункан, играла на рояле, пела. С пламенным увлечением… стряпала. Сочиняла какие-то особенные блюда. Она могла встать в шесть часов утра, чтобы к девяти часам, к нашему завтраку, подать нафаршированные какими-то чудесными вещами крошечные тушеные репки. Каждый день она придумывала новый вариант омлета: с грибами, с жареным укропом, с селедочным филе, огурцами, ягодами, жареным луком, вареньем…

С едой было туго, летом 1917 года мы реально ощутили результат войны и разрухи — то не было хлеба, то масла, то мяса, то появлялись в избытке какие-нибудь деликатесы вроде консервов черепахового супа, французских сардин, норвежских сельдей, ананасов, шоколада — все это по бешеным ценам; то все это исчезало, и мы питались одними омлетами, жаренными на кокосовом (почему-то!) масле.

Тамара любила порадовать людей и вкусной едой (хотя бы отдав для этого последнее) и смачным анекдотом, рассказом, пародией, песенкой. Любила и сама посмеяться и выискивала смешное, чудное, неожиданное в людях, ситуациях, словах; любила и умела наблюдать животных и хорошо о них рассказывала. Часто одна, сама с собой, она думала о чем-то, смешливо морщила губы, и в глазах ее затаивался сдержанный смех — значит, что-то заметила занятное, что-то неожиданное и любопытное пришло в голову и просится наружу, нужна хорошая, тонкая, умеющая оценить публика. В нашей семье она нашла и объекты для наблюдений и аудиторию для выявления этих наблюдений. Она открыла нам самим то смешное и иногда нелепое, что было в наших взаимоотношениях, привычках, свойствах, и так весело и остроумно нам же это показывала, что и мы смеялись друг над другом и сами над собой. Были и ссоры и обиды, но разрешались они и снимались смехом.

Мещанского страха непристойности, «неприличия» у нас в семье вообще не признавали, а Тамара оказалась в этом смысле особенно ко двору. Все называла своими именами и пользовалась хорошим русским народным языком.

Ясно, что бросить Влахернскую с Тамарой и вернуться в Савелово к благопристойному голоду и холодной приличной

скуке Марков было немыслимо. Когда в памяти возникало пребывание у Марков, то трясли головой и делали «бр-р-р», как при воспоминании о попавшем за шиворот пауке.

Кончилось лето 1917 года. Много было споров о корниловщине, о Керенском, большевиках, ожидавшемся многими чужестранном диктаторе — «организаторе порядка».

Василию Ивановичу ближе всего была позиция «Новой жизни» — газеты меньшевиков-интернационалистов. Он хотел мира хотя бы ценой национальных унижений — «все это так не важно, так преходяще, так забвенно». А. А. Сольц как-то сказал ему: «Мы, большевики, не престижны, мы выше этого, умнее. Престиж — для дураков». Это «мы не престижны» Василий Иванович одно время повторял очень часто и по разным поводам — всегда, когда хотел показать, что выше мелкого самолюбия, гонора, «фасона»… Считал, что лучше уступить, чем вступить в спор, пусть обо мне думают, что хотят: то, что мне истинно дорого во мне и вокруг меня, — всегда таким и останется… Верил в Учредительное собрание. Когда выбирали в него, в городскую и районную думы, голосовал за меньшевиков-интернационалистов. К большевикам его продолжало привлекать их стремление к окончанию войны.

В кругах, близких к нашему, все больше теряли веру в то, что порядок в стране наладится без прихода «чужеземцев», и ждали этих чужеземцев. Одни (близкие к до-февральскому строю) надеялись на немцев, другие (огромное большинство) — на «союзников». Даже верившие, что все решит Учредительное собрание, считали, что провести эти решения в жизнь без дисциплинирующего вмешательства извне не удастся. Уж очень молниеносно из месяца в месяц и изо дня в день разлагалась дисциплина в государстве. Распадалось самое государство — организующей силы, власти не стало, кто-то по инерции еще что-то делал, но каждый знал, что может и ничего не делать, а кое-кто уже начинал понимать, что «все дозволено, и шабаш». Становилось страшно. Василий Иванович упорно, тихо, без деклараций, стараясь ни с кем не спорить, верил и ждал, что все образуется само собой, без сторонних вмешательств, которых не хотел и боялся главным образом из-за неизбежного при них кровопролития.

В это время участились самосуды. Василий Иванович два раза был свидетелем их. Один из них особенно угнетающе на него подействовал — били и убили насмерть трамвайного воришку-карманника. Его вытащили из трамвая и били головой об рельсы и булыжники. Трамвай стоял и дожидался своих занятых убийством пассажиров. Их (бьющих) было человек семь-восемь,

по лицам и лексикону такая же сволочь, как и казненный. Остальные пассажиры смотрели в окна, некоторые плакали, но никто не посмел вмешаться — очень страшны были инициаторы. По тому, как с молчаливой ненавистью весь трамвай никак не принимал, не поддерживал острот и хамского бахвальства палачей, когда они с веселыми шуточками протолкались обратно в трамвай и разрешили испугавшемуся и бледному от ужаса вожатому ехать, было ясно, *как* огромное большинство относится к этому убийству. Василий Иванович стоял на передней площадке, ему, видимо, стало дурно, потому что вожатый, сам еле превозмогавший дурноту, сказал ему: «Приложись, товарищ, лбом к стеклу, а то вытошнись — легче станет».

Рассказывая об этом случае, Василий Иванович убеждал себя и нас, что большинство людей — порядочные, что безобразничает горсть сволочи, но ведь они же сами друг друга перебьют, или их перестанут бояться, и тогда они будут безвредны.

Октябрь

Наступил октябрь. Во время уличных боев мы сидели дома, на Малой Никитской. Я рвался на улицу. Мать умоляла меня пожалеть ее и Василия Ивановича и не ходить. Василий Иванович просто и логично уговаривал, убеждал не лезть в драку, говорил, что решается все в Петрограде и на фронте, а Москва сейчас в смысле политическом — провинция…

На второй день боев я все-таки удрал, выкрав у матери из комода ее револьвер — крошечный дамский «велодог». Дошел только до Мерзляковского переулка, где меня обыскали, отняли оружие и дали по шее. И главное — кто? Те же студенты-белогвардейцы, называвшие себя «народной гвардией». Сконфуженный, я вернулся домой и засунул в замшевую кобуру от револьвера сломанные щипцы для орехов с привязанным к ним куском подковы, чтобы мать подольше не замечала покражи.

У нас жила Тамара, забегали соседи, мать почти каждый день под утро, часа в четыре-пять, пробиралась проходными дворами в Мамонтовский переулок к Эфросам, чтобы узнать новости. Там в эти часы, очевидно самые покойные в смысле боев, не спали и принимали посетителей — обменивались слухами.

Телефон у нас не работал совсем, а у Эфросов иногда работал, тогда Н. Е. Эфрос «все узнавал» в «Русских ведомостях».

Бои шли совсем недалеко от нас — по Большой Никитской, от Кудринской площади к Никитским воротам наступали большевики. У Никитских ворот пылали сразу три больших дома, их подожгли артиллерийским огнем от Вдовьего дома (Кудринская площадь). Сидели со свечами, пекли оладьи из крупчатки, которую в панике распродавал с черного хода хозяин бакалейной лавчонки в нашем доме. Пекли их на какао-масле (я ни до, ни после и не слыхал о таком масле), которое пахло слабительными свечами.

В одну из ночей Тамара пошла провожать мою мать к Эфросам, но по дороге встретила каких-то своих поклонников и после длительного кокетства выцыганила у них огромную банку фунтов на восемь английской флотской солонины и коробку яичного порошка. Опять начались омлеты и драчены.

Одним ранним утром к нам прибежал друг моих родителей, который принес «последние известия»: на фронте полный перелом, большевики потеряли всякую популярность, наведен «порядок», и в Петроград и Москву направлены дисциплинированные, главным образом кавалерийские и автомобильные, части, так что большевики уже разбегаются, так

как боятся, что их перехватают и перевешают. Отец ни за что не хотел верить: «Типичная обывательская брехня. Что могло измениться на фронте, откуда вдруг взялись такие „благонадежные“ части? Вранье. Нет такой силы, которая может теперь восстановить армию и заставить ее воевать, а значит, и Керенского никто не поддержит, кроме таких вот щенков-идиотов Димок». На него махали руками, но он стоял на своем. Он ненавидел эту войну и тех, кто ее пропагандирует. На этом он стоял до конца.

На другой день заработал телефон, стали выходить газеты. Сведения, полученные нами накануне, не подтвердились.

Вот так, за спорами, при поедании оладьев на какао-масле, мы перешли в новую эпоху русской истории. Думаю, что это было типично для некоторой части русской интеллигенции.

Начались занятия в гимназии, репетиции и спектакли в театре, все по внешнему виду обычно. И в гимназии и в театре шли яростные споры. Спорили главным образом о том, как пойдет дальше жизнь страны. Что большевики пришли к власти навсегда, что они сумеют ее создать и осуществить, — в это в нашем кругу мало кто верил. В нашей гимназии учились дети многих большевиков: дочь Инессы Арманд, сын Скворцова-Степанова, сыновья Шлихтера и еще несколько человек, в числе которых воспитанный у нас в доме, выросший со мной как мой брат Валя Мицкевич. Его поселили у нас за несколько лет до революции, так как его отец С. И. Мицкевич (впоследствии директор Музея Революции) большую часть своей жизни был на нелегальном положении. Мы жили с ним как настоящие братья: вместе играли, гуляли, учились, ссорились, дрались и мирились.

Лето 1917 года нас разделило и рассорило напрочь — он был большевиком, преклонявшимся перед Лениным, я был «патриотом», считавшим большевиков «агентами Германии».

Зиму 1917/18 года мы и не разговаривали даже, а если участвовали в каких-нибудь спорах, то обращались один к другому только в третьем лице: «этот человек», или «он», или даже «тот прохвост» утверждает… Но в гимназии это было не всерьез, все-таки мы были полудети. Пятнадцати-шестнадцати лет.

Особенно острыми сделались наши взаимоотношения, когда некоторые служащие городских учреждений попытались забастовкой бороться с взявшими в руки власть большевиками. Валя негодовал и возмущался «подлым саботажем», я относился к этому иначе.

Всей нашей общественной среде этот саботаж был очень далек и чужд, так как в мире чиновников и служащих мы и все

наши никого и не знали, но в самой семье у нас была своя «саботажница»: очень короткое время бастовала, выражая свой протест против «захватчиков», моя двоюродная сестра Вера. Я бы не упомянул об этом, если бы она, вместо того чтобы работать делопроизводителем Московской городской управы, не начала в это время петь на клиросе в хоре церкви Большого Вознесения. У нее оказался настолько приличный голос, что, постепенно распевшись, она стала в этом хоре даже солисткой.

Василий Иванович, с детства не бывавший в церкви, несколько раз ходил «послушать Веру» и оставался ею очень доволен. По отношению к своей жене и ко мне он всегда был очень строг и придирчив и никаких родственных скидок не делал — скорее, даже был к нам строже и взыскательнее, чем к кому бы то ни было, но к тому, что связывалось с Вильно, с его юностью, он терял беспристрастие. Он, правда, не утверждал, как его сестры, что брат Анастасий пел лучше Шаляпина, но вспоминал его пение тоже с восторгом, а в память о нем и Веру, его дочь, слушал с удовольствием и оценивал, мне кажется, выше, чем ее пение того заслуживало.

Вообще же Василия Ивановича отличало абсолютное беспристрастие. Скорее, даже чрезмерное: чем больше он любил человека, чем ближе он ему был, тем строже он с него спрашивал, тем взыскательнее относился к его творчеству. Снисходительность к актеру, певцу, чтецу, танцовщице, даже просто к остряку и рассказчику была у него признаком равнодушия, безразличия к человеку, а иногда даже проявлением антипатии. У него был такой вежливый и фальшивый смех, которым он реагировал на творчество, на самопроявление неприятного ему человека. Мы, моя мать и я, хорошо знали эту его реакцию, и, когда он вежливо хвалил: «Очень хорошо, о-о-очень хорошо» — и улыбался «собачьей улыбкой», не находя слова критики, мы знали, что объект его «похвал» ему неприятен или по меньшей мере глубоко безразличен. Людей, ему симпатичных, он либо не хвалил совсем (признак самого большого доверия и уважения), а сразу начинал с критических замечаний, либо, похвалив для подбадривания (при хорошем, но не особенно уважительном отношении), переходил к замечаниям. Критиковать, делать замечания ему было неприятно и трудно, поэтому он шел на это только ради людей, которых любил, ради которых готов был пострадать. А говоря людям неприятное, огорчая их, он сам страдал. Гораздо легче ему было похваливать, легче и безответственнее. Похваливание же и даже восторги по его адресу, если они не сопровождались критикой или замечаниями, он воспринимал как самую настоящую обиду.

Вот типичный разговор после спектакля: «Смотрел сегодня?» — «Да». — «Ну?» — «По-моему, очень хорошо». — «Все? Больше ничего не скажешь? Ну, спасибо!» — с иронией. И после паузы: «Что же, очень плохо, что ли? Почему ничего не говоришь?» — «Да нет же, очень хорошо». — «Врешь. Зачем врешь? Раз никаких упреков, замечаний — значит, очень не нравится, значит, безнадежно».

Я не знаю никого, кто бы так любил критику, так умел ею пользоваться для отделки своей работы. Причем очень умел отбирать ценное, нужное ему, настоящее — от вкусовщины, когда в искусстве выискивают какие-то доводы для спора, для доказательства своей правоты. Интерес к критике у него всегда был связан с интересом к критикующему. Мнения самых умных, знающих, профессионально разбирающихся людей могли быть для него абсолютно неинтересны, если неинтересен был человек, их высказывающий.

Некоторые из мхатовских режиссеров, с которыми Василий Иванович покорно и терпеливо работал, не были для него, по существу, авторитетны, а оценки иных актеров, не имевших еще ни режиссерского, ни педагогического стажа, мучили его и переворачивали иногда весь его замысел образа, роли или куска ее. Правда, многие из этих «маленьких людей» стали потом большими мастерами в режиссуре и педагогике. Таким был для Василия Ивановича, например, юный, ничем тогда еще не зарекомендовавший себя как режиссер, актер Борис Ливанов. Такими были еще и не думавшие в те времена о педагогике Ольга Пыжова, молодой тогда актер Б. В. Бибиков. Он почувствовал в них то, что они сами в себе открыли много-много лет спустя. Василий Иванович охотно слушал резкие, обидные замечания моей матери. Огорчался ими иногда до острой боли, но слушал еще и еще. Очень ценил разносы М. П. Лилиной. В годы, о которых я сейчас пишу, таким другом-критиком для него стала и Тамара Дейкарханова.

После революции очень увеличилось количество концертных выступлений. До 1917 года у отца бывало семь-восемь концертов в сезон, и все благотворительные, то есть бесплатные для участников. Теперь он выступал по двенадцать-пятнадцать раз в месяц; были дни, когда он выступал в двух-трех концертах в вечер. Концерты эти все чаще и чаще (а в сезон 1918/19 года исключительно) оплачивались продуктами — мукой, пшеном, консервами и т. п.

Иногда за концерт давали членскую книжку какого-нибудь закрытого кооператива. Знаменит был один, под названием «Казанбург», по его членским книжкам в каком-нибудь подвале,

постояв два-три часа в очереди, можно было получить пяток яиц или тощего поросенка в два-три фунта весом.

Василий Иванович не только по необходимости, но и по любви к своему искусству почти никогда и ни от одного концерта не отказывался. Занят был очень много. Спрос на Качалова был большой. Но раз было много концертов, нужно было иметь большой репертуар. Надо было его готовить, тем более что часть его дореволюционного репертуара не годилась — во всяком случае, не всегда годилась: солдатам, рабочим, новым студентам, провинциальной публике Подольска, Орехова, Иванова и т. д. читать некоторые произведения Блока, Брюсова, Андреева нельзя было.

Василий Иванович интенсивно работал. Много искал и учил нового и вспоминал и переделывал старое. Проверял он все это на нас, и тут беспощадный юмор, смелая ирония Тамары были ему очень нужны. Иногда он огорчался от несерьезности ее насмешек над его «гарабурдой»[7], — так она называла его заштамповавшийся от частого употребления репертуар. По большей части шутя и насмешничая, она умела навести его самого на мысль о том или ином его недостатке. Но бывало и так: Василий Иванович кончил заново сделанную им «Тройку», надел пенсне, чтобы посмотреть на «публику», и видит — Тамара не хихикает, не готовится передразнить его, как обычно, нет, она молчит и плачет. Потом с мокрыми глазами усмехнется и скажет: «Мэтр, дорогой мэтр, можно, я перекувырнусь? А то у меня от твоей гениальности в носу свербит». Подойдет — и не поцелует, а только приложится к его затылку. Такую похвалу он ценил очень.

Предлагал он Тамаре и приготовить что-нибудь вместе — она с негодованием отказывалась: «На такую наглость я бы не пошла, если бы с голоду помирала. Стучать в стекло в „Кошмаре“ за кулисами — может быть, и осмелилась бы. Да и то нет. Нет».

Любили мы все Тамару очень и расставались с ней с большой грустью. Она уехала со всей труппой театра «Летучая мышь» в Киев. Туда Никита Балиев увез свой изящный, но уж очень несозвучный революции театр миниатюр. Это был редкий случай, когда не публика забраковала театр, а театр испугался публики.

Балиев был не только, даже не главным образом, директором, художественным руководителем, главным и почти единственным режиссером, полным хозяином своего театра, — он был конферансье, это было самым важным, самым решающим в его самоощущении в театре. И вот, хотя публика, наполнявшая подвал в доме Нирензее в Гнездниковском переулке, и очень хорошо принимала многие миниатюры программы, вроде «Свадьбы при фонарях» Оффенбаха с молоденькой В. В. Барсовой,

хореографические миниатюры Касьяна Голейзовского, старинные водевили, скетчи, инсценировки, в которых играли такие актеры и актрисы, как Я. М. Волков, В. А. Подгорный, Т. Х. Дейкарханова, Т. С. Оганезова, Е. А. Хованская, — все молодые, талантливые, красивые, грациозные — нужного, привычного резонанса балиевским конферансам эта публика дать не могла. Пришлось даже переоборудовать партер — убрать столы, за которыми до революции сидели, ели и пили гости театра, и поставить ряды стульев. Это сразу изменило весь стиль и тон театра. Выходя перед сизо-серым занавесом с аппликированными на нем из ярких шелков сатирами, менадами, масками, тирсами и т. д., Балиев не находил в зале привычных ему посетителей, которые могли и вступить с ним в острую полемику, и отпустить ядовитое замечание, и даже поставить его в смешное и нелепое положение неожиданным выпадом, — но это был свой зритель, из одного круга; если это не был знакомый самого Балиева, то был знакомый, приятель его знакомых и приятелей. Серьезного подвоха от него ждать было нельзя.

Но вот как-то в декабре 17-го года, когда появляться на улице в погонах стало невозможно, а расстаться с ними «господам офицерам» было очень тяжело и они прятали их под штатскими пальто и солдатскими шинелями, Балиев обратился к своим гостям с просьбой у него в театре погон не носить: «Ведь не хотите же вы, господа, чтобы у меня были неприятности, вы же знаете, что „товарищи“ погон терпеть не могут». И вдруг кто-то из публики спокойно и громко спросил: «А вам, товарищ Балиев, они приятны?» Никита растерялся, не зная, что ответить (а это с ним редко бывало), так как не мог догадаться, кто задал вопрос: «свой» — тогда это розыгрыш, кто-нибудь из новых посетителей — тогда это опасно. Конечно, не один этот случай, но ряд подобных, страх перед такими случаями, перед потерей веры в себя (а это катастрофа для конферансье, почти такая же, как для тореадора) — заставили его бросить Москву. Как пелось в одном из его последних номеров: «Вот была Москва какая, сы-ы-тая да сонная, а теперь она другая — революционная!» В Москве революционной ему было неуютно, и он уехал в оккупированный немцами Киев.

Нам было довольно тяжело расставаться и с этим театром и особенно со ставшей нам больше, ближе, чем родной, Тамарой. Но я с горечью согласился со статьей в газете, где с негодованием спрашивалось: «Неужели актеры бегут вместе с обслуживающими буржуа лакеями, портными и проститутками?» Это было обидно, но по отношению к «Летучей мыши» справедливо.

В конце 19-го года Балиев вернулся в Москву и с частью своей

труппы продолжал спектакли, а летом 20-го через меньшевистскую тогда Грузию бежал в Париж, где организовал эмигрантскую «Летучую мышь», существовавшую до 1928 года, почти до смерти Балиева.

Зима 1918/19 года была моей последней гимназической зимой. Учиться стало очень интересно. Мы разделились по специальностям — готовившиеся поступить в университет кроме четырех-пяти уроков по обязательной программе два-три часа в день занимались словесностью, латынью, слушали лекции по истории, философии, психологии, логике; готовившиеся в технические училища проходили в эти часы аналитическую геометрию, анализ (основы дифференциального и интегрального исчисления), теоретическую механику.

Я все еще собирался быть морским офицером, в крайнем случае — морским инженером, кораблестроителем или судомехаником, поэтому изучал математические науки. Но влекло меня и на лекции по философии, и на занятия по старославянской грамматике, и на практикумы по латинскому чтению и переводу. Написал сочинение на тему о нигилизме, в котором доказывал детскость и наивный идеализм русского, базаровского нигилизма и воспевал «истинный нигилизм Единственного». Это было популярным (в меру и в силу моего понимания) изложением книги Штирнера «Единственный и его собственность», которую я проштудировал и усвоил, насколько это было мне по разуму. Написал еще мистико-эротическое «исследование» под названием «Женщины души и женщины сердца у Достоевского», где цитировал и Евангелие, и Розанова, и Мережковского, и, как это ни странно, Шопенгауэра. Это «исследование», когда я его читал в классе, было освистано, а меня чуть не избили. Причем даже мои единомышленники меня не поддержали, а отреклись и предали меня — «как Петр Христа», утешался я.

Кончился трудный, тяжелый 18-й год. Начался еще более трудный 19-й.

Новый, 1919 год встречали у Станиславских. Было несколько бутылок шампанского и мало водки, вернее, разбавленного спирта. С едой в Москве было неважно. Даже к такому дню, даже у Станиславских основным блюдом был пирог из темной муки. Когда его съели, Мария Петровна сказала: «Ну вот, теперь я признаюсь, начинка пирога была из конины». Некоторые под вежливой улыбкой скрыли гримасу отвращения — к конине еще не привыкли.

В других семьях нашего круга ели хуже, чем у Станиславских, но и у них Мария Петровна делила сахар сначала на месяц, потом

на неделю вперед, и у каждого была своя коробочка для сахара. У нас голода не ощущалось, но очень многого не хватало. Отпустили кухарку Аннушку, которая с сыном Сенькой жила у нас лет семь-восемь. Мы ее, а в особенности Сеньку, очень любили, и расставаться с ними было тяжело. Но она сама решила уходить. «Сенька у сестре будет жить, а я спекулянничать буду, мешочничать — оба сытые будем». На просьбу матери не забывать нас и по старой дружбе привозить иногда масла или мяса она категорически заявила, что ничего не привезет: «по старой дружбе» обдирать нас ей будет совестно, а себе в убыток — это не торговля.

От соседей мы потом слышали, что наша Аннушка стала просто зверем — торгует всем, чем можно, и дерет с клиентов и деньгами и вещами, раздевает голодных донага.

Началась драма с собаками — их у нас было две. Особенно много требовалось Роланду — огромной доброй немецкой овчарке. Василий Иванович, рискуя прослыть Плюшкиным, набивал карманы объедками бутербродов, которыми угощали иногда на концертах; я специально вызвался дежурить на кухне у нас в гимназии, чтобы собирать первые обмывки с тарелок. Но всего этого было мало — артисты на концертах объедков не оставляли, а тарелки наши гимназисты вылизывали до зеркальной чистоты.

Пришлось отправить Роланда в деревню, к родителям нашей прислуги. Там он (как мы узнали гораздо позже) имел огромный мужской успех, в результате породность собак в Нерльской волости сильно улучшилась. Джипси, само собой разумеется, ела то же, что и мы, но, видимо, ее организация была нежнее нашей — весной она заболела и, несмотря на самый лучший уход, умерла. Это было большим и глубоким горем. Мы все, скрывая это друг от друга, чтобы еще больше не расстраивать один другого, ревели по углам. С глубоким сочувствием отнеслись к нашей потере друзья — Надя Смирнова всплакнула, Эфрос загрустил… Ведь и для них Джипси была другом молодости.

Для меня же это была первая трагедия в жизни. Впервые я почувствовал близость смерти в нашем доме. Несколько ночей я почти не спал — страшно было и то, что больше никогда не почувствую ее горячего дыхания, не поглажу ее шершавой спинки, не услышу ее сипловатого лая, ее радостного визга… И то, что так же могут уйти из жизни и отец, и мать, и тетки. Что и про них я подумаю когда-нибудь (а может быть, и очень скоро) это страшное слово «никогда».

Жить становилось все хуже и хуже, все большего и большего мы лишались. Трудно было с мылом — нечем было стирать,

нечем мыться. Почти перестали давать газ, часто не горел свет. Некоторые комнаты не отапливали совсем, и из них шел холод по всей квартире. Дрова экономились предельно. Топил я и из страха упустить жар закрывал трубы с угаром. Раз как-то мы трое — отец, я и ночевавший у нас А. А. Кайранский — угорели почти до потери сознания и сутки мучились от дикой головной боли. Стряпали на «буржуйке», в которой жгли щепки, бумагу, картонки, корзинки. Керосина было мало, и он был с водой. Основной едой была чечевица, пшено и вобла. С воблой пили чай — он шел и без сахара после горько-соленой воблы. Как о чем-то совершенно несбыточном мечтал Василий Иванович о паре горячих сосисок с картофельным пюре и о кружке пива. Почему-то эти сосиски стали для него (а от него и для меня) каким-то символом мирной и сытой жизни.

Бывали гости. Мать распаривала воблу, делала пудинг из пшена с сахарином, пекла печенье из картофельных очистков и из спитого эрзац-кофе. Научились сами печь хлеб в голландской печке, парить в тех же печах рожь и пшеницу до такой мягкости, что их можно было прожевать. Пили разведенный спирт-сырец, пахнувший денатуратом, несмотря на все фильтры и очищения. Иногда получали в подарок от каких-нибудь поклонников Василия Ивановича банку леденцов «ландрин» или бутылку сиропа.

Как-то поздно вечером отец вернулся из театра, молча разделся, сел за стол, и мы с матерью заметили, что у него страшно дрожат руки. Тогда обратили внимание на то, что он необыкновенно бледен. Пристали с расспросами, наконец добились рассказа: оказывается, на него напали бандиты, хотели снять пальто, но не успели, подоспел красноармейский патруль, и они убежали. Была стрельба, мы вспомнили, что слышали выстрелы. Он никак не мог успокоиться — уж очень противно было ощущать страх и беспомощность: их было трое, приставили револьвер к носу и что-то холодное, может быть, тоже револьвер — к затылку. Отняли в результате только плитку шоколада (купил днем у Иверской для меня) и бумажник, в котором были какие-то «керенки» — и то и другое было у него в карманах пальто.

После этого я стал бегать ему навстречу к Никитским воротам, так как самой глухой частью его пути была наша Малая Никитская. Боялись и налетов на квартиру, хотя кто-то из театральных сторожей, как-то связанный или, может быть, только знакомый с уголовным миром, успокаивал Василия Ивановича: говорил, что его знают и очень уважают в этой среде и «не позволят ничего». Это было, конечно, хотя и лестным, но слабым

утешением. Некоторые из мужчин (Дживилегов, Болеславский, Базилевский) завели револьверы и ходили с ними, но потом стали говорить, что патрули обыскивают на улице всех и у кого находят оружие — расстреливают на месте. Револьверы пришлось срочно спрятать.

Стали часто замерзать и портиться водопровод и канализация. Отсутствие воды и мыла, а кроме того, мешочничество способствовали тому, что началась эпидемия сыпного тифа. Василий Иванович носил в карманах нафталин, чеснок, еще что-то, что должно было отпугивать вшей, но тем не менее, каждый день проверяя дома костюм и белье, часто находил насекомых…

В марте произошло одно событие, которое очень тяжело подействовало на всех наших. Выздоровевший после тяжелой болезни А. А. Стахович пришел в театр. Все обратили внимание на его такую не свойственную ему мрачность. Василий Иванович тогда послал ему последнюю из своего запаса бутылку настоящего шампанского. Но он этой бутылки не выпил. Придя домой из театра, он повесился, удавился на шнурке от оконной занавески. Эта смерть, хотя и логичная (ну как и чем мог жить дальше такой, как Стахович?) и для него последовательная, произвела на всех ужасное впечатление. Отцу он был только приятель, даже другом он бы его не назвал, но у Станиславских в семье он был очень близким, родным человеком. В эти годы у Константина Сергеевича не было никого ближе его. Для него это было потрясение, ужас, тоска. Он долго не мог оправиться от этого удара.

Мне было жалко и Стаховича, которого я хоть и не любил, но уважал за его несомненную светскость и элегантность военной выправки даже в штатском, и, главное, безумно жалко Константина Сергеевича. До сего времени могу ощутить, восстановить в себе это острое, пронзительное чувство жалости к нему, чувство, которое у меня появлялось, когда я видел его огромную, статную и одновременно чем-то жалкую, надломленную, как бы смущенную или даже испуганную фигуру. Казалось, что в эти годы он как-то пошатнулся, вернее даже, не он сам пошатнулся, а земля, почва, на которой он жил, в которую глубоко, широко и прочно уходили его жизненные корни, стала зыбкой, неустойчивой, потеряла соки… Как это ни прозаично звучит, но какую-то роль сыграла все-таки потеря состояния, изменение экономического положения — ведь он же был (и от этого никуда не уйдешь) не только великим, с мировым именем режиссером Станиславским, он был и московским промышленником Алексеевым. И экономическая и финансовая

устроенность Алексеева обеспечивала быт, благополучие и, главное, независимость Станиславского.

Самоубийство Стаховича было так ужасно болезненно им воспринято еще и потому, что пришлось по больному месту.

Должно быть, довольно часто ему приходили в голову страшные мысли о нищете семьи (больше всего его тревожили судьба и здоровье болезненного сына Игоря), если театр перестанет кормить, закроется совсем «или нас с Марусей выгонят за ненадобностью» (эту фразу Василий Иванович записал в дневнике после разговора с Константином Сергеевичем). Это чувство непрочности, отсутствие органической, кровной и неразрывной связи с театром у него возникло после весны 1917 года, когда произошла самая большая (насколько я знаю) в его актерской жизни драма — его «провал» и снятие с роли Ростанева в «Селе Степанчикове».

Еще в Обществе искусства и литературы Константин Сергеевич сам инсценировал эту повесть Достоевского, и она шла под названием «Фома». Роль полковника Ростанева Константин Сергеевич очень любил и очень верил в себя в этой роли. Много лет спустя я прочел то, что он писал в «Моей жизни в искусстве» о своем полном слиянии с образом дядюшки (как он там называет Ростанева). Даже название главы «Успех у себя самого» это подтверждает. Но и тогда, в те времена, о которых пишу, я слышал от родителей, которые сами не видели, но слышали от других, об исключительной, необыкновенной удаче Константина Сергеевича в этой роли.

И вот весной 1917 года меня провели на черновую (закрытую) генеральную репетицию «Села». Накануне я прочел (или, может быть, перечел) повесть и предвкушал наслаждение, воображая самого моего любимого актера в образе полковника, такого доброго, любящего, наделенного тем особенным «доброумием» (умом от большого сердца), которые я так искал и ценил в людях в те годы… Я слышал его интонации, читая фразы текста, видел его величественно-простую фигуру… Ежился и замирал от восторга, который мне завтра предстоит испытать.

На другой день генеральная шла, как всегда в Художественном театре, то есть как вполне готовый во всех деталях спектакль. Начался второй акт. На сцене появился он… Я сидел в первом ряду и сразу ощутил какую-то непонятную тревогу, какую-то неуверенность — она исходила из глаз Константина Сергеевича, они бегали, дрожали; растерянность, страх, испуг были в его голосе, в его взгляде в будку суфлера, откуда сипел голос Лукича (суфлера). Он не слышал его, переспрашивал, кашлял, сбивался, ошибался, путал текст. В зале

начался гул, кто-то хихикнул, кто-то бешено зашипел на наглеца.

В антракте ко мне подошел отец, бледный, с горестно сжатым ртом, отозвал в сторону и сказал: «Иди-ка лучше домой, с Константином Сергеевичем что-то неладное творится». Я отказался уйти, хотя и понимал, что обрекаю себя на муку — видеть его в таком состоянии было ужасно. Где-то в третьем, кажется, акте он овладел было собой и стал Ростаневым, совсем не тем, каким я его себе намечтал, а гораздо, гораздо лучше, но ненадолго — опять с ним происходило что-то такое, мешавшее ему или пугавшее его. Мне казалось, что я увидел то, на что нельзя смотреть; видеть это, смотрением принимать участие в этом было кощунственно.

Домой я пришел подавленный и разбитый. Родители тоже были потрясены. Мать среди обеда вдруг залилась слезами и ушла в свою комнату. Ей это было уж совсем не свойственно. Видимо, то, что произошло в тот день в театре, было истинной трагедией.

Через какое-то время Василий Иванович рассказал дома, что Константин Сергеевич отказался от роли и от режиссуры, отказался потому, что боялся, что и дальше не сумеет овладеть ролью, овладеть собой, и что Владимир Иванович Немирович-Данченко согласился взять на себя выпуск спектакля с тем, чтобы роль Ростанева играл Массалитинов, и репетиции уже начались.

Василий Иванович говорил, что Константин Сергеевич вряд ли когда-нибудь оправится от этого удара. Эта травма надолго вывела его из творческого состояния, лишила его ощущения неразрывности с театром, его полной слитности с ним. У него поколебалось чувство защищенности, незыблемости его положения в искусстве, в жизни театра…

… Во второй половине зимы еще сильнее разыгрались эпидемии сыпного тифа и испанки (вид гриппа). Испанку переносили тяжело, так как от плохого питания не было сил сопротивляться болезни. Снег всю зиму не убирали, зима была снежная, сугробы, снежные валы у тротуаров к концу марта были до окон второго этажа. Когда все это стало таять, лужи и ручьи по улицам образовывались такие, что приходилось носить с собой доски или шлепать вброд, а обувь у всех была рваная — промачивали ноги беспрерывно. А согреть или просушить обувь было негде — в домах и общественных местах было холодно…

За весь сезон 1918/19 года после «Села Степанчикова» в самом МХТ ни одной премьеры выпущено не было. Работа, однако, и в театре и в его студиях шла. Работали как будто даже напряженно и интенсивно, но, что касается самого Художественного театра, работа шла как-то на холостом ходу.

Другое дело в студиях: Первая студия репетировала и довела до готовности «Балладину» Словацкого и выпустила «Дочь Иорио» Д'Аннунцио. Во Второй — репетировалась и к концу сезона вышла «Младость» Л. Андреева. Про «Балладину» и «Дочь Иорио» я ничего не помню, а «Младость» помню больше, потому что ее ставила моя мать. Прелестна там была молоденькая актриса Е. И. Корнакова в роли десяти-одиннадцатилетнего мальчика. В самом театре репетировали «И свет во тьме светит», не законченную Л. Толстым автобиографическую драму, и то начинали, то прекращали репетиции «Розы и Креста» А. Блока.

Репетиции толстовской пьесы вел А. А. Санин. Василию Ивановичу, которому религиозно-философская основа пьесы была в чем-то очень близка, ее изложение, ее драматургические построения, слова, в которых эти основы выражались, казались грубыми, примитивными, плоскими, раздражающими своей прямолинейностью. Он не увлекся этой работой ни на один день. Все его рассказы дома (а значит, и направление внимания на репетициях) состояли из анекдотов о проявляемом Саниным непонимании или, еще хуже, ложном понимании Толстого.

Совсем другое было с репетициями «Розы и Креста». Хотя тяжело было и с ними, и удовлетворения и они доставляли мало и редко. Интересно бывало, только когда приезжал А. А. Блок. Интересно — да, но не радостно, а, скорее, даже мучительно. Василий Иванович все время ощущал отсутствие общего языка между Блоком и режиссурой. Да и не только режиссурой — ему казалось, что все актеры — и М. П. Лилина, и О. В. Гзовская, и В. Г. Гайдаров, и особенно Шахалов и Вишневский — совсем не понимают, не чувствуют Блока, ни его поэзии, ни мысли…

Василия Ивановича Блок ни как актера, ни как человека не любил (это видно из его писем и дневника), но соратником своим, единомышленником он не мог его не чувствовать. Недаром он как-то сказал, что хорошо было бы, если бы Василий Иванович играл и Бертрана и Гаэтана, а может быть, и Алискана и Графа тоже. Не знаю, нравилось ли Блоку то, как Василий Иванович его читал, думаю, что нет: поэты не любят актерского чтения своих стихов, но все-таки он не мог не понимать, что Василий Иванович единственный человек в составе спектакля, который чувствует, любит и понимает его поэзию. Любит в ней то, что любит и сам автор.

Он не мог не воспринимать Василия Ивановича в чем-то очень важном своим, стоящим с ним на одном берегу, видящим, конечно, не так далеко, не так остро, но смотрящим в том направлении, в каком смотрел он.

Опасения и настроения Василия Ивановича создали в нем

чувство ответственности не только за себя, не только за весь спектакль, но и за театр. Чувство очень у него редко возникавшее и очень для него мучительное. Мучительное потому, что все другие, по его мнению, смотрели не в ту сторону и ничего не видели или видели не то, что должно. К самому большому огорчению Василия Ивановича, это относилось и к очень чтимой и любимой М. П. Лилиной и к самому Константину Сергеевичу, которому «Роза и Крест» (особенно «Крест») были непонятны, чего он даже и не скрывал. А Владимир Иванович (и это было много хуже) считал, что все понимает и все чувствует так же, а может быть, и глубже и тоньше, чем сам автор, а на самом деле видел все очень упрощенно.

В дневнике Василия Ивановича была запись (правда, не за этот год) о том, как «до ужаса Немирович закрыт для поэзии».

Видимо, оба режиссера мучились неумением работать над этим произведением. Это видно хотя бы из того, сколько перепробовали в поисках решения внешней формы. Работали с М. В. Добужинским — не получилось, пытались обойтись своими силами и привлекли молодого, скромного, совсем не именитого, занимавшего в театре полухудожественную, полутехническую должность И. Я. Гремиславского, что-то начало вырисовываться как будто интересное, но то ли это, что надо, никто не мог решить.

Видимо, не было идеи спектакля, не было его образа, ни внутреннего, ни внешнего.

Василий Иванович говорил, что Блоку очень нравился, очень ему импонировал Константин Сергеевич, очень покорял его своим и человеческим и артистическим существом, но и в его способность решить «Розу и Крест» он не верил… Не говоря уже о Владимире Ивановиче, который был ему (как казалось Василию Ивановичу) явно чужд.

Репетиции как-то сошли на нет, перестали назначаться то по каким-нибудь причинам, то просто так… Василий Иванович же продолжал работать и жить в атмосфере пьесы-поэмы. Работал просто потому, что не мог выйти из-под ее очарования. Но надежды на то, что она пойдет, — не было.

Вообще надежд было мало. В тот сезон Василий Иванович заявил, что никогда не будет играть молодых ролей, отказался от Глумова, Чацкого, Дон Гуана… Ему только что пошел сорок пятый год, но он считал себя уже старым. Очень похудел, ослабел, как-то потух. Может быть, из-за отсутствия интересной творческой работы в театре, с которым был связан всем своим существом, может быть, это объяснялось проще и прозаичнее — плохим, недостаточным питанием. Может быть, и тем и другим.

Для иллюстрации атмосферы репетиций «Розы и Креста» мне хочется привести несколько отрывочных записей из дневников Василия Ивановича за 1917/18 и 1918/19 годы:

«… С утра на Совет о „Розе и Кресте“, ждем Костю. Пришел с большим запалом, говорит хорошо, но резко. Володя конфузится и обижается, Костя сильнее и умнее. О поэзии, о возвышенном. Об Андрееве и проч. Ниспровергает. Хочется возразить, но боюсь его резкостей. Хотя в чем-то очень не прав. Об актере-жреце, об аффективных чувствах, о правде переживания все-таки очень интересно. Даже трогательно. До него все было мелко…» «… Я пробовал начало, первый монолог (Бертрана). Володя показывает и учит — неинтересно».

«… Попробовали сыграть перед Володей V картину, потом — разговоры затянулись. Володя критикует, но мало помогает».

«Занимаемся с Шахаловым (Гаэтан). Володя энергичен, кое-чего добился от нас. С трудом. Я что-то почувствовал как будто хорошее».

«Репетируем с Шахаловым: он безнадежен. Очевидно, придется играть Гаэтана мне».

«Телефон от Володи. У него. Менять роли в „Розе“. Мне Гаэтана. Огорчен, жалко Бертрана. О моей душевной лени, чего недостает мне-актеру. Жесток, но прав. Вот в этом, в понимании актера он очень умен, тонок и талантлив».

«Опять у Володи — с 12 до обеда. Пробую Гаэтана, бездарно, сухо, пафосно, ничего не выйдет, не верю. Он ободряет, но помочь не может».

«У Володи — с Массалитиновым, проходим сцену Г[аэтана] и Б[ертрана] и беседуем. Володя умен очень. И он и Массалитинов как будто помогли мне. Стараемся помогать друг другу все, и все-таки не верю, что может выйти. Нет взаимопонимания, нет воли, нет, главное, сил».

Мне кажется, что это ощущение, что нет сил, было у очень многих тогда основным ощущением. Увлеченности, энтузиазма, которые бы помогли преодолеть физическую слабость, не было, а слабость нарастала с каждым днем, и тут возникли разговоры о летней поездке.

Организация летней поездки

В марте 1919 года родилась мысль: всем театром, с семьями двинуться куда-нибудь в покойные и сытые места — в Сибирь, на Украину (в Малороссию, как тогда говорили), на Кавказ. У меня в дневнике, который я вел в те годы (главным образом о гимназических делах), 26 марта записано: «Пришел Вася (так я звал отца), сообщил: в театре решено уезжать из Москвы, со всеми удобствами: отдельный поезд, продовольствие; устраивают кооператоры». Этот проект долго обсуждался у нас и в семье и с друзьями. В общем, сочувствия он не встретил. Эфрос, Дживилегов, Кайранский не советовали. Кайранский сказал: «От революции нельзя бегать». Сам, правда, он вскоре после этого очутился в Одессе, где его догнала революция, и он прятался от нее в сумасшедшем доме.

Другие давали не такие «историко-философские» советы: здесь дом, здесь театр, здесь стабильное, знающее вас и знакомое вам правительство, а там везде «власть на местах», власть непрочная — сегодня одни, завтра другие. Нет, надо сидеть на месте.

Василий Иванович не хотел ехать и из-за меня (а я не хотел из-за гимназии и товарищей и продолжения образования), и из-за сестер своих, и потому, что против поездки были те, кому он верил больше, чем тем, кто был за поездку. Константин Сергеевич был решительно и категорически против, Мария Петровна тоже, Владимир Иванович (как говорили) одно время увлекся этим замыслом, но потом остыл. Но были люди, которые, поняв, что поездку всем театром организовать не удастся, что она тяжела, громоздка, неповоротлива, решили организовывать малую поездку. Это были И. Н. Берсенев, Н. А. Подгорный и Н. О. Массалитинов. Энергично помогал им недавно принятый в Художественный театр бывший чиновник министерства двора, служивший в Петрограде в Дирекции императорских театров С. Л. Бертенсон. Он был принят в Художественный театр немногим больше года тому назад, но сумел за это короткое время занять в нем довольно видное положение. По семье он был ближе к Константину Сергеевичу и им был рекомендован в театр, но сблизился за время своей службы и с Владимиром Ивановичем, который очень высоко ценил его такт, благовоспитанность, обширные знания в области театра, музыки и вообще искусства.

Бертенсон был сыном лейб-медика императорского двора, вырос в среде петербургской, близкой ко двору чиновной

интеллигенции и получил не столько глубокое, сколько блестящее образование и утонченное воспитание. Вероятно, если бы не Октябрьская революция, он сделал бы «хорошую карьеру» — был бы директором какого-нибудь из ведущих театров, большого музея, редактором какого-нибудь ежегодника или художественного журнала типа «Столица и усадьба» и т. п. Февральская революция не помешала, а, скорее, содействовала его карьере — он не имел титула, не принадлежал ни к родовитой русской аристократии, ни к прибалтийскому баронству, так что не был достаточно аристократичен для карьеры при дореволюционном строе. В период же между Февралем и Октябрем он очень быстро пошел в гору. От Октября же он спрятался, притаился в Художественном театре.

Как Бертенсон работал и как себя держал в самом театре — я не знаю, довелось наблюдать его только в поездке, о которой я собираюсь писать. В ней он умел, блистательно бездельничая, быть всегда и везде в центре внимания, в правящей головке нашей группы. Он презирал работавших, для него работа была признаком серости. Он с гордостью «руководил», «представительствовал», он не смущался тем, что за него и на него работали другие. Это был прирожденный и естественный «работодатель», заказчик и приемщик, оценщик чужого труда. Таким же он был и в искусстве: он оценивал, одобрял или не одобрял творчество других и, сам ничего не умея, считал себя вправе судить…

В вечном споре между «конторой» и артистами, о котором пишет Константин Сергеевич в своей «Этике», Бертенсон был не только типичным представителем «конторы», он был ее идеологом. Никто не умел так оскорбительно вежливо говорить с «меньшой братией» — маленькими, не знаменитыми актерами, техническим персоналом, служащими, — как умел он. Но зато как изысканно почтителен был он со знаменитыми людьми, как талантливо создавал между ними и собой атмосферу фамильярного и интимного взаимопонимания. Он был очень ценен своим умением «принять», «представить», отказать не обидно, просить без унижения…

Забегая на четыре года вперед, вспоминаю, как от его участия в качестве переводчика в работе по монтировке спектаклей категорически отказались американские рабочие сцены. «Слишком высоколоб», «уж очень чисто по-британски хочет говорить, хотя и не может», «он через нас, как через решетку, смотрит», — говорили они.

Я так много пишу о С. Л. Бертенсоне, потому что считаю, что в организации и, главное, в придании культурного и приличного,

достойного, а не просто «халтурного» облика летней поездке 1919 года его роль была очень велика и значительна.

Я не уверен, что Ольга Леонардовна, Василий Иванович согласились бы на эту поездку, если бы Бертенсон своим участием в ней, какой-то атмосферой узаконения ее Владимиром Ивановичем и Константином Сергеевичем, которую он вносил во все организационные собрания будущей группы, не влиял на них. Все знали о его близости к обоим «старикам», и само его присутствие как бы привносило их участие и если не одобрение, то, уж во всяком случае, незапрещение ее ими.

Душой дела, главным инициатором был Иван Николаевич Берсенев. Это был человек совершенно исключительный, наделенный огромной энергией, неутомимостью, силой воли, деловой изобретательностью. Но эти свойства встречаются не так уже редко — они являются неотъемлемыми качествами почти каждого хорошего администратора. Нет, Берсенев был больше чем хороший администратор, гораздо, гораздо больше. Берсенев был Кромвелем, Бонапартом, но не в политике, а в театре. Что самое определяющее для завоевания власти? Мне кажется, что это абсолютная вера в свое право на эту власть. Полное отсутствие каких бы то ни было сомнений в этом праве. Больше — ощущение этого права должно быть так же свойственно, как дыхание. Ему нельзя было сопротивляться — он рано или поздно находил возможность сокрушить то, что было на его пути. Я думаю, что не романтизирую его, нет, таким он и был, так он и шел к своей цели, отбрасывая то, что ему мешало.

Большую помощь оказывал ему Н. О. Массалитинов. Сейчас трудно судить, но мне кажется, что Массалитинов был очень хорошим актером. У него был огромный темперамент, он очень легко загорался, легко плакал, легко смеялся. Было то, что, если я верно понимаю этот термин, называется органикой. Была яркая характерность, очень, может быть даже слишком, русская. Возможно, это шло от его четкой, ясной, но немного слишком «обволакивающей» уральско-сибирской дикции (он был из Томска).

В МХТ Н. О. Массалитинов сыграл много ролей и занимал хорошее «середняцкое» положение. Он был не только актером: во Второй студии, которая образовалась из «школы трех Николаев» (Александров, Массалитинов, Подгорный), он, как и в школе, был режиссером, педагогом и специалистом по исправлению дикции. Он был интеллигентным человеком, окончил (или почти окончил) Томский университет. Я думаю, в его сценической карьере ему мешала его внешность: он был грузен, мясист, тяжел и очень неэлегантен; лицо тоже мясистое, с крошечным курносым

носом и выпуклыми, выступающими из орбит, бесцветными близорукими глазами.

Вот так и сформировалось правление: общее руководство — И. Н. Берсенев, заведующий труппой — Н. А. Подгорный, главный режиссер — Н. О. Массалитинов, заведующий репертуаром, прессой, рекламой, внешними сношениями и секретарь — С. Л. Бертенсон.

В Харькове в это время находился Л. Д. Леонидов, который прежде уже возил отдельные спектакли МХТ в Харьков и Ростов. Вот и теперь решили к нему обратиться. Он быстро откликнулся и с радостью предложил свою помощь по организации ряда спектаклей в Харькове, а может быть, и в других городах Украины.

На Украину стремились потому, что про нее в Москве ходили легенды: белый хлеб, сало, яйца, молоко там в изобилии — все, по чему в Москве истосковались.

Репертуар составили такой: «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и две программы концертов.

В первой программе основой были «Кошмар» и «Мокрое» с «Допросом» из «Карамазовых», во второй — речи Брута и Антония из «Юлия Цезаря» Шекспира.

«Вишневый сад» шел так: Раневская — О. Л. Книппер, Гаев — Н. А. Подгорный, Аня — К. Ф. Краснопольская, Варя — М. А. Крыжановская, Трофимов — И. Н. Берсенев, Лопахин — Н. О. Массалитинов, Фирс — П. А. Павлов, Шарлотта — В. Н. Павлова, Епиходов — В. И. Качалов, Яша — Н. Г. Александров, Дуняша — В. Г. Орлова, Симеонов-Пищик — П. А. Бакшеев, начальник станции — С. М. Комиссаров, почтовый чиновник — В. И. Васильев, прохожий — П. Ф. Шаров, он же помощник режиссера.

«Дядя Ваня» шел так: Войницкий — Н. О. Массалитинов, Астров — В. И. Качалов, Елена Андреевна — О. Л. Книппер, Соня — М. А. Крыжановская, Войницкая — Н. Н. Литовцева, няня — В. Н. Павлова, Телегин — П. А. Павлов, профессор Серебряков — Н. А. Подгорный. И. Я. Гремиславский был и художником и заведующим постановочной частью, у него было два помощника — И. М. Орлов, который работал в МХТ осветителем, а в поездку был взят «на все руки», и брат жены Гремиславского — юный Коля Тихомиров, молодой человек лет семнадцати-восемнадцати, он должен был помогать Ивану Яковлевичу по реквизиту. Чета Бодулиных — Петр Семенович и Анна Максимовна — ведали костюмерной частью (они и в Москве были на этой же работе). Члены семей также все должны были работать: Ю. Н. Гремиславская — выходить девочкой в третьем действии

«Вишневого сада», Нина Георгиевна Васильева — быть суфлером, Коля Бодулин — мальчик лет пятнадцати — выходил гимназистом в «Вишневом саде», я — стариком садовником. Ольга Николаевна Павлищева-Берсенева выходила старухой там же. Н. Н. Литовцева была вместе с Н. О. Массалитиновым режиссером обоих спектаклей.

Л. Д. Леонидов арендовал в Харькове городской театр, и группа начала готовиться к поездке. И. Я. Гремиславский выехал первым; так как декорации и мебель везти было абсолютно невозможно, он должен был подобрать на месте все нужное для спектаклей и концертов. С собой везли только самый необходимый реквизит, пьесы, ноты, все костюмы и парики. Грим каждый имел свой. Парикмахера-гримера не было, приводить парики в порядок взялся П. Ф. Шаров. Гримировались все сами, не умевших это делать обещал гримировать тот же Шаров.

Группа была организована как товарищество на марках, то есть каждый член ее получал свой заработок путем распределения всех доходов на причитающиеся ему марки. Так, Качалов получал пять марок, Книппер — четыре, Берсенев — три как актер и одну как член правления, Массалитинов — так же, остальные все — три, две и Комиссаров и Васильев по одной марке. Весь доход делился на общее количество марок и потом выплачивался каждому по его «ставке».

В конце мая все было обговорено и пьесы срепетированы. Когда выяснилось окончательно, что И. М. Москвин в поездке участия не примет (а одно время он собирался вступить в группу), возник вопрос о том, кому играть Епиходова. Хотели попробовать дать роль Епиходова Комиссарову, но это было бы уж очень большим компромиссом: после Москвина — Комиссаров, совсем непроверенный актер, попавший в театр по дружбе с любимым всеми домом Комиссаровых.

Вдруг Василий Иванович предложил на эту роль себя, с тем чтобы Гаева играл Подгорный. Это всех абсолютно устраивало. Василий Иванович, с одной стороны, хотел найти таким образом выход из затруднительного положения, с другой — ему, действительно, хотелось попробовать сделать из этой роли что-то совсем новое.

В эти годы он с новой силой полюбил Блока. В новой вспышке этой любви сыграла большую роль как революционная поэзия Блока — «Двенадцать», «Скифы», — так и «Соловьиный сад». «Двенадцать» помогли Василию Ивановичу услышать музыку революции, музыку, которую он не переставал слышать с тех пор до конца жизни. «Скифы», как неравный, но подобный треугольник совпадает с другим подобным, совпали с его

отношением к войне и миру (вселенной). В «Соловьином саде» он видел и принимал, соглашаясь с ней, философию и этику творчества художника.

Как я уже говорил, Василий Иванович много работал и в театре на репетициях и дома над «Розой и Крестом». Репетировал Бертрана (есть томик «Театра» Блока с надписью автора: «Качалову — Бертрану»), но не меньше работал над Гаэтаном, над его песней. И вот образ «бедного рыцаря» (над пушкинским «Рыцарем бедным» он тоже работал), рыцаря поэта и мечтателя с седыми кудрями и, главное, образ влюбленного «Рыцаря-Несчастие», урода-героя с прекрасной душой, объединились у него и превратились в один светлый образ влюбленного, непонятого, одинокого, смешного для всех, но до святости чистого и оправданного любовью «рыцаря Печального Образа». И как это всем ни казалось парадоксальным, он задумал сыграть его в Епиходове. В этом было какое-то ощущение выхода из-за ограды Соловьиного сада к лому и ослу, к жизни и труду, к помощи товарищам… Не знаю, понятно ли это. В те годы это никому (кроме, похвастаюсь, меня) не было понятно, встречено было пожиманием плеч, но благодарно.

Василий Иванович начал усиленно и увлеченно работать над этой ролью. Ему хотелось играть ее так, чтобы над ним смеялись, стыдясь своего смеха. Чтобы он был жалко, до слез смешон. Он хотел быть абсолютно серьезен, одержим в своей влюбленности, свят в чистоте своей любви, наивен до святости и где-то горд и отважен. Он не хотел никаких трюков (у Москвина они были нагромождены по два на каждую реплику), только ужасную речь — шепелявость и пулеметность. Как он ни опасался меня обидеть, но сознался, что манера говорить у Епиходова должна быть карикатурой на мою: я в те годы шепелявил и то задерживал, то пулеметил слово. Как пример того, насколько по-иному (в сравнении с Москвиным) он видел образ, расскажу вот что: в четвертом акте Епиходов на вопрос: «Что это у тебя голос такой?» — отвечает: «Сейчас воду пил, что-то проглотил». Москвин смешно хрипел при этом. А Василий Иванович считал, что у Епиходова от горя и любовной тоски перехватило горло, он близок к рыданию и про воду врет, чтобы скрыть свое состояние.

Я на репетициях не бывал, но помню тревогу матери и ее советы Василию Ивановичу «не срамиться» и отказаться, пока не поздно, пусть берут кого-нибудь еще или вводят Шарова или Комиссарова. Но Василий Иванович был тверд и упорно стоял на своем. Мне, насколько я мог понимать, его замысел нравился очень. Я как-то сказал ему что-то насчет родства его образа Епиходова с князем Мышкиным (я очень много читал в те годы

Достоевского), но тут он мне сказал: «Ну уж это ты, брат, загнул».

Харьков

Итак, все было готово, и на 1 июня был назначен отъезд.

К 31 мая надо было доставить в театр чемоданы. Очевидно, извозчиков достать было невозможно, потому что мы с нашим швейцаром Василием, положив на плечи толстую палку, на которой были навешаны чемоданы, отправились в Камергерский переулок. В одной из мастерских во дворе театра Ваня Орлов и Коля Тихомиров принимали вещи и проверяли, есть ли на них ярлыки с фамилиями. Завтра мы должны были получить их уже в вагоне.

Берсенев умел и любил блеснуть сервисом: добравшись на другой день — кто на трамвае, кто на извозчике, кто и пешком — до запасных путей Курского вокзала, где за какими-то пакгаузами притаился наш вагон, мы были поражены — вагон был «микст» (половина первого, половина второго класса), относительно чистый, только что дезинфицированный, о чем он сообщал острым запахом. Один вход был наглухо забит изнутри досками, у другого стояли два бойца железнодорожной милиции с винтовками и с гранатами у пояса. На дверях каждого купе была записка с фамилиями тех, кто должен ехать. Это было чудо номер один.

Василий Иванович с Ниной Николаевной ехали в двухместном купе рядом с Ольгой Леонардовной, которая ехала с М. А. Крыжановской. Я оказался с Бертенсоном, Подгорным и Шаровым. Когда началось составление поезда и он был подан под посадку, нам было приказано сесть так, чтобы никого в окна не было видно, а наша охрана заняла боевые позиции у обеих дверей незаколоченного тамбура.

Началась посадка. Окно нашего купе было наглухо завешено какой-то холстиной, поэтому мы не сидели на полу, как некоторые, которым нечем было завесить, и я, забравшись на верхнюю полку, наблюдал через щель выше холстины за буйным потоком мешочников и просто пассажиров (они по виду ничем не отличались от мешочников), заливавшим поезд и заполнявшим все вагоны, тамбуры, буфера, крыши… Это было страшное зрелище. Зыбкая плотина из двух бойцов и фанерных досок с надписью «Вагон *особого назначения* — вход запрещен» могла не выдержать, и весь берсеневский сервис полетел бы в тартарары. Нас никто не тронул. Несколько раз подходили патрули железнодорожной охраны, сгоняли людей с крыш, но они опять заполняли их.

Наконец, уже к вечеру, поезд тронулся. Началось обычное

русское путешествие — чаепитие (у проводника был самовар, который непрерывно кипел), закусывание, угощение друг друга, хождение «в гости» из одного купе в другое. Света не было, но он был и не нужен — июньская ночь короткая.

Поезд шел медленно, стоял подолгу и часто, и на всех остановках была та же сумасшедшая посадка, что и в Москве. Наши бойцы стояли «насмерть», да и табличка «Вагон особого назначения» действовала безотказно. Только об одном просили бойцы — чтобы никто не показывался: пустые окна убедительнее всего.

Так никто из нас до самого Харькова и не вышел подышать воздухом. Очень ясно помню первую ночь. Бертенсон и Шаров уже спали, а мы с Подгорным говорили до утренней зари. Вернее, говорил он. Началось с того, что я рассказал ему, как я себе представлял, когда мне было четыре года, его путешествие к «Ядовитому океану» — так я понял, когда мне сказали, что Бакуля (это было его прозвище в те времена) поехал на Ледовитый океан.

Он начал вспоминать свою молодость и мое младенчество и рассказывать об этом времени, а потом рассказал интереснейшую эпопею своего путешествия летом 1905 года вниз по Северной Двине до Архангельска, а потом по Белому морю на рыбацкой «ладейке» на парусах и веслах. По сравнению с тем его трудным и рискованным путешествием наше теперешнее казалось мне пресным и скучным. Захотелось приключений, опасностей, досадно было на то, что мы так благополучно «следуем» из Москвы в Харьков… И мне не приходило в голову, что начались полные опасностей, риска, катастроф и спасений, падений и взлетов долгие трехлетние скитания… Что три года у нас не будет ни дома, ни адреса — будем жить в вагонах, на пароходах, в номерах гостиниц. Что три года не будем спать в своих кроватях и будем держать все свое имущество в чемоданах…

Но тогда, под утро, когда купе залило лучами восходящего солнца, я этого не предчувствовал. Жалел, что мне предстоит не полное опасностей путешествие, а тихий отдых на жаркой и сытной Украине, а потом, через три-четыре недели, — возвращение в Москву для поступления в высшее учебное заведение. Мог ли я думать, что вернусь в Москву через три года и что никогда не буду ни в каком высшем учебном заведении, что эти годы и будут «моими университетами»…

Ехали мы ночь, день и еще ночь и утром приехали в Харьков. На вокзале нас встретил Леонидов и еще какие-то комиссионеры — леонидовские фактотумы. Наш вагон отвели на запасный путь, туда были поданы подводы для багажа, и мы, погрузив и сдав чемоданы все тем же Орлову и Тихомирову, пешком отправились

в гостиницу «Россия» на Екатеринославской улице.

Гостиница была в недавнем прошлом хорошая. Номера с ванными, видимо, были дорогие, рассчитанные на богатых и требовательных постояльцев. Был и ресторан с роскошно оборудованной кухней, были гостиные, буфеты, бильярдные, парикмахерские, «институт красоты», прачечные, портновские мастерские. Но все это в прошлом. Сейчас было что-то ужасное. Рваная, ломаная мебель, обои в клочьях, вонь по коридорам и мухи, мухи, мухи… От мух все было черно и звенело так, что приходилось повышать голос.

Нас поселили в сравнительно чистых номерах и дали последние уцелевшие смены белья, предупредив, что, если оно запачкается, придется стирать самим, а на время стирки спать без белья.

Ольгу Леонардовну поселили с моей матерью в однокомнатном номере без ванной, а отцу со мной дали через коридор против них номер с уборной и ванной. Решили, что питаться мы будем все четверо «у дам», а мыться и все остальное и мы и дамы будем у нас. Это тогда, когда удастся починить уборную, и тогда, когда будет течь вода. Берсенев гарантировал, что добьется этого. И как это ни казалось невероятным при виде развала и ужаса, в каком была гостиница, ему верили, он завоевал доверие к своему всемогуществу. И действительно, каким-то образом дело было сделано, и все мы, работники театра, оказались на островке относительного комфорта.

Моя мать и Ольга Леонардовна чистоту и комфорт любили не пассивно — они умели и любили создавать вокруг себя и своих чистоту, уют, удобства. Промчавшись, прорвавшись через облака смрада, стараясь не дышать, мы оказывались в дивной атмосфере благоухания, свежести, красоты. Старались и другие дамы, но то, что умели наши, было не под силу остальным. Ольга Леонардовна в этом таланте — в умении распространять вокруг себя, пленять и заражать других этим воздухом культуры, ароматом чистоты, здоровой изысканности, благоустроенности — не имела себе равных. Вся она, от всегда благоухавших и красиво лежавших волос до кончика носков мягко лоснившихся ботинок, была элегантна, свежа, подтянута, бодра. В ней была веселая, радостная в себе и несущая радость другим благовоспитанность. Это слово само по себе кажется скучным и ханжеским, а у нее, в ней благовоспитанность была какая-то светлая, аппетитная, жизнерадостная.

До Харькова только Василий Иванович был близок и интимен с Ольгой Леонардовной, он один из нас был с ней на «ты», а за этот месяц и мать и я восприняли ее как самую близкую, самую

свою, самую родную и любимую. Ее физическое и душевное благоустройство было, очевидно, исключительным: оно продлило ее прекрасную жизнь до начала десятого десятка. Все в ней было пластично и ритмично, в ней была красота равновесия, симметрии. Получается скучно? А разве Парфенон скучен? А он симметричен, ритмичен, покоен, однороден и… прекрасен. Была ли Ольга Леонардовна добра? Это не имело в ней значения — она была больше чем добра, она была благожелательна, доброносна, и добрыми делались от нее другие. С ней было всегда легко, жизнь и люди казались лучше при ней, она была светла и несла, распространяла свет, при ней хотелось быть и жить лучше и лучшими видеть людей. Она была с нами до девяносто первого года своей жизни и всегда была моложе, яснее, жизнелюбивее всех нас. Но о ней я еще много раз буду говорить. Группа наша была «качаловская», Качалов был ее знаменем, но нашим радостным барабанщиком была она, наша дорогая Книпперуша.

На другое же утро после приезда побежали на рынок, и — о счастье! — все оказалось так, как рассказывали: милые, ласковые тараторки-торговки продавали масло, сметану, творог («сир»), редиску, мед, «яички», белый хлеб, сало. Денег было много, началось обжорство. По два раза завтракали, закусывали, подолгу ужинали. Наплевать, что обедали в столовке с грязными клеенками, с оставлением паспорта в залог при получении ложки и вилки. Это не имело значения — дома все будет аппетитно и изящно сервировано на белоснежной кружевной салфетке, нарезано, намазано и украшено…

За два дня, ко дню открытия «сезона», мы все потолстели, порозовели, у нас стали расти ногти и перестали выпадать волосы. Мы поняли, что в сущности всю зиму голодали. Понадобилось всего несколько дней, чтобы мы вошли в норму и успокоились. Еда перестала быть в центре внимания и заняла подобающее ей в жизни человека место. Главным стало дело — спектакли.

Шестого июня открыли сезон «Вишневым садом». Приехавший за десять дней до открытия Иван Яковлевич Гремиславский подобрал два стареньких павильона и довел их до подобия симовской декорации. Для первого и четвертого действий был взят желто-розовый, с цветочками (так называемый «обойный», писанный под обои) павильон. Иван Яковлевич размыл его так, что цветочки исчезли, а стены приобрели белесый, выгоревший цвет. На одной из стенок была написана маслом кафельная печка и к ней сделана из двух обтянутых холстом ящиков лежанка. Она тоже была написана маслом под кафель. На стенках были написаны квадраты и овалы,

изображавшие невыгоревшие места. В первом действии они были закрыты фанерными миниатюрами и портретами и несколькими «настоящими» (то есть взятыми из московского реквизита) вышивками и гобеленчиками. Когда в четвертом действии все это снималось и стены оказывались голыми, эти «невыгоревшие» следы картин и мебели создавали ощущение покинутого помещения, заброшенного гнезда.

Долго Иван Яковлевич мучился со шкафом: «многоуважаемый шкаф» — вещь, сделанная в 1790-х годах, книжный шкаф конца позапрошлого века. Найти такой предмет в запаснике театральной мебели харьковского театра оказалось невозможно, и Иван Яковлевич, обнаружив более или менее подходящий шкаф в квартире одного харьковского зубного врача, выпросил его на период гастролей, пообещав контрамарки на все спектакли.

После премьеры супруга этого дантиста на весь зал громогласно, своей харьковско-ростовской певучей скороговоркой оповещала родных, знакомых и незнакомых о своем участии в успехе москвичей.

Остальную мебель удалось подобрать в театре. Для третьего действия Иван Яковлевич приспособил зеленый, «ампирный» павильон («залу»), к которому пришлось сделать новую дверь с форточкой в нижней филенке, что необходимо для вылезания Ани и Вари в сцене фокусов. Написать деревья и кустики, чтобы превратить залу в «боскетную», как это было в Москве, ему не позволили. Декорации второго действия подобраны были очень удачно из здесь имевшихся. Сколотили старую садовую скамью, положили три большие кучи сена, вместо часовни стояла беседка из «Дворянского гнезда» — все было «почти как в Москве».

Ольга Леонардовна была довольна и благодарна Ивану Яковлевичу. Костюмы и игровой реквизит были все свои, из Москвы. Остальное подбирали на месте, всегда была канитель с чемоданами — актеры обещали приносить свои и забывали или не хотели, и к общему выходу в первом действии начиналась паника. Двое исполнителей были участниками первого спектакля 1904 года: Ольга Леонардовна — Раневская и Н. Г. Александров — Яша. Остальные (кроме Василия Ивановича — Епиходова и Краснопольской — Ани) тоже играли в Москве. Гаева играл Подгорный. Не знаю, было ли это лучше тогда, чем в 30-е годы, но меня он трогал очень. Стыдно сказать, но больше, чем Константин Сергеевич, которого я незадолго до поездки видел в Москве. Когда в четвертом действии он говорил о том, что в троицын день сидел на окне и смотрел, как его отец шел в церковь, я каждый раз ревел горькими слезами. Он очень играл барина, аристократа, демонстрировал хорошие манеры,

барственность. Думаю, что за этим ничего подлинного не было. Но и мне и харьковской публике он очень нравился.

Массалитинов был, мне кажется, Лопахиным, лучшим даже по сравнению с Л. М. Леонидовым, которого я, правда, помнил тогда смутно. Он был очень страстен и убедителен во втором действии, очень хорошо играл сцену с Петей в четвертом (про мак и «Дойдешь?»). Но в третьем действии был лобово-груб, неизвестно откуда у него могло возникнуть, да и не возникало «Отчего же, отчего вы меня не послушали?», потому что, мне кажется, он не любил Раневскую так, как любит ее чеховский Лопахин. «Тонких пальцев», «нежной души», которые так изумительны у Чехова, и у него не было, да я не знаю, были ли они у кого-нибудь из других Лопахиных… Сцена с Варей (объяснение) была одна из лучших в спектакле, главным образом благодаря совершенно изумительной Варе — Крыжановской. Я помню многих Варь, но такой чистой, строгой, бесконечно влюбленной в семью и дом и в то же время тупой и нудной в своей порядочности не помню. Насквозь народная, русская в самом лучшем смысле мещаночка и этим чуждая дворянской, по-другому очень русской в своей почти богемной безалаберности семье. В ней была очень чеховская, женственная деловитость, в чем-то роднившая ее и с Соней («Дядя Ваня») и с Таней («Черный монах»). Я думаю, что лучше, нежнее принять Аню и увести ее спать, чем это делала Крыжановская в первом действии, никто бы не мог. По сравнению с ней всегда особенно театрально, «по-любовнически», но без полноты любви звучали завершающие акт слова Пети Трофимова — Берсенева: «Солнышко мое! Весна моя!»

Берсенев много играл любовников, влюбленных, но, как мне кажется, не умел любить на сцене. Я плохо помню Василия Ивановича в этой роли, но и у Подгорного и особенно у В. А. Орлова слова «Солнышко мое! Весна моя!», да еще под жалейку и скворцов, всегда вызывали у меня спазмы в горле. А у Берсенева это была декламация. Да и всю роль он играл холодно: и монолог второго действия, и «Дойду» четвертого и «Он мелкий негодяй, ничтожество» третьего — все было пусто. Но, во всяком случае, его исполнение было на вполне достойном, московском уровне.

Бакшеев в Пищике хорошо повторял Грибунина и мне нравился очень, но когда я потом снова увидел самого Владимира Федоровича, то понял, как только внешне и механично Бакшеев воспринял грибунинский рисунок.

В. Н. Павлова была лиричной и смешной Шарлоттой Ивановной, жалкой и нелепой. Очень ей удавался немецкий акцент — мягко и точно. После Е. П. Муратовой это была,

конечно, лучшая Шарлотта.

Прелестна была В. Г. Орлова — Дуняша. Она меньше играла влюбленную горничную, немного нелепую и смешную, как ее всегда (и, вероятно, правильно) играют, чем влюбленную, одержимую любовью, почти Изольду, выпившую волшебный напиток. Первым объятием Яша покорил ее навсегда, и она была одурманена любовью до конца… Мне она нравилась очень.

Павлов был отличным Фирсом, может быть, немного слишком сердитым, особенно в сравнении с Артемом.

Явно неудачна была Аня — Краснопольская, коротенькая, полненькая, этакая сдобненькая пышечка, причесанная под девочку, с лихим локоном над глазом… Но Харькову она пришлась по вкусу. У меня в Харькове оказался школьный товарищ; у него в семье я слышал: «Краснопольская — душка, такая прелестная, прямо девочка — нежненькая, миленькая… Ну просто конфетка!»

В том же доме, думаю, довольно типичном для цвета харьковской интеллигенции того времени, говорили: «Мадам Книппер играет, конечно, очень хорошо, но настоящего шику ей не хватает, нет в ней дамы из хорошего общества, манеры нет, она не шикарная. Вот если бы в этой роли увидеть…» — они называли харьковскую любимицу публики, актрису «с настоящим шиком». Это было ужасно, но спорить было невозможно. Ольга Леонардовна играла, конечно, без «шика» — она эту роль вообще не играла. Она просто была Любовью Андреевной Раневской, со всей ее биографией, со всей ее безалаберностью, нелепостью, со всеми ее любовями и несчастьями. Милая, легкая, обаятельная, женственная, она была не «ниже любви», как она говорила, а состояла из любви.

Много чеховских ролей сыграла Ольга Леонардовна, все они были ей близки и органичны, все это были ее удачи, но такого полного совпадения актрисы с образом не было ни в чем. Я не хочу сказать, что она была Раневской в жизни, нет, совсем нет, но образ литературный абсолютно совпал с образом сценическим. Я даже не знаю, в какие моменты роли она была выше. Я, пожалуй, больше всего любил все третье действие — от сцены после фокусов: сцену с Петей до ее конца, глаза во время сцены Лопахина и монолога Ани. Даже такая ужасная Аня, как Краснопольская, не могла испортить ей финал акта. Но и «Покойная мама идет по саду» и сцену с Петей в первом действии люблю и помню так, как будто слышал их вчера.

Александров играл на своих еще пятнадцать лет тому назад утвержденных штампах, играл крепко и имел большой успех.

С Василием Ивановичем в роли Епиходова произошла

трагедия. Его никто — ни товарищи, ни режиссура, ни публика — не принял никак. Партнеры привыкли к тому, что почти вся роль шла под смех. С первого выхода Москвин ронял стулья, спотыкался, ронял букет и т. д. Публика была так готова к юмористическому восприятию его, что одно его имя уже вызывало смех. Как ни романтизировал Василий Иванович своего Епиходова, как ни превращал его в «Рыцаря-Несчастье», смех был и ему необходим. Смеха требовала сама речь, словарь и грамматика Епиходова, а смеха не было. Тогда Василий Иванович начал, вернее, пытался, оставаясь в задуманном образе, искать фортели, смешить — ничего не выходило. Публика принимала его с недоумением и жалостью. Это была та степень провала, которая становилась уже опасной для всего сезона: пойдут ли на Качалова — Астрова, увидев его в Епиходове?

Оказывается, амплуа — совсем не такое уж устарелое понятие, и за попытку отвергать его оно мстит. «Играет Епиходова? Так это же комик! Значит, это не тот Качалов, тот — Гамлет, Бранд, Чацкий. Обман!»

Берсенев и Леонидов переполошились — пусть играет плохо Комиссаров, это лучше, чем «губить» Качалова. Начали деликатно намекать: пошалил — и теперь довольно, лучше отдыхай в этот вечер. Ольга Леонардовна тоже негодовала: Чехов такого не писал. «Глупости какие», — говорила она в ответ на декларации Василия Ивановича о «конторщике Рыцаре-Несчастье».

Стали спешно готовить Комиссарова. Но судьбу Василия Ивановича — Епиходова решила совсем другая, гораздо более властная режиссура!

Но сначала о других спектаклях сезона. Второй премьерой был «Дядя Ваня». По примеру спектаклей в Политехническом музее и в других концертных помещениях, где «Дядю Ваню» играли в условном оформлении (на что шел даже Константин Сергеевич под натиском А. Л. Вишневского, для которого это была главная, кажется, даже единственная «халтура»), Иван Яковлевич и в Харькове оформил спектакль значительно проще и лаконичнее, чем он был решен при выпуске. Вместо четырех декораций — сад перед домом, столовая, гостиная и комната-контора дяди Вани — играли в двух: первое, второе и третье действие — в столовой Войницких, четвертое — в кабинете. Павильон был подобран светлый, с потолком, с лестницей в комнату дяди Вани, с окном в сад. «Сад» Иван Яковлевич написал на оборотной стороне старого задника. Мебель была вся в белых чехлах, привезенных из Москвы. Четвертое действие шло в маленьком, темном павильоне, с голландской печкой посередине. На стене — огромная карта Африки, в углу — хомут, дуга,

десятичные весы, мешки с горохом и гречневой крупой. Зачем в комнате хомут, я никогда не понимал, но так играли в Москве, и хомут привезли с собой в реквизите.

Вот, оказывается, не всегда ружье стреляло и в МХТ тоже!

Дядя Ваня — Массалитинов был, по-моему, во много, много раз лучше создателя этой роли — Вишневского. Ольга Леонардовна сначала возражала, но вскоре согласилась с этим, хотя и с оговорками: Массалитинов, по ее мнению, был слишком мужиковат, а Антон Павлович настаивал на элегантности дяди Вани и видел его в каких-то особых, изысканных галстуках. Не знаю, так ли это уж важно, но даже если Массалитинов и не был элегантен (этого он не мог), то он был интеллигентен, талантлив, умен, ничего дикого не было в мысли, что, если бы он жил иначе, из него бы мог выйти Шопенгауэр, Достоевский… Тогда как для Вишневского это было абсолютно невозможно. Массалитинов действительно очень любил Елену и страстно ненавидел Серебрякова — в это можно было поверить, так как темперамент Николая Осиповича легко вспыхивал и пламенел ярче и горячее всего именно в ненависти. Он лучше, страстнее ненавидел, чем любил.

Ольга Леонардовна была изящна, ленива, была настоящей петербургской барыней. Была девически чиста в сцене с Астровым в третьем действии и загоралась нежной, тоже девичьей страстью в сцене прощания с ним. Какое-то нежное, чистое, грустное лукавство было у нее, когда она во втором действии говорила о нем с Соней, и в третьем — с ним о Соне. Грустное и покорное чувство упущенного счастья. Я очень любил ее и в этой роли. Не так, конечно, как в Раневской, но тоже очень.

О Василии Ивановиче — Астрове мне говорить трудно. Мне кажется, что он был ближе и к доктору, и к лесничему, и, главное, к увлекательному мужчине, чем Константин Сергеевич. Он был как-то шире, размашистее, больше человеком, живущим под открытым небом. Он лучше и пил водку, и целовался, лучше чувствовал лес. Думаю, что я справедлив, а не сыновне-пристрастен.

Крыжановская — Соня была точнейшим попаданием: и ее некрасивость, и чудные глаза, и почти святая честность — все было у нее для Сони. Только она не была влюблена. Любила, да, но влюбленности, такой, при которой девушка сама объясняется в любви, у нее не было, не умела она в себе ее найти. Считалось в труппе, что она рождена, чтобы остаться старой девой, но она ею не осталась, она любила и была замужем. Но это потом.

Павлов — Вафля был, может быть, хуже Артема (это вообще было его несчастьем — он всегда был «не то, что Артем»), но

очень теплым, трогательным и смешным.

В. Н. Павлова была уютной, временами сердитой, временами ласковой нянькой. Ничего нового, своеобразного она не выдумала, но никто от нее этого и не требовал.

Профессора играл Подгорный. Играл на своих штампах, но пытался взять на вооружение некоторые из ставших знаменитыми в свое время приемов Константина Сергеевича в роли доктора Штокмана. Я всегда слышал, что Константин Сергеевич играл эту роль гениально, но у Николая Афанасьевича подражание внешним манерам, вроде вытягивания шеи, игры кистями рук и т. д., было никак не связано не только с внутренней сущностью образа, но даже и с внешностью его, так как Подгорный сделал себе грим красавца. Когда Ольга Леонардовна упрекнула его за это, он сказал: «Там же есть фраза: „Ни один Дон Жуан не знал такого полного успеха!“ — так, значит, он красивый». Подгорный не понимал, что дядя Ваня *поражается* тому, что он мог иметь такой успех. Но спорить с Николаем Афанасьевичем было бесполезно. Он играл красавца с манерами Станиславского — Штокмана на штампах Подгорного. Это не было украшением спектакля.

Марию Васильевну (мать дяди Вани) играла моя мать. Мне трудно быть объективным — мне близкие люди всегда кажутся хуже чужих, так что о своих впечатлениях умолчу. Ольга Леонардовна, считавшая себя хозяйкой спектакля, ее не принимала совсем. Она очень высоко ценила в этой роли ее первую исполнительницу — Е. М. Раевскую — и не мирилась с другим исполнением.

Раевская была в этой роли в первую голову генеральшей, барыней, женой сенатора. Могла она быть и такой, хотя трудно поверить, вернее, не типично, что такая аристократка всю жизнь только читала брошюры.

Мать моя играла, скорее, одуревшую от чтения и одиночества провинциальную интеллигентку, в ней было больше «старой галки», чем сенаторши. Когда же мать начинала пыжиться и играть барыню, важность, гордость и для этого меняла свой ритм и темп на несвойственный ей по натуре замедленный, выходило фальшиво и неорганично. И Ольге Леонардовне, которой ей очень хотелось нравиться, она нравилась еще меньше.

Третьим спектаклем гастролей был спектакль-концерт. Он состоял из следующих номеров: Василий Иванович читал сцену из «Смерти Иоанна Грозного» — «Прием послов», читал речи Брута и Антония из «Юлия Цезаря», «Анатэму» (пролог) и «Кошмар Ивана Карамазова». Читалось это все не в один вечер, а в разных комбинациях. Ольга Леонардовна читала «Рассказ г-жи NN» и

«Шуточку»; Павлов с Васильевым играли инсценировку чеховского рассказа «Забыл!!», Бакшеев с Орловой играли инсценировку рассказа Мопассана «В гавани». Все это было вполне достойно, кроме того, что Павлов уж очень фортелил в роли рассеянного помещика в «Забыл!!» Хотя, если сравнить его с Б. С. Борисовым, который имел в этой инсценировке в Москве огромный успех, Паша Павлов играл сдержанно и благородно. Бакшеев с Орловой играли примитивно и сентиментально, но когда Петя в конце сцены с рыданием произносил: «Все они кому-нибудь да сестры», — публика отвечала ему тоже рыданиями.

Ольга Леонардовна читала рассказы со свойственным ей обаянием, и слушали и принимали ее очень хорошо.

Центром и основой программы был Василий Иванович. Успех он имел почти всегда огромный. Но публика бывала разная, и он бывал иногда очень недоволен собой — тем, что, добиваясь лучшего приема, успеха, он шел за публикой. Допускал упрощения, оглупления, устраивал себе эффектные концовки, так называемые «уходы». Считал это стремление к успеху и овациям признаком художнической беспринципности, называл его трусостью.

Оформлен спектакль-концерт был в сукнах. Менялась только мебель. Для Ольги Леонардовны ставилось глубокое уютное кресло с массой подушек, чтобы ей было повыше сидеть — при низком сидении, когда колени были высоко подняты, у нее не звучал голос. Это было ее единственное требование. Рядом, несколько сзади нее, устанавливали столик, на который она сама всегда ставила живые цветы в вазе или просто клала их на стол.

Для «Забыл!!» ставили какой-нибудь длинный стол вместо прилавка нотного магазина. Для «Гавани» — трактирный столик и два стула, один должен был быть легким и таким, чтобы его не жалко было испортить. Бакшеев с бешеной силой бросал его за кулисы.

Для «Кошмара» ставили диванчик, стол, самовар, свечу и подсвет, чтобы от самовара была человекоподобная тень на сукнах. Вся сцена была в темноте, освещался только Василий Иванович. Все остальные номера шли при полном свете.

Когда в Москве собирали группу, П. Ф. Шаров должен был ехать в качестве помощника режиссера, так как в спектаклях он занят почти не был, играл только прохожего в «Вишневом саде». Но очень скоро выяснилось, что помощник он никакой. Он вечно волновался и всех волновал, все путал и дезорганизовывал и, главное, со всеми ссорился, всех обижал и сам обижался.

В числе технического персонала был И. М. Орлов, единственный рабочий «на все руки». Это был человек грубый, но

очень талантливый, с феноменальной памятью и насквозь театральный. Сначала он помогал Шарову, но через три-четыре спектакля вышло так, что он вел спектакли в качестве помощника режиссера. Делал он это охотно, толково, энергично. Скоро Шаров совсем освободился от этой работы и только ядовито критиковал и Гремиславского за оформление спектаклей и Орлова за ведение их.

Маленькая, но очень четко и самоотверженно работавшая постановочная часть состояла, таким образом, из художника и заведующего постановочной частью Гремиславского, помощника режиссера и машиниста Орлова и реквизитора Тихомирова.

В свободное время, а его было достаточно, так как ничего нового не репетировали, актеры покучивали. Кто-то из группы завел дружбу с крупным харьковским врачом-рентгенологом Григорьевым. Это была удивительно милая семья, состоявшая из самого доктора, очевидно, героя своей профессии: из-за работ с рентгеновскими лучами он потерял несколько пальцев и, как говорили, был болен «радийным» отравлением. Видимо, это было что-то вроде облучения. Его жена была веселая, необыкновенно приветливая и радушная толстушка-казачка. Была у них дочь Надюша, красавица с роскошной, необыкновенной для семнадцати лет фигурой. В эту Надю влюблялись все, кто у них бывал. Я тоже — и впервые в жизни имел успех. Мы целовались за портьерами, отделявшими дивные летние рассветы от накуренных до тумана комнат, полных пьяного угара, гитарного звона, цыганского пения, бестолковых споров, объяснений и тостов, которые никто не слушал. Я был счастлив. Но на третье или четвертое «гостеванье» был приглашен новый гость — Александр Вертинский со своим аккомпаниатором — композитором Ю. Юргенсоном. После двух-трех песенок погибла моя любовь — Надя до безумия влюбилась в Вертинского. Мало того, что он был знаменит и популярен как никто, он был еще действительно очарователен. Скромный, умный, красивый, здоровый человек этот совсем не был похож на свои кокаиновые, «распятые на прогнивших бульварах Москвы» песенки. Я совершенно понимал Надю — в него нельзя было не влюбиться.

Выступал Вертинский в костюме Пьеро, с бледным от слоев пудры лицом, но дома он те же песни пел (и пел гораздо лучше — ведь публикой его были Книппер, Качалов и другие) чисто, без кривлянья, с огромной любовью и доброй жалостью к тем, о ком пел. И воспринималась не экзотика «лиловых негров», а грусть по несостоявшемуся счастью.

От горя и ревности я больше у Григорьевых не бывал и Вертинского больше не слышал и не видел.

Время пробежало быстро, гастроли наши шли к концу. «Нашими» я называю гастроли, так как и я начал работать: выходил в «Вишневом саде», помогал по реквизиту и мебели, принимал участие в шумах… Пора было собираться в обратный путь. Мечты о поездке в Крым или на Кавказ оказались праздными — у Ростова шли бои с деникинцами, в Северной Таврии «шалили» махновцы, а Крым был за линией фронта.

На рынке спекулянты уже не хотели принимать советские деньги, требовали либо царские, либо украинские, либо (и это гораздо охотнее) барахла — одежды, белья, посуды. Видимо, не сегодня-завтра начнутся бои в районе самого Харькова, он может быть осажден…

Ужасы жизни в осажденном городе очень пугали, но нас успокаивали — обещали в ближайшие дни полный разгром банд, сообщали о скором прибытии новых боевых частей.

Группа продолжала доигрывать спектакли. Сезон предполагали закончить в последних числах июня (кажется, 27-го), как вдруг в ночь на 23 июня мимо нашей гостиницы по Екатеринославской улице потянулись бесконечные обозы с какими-то столами, шкафами, ящиками… Это явно была эвакуация.

Мы, не спавшие всю ночь, утром собрались всей группой в номере Ольги Леонардовны, ждали Берсенева и Леонидова, которые пошли в «самые верхи» узнавать, что делать. Пришли они около полудня. Лица были нехорошие, но слова спокойные — приказ: спектакли играть, паники не создавать, эвакуируются не харьковские учреждения, а окрестные, из городов и поселков тех районов, где возможны бои для разгрома белых банд, эвакуация идет через Харьков.

Весь день кто-то ехал мимо нас, и все в одном направлении. Ночь опять была тревожная — обозы шли непрерывно. Это были уже не учреждения, это явно были военные армейские обозы. К утру все затихло, но зато слышавшийся еще накануне отдаленный гром стал явственным и близким.

Подгорный пошел на вокзал и вернулся. Об отъезде не могло быть и речи. Не только всей группе, но и одному мужчине, такому энергичному и крепкому, как Подгорный, даже и подобраться к вокзалу было невозможно. Там было военное положение. Ждали эшелонов с войсками, как сказал Подгорному какой-то случайно встретившийся ему московский знакомый из видных военных большевиков.

В четыре часа пошли всей группой в театр. Ходить поодиночке было опасно. Шли колонной, Берсенев со всеми мандатами впереди, Бертенсон позади — он следил, чтобы никто

не отстал. Шли со всеми чадами и домочадцами. Оставаться в наполовину опустевшей гостинице было жутко. Стрельбы не было слышно совсем. Мы решили, что белых отогнали.

Спектакли начинались в шесть часов по переставленным на два часа вперед часам. Время окончания было около десяти часов, то есть в восемь по солнцу; при на две трети полном зале сыграли первый акт. В антракте перед вторым я, выйдя во дворик, чтобы внести сено, которое должно было лежать на сцене, услышал частые, быстрые, вернее, быстро приближавшиеся выстрелы. Разложив на нужных местах сено, я, никому ничего не говоря, побежал на Сумскую. По обеим сторонам улицы шли запыленные, в выгоревших гимнастерках, но с погонами, с *погонами*, военные. Это были белые. Лица были загорелые, пыльные, но тонкие, господские, хотя и свирепые. Где-то, уже далеко, хлопали отдельные выстрелы.

Был солнечный летний вечер, было тихо. Военные — это были исключительно офицеры — шли молча, только иногда по четкой, но негромкой команде группа в три-четыре человека отделялась и досматривала дворы или заходила в переулки.

Я побежал в театр. У актерского входа стояли некоторые наши — они уже знали, я со своей новостью опоздал. Кончился второй акт — город был захвачен белыми.

В антракте на сцену явились в сопровождении бледного Леонидова три офицера. Один из них, как только закрылся занавес, вышел на просцениум и молча встал перед занавесом. Публика загудела. Он поднял руку, поклонился слегка, взял под козырек: «Попрошу соблюдать полное спокойствие. Город Харьков занят частями вооруженных сил Юга России. Спектакль будет продолжаться. В городе тишина и порядок. Красные отступили на тридцать-сорок верст».

Спектакль закончили благополучно. Собрались опять все вместе и пошли в гостиницу. На улицах было еще совсем светло. Войска не было видно почти совсем. Только изредка проезжал одинокий всадник или проходила группа квартирьеров, писавших на воротах домов, где были дворы, какие-то непонятные буквы и цифры. По всей Сумской появилась гуляющая публика. Сразу стало много больше нарядных людей, дам в белых платьях, в больших шляпах, откуда-то появились продавцы цветов с составленными букетами, бутоньерками — их расхватывали, чтобы подносить «избавителям и спасителям». Но этих не было видно, а руководившие квартирьерами офицеры на вопросы: «Когда же будет торжественный въезд армии?» — отвечали сухо и уклончиво, им было, видимо, совсем не до торжеств, они хотели скорее сделать свое дело и разойтись по квартирам, чтобы есть и

спать. Не было заметно никаких мер предосторожности — ни патрулей, ни застав, ни караулов. Видимо, войска прошли где-то стороной, а взявшая город небольшая часть прошла через него и остановилась за его пределами.

На Павловской площади расположился огромный обоз из «обывательских» подвод, груженных какими-то ящиками и тюками. Много было и пустых — на них возили солдат, как нам объяснил какой-то разговорчивый унтер-офицер: «Нынче армия пешком не ходит. За день тридцать-сорок верст проходим. Наших гусар так и зовут теперь: „подводная“ кавалерия. Злятся — ужас как. А на всех лошадей не хватает».

Мы подошли к обозу. Пахло сеном и навозом. На всю площадь было слышно, как в три-четыре сотни ртов мирно хрупали овес и сено распряженные и привязанные мордами к телегам лошади. Крестьяне-подводчики, собравшись кучками вокруг попон, на которых лежали сало и хлеб, ели. Оружия видно не было. Солдаты и унтеры были вооружены только котелками и ложками, они терпеливо стояли в очереди у походной кухни. В довершение мирности этой картины у нас на глазах впервые встал на ноги только-только появившийся на свет жеребенок. Ожеребившаяся кобыла-мать стояла, чуть пошатываясь, и смотрела на свое дитя. Обозник ликовал — теперь его отпустят раньше срока, ведь не погонят же кобылу с подсоском…

Как ни странно, даже дико звучит это теперь, но тогда мне показалось, что все тяжелое, злобное, враждующее пропало, ушло из жизни, остались только мир, тишина, покой… И этот новорожденный жеребенок казался мне символом умиротворения.

Я не мог заснуть всю ночь от недоумения, от мучительного внутреннего диалога, который терзал меня неотвязно. Как это ни глупо, но меня мучило, что все идет не по-моему, не по схеме, по которой должна была, по моему разумению, идти наша революция. По этой схеме «вандея» должна была быть разбита, должна была на всех фронтах победить революция, перейти пределы России, завоевать новые земли, а потом из недр революционной армии должен был возникнуть российский Наполеон, тот, о котором пророчил Лермонтов: «… и ты его узнаешь — и поймешь, зачем в руке его булатный нож». А тут все наоборот: побеждает «вандея»… Очевидно, уже до Москвы так все и пойдет, как здесь в Харькове. Но я и возражал себе: это случайность, со временем «вандейцы» будут разбиты, и пойдет все «как должно», по моей «схеме»…

И я кончил тем, что решил вступить в эту армию, чтобы понять ее и, если она все-таки «вандея», — перейти к красным,

чтобы быть там, где возникнет и когда возникнет «русский Бонапарт». Все эти мечты и, главное, решения вырастали из юношеского, почти детского (мне еще не было восемнадцати лет) стремления к деятельности, к свободе, к взрослости. Невыносимо было и дальше оставаться в стороне от событий. Хотелось действовать, хотелось «подвига».

Тон и характер города начал меняться с вечера 24-го, а уж 25-го это был совершенно другой город. Прежде всего и заметнее всего изменился облик людей. Еще накануне если не большинство, то, во всяком случае, очень многие старались казаться беднее, чем они были, старались быть незаметнее, не выделяться на фоне в целом серо и грязно одетой толпы. Теперь многие старались одеться во все лучшее, чтобы выделиться из толпы, почувствовать себя членом «избранного общества». Сразу появились откуда-то шелка, драгоценности, шляпы с перьями у женщин, галстуки, гетры, крахмальное белье у мужчин. Второе превращение — это была метаморфоза торговли. Пыльные, серые, пустые витрины, в которых были выставлены какие-то ошметки товаров — банки с гуталином, флаконы с «жидким сахаром», пакеты с морковным чаем, серые туальденоровые рубашки «смерть прачкам», — все это за одно летнее утро стало другим — засияли чисто вымытые стекла, а за ними появились давно не виданные «настоящие» товары: колониальные и бакалейные продукты, ткани, обувь, часы, посуда… И всем этим охотно, любезно, предупредительно торговали.

Открылись меняльные конторы, в которых котировались «керенки», «карбованцы», «думки», «колокола», «пятаковки», и всех их побеждали «царские». К вечеру уже вовсю спекулировали валютой и золотом. Еще большей трансформацией было то, что произошло с питанием. Охота за едой, погоня за продуктами питания мгновенно заменилась охотой за потребителем — чуть ли не в каждом доме или около него появились бесчисленные «кафе», «чашки чая», «паштетные», «квас», «мороженое», «бубличные», «домашние обеды», «закусочные», «шашлычные», «настоящий украинский борщ», «сбитые сливки» и т. д. и т. д. Какие-то старушки с лотков торговали домашними бисквитами, бабы сидели на ушатах с варениками, галушками. Вразнос продавали леденцы, шоколад, лимонад, цукаты.

Запрещено было только продавать и лузгать подсолнухи — пронесся слух, что Деникин все «несчастья» России видит в лузгании семечек — «проплевали с семечками всю великую Россию», будто бы сказал он. И семечек не стало, а до белых продажа их, да еще ирисок была ведущей отраслью уличной торговли.

Когда мы пришли в «Версаль» (так в прошлом называлась нарпитовская столовая, в которой мы питались), оказалось, что он закрыт, ремонтируется. Пообедали в одной из вновь открывшихся шашлычных, но через день-два получили пригласительные билеты, в которых дирекция ресторана «Версаль» просила нас почтить своим присутствием открытие «после капитального ремонта» старейшего и лучшего «на Юге России» (слово «Украина» было у белых не в моде) ресторана.

Пришли всей группой и с удивлением увидели: прилавок, где мы, оставив в залог свой документ, получали оловянные ложки и грязные железные вилки, преобразился в роскошную буфетную стойку, заставленную бутылками и блюдами, на спиртовках фырчали и дымились горячие закуски, в запотелых на льду графинах переливались и отражали свет электричества разные водки. Столы, недавно кое-как застеленные разноцветными клеенками, теперь были накрыты белоснежными скатертями с туго накрахмаленными салфетками; серебро приборов, хрусталь, фарфор, цветы… Но главное было — это прислуга: во фраках, в крахмальном белье, чисто выбритые, пахнувшие одеколоном официанты с молниеносной быстротой принимали заказы, подавали, меняли посуду, полировали своими салфетками и без того до полной прозрачности вымытые лафитники, бокалы и рюмки…

Н. Г. Александров отыскал глазами икону (она появилась в почетном углу, и перед ней горела лампадка) и истово перекрестился.

Пугали только цены в меню: если сегодня как следует в таком ресторане пообедать — завтра и на сухой хлеб не останется. Но Берсенев как-то это устроил: выдал до срока на марки сколько приходилось и договорился с 1 июля начать спектакли на очень хороших условиях.

Дня через два-три, в конце месяца, все начало портиться. Во-первых, наша группа и персонально Берсенев оказались в тяжелом конфликте с театральной общественностью Харькова. Началось с того, что актерство, которое возглавлял отдыхавший под Харьковом на своем хуторе, оставленном ему Советской властью, Всеволод Блюменталь-Тамарин, решило устроить большой праздник в честь прихода добровольческой армии. Затеян был грандиозный концерт в цирке и ряд вечеров в других театральных помещениях. Наша группа отказалась участвовать во всех этих мероприятиях.

Актер и «общественный деятель» Баров (бывший сотрудник Художественного театра) назвал Берсенева большевиком, что в тех условиях было серьезным и опасным обвинением. Наших все

сторонились, так как уже и раньше на них злились за то, что они своими спектаклями отнимали и «развращали» харьковскую публику, а теперь был еще повод: «Все общество, весь народ ликует, а эти „подсоветчики“, видите ли, хотят и вашим и нашим — и капитал приобрести и невинность соблюсти».

Когда Блюменталь-Тамарин верхом на белом цирковом коне с огромным трехцветным флагом на пике, с большой церковной кружкой у седла разъезжал по городу, собирая пожертвования на подарки «освободителям родины», наши сидели в гостинице и наблюдали за «ликующими толпами» из окон. В эти дни в Харьков въехал сначала командующий добровольческой армией Май-Маевский, а потом и «главнокомандующий всеми вооруженными силами Юга России» Деникин.

Город наполнился штабами, конвоями, интендантскими службами и т. д. Поведение и тон этих частей были совсем другими, чем первых, боевых частей. Начались не то что погромы, нет, услужливых и дешево кормивших и продававших еврейских торговцев не обижали, но если какой-нибудь еврей или напоминавший еврея интеллигент проявлял слишком много чувства собственного достоинства, если ресторатор или торговец не уступал при продаже или подаче — его били. Приставали на улицах к женщинам и их защитников били. Молодые, развязные штабисты, адъютанты и интенданты считали себя единственными полноценными людьми — все остальное и все остальные существовали только для их удобства и удовольствия, «бесполезных» же штафирок-интеллигентов можно было просто для развлечения травить и бить.

Страшнее всего были казаки. Они очень неохотно шли на фронт, но с удовольствием несли конвойную и полицейскую службу. В их поведении ярче всего выявлялось «право сильного»: то, что они были вооружены, создавало в них ощущение своего превосходства над всеми невооруженными. Безоружные были обязаны кормить их, возить, снабжать всем необходимым, безропотно уступать им все: от места в парикмахерской до жен и невест.

Я был свидетелем того, как казачий офицер «цукал» вольноопределяющегося за то, что тот ждал своей очереди побриться. «Мундир позоришь, шляпа, ждешь, пока стрюцкий бреется!» — вопил он. Потом, выбив стулья из-под двух солидных штатских, усадил сконфуженного «вольнопера» и сел сам. А штатские, оставшись с намыленными физиономиями, ждали, когда им разрешат добриться.

Девушкам и молодым женщинам было опасно показываться на улице — даже и в сопровождении отца, брата или мужа, если

только он не был офицером. Штатского могли избить, а то и рубануть шашкой, вольноопределяющегося или юнкера «отцукать» и отправить на гауптвахту, а его даму утащить, если она не шла «охотою», насильно. «Цук» шел, как тогда выражались, «гвардейский»: унтер «цукал» солдата, юнкер — вольноопределяющегося, корнет — юнкера, ротмистр — корнета, полковник — ротмистра, генерал — полковника… Особенно любили «цукать» служащих в других родах войск: кавалерист — артиллериста, казачий офицер — кавалерийского юнкера, офицер «традиционного» полка — добровольца из «молодой гвардии», то есть дроздовца, корниловца или марковца. Офицеры этих полков мстили молодежи из полков, носивших дореволюционные наименования — ахтырские гусары, белгородские уланы и т. д. (традиционные полки). Все вместе боялись и ненавидели казаков, как донских, так и кубанских; они были объединены в особые армии — Донскую (генерала Сидорина) и Кавказскую (генерала барона Врангеля). В добровольческой армии они были только в конвоях, в карательных командах или в виде личной гвардии, как «волчья сотня» генерала Шкуро. Она так называлась официально, и ее всадники носили папахи из шкуры волка. Казаков не затрагивали, так как казачий офицер, особенно выдвинувшийся из рядовых казаков, охотно лез в кулачную драку, а съездив по физиономии «благородного офицера», от дуэли с издевательским смехом отказывался. Офицеру надо было в этом случае либо убить обидчика (а за это полевой суд и, возможно, расстрел), либо покончить с собой, либо снимать погоны.

Как-то мы зашли в наш «Версаль» поужинать. Еще при входе нас предупредили, чтобы мы шли только в малый зал, так как в большом «гуляет» генерал Топорков. Гулял этот лихой терец широко: за столом было человек восемьдесят казачьих офицеров и десять-двенадцать «дам», из которых большая часть в форме сестер милосердия. Пьянство шло под свой оркестр и хор с участием плясунов-джигитов. Пелись и игрались казачьи песни, но не обошлось и без «Белой акации», которая была почти гимном у войск Юга. Пытались петь и «Журавушку», но «дамы» начали затыкать уши, и генерал запретил похабщину. Он встал и в мгновенно наступившей тишине провозгласил тост: «Я пью, хаспада (он говорил с каким-то особенным полуказачьим, полукавказским акцентом), за то, что выше всего на свете, — за чэлавэчество! Ур-ра!» Выпито. «Я пью, хаспада, за то, что выше чэлавэчества, — за жэнщчын! Ура, ура, ура!» Выпито. «Я пью за то, что выше жэнщчын, — за казачэство!» Тут уж не «ура», а просто осатанелый рев и очередь всех «дам» к генералу — целовать его в губы, в голову, в руки… Бьются стаканы, бутылки летят в зеркала

и оконные стекла, трещат револьверные выстрелы. Дальше мы сидеть не рискнули, и, пока не отошли за два-три квартала, за нами неслись пьяные вопли, пальба, звон стекла…

Наша гостиница тоже быстро перестроилась, подчистилась, подкрасилась, открылся ресторан с оркестром. Причем часть музыкантов перекрасили перекисью в блондинов, чтобы у них был менее еврейский вид, а то гости, «развеселившись», могли бы и «порубать» их «для смеху». Стало шумно и небезопасно. Наши дамы после девяти-десяти часов вечера из номеров не выходили.

К нам повадилась ходить компания офицеров Стародубовского драгунского полка, который стоял где-то около Мерефы.

Один из них — штаб-ротмистр Кузнецов — был до войны актером в петербургском театре миниатюр, а теперь командовал вторым эскадроном. Он был приятелем Шарова. Почти все офицеры были из интеллигенции: актер, юрист, филолог. Один только — ротмистр Зандер — был кадровый. Он мне симпатизировал, и пил он мало, а я почти совсем не пил, и у нас бывали серьезные разговоры.

Как-то я спросил Зандера, в какой форме они, в частности он, представляют себе будущее государственное устройство России. Он ответил мне очень быстро и четко. Ясно было, что вопрос этот был им не раз продуман. Он сказал, что *они* (очевидно, об этом говорили в их кружке) считают для России возможным только строй преторианской империи. То есть что во главе государства будет военачальник, избранный и поддерживаемый офицерами новой, отборной гвардии, стоящей в столице. Эти преторианцы будут избираться из числа лучших офицеров всей армии. Своего рода военная демократия. И такой император будет целиком зависеть от воли войска, выражаемой гвардией. Надолго ли? Лет на сто, а там, может быть, и к конституционной монархии перейдет Россия, а лет через двести — и к республике. «А теперь, когда одна часть русского народа должна перепороть другую, чтобы ей мозги прочистить, что же, эти поротые, что ли, выбирать будут?» — говорил Зандер.

Впоследствии я от многих слышал подобные же «прогнозы», хотя и не так продуманно выраженные. Видимо, добрармия не собиралась выпускать власть из своих рук и за «спасение» России ждала награды в виде «гоплитократии», то есть военовластия. Никакого лозунга или девиза у добрармии не было. Не было ни идеи, ни программы. В это время была только одна вера в скорую победу.

В Москве белые собирались быть не позднее конца августа. Подгорного, который просил офицеров-стародубовцев помочь ему

пробраться через фронт, чтобы вернуться в Москву, Кузнецов и Зандер уговаривали не спешить: «К открытию сезона (то есть к 15–20 августа) будете в Москве, не переходя никакого фронта. Красные драпают так, что мы за ними верхом не угонимся». И они в этом были действительно твердо уверены.

С 1 июля возобновились спектакли. Театр был ежедневно переполнен, хотя на улицах вечерами было так беспокойно, что для возвращения домой приходилось договариваться с каким-нибудь офицером.

На одном из спектаклей «Дяди Вани» в последнем антракте за кулисами появился адъютант сидевшего в ложе генерала Кутепова и пригласил «господ артистов первого положения, разумеется», по окончании представления быть в ложе у «его высокопревосходительства».

Сняв грим и переодевшись, Ольга Леонардовна, Василий Иванович, Массалитинов и Берсенев отправились в ложу. Генерал показался чрезвычайно любезным, беседа была самой светской и изысканной, но в ходе ее он высказал совершенно не соответствовавшие его лоску и тону соображения о том, что кое-кого из «господ артистов», Шаляпина, например, и из литераторов тоже — Горького — придется «подвесить на полчасика каждого». Эту «приятную» новость он сообщил с обаятельной улыбкой.

Василий Иванович изображал потом генерала, и, по-видимому, очень похоже, так как Массалитинов с отвращением мотал головой, краснел и мычал что-то — сходство явно действовало ему на нервы.

Чем больше входило в город частей, чем больше в нем формировалось разных учреждений, чем официально-радостнее становилось изъявление «верноподданнических чувств» у некоторых слоев населения, выражавшееся в торжественных молебствиях по всем церквам и на площадях и в крестных ходах с «подниманием» чудотворных икон, водосвятием и освящением лугов и пашен, — тем мрачнее и опасливее становились истинные настроения населения. Об этом можно было судить по угрюмому юмору крестьян на рынке — уже через четыре-пять дней появились мрачные остроты вроде: «Не добрармия, а грабь-армия». Обдирали и «шомполовали» до полусмерти. «Шомполование» было новостью для «благодарного населения» — это означало очень распространенную порку шомполами (тонкими стальными прутьями для прочистки стволов винтовок) — очень болезненная, а при длительном применении даже и смертельная операция.

«От благодарного населения» — была формула грабежа

военным штатского, так отвечал лихой «тоняга» — юнкер или корнет, когда его спрашивали о происхождении новых сапог, бриджей с замшевыми леями или щегольской бекеши с каракулевым воротником…

Начались разговоры об изъятии у крестьян помещичьей земли, которую в 1917–1918 годах они запахали. Ходили слухи, что целые кавалерийские эскадроны рыщут по всей Украине и восстанавливают господские имения, причем порют и даже вешают сопротивляющихся и подозреваемых в большевизме. Махновщина подняла голову, но уж теперь не против «коммуны», а против «православного богохранимого российского войска».

Ввиду того что Н. А. Подгорный собирался уходить из группы, Гаева в «Вишневом саде» начал играть В. И. Качалов, на роль Епиходова вместо него с небольшого количества репетиций был введен С. М. Комиссаров. Играл он эту роль без всяких сложных и глубоких замыслов, играл комедийно, освоил все москвинские трюки, придумал свои в добавление к рассказанному партнерами, узаконенному с 1904 года. Его внешние данные, нескладная фигура и походка, губошлепая дикция подходили к образу. Как ни горько это было признать Василию Ивановичу, Комиссаров имел в этой роли значительно больший успех и у товарищей и у публики. Играл он Епиходова все три года наших скитаний, причем со временем стал играть настолько хорошо, что ожидаемого мною наслаждения от исполнения этой роли Москвиным я после возвращения в Москву не получил.

Подгорный решил во что бы то ни стало вернуться в Москву. Объяснил он это решение тем, что дал Константину Сергеевичу и Владимиру Ивановичу и жене честное слово, что вернется к сезону без опоздания. То, как Николай Афанасьевич вернулся, доказало его мужество и энергию.

6 июля, в день последнего спектакля в Харькове, рано утром ротмистр Кузнецов, Подгорный и я сели в дачный поезд, который довез нас до станции Мерефа. При белых и вагоны и вокзальные помещения были вновь разделены на классы и пассажирам третьего класса было запрещено появляться в помещениях и вагонах второго класса, а пассажирам второго класса — в вагонах первого. Так как Кузнецов был всего лишь обер-офицером, мы не имели права ехать ни в первом, ни в третьем классе, а если бы я был в солдатской форме, я был бы обязан ехать только в третьем классе. Отдельными были и посадочные платформы и время посадки. Так что порядок на железной дороге был такой, каким я его не помню даже и до революции. Поддерживался он особой стражей. Слова «полиция» или «жандармерия» звучали слишком

уж определенно и ярко по-старорежимному, «правители» Юга России этого не хотели (ведь даже «Боже, царя храни» официально не исполнялось), а «милиция» было слишком революционно, вот и придумали слово «стража». Она была городской и сельской и отдельно — железнодорожной. Особой формы не носили, отличием ее была нарукавная трехцветная (как знамя) перевязь.

Через неделю приблизительно после нашего приезда в часть, где служил Кузнецов, дальний разъезд драгун нашего первого эскадрона ночью отвез Подгорного в глубокий тыл красных и оставил его на краю деревни, занятой их обозами. Утром Подгорный встретил красноармейцев и попросил, чтобы они его доставили в ближайший штаб.

Привели его в штаб пехотной дивизии, документы у него были замечательные, с подписями Дзержинского и еще кого-то из членов Советского правительства, политотдел дивизии связался с Москвой, и Николай Афанасьевич через день или два уже был с почетом и уважением принят в Кремле.

Для меня, к этому времени вольнопера-драгуна, расставание с Николаем Афанасьевичем было трагическим прощанием со всей моей прежней жизнью. В этой новой и глубоко чуждой мне среде и обстановке он был тогда единственным звеном, связывавшим меня с Москвой, родителями, детством, культурой, воспитанием, средой. Когда он на вечерней заре в последний раз обнял меня и поцеловал, мы оба рыдали. Я проплакал всю ночь. Утром ротмистр сообщил мне, что разъезд вернулся и что Николай Афанасьевич сейчас либо застрелен, либо у красных. О том, как он добрался до Москвы, я узнал только через два с половиной года, когда он приехал в Берлин.

Я не буду описывать всей этой «эпопеи» (это тема для отдельной повести), но кое-что из происшедшего со мной я все-таки расскажу. Я бы не написал об этой, такой сугубо личной, как будто имеющей мало отношения к театру истории, если бы не все больше со временем укрепляющееся во мне убеждение в значении ее и для судьбы нашей группы, а следовательно, в какой-то степени и для истории МХТ.

Я понимаю, что это может казаться преувеличением, но ведь действительно, если бы не опасения за жизнь и судьбу сына — солдата белой армии, Василий Иванович вряд ли уехал бы так далеко на юг, а потом даже покинул родину, и отрыв «качаловской группы» от Художественного театра продолжался бы не три долгих года, а всего несколько месяцев.

Это что касается внешней судьбы группы, но не меньшее, а может быть, и большее значение имел тут радикальный перелом в

настроении наших актеров в результате происшедшего через меня глубокого знакомства с самым нутром, самой сущностью белогвардейщины.

Правда, достаточно гнусностей они видели и вокруг себя, в тылу, но очень многим казалось, что это свойственно именно тылу того времени, легко склонному к разложению, но армия, действующая армия, была в их глазах окружена ореолом романтики. Газеты были полны гимнов подвигам «светлых рыцарей ледяного похода», и склонные к экзальтации актеры многому верили.

То, что вынес из своего опыта шестимесячного пребывания в рядах добровольческой армии я и о чем непрерывно, с какой-то почти болезненно настойчивой разговорчивостью твердил, производило большое впечатление. Мне, моей искренности и честности, верили очень.

Не только у отца, матери, Ольги Леонардовны, но и почти у всех других возникли совсем новые представления о «белых рыцарях».

Поэтому при все же происшедшей встрече с русской эмиграцией, в некоторой своей (и самой активной) части еще жившей этими иллюзиями, наша группа не слилась с ней, в чем известную роль сыграл опыт «своего собственного белогвардейца».

Кроме всего этого мне трудно было бы, рассказывая о поездке группы, а значит, и о моей в ней жизни, перескочить через эти сложные и мучительные месяцы, оставившие во мне огромный, мучительный след, сделавшие меня взрослым.

И это, пожалуй, главная причина того, что я не мог не включить рассказ о них в свои воспоминания.

Да и чего ради это надо замалчивать? Может быть, это до некоторой степени поможет созданию представления о том, что такое была белогвардейщина.

Приехали мы в расположение полка поздно вечером. Ночь я еще на правах гостя и штатского ночевал с командиром эскадрона Кузнецовым и Н. А. Подгорным. Утром мне выдали кокарду для прикрепления на мою белую коломянковую фуражку и погоны, которые я нашил на старенькую гимнастерку, подаренную мне кем-то из харьковских знакомых… Я стал вольноопределяющимся первого разряда второго эскадрона 12-го драгунского Стародубовского полка. Погоны были синие, с белой выпушкой и белой цифрой «12».

Равные, приятельские отношения со штаб-ротмистром Кузнецовым были кончены. Нельзя было заговаривать с офицерами первым, надо было привыкать тянуться по стойке

«смирно», козырять, отвечать «никак нет», «так точно», здороваться только уставным «здравия желаю» и т. д. Обо всем этом, прежде чем сдать меня вахмистру, предупредил меня Кузнецов. Но еще убедительнее предупредило меня о моей будущей солдатской доле то, как этот Кузнецов, бывший актер, интеллигент и «эстет», встретив во дворе драгуна без ремня на гимнастерке, завопил каким-то особенным, хамски офицерским визгливым тенором: «Сволочь! холуйская морда! я из тебя эти большевистские замашки вышибу!» — и два раза ткнул ему кулаком в лицо. Мне стало не по себе, стало жутковато — ведь если таким в армии выглядит он, такой свой вне ее, то каковы же другие? Что же меня ждет?

Вахмистр был франтом с закрученными до самых глаз («под Вильгельма») усами и говорил с нарочитым немецким акцентом. Он всю войну просидел в немецком плену, работал конюхом в поместье какого-то прусского барона и, влюбившись во все немецкое, стремился и сам казаться немцем. Меня он принял суховато. Ему не нравилась моя молодость — он спросил: «Тебе пятнадцать есть?» И, покачав головой, когда я ответил «восемнадцать» (соврав всего на полгода), уставился на мои синие навыпуск брюки и на желтые узконосые ботинки. «Чтоб были сапоги и шаровары». Последнее он сказал не то мне, не то взводному, которому меня сдал; взглянув на часы, он приказал строиться повзводно. Когда взвод был построен, к шеренге, в которой стоял я, подошел офицер, корнет Родионов. Он увидел меня впервые, так как квартировал не вместе с Кузнецовым, спросил о моей фамилии. Услышав ее, он шарахнулся, как от удара в подбородок. Подойдя ко мне вплотную и повторив: «Швиробоович», спросил: «Ты что же… немец?» Слово «еврей» он не в силах был произнести, он его подразумевал. Я по возможности лихо гаркнул: «Никак нет, господин корнет, я литовец». Корнет облегченно вздохнул. «А, ну хорошо, молодец». «Рад стараться!» — рванул я. Это было очень, конечно, глупо, но я ему угодил и сразу завоевал его симпатию и покровительство. После построения и молитвы взводный отвел меня в клуню, где квартировала половина взвода, выдал винтовку, приказал запомнить («як свою хвамилию») ее номер и номер штыка, выдал английский брезентовый патронташ и сто пятьдесят патронов. Когда я спросил, где мне получить сапоги и шаровары, он медленно усмехнулся, перемигнулся с кем-то из старослужащих и разъяснил мне, что все это — «и не шаровары, а галихвэ, альбо брыджы, бо шаровары це тильки таке звайня» — я должен раздобыть сам «от благодарного населения», или с врага снять, или «зажать» где-нибудь. Покачал головой, узнав, что у меня нет

ложки, и подарил мне свою щербатую, вынув ее из сапога.

К обеду хозяйка клуни позвала нас в свою хату, где стояло наше начальство: вахмистр, взводный первого взвода, кузнец (он же ветеринарный фельдшер) и два юнкера — вся аристократия нашего эскадрона. На столе стояла глубокая миска борща с мясом. Хлебать его полагалось стоя вокруг стола. Я с трудом донес до рта четыре-пять полупустых щербатых ложек и, съев кусок хлеба, отошел голодный и огорченный. Я не умел так есть.

День прошел тоскливо и незаметно, в тревожном и томительном безделье. Я прятался от офицеров, боялся, что что-нибудь не так сделаю или скажу. Спать легли в клуне на сене. Укрыться мне было нечем. У всех были шинели, у некоторых по две — одна в скатке, одна так, у многих были одеяла, ватные фуфайки; пешком не ходили, а ездили на обывательских подводах, так что обилие багажа не смущало. У вахмистра и его дружков была особая подвода для «зажима» (награбленного имущества) — это была пещера Аладдина: там были и самовары, и примусы, и подушки, и медные кастрюли, и еврейский семисвечник, и брюки, и обувь. Дивизия была кавалерийская, но не хватало седел, шашек, пик, поэтому все вторые эскадроны дивизионов воевали в пешем строю, а передвигались на подводах. Первые эскадроны дразнили их «подводной кавалерией».

Ночь была свежая, я кое-как закопался в сено и пытался заснуть. Часть моих соседей быстро захрапела, часть разговаривала. Храп был много приятнее разговоров, так как говорили исключительно только «о бабах», говорили с такими жуткими по грязи, грубости, похабности подробностями, что меня замутило. Слово «цинизм» тут не применишь, слишком оно для данного случая умное и благородное, нет, это была феноменальная по бездарности, глупости, душевной загаженности пошлость… Господи, до чего мне стало противно и страшно от таких сослуживцев! Бытовые рассказы и хвастовство сменялись анекдотами. Что это было! Мало-мальски смешное, с зачатками остроумия и юмора не доходило, никакого успеха не имело, ржали только на бессмысленно-похабное.

Лежавший рядом со мной обратился ко мне, не расскажу ли я что-нибудь интересное? Я ничего не придумал — я чувствовал, что «наши» анекдоты здесь не пройдут, а выложить какую-нибудь бессмысленную, но смачную, сочную похабщину я не мог, не умел… Параллельно шла тема о вшах, о том, что вошь любит, что нет, где и на чем ее больше, и т. д. Тело у меня стало чесаться, я уже чувствовал, как по мне ползают… Заснул я в тоске.

Наутро, сейчас же после утреннего построения, взводный вызвал охотников в разведку. Я выскочил, но меня не включили.

«Ще молодий», — сказал взводный. Я огорчился, но потом оказалось, что «разведка» была в тылу, в соседнем селе. Заключалась она в обыске у сельского учителя, подозреваемого в большевизме. Участники «разведки» потом «дуванили» сапоги, брюки, кальсоны. Дуванить — это значило делить добычу, которая получалась от таких «разведок», от «трофеев», снятых с убитых и пленных, и от всяких других «зажимов». Проводилось это очень продуманно, всегда одним и тем же узаконенным методом; все барахло оценивалось как на аукционе — «один рубль, кто больше». Назвавший наивысшую цену, вносил ее и получал вещь, и вся выручка делилась между всеми участниками «зажима» поровну. Таким образом не купивший ничего ценного получал зато больше денег. По-видимому, этот способ делить добычу применялся и применяется всеми разбойниками как в древнейшие времена, так и доныне.

Одновременно с вызовом охотников в «разведку» взводный вызвал еще охотников в «особый наряд» — нужны были четыре человека из нашего взвода (это был любимый взвод вахмистра, он и на квартире стоял всегда с нашим взводным) для того, чтобы выпороть денщика поручика Девитта. Этот денщик, а на языке драгун «холуй», по фамилии Дутченко украл из кошелька своего барина шестнадцать царских золотых десятирублевок. Деньги у него нашли и отобрали, они все были целы, но «за безнравственность» его приговорили к тридцати двум шомполам, по два удара шомполом по голому заду за каждую десятку. Я было испугался, что меня назначат пороть или держать, но оказалось, что мне не грозит ни активное, ни пассивное участие в телесных наказаниях — я, как вольноопределяющийся, был от них освобожден. Недели через полторы-две я впервые попал под огонь. К моему удивлению, мне не пришлось преодолевать страх — ни посвист пуль, ни треск пулемета, ни довольно близкие разрывы шрапнелей меня не пугали. Было ли это от молодости, или мне вообще был чужд страх смерти — не знаю, но я действительно никогда не испытывал страха. Боялся же я безумно плена. Ведь в том, что я был добровольцем, ни у кого сомнений возникнуть не могло: я в свои семнадцать лет выглядел на пятнадцать. У меня ни борода, ни усы не росли…

Надо же, чтобы именно этой опасности я чаще всего подвергался! Впервые это было так: нас, троих драгун, назначили в секрет на краю села, около ветряка. По очереди один из нас должен был залезать на самый ветряк и смотреть вдаль. Проторчали мы там часов пять. Захотелось есть. Ребята, оставив меня, как наименее способного к добыванию харчей, на посту, то есть на крыше ветряка, отправились по хатам. Прошел час,

другой, третий — никто не возвращался. Я начал тревожиться, но уйти мне нельзя было. Вдруг до меня долетели звуки музыки — играли на гармошке и пели какие-то веселые песни. Пели и мужские и женские голоса. Это было странно: обычно девушки, боясь подвергнуться насилиям, старались не обращать на себя внимания, только при крайней необходимости показывались на люди, больше сидели за печкой. А тут от крайних хат деревни отделилась пестрая и веселая толпа человек в пятнадцать-двадцать и направилась к бревнам и жерновам, лежавшим невдалеке от моего ветряка. Тут, видимо, было обычное место гулянок молодежи села.

Пели весело, горласто, подтанцовывали на ходу, это было резко отличное от обычного поведение. Что-то было не то… Да и не только в этой гулянке — все звуки села стали другими: где-то звонко перекликались бабы, гоготали выпущенные из подвалов гуси, как-то по-мирному пели петухи, по-иному лаяли собаки… Сердце у меня тревожно застучало.

Гулянка подошла к самому ветряку, кто-то из парней взглянул наверх, увидел меня и удивленно воскликнул: «Тю, беляк!» Не помню, как я очутился внизу, как пробился через веселую, но злобно-враждебную мне толпу, как побежал… Почему я знал, куда, в какую сторону бежать, — я ни тогда не понимал, ни теперь не понимаю. Может быть, это был чисто звериный инстинкт, а может быть, просто случайность, просто повезло…

Потом оказалось, что, воспользовавшись уходом драгун для флангового марша на Крулевец, село заняли ангеловцы — вооруженная банда махновского толка, которая воевала под лозунгом «Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют» и под черно-красным знаменем. Наши, уходя, забыли снять секрет, и двое бывших со мной драгун, которые пошли «по харчи», были заперты в хате, обезоружены и сданы Ангелу, а он приказал их распять на крыльях ветряка. Об этом мы узнали от гусар-ахтырцев, через неделю проходивших через это село и снявших их трупы с ветряка. А я, попав на дорогу через край села, в котором ангеловцев не было, довольно быстро очутился на шляху, по которому только что, каких-нибудь полчаса тому назад проехали наши конные тыловые дозоры. По шляху за мной никто не погнался, это было опасно: можно было нарваться на белую кавалерию, которая могла бы вернуться и сладить село.

Но тот ужас, который я испытал, пока бежал через село, когда вслед мне свистели, бросали палками и камнями, кричали: «Тримай его, билу шкуру!» и т. д., — ужас зайца, за которым гонятся собаки, я никогда не забуду. Бежал я с такой стремительностью, и такое, вероятно, отчаяние выражалось у

меня на лице и в том, как я держал перед собой винтовку со штыком, что остановить меня никто не решился.

Я бежал, наверно, около часа, потом шел часа три и под утро догнал наш тыловой дозор, ехавший переменным аллюром. Меня взяли на круп и довезли до ехавшего на подводах эскадрона.

Вахмистра, который забыл нас снять с поста, разжаловали в рядовые и перевели в другой эскадрон. Меня за то, что я «с боем, нанеся неприятелю потери, пробился через вражеские силы», упомянули в реляции. Причем я не врал, а доложил так, как все было, но адъютанту полка импонировала именно такая версия. Я не осмелился, да и не особенно хотел возражать… Я очень долго не мог оправиться от пережитого, у меня появился панический страх отстать, остаться одному. Относиться ко мне стали очень «по-взрослому» — это я по молодости лет ценил высоко.

Прошло месяца два моей службы. За это время я в командировку съездил и у родителей погостил (об этой поездке — дальше). Репутация у меня установилась хорошая и у начальства и у однополчан, точнее сказать, у одновзводников, так как существовали мы очень изолированно и взвод со взводом, а тем более эскадрон с эскадроном почти не общались. И как раз эта репутация мне испортила наладившуюся было жизнь.

Вскоре меня одним из первых перевели во вновь организуемый конный взвод, который должен был составить ядро нового конного 2-го эскадрона.

Но оказалось, что я совсем не умею ездить верхом. Начались мои мучения. Это были муки, во-первых, физические: взлезать (не вскакивать, а именно взлезать) на коня мне стоило мучений, особенно если это надо было делать на марше, так как конь мой не стоял, если шли другие, а влезть на ходу я не мог. Слезать же мне приходилось очень часто — видимо, от тряски на рыси у меня был перманентный понос. Во-вторых, муки были нравственные, муки самолюбия: из лучших солдат я стал худшим, из гордости взвода я стал позором не только взвода, но и дивизиона, полка. Надо мной, когда я, болтаясь и судорожно цепляясь за луку седла, мотался и трясся в рядах стародубовцев, хохотала вся дивизия: «Глянь, не может ездить!», «Эх ты, собака на заборе!», «Эй, драгуны, вы бы цьего джигита до седла приторочили, бо вин коню пид пузо звернется».

Для довершения издевательств на второй день новый, молодой и потому ищущий популярности вахмистр приказал мне возить пику с флюгером. «Как ты есть самый середь нас красивый», — под общий хохот и сам давясь от смеха, сказал он мне.

С флюгером было еще хуже: сесть с ним в руке я не мог и

думать, надо было прислонить его к чему-нибудь, сесть в седло, а потом подъехать к нему, но конь мой меня не слушался, и я не мог заставить его подойти к месту, где стояла пика, так близко, чтобы я мог до нее дотянуться. Я крутился до тех пор, пока кто-нибудь не хватал пику и не совал мне ее с издевательским: «На, шляпа!»

На третий и четвертый день я дошел до полного отчаяния: на седлание, расседлывание, выгуливание, поение, кормление и, главное, добывание корма, то есть овса и сена, которые надо было брать силой у мужиков, чего делать я не умел и стеснялся, на подмывание ног, чистку, смазку копыт и т. д. у меня уходило столько времени, что на еду и сон не оставалось ничего. А вахмистр требовал с меня больше, чем с других, и все время цукал меня за ошибки и промашки — то он орал на всю расквартировку: «Какая сука поставила коня к сену, не вынув железа изо рта? Ну ясно кто, наш вольнопер! Я тебя, студент поганый, самого с гвоздем в роте жрать заставлю!» А я отлично помнил, что разнуздал коня… То: «Эй, студент, подмой коню срамные части — видишь, он, как ты, весь загадился!», «Слушай ты, водолаз, выведи вошей, а то и конь завшивеет, глянь, он уже весь у гнидах».

Есть из общей миски я не умел, сморкаться в пальцы не умел, крутить завертку для курева не умел, умываться изо рта не умел, накосить коню травы не умел, надергать из стога сена не умел, зашить шорные ремни не умел… «Чему только тебя, шляпа, отец учил; сам, верно, был такой же…».

Ужасно было чувствовать себя самым плохим, единственным никуда не годным из двух с половиной тысяч всадников.

О жизни в пешем эскадроне я вспоминал как о потерянном рае. Все то, что так угнетало меня в начале службы, казалось теперь светлым сном. Мечтал о боях, надеясь отвагой завоевать себе уважение, доказать кровью, что я не шляпа! Но боев не было, а были переходы, караулы, заставы, донесения, дневальства. Наш, еще не полный, эскадрон назначался то в прикрытие к батарее, то в полевую почту, то в боковое охранение на марше… Проявить храбрость было негде, а проявить свою неспособность, нескладность, неуклюжесть был полный простор. И я проявлял эти свои свойства непрерывно.

Сапог у меня так и не было. Вместо них я приспособил себе «краги» из голенищ, отрезанных от старых брошенных сапог, а свои желтые разорванные ботинки я вычернил дегтем. Обуваться мне поэтому было долго, и я, боясь не поспеть вместе с другими по команде «выходи», за которой могло последовать сейчас же «выводи», и «по коням», и «садись», неделями не разувался, да и

не раздевался. От грязи завшивел и провонял ужасно.

При штабе полка был писарь Кидайло, почти идиот, со слюнявым ртом, очевидно, шизофреник и клептоман, весь покрытый вшами, расчесами и экземой. Один из моих главных мучителей и гонителей, юнкер Прибыльский, «тоняга» с усиками и с незалеченным сифилисом, увидев у меня на брови вошь, сказал: «Твоя фамилия, случайно, не Кидайло?» С тех пор меня все начали называть «Кидайло», «второй Кидайло», «братец Кидайлы».

Я решил, что если в течение трех-четырех дней не будет боя, в котором я смогу «найти славу или смерть», то я застрелюсь. Научился для этой цели спускать курок пальцем ноги… Думаю, что я так бы и сделал, терпению моему действительно пришел конец.

Перелом произошел неожиданно. Началось с того, что поручик Девитт, временно командовавший нашим эскадроном, помнивший меня по пешему эскадрону и отмечавший мое поведение под огнем, приказал вахмистру сменить мне коня — вместо глупого, нервного и очень высокого жеребца Бебута, который презирал меня не меньше, чем юнкер Прибыльский, мне дали мерина Башкира. Это был среднего роста добрый конь с хорошим, широким, покойным шагом, недурным карьером и удивительно ровным и покладистым характером. Мы с ним очень быстро подружились. В моем полном одиночестве, во враждебности окружения появился просвет. Башкир стал мне и другом, и товарищем, и объектом моей любви и заботы. Ради него я легче преодолевал свое смущение и страх перед крестьянами, когда добывал ему два раза в день по полной торбе овса, ради него я научился отличать хорошее сено от скверного и быстро надергивать полную охапку его. Я всегда находил ему в холод и дождь уютное укрытие на ночь, наловчился растирать ему спину перед седловкой и после расседлывания и массировать брюхо, когда оно у него болело. Это случалось, если вместо овса он получал ячмень. Он в свою очередь неподвижно стоял, когда я садился и слезал, что я теперь делал довольно ловко, никогда не отставал от впереди идущего коня и не выходил из строя, даже если я засыпал на нем, а это со мной случалось часто, никогда не загаживал себе хвоста и волос под бабками и, главное, хорошо меня знал и приветствовал уютным и ласковым утробным полуржанием-полукряхтением.

Первым признаком изменения отношения ко мне была похвала самого старого драгуна в нашем эскадроне, сорокалетнего Романенка. Он сказал: «Дурни, то с Шверобовича смеются, мусят у него учиться, як худобу годувать та охаживать,

смотрить, який его кинь став гладкий та добрий. Важний с него буде драгун».

Подтянулся и я сам — время от времени мылся, стирал и кипятил белье, прокаливал в печке обмундирование. Это было, правда, очень рискованно — никогда нельзя было быть уверенным, что не раздастся истошный вопль дневального, а то и самого вахмистра: «Выводи!» — а ты голый сидишь! Таким образом бог наказал моего главного травителя, юнкера Прибыльского — он вылетел из хаты в шинели на голое тело и в сапогах на босу ногу, со всей своей одеждой и амуницией под мышкой, набросил на коня седло и с места в карьер поскакал со двора на улицу, где уже строился эскадрон. Ударился лбом о стреху ворот и повис на них, так как конь из-под него убежал. Седло свалилось, одежда, белье, шашка, патронташ разлетелись по всему двору, шинель распахнулась, и он предстал перед всей проходившей по селу дивизией в чем мать родила. Я ненавидел его лютой ненавистью, но все же пожалел и помог ему оседлать пойманного кем-то коня и собрать мокрое белье и упавшее в грязь обмундирование и амуницию. Как это ни странно, но после этого случая он стал относиться ко мне еще хуже. Юнкера — этот, Прибыльский, и другой, Копецкий, — были самыми отвратительными негодяями из всех почти, за редким исключением, мерзавцев, составлявших наш дивизион. Оба, несмотря на сифилис, которого нисколько не скрывали и не стыдились, приставали ко всем мало-мальски привлекательным женщинам. Оба были фанфаронами, «тонягами» и подлыми, трусливыми хамами. Наглость, бесчестность, умение словчить так, чтобы трудное и опасное свалить на других, а легкое и выгодное (и в смысле славы и в смысле добычи) взять на себя — было их системой, методом. Прибыльский, кроме того, был еще и на редкость глуп и почти лишен дара нормальной речи. Кроме изощренной матерной ругани и отвратительного, но богатейшего набора похабных поговорок и прибауток, постоянно сопровождавшихся хвастливым «не будь я юнкер Прибыльский», я от него вообще ничего не слышал.

Копецкий был болтливее, он был даже способен развивать какие-то «идеологические» построения о том, как надо воспитывать, «отмуштровывать» простой народ, «хлопов», как он его называл. По тому, как он цукал своего дружка и воспитанника, совсем юного ставропольского паренька Кузьменко, из которого сделал себе «холуя» (денщика), и как зверски обращался со своими конями, можно было представить себе его методы воспитания.

Коней Копецкий менял беспрестанно — стоило ему увидеть у

крестьянина крепкую и рослую лошадь, он ее забирал, отдавая взамен свою, всегда истощенную и забитую до одури. Много раз он и ко мне подкатывался, то угрозами, то обещаниями пытаясь вынудить меня отдать ему моего любимого Башкира, но уж тут и я свирепел и проявлял силу воли и упорство.

Так и не удалось ему разлучить меня с моим единственным другом.

Ездить я стал более или менее прилично, во всяком случае, издевательств и насмешек я больше не слышал. Усвоил я и основы ухода за конем: когда напоить, чтобы не опоить, как, когда и чем кормить, когда можно дать попастись и что для этого надо сделать, чтобы конь не «заподпружился», как высвистать у него мочу, как сидеть на нем, если он начнет мочиться в походе, как облегчить ему подъем в гору, как обезопасить ему крутой спуск, научился удерживать его поводом от падения, если он споткнется. Хотя мы не слезали с коня иногда часов по десять-двенадцать, ни разу не была у него набита холка, никаких не было потертостей и сбитостей. Он был одним из самых «гладких» коней в эскадроне. В этом отношении я был образцовым наездником, но зато во время, правда редких, учений (не до этого было нашим господам офицерам) я демонстрировал свою полную наездническую беспомощность: барьеров брать не умел, рубки не знал, вольтижировкой, даже примитивной, не владел, управлять конем шенкелями не умел. На карьере и галопе, да даже на быстрой рыси обязательно держался за луку, так как боялся свалиться. Но передвигались мы по большей части шагом или небыстрой рысью, и на этих аллюрах я держался крепко, а на шагу даже дремал…

Надо мне было попасть в серьезную передрягу, чтобы совсем освоиться и почувствовать себя в седле уверенно. Как-то раз мы ехали в большой офицерский (то есть под командованием офицера) разъезд. Два драгуна были высланы в головной дозор, по одному в боковые. Я был в правом боковом дозоре. Мы полем шли в направлении большого села, и, когда головной дозор уже скрылся за крайними дворами, я увидел, что сбоку, по большой дороге, шедшей под углом к тому направлению, каким ехал наш разъезд, в село втягивается густая и длинная колонна конницы. По направлению пути это могли быть и наши, но мог быть и неприятель. Я остановился и только хотел обратить внимание командира разъезда на эту колонну, как в селе раздалось несколько выстрелов и из-за домов вылетел всадник и лошадь без всадника. Всадник скакал к разъезду, но, не проехав и десятка саженей, свалился с седла, и лошадь, протащив его немного, остановилась. Все было понятно. Я поскакал к разъезду, который

полным махом, разбившись в бесформенную стаю, драпал прочь от села. Вокруг меня начали свистать пули. Оглянувшись, я увидел, что вся колонна, не войдя в село, перестроила фронт и широкой и густой лавой неслась за мной. Вот тут я оценил Башкира: он терпеть не мог свиста пуль, мне не пришлось его подгонять — он скакал так, что прямо стелился по пашне, а я только молил его: «Башкирушка, дорогой, ненаглядный мой, только не споткнись».

Лава с криком и пальбой не отставала, отдельные всадники даже нагоняли меня, основная группа нашего разъезда виднелась далеко вправо от меня… Я понял свою, вернее, Башкира ошибку — он помчался к хуторам, из которых мы выехали в разъезд, и поэтому вышло, что мы скакали не от неприятеля, а под углом к нему. Ясно, что левый фланг лавы нагонял нас. Перед нами оказалась глубокая балка, мы спустились в нее и по ее дну проехали вправо. Крики и пальба прекратились. Я слез и вскарабкался до края балки и осторожно выглянул — лава, построившись колонной, шла по направлению к селу. Очевидно, они опасались, преследуя незначительный разъезд, наскочить на засаду. Я подождал, пока колонна втянулась в деревню, прошел еще с версту по балке, ведя Башкира в поводу, нашел плавный спуск, выехал из оврага и шагом поехал к хуторам. Наш разъезд уже был там, и стоявшая на этом и соседних хуторах батарея и наши эскадроны, прервав дневку, собирались отходить.

В результате этого моего приключения я сразу почувствовал себя уверенно в седле и вообще в поле. Понял, что и на Башкира вполне можно было положиться, что если на пули он идет не особенно охотно и его надо понукать, то от них он несется во всю прыть. А ведь служба кавалериста главным образом в том и заключается, чтобы осторожно подбираться к неприятелю и быстро от него уходить.

После жаркого лета и долгой погожей осени наступила зима, она очень ухудшила нашу жизнь. Невозможны стали ночевки под открытым небом, а я их очень любил. Хорошо было, натаскав пять-шесть охапок сена под забор или к дереву, где был привязан за длинный чомбур мой Башкир, лечь на это сено под Башкира. Он спал стоя, почти неподвижно, редко очень осторожно переступал с ноги на ногу. Раза три-четыре за ночь он просыпался и начинал есть осторожно, чтобы не ущипнуть, таская из-под меня сено и аппетитно хрупая им. Иногда, засыпая, он пускал на меня теплую, пахучую слюну. А я, просыпаясь, смотрел на небо, на котором обрисовывалась милая морда моего дружка.

Зимой я ставил Башкира где-нибудь в сарае, амбаре или риге, а сам спал в хате на полу или на лавке. Перед сном я подолгу

стоял около него — не хотелось быть в смрадной избе, где играли в карты, матерились, рыгали, рассказывали похабные анекдоты мои сослуживцы. Утром я раньше всех выскакивал из провонявшей за ночь избы и шел к Башкиру. Он встречал меня приветливым ржанием, как только я переступал порог его помещения.

Кроме взаимной привязанности с Башкиром у меня наметились еще одни хорошие, уже человеческие, взаимоотношения, которые, вероятно, перешли бы в дружбу. Среди нашей эскадронной «интеллигенции» (юнкера, вольноперы, фельдшер, писарь) был один совсем юный харьковский реалистик по фамилии Левенец. Он воевал уже второй год — начал в шестнадцать лет службой в гетманских сердюках. Его явно тянуло ко мне, но он стеснялся, боялся, чтобы старые солдаты и особенно юнкера не стали смеяться над ним — он очень дорожил своей репутацией «старослужащего», опытного наездника, «военной косточки», а я был если уж теперь не вовсе «шляпой», то все-таки «студентом», «водолазом»[8] и «христосиком» — это прозвище мне дал Копецкий за то, что я не трогал женщин, не пил, не грабил и не ругался. Левенец же все это проделывал немного нарочито, аффектированно и, по-моему, очень неестественно.

Как-то на зимнем рассвете мы поехали в разъезд. Мы с Левенцом были в головном дозоре. Ехали шагом по узкой, только что пробитой в снегу тропе. За ночь выпал первый снег и толстым пышным слоем покрыл поля и дороги. Въехали в деревню. Почти у каждой избы мужики лопатами откидывали снег, расчищая проходы к хлевам, некоторые из них стояли, опираясь на лопаты, и смотрели на нас. Миновав крайние дома, мы остановились, всматриваясь в большую группу людей, казавшуюся нам состоящей также из крестьян с лопатами. Вдруг кто-то из этой группы крикнул: «Подъезжай, подъезжай сюда!» — и добавил шматок ядреного мата. Так крестьяне с солдатами не говорили. Я всмотрелся, и вдруг мне как глаза прочистило: это были совсем не крестьяне, а красноармейцы, и далеко не с лопатами. Не успел я крикнуть: «Левенец, красные!», как поднялась бешеная пальба. Я повернул Башкира на задних ногах и поскакал. Левенец задержался поворотом и скакал саженях в четырех позади. Пальба продолжалась, и вдруг почти одновременно меня сильно ударило по хребту, споткнулся и чуть не упал Башкир и раздался какой-то детский крик Левенца: «Я ранен, Шверубович, спасите, не оставляйте!» Башкир не упал, он только на секунду засеменил, сменил ногу и поскакал, чуть припадая на переднюю ногу, дальше. На правом плече у него обозначился кровоточащий след.

Мы уже были за околицей. Впереди на полном скаку уходил наш разъезд. Я оглянулся — Левенец еле держался в седле, мотался на как-то странно прыгающей своей Блондинке. Когда он опять крикнул совсем по-детски: «Падаю, помогите!» — я изо всех сил натянул поводья и Башкир очень неохотно остановился.

Левенец поравнялся со мной, я схватил его за поясной ремень, но в это время начала падать его лошадь и я, сам чуть не вылетев из седла, перетащил его к себе и прижал к шее Башкира. Стоило мне отпустить повод, как конь мой, услышав усиление и приближение пальбы (красноармейцы выбежали за деревню и били по нас уже из пулемета), так наддал, что вскоре мы перемахнули через бугор и свист пуль прекратился.

Когда мы доехали до села, где стояли наши части, и Левенца раздели, оказалось, что он тяжело ранен, а его лошадь пала от раны. Другая пуля раздробила приклад моей винтовки и оцарапала плечо Башкиру. Винтовка, висевшая у меня за спиной, когда в нее попала пуля, дернулась и пробила мне кожу на хребте почти до кости — кровь из ссадины проступила даже через шинель.

Перебинтованного, потерявшего сознание Левенца я отвез на санях в околоток. К вечеру, вернувшись в эскадрон и явившись к вахмистру, я услышал вялую похвалу за то, что вывез товарища, и ядовитый упрек за то, что бросил Левенцово седло. «Надо было, чудак, слезть, расседлать убитого коня, положить седло на круп, приторочить его, привязать к нему раненого и вывести своего коня в поводу. Ведь „у него“ же кавалерии не было, а то бы они вас еще у околицы догнали да порубали». Может быть, старый, опытный солдат так бы и поступил, но я был горд и счастлив и тем, что сделал: победил свой страх и не бросил товарища.

Вообще мое представление о храбрости и доблести совсем не совпадало с тем, что было у солдат и особенно у солдатского начальства (вахмистров, унтер-офицеров, взводных и т. д.). Мне идеалом солдата казался скромный, самоотверженный герой, молча делающий свое воинское дело, безропотно умирающий «за други своя». Для меня в козьма-крючковщине было что-то пошлое, вульгарное, дешевое… Для белой же солдатни идеалом был лихой рубака, забияка, франт, грудь в крестах, похабник и ёрник. Я уважал тех, кто не кланялся пулям, кто охотно шел в трудный и опасный наряд, никогда не старался отделаться от рискованного поручения, но про таких в лучшем случае говорили: «храбрый, но не боевой». А юнкер Копецкий, который, идя в бой в пешей цепи, каждую секунду «подтягивал голенища» (не любил свиста пуль), который всегда либо сам был болен, либо конь его хромал, когда надо было проехать через опасную местность, все

же был почти для всех образцом боевого тоняги: ведь он был всегда выбрит, прыщи и следы экземы запудрены, густые курчавые волосы напомажены, усы нафиксатуарены и закручены в соблазнительные колечки; всегда одет с иголочки, до сих пор помню лоснящийся синий зад его бриджей — его леи были сделаны из целого куска синей лайки, отнятой у еврея-башмачника в Полтаве. Шпоры его звенели малиновым звоном, голенища шевровых сапог матово блестели, в оправленных в серебро ножнах бренчала кривая шашка с выгравированной надписью: «Не вынимай без нужды, не вкладывай без крови». При мне он рубил ею только кур и гусей. Но он был «боевым», «лихим», умел «держать тон» — им гордились и офицеры и унтера.

Если предполагалось посещение эскадрона командиром полка или дивизии, его спешно назначали дежурным по эскадрону. Никто не умел так лихо и эффектно крикнуть: «Ска-адрон, сми-и-рна!» — и отрапортовать о состоянии и занятиях эскадрона. Другие эскадроны и даже полки завидовали нам…

Да, мне было бесконечно далеко до этого «идеала»! Меня не считали храбрым (хотя признавали, что я ничего не боюсь, но считали, что это сдуру), пока я не поколотил старого солдата Зайцева (бывшего жандарма) — я застал его в конюшне, где он зверски стегал нагайкой по голове Башкира. Рассвирепев, я хватил его головой об стену, вырвал у него нагайку и с удовольствием отстегал его по физиономии. Он с воплями побежал жаловаться вахмистру. Я заработал этим два наряда вне очереди, но отношение ко мне резко изменилось. Цукать и приставать с насмешками перестали, а некоторые, в том числе юнкер Копецкий, стали даже бояться меня и, как это ни глупо, уважать.

Друзей у меня так и не было, было мне и одиноко и грустно, но какое-то чувство общности, спайки, не хочется говорить — товарищества в применении к такой бандитской сволочи, у меня появилось.

Мерзко только было, когда, проходя через село, особенно через городок или местечко, где предполагалось наличие барышень, специально для них запевали идиотски похабного «Журавушку» и начальство, да и все солдаты были счастливы, если какая-нибудь неосторожная кокетка, ошарашенная смрадной похабщиной, убегала к себе во двор, заткнув уши. Все ржали как жеребцы, свистели и гикали ей вслед.

Хороших песен было мало. Вернее, не хороших, а разрешенных: наш командир дивизиона взял на себя роль цензора. «Из-за острова на стрежень», «Вниз по матушке, по

Волге», «Все тучки, тучки понависли» — были запрещены. Нельзя петь про Стеньку Разина и про Чуркина-атамана: они революционеры. Наши складно спелись на одной старинной казачьей песне, но там пелось о том, что казаки ушли в поход, а казачка плачет, и ее утешали: «О чем, о чем, казачка, плачешь, о чем напрасно слезы льешь…» Запретили: «Мы регулярная кавалерия, нечего про казачье петь». Попробовали вместо казаков петь про драгун — вышло глупо: «О чем, драгунка, плачешь». Нельзя «драгунка» — это укороченная кавалерийская винтовка.

… Наступление кончилось. Началось мотание вдоль фронта в поисках возможности прорыва. Потом прекратилось и это, и, так как армия была главным образом конная, а кавалерия к обороне приспособлена плохо, началось отступление. Да и невозможно было обороняться в условиях враждебности населения. Как только части остановились и особенно когда пошли назад, белая армия оказалась буквально в окружении: кроме волостных старшин, хуторян-кулаков, немцев-колонистов, отдельных священников — все были против нее, все ее активно ненавидели.

Крестьяне в деревнях в белом тылу были объедены, ограблены, перепороты; горожане унижены, замордованы, обворованы. Сначала солдаты говорили: «А ну ее, эту голодную „кацапию“, кому она нужна… Вот Украину мы Советам не отдадим!» Но не удержались и на границах Украины.

Армия начала рассыпаться. Таяла она и в боях, и от тифа, и главным образом от дезертирства. Отступили за Харьков — исчезли все харьковские, прошли Лозовую — не осталось ни одного из екатеринославских, и так далее. Дивизию свели в дивизион. Всю армию переименовали в отряд. У нас от эскадрона осталась горсть в восемь человек. Офицеры уезжали в командировки («за ремонтом», «за пополнением», «за огнеприпасом») и не возвращались.

Я давно бы сбежал, но в тылу у белых были мои родители — отступая, я приближался к ним. Кузнецов обещал мне отпуск или командировку туда, где они. Дезертировав или перебежав к красным, я только отдалил бы или сделал невозможной встречу с ними, а я их, как всегда в разлуке, любил исступленно и о свидании мечтал до замирания сердца.

Вообще же я окончательно утвердился в том, что «вандея» должна быть и будет разбита.

Бои шли на юге Области Войска Донского, где-то в направлении на Таганрог, перед которым мы как-то бестолково мотались. Что произошло, я не знаю, ведь солдат редко понимал обстановку, но вечером нас, уже расположившихся на ночлег на окраине какого-то большого села, подняли по тревоге, приказали

седлать и выводить. Вахмистр подъехал ко мне (уже это было тревожно — почему не подозвал?) и тихо сказал: «Все кругом драпанули, мы последние, будем уходить на Ростов. Ты останешься замыкающим тылового дозора, должен ехать за отрядом верстах в двух; если учуешь красных — езжай до едущего впереди, пусть скачет до следующего, а сам ехай тихо, чтобы чуять красных за собой, я тогда связного подошлю».

Отряд наш (сабель сто двадцать — сто пятьдесят) протянулся мимо меня, я стоял у крайней хаты. Было совсем темно. Скоро я перестал слышать шлепанье и скрип копыт по грязи и щебенке. Постоял еще с полчаса и поехал вслед за ними. Конь мой (это был уже не Башкир, его я оставил на хуторе около Лозовой с растрескавшимися копытами), трехлетний жеребчик, просил повода — его тянуло к лошадям, дорога еще пахла недавно прошедшей конницей, он нет-нет да переходил на рысь, — и я с трудом удерживал его на шагу. Было совсем темно — южная зимняя, хмурая, бесснежная ночь, — только чуть-чуть поблескивали кое-где грани щебня разбитого шоссе.

В далеком уже селе лаяли собаки, не взахлеб, как когда входит войско, но все-таки тревожно. С каждой минутой мне делалось все страшнее и страшнее. Мне представлялось, что пешая разведка беззвучно пластуется по обочинам дороги, и вот-вот они с двух сторон схватят коня под уздцы и сорвут меня с седла. Ведь снизу им меня на коне виднее, да и слышно моего Серого за версту; а мне за его казавшимися очень громкими, скрипучими шлепками шагов ничего не слышно…

Серый тоже волновался и шагал все быстрее и шире, незаметно он перешел на рысь: охваченный и подавленный страхом, я перестал его удерживать и, не успев опомниться, услышал россыпь шагов и увидел впереди силуэт всадника. Это был вахмистр. Какими только словами он не поносил меня! И заяц-то я трусливый, и подлец-предатель, и… Ну, словом, не было оскорблений, которые бы он ни выкрикнул мне в лицо.

Оказалось, что я был единственным из тылового охранения, который хоть в какой-то степени выполнил приказание — вся цепочка раньше меня присоединилась к отряду. Гнев вахмистра рос с каждым догонявшим, и на меня обрушился его максимум, так как он, видимо, надеялся, что хоть я как-то застрахую тыл…

«Поезжай обратно, и чтобы до утра я тебя не видел, следуй в версте за мной, догонишь — застрелю».

Опять я остался один. Все дальше и глуше был перестук копыт впереди, и нарастал поток непонятных и пугающих звуков сзади. То ли небо просветлело, то ли я присмотрелся — стал видеть всю бесконечную пустоту степи.

До самого горизонта не было видно ничего — ни дерева, ни бугра, ни хаты… Такая меня охватила жуть одиночества, такой тоскливый страх, что я даже перестал бояться нападения — лучше драться, удирать, стрелять, может быть, даже быть убитым, чем вот так ехать, беззвучно выть от тоски, скрипеть зубами от ужаса. И тут, очевидно, я задумался, заслушался своих мыслей, своей внутренней тревоги, перестал прислушиваться к звукам колонны, может быть, даже на какое-то время потерял сознание…

Очнулся я в полной, такой же как пустота, тишине. Остановил коня, слез, лег на землю — ничего, тишина… Я понял, что сбился с дороги: подо мной была уже не щебенка шоссе, а мерзлая пыль наезженного проселка. Это было совсем уже катастрофой. Стоять на месте нельзя — схватят красные. Ехать? А куда? Тоже к ним можно попасть. Если бы я ехал на Башкире, достаточно было бы дать ему волю, и он бы вывез меня к своим, но этот дурак Серый сильно проголодался и только к траве тянулся…

И тут уже меня охватило полное, паническое отчаяние, которое не оставляло меня всю ночь. И всю ночь я ехал на усталом, голодном, спотыкающемся коне, ехал и, несмотря на тоску и ужас… засыпал, видел какие-то сны про себя и про эту бесконечную ночь. Снилось мне, что я просыпался, подъезжал к какому-то одинокому хутору с колодцем, у которого баба, черпавшая бадьей воду, поила моего коня, и я сам пил какую-то сухую, дерущую горло воду… Просыпался уже на самом деле, каким-то чудом держась почти лежа на шее у пасущегося коня. Ехал дальше, выбирая направление наугад, намечая себе какой-нибудь ориентир — куст чертополоха, еле видневшийся на фоне неба, кучку земли около ямы-воронки от снаряда, может быть, казавшейся мне темнее, чем покрытая старой белесой травой остальная почва, и все мне казалось, что пространство впереди растет, а сзади уменьшается, что ехать мне до любого рубежа дальше, чем я проехал уже.

Все было наоборот. Конь шел вперед, и земля из-под его ног уходила тоже вперед. Возможно, что я, постоянно засыпая и просыпаясь, видел уже не те предметы, к которым направлялся, а другие. Потом, после многих просыпаний из странных и все тех же путаных снов, после поворотов неизвестно куда, я увидел, что начинает светать.

Теперь я ориентировался уже по чуть просвечивавшей сквозь хмурое небо заре и поехал на восток. Когда совсем рассвело, передо мной обозначилась глубокая и расширяющаяся вдаль балка и в ней большое село. Я стал осторожно подбираться к нему, не по дороге, а по тропке, круто спускавшейся к огородам.

У колодца с журавлем возилась, выливая воду из бадьи в ведра, баба, такая же точно, какую я видел, просыпаясь из сна в сон, и я боялся снова проснуться в степи. Я заговорил с ней, и мой голос показался мне чужим и странным. Она сказала мне, что в селе еще с вечера стоят солдаты — «таки злы, та дурны, с погонами… як у вас». Тогда я выехал на улицу и подъехал к дремавшему у церкви дневальному. Выяснилось, что в селе ночевали остатки конно-горной батареи, входившей в одно с нашей частью соединение.

Моя часть вошла в село через два часа после меня. Каким образом, сбившись с пути, блуждая по степи всю ночь, я обогнал ее, до сих пор не понимаю.

Где-то сзади нас остатки пехотных офицерских полков еще вели бои, пытаясь сдержать Красную Армию, рвавшуюся к Ростову.

«Поход на Москву», да и вообще все деникинские авантюры провалились. Все шло к концу. Многое со мной было до этой ночи, немало и после нее, но я и так слишком отвлекся от моей основной темы, надо возвращаться к ней.

Закончу коротко: на рождество я приехал в Ростов в составе квартирьерской команды, чтобы подыскать дом и конюшни для наших частей, но 26 декабря белогвардейские части, еще находившиеся в Ростове, были разбиты окончательно.

Красная Армия ворвалась в город, и мы «драпанули» через Дон в Батайск и дальше на Кубань. Там я заболел возвратным тифом и чуть не умер. Во время третьего приступа болезни меня привезли в Екатеринодар. Об этом напишу дальше.

По югу России

По окончании харьковского сезона почти все члены группы отправились в Крым. Большинство поселилось в Евпатории, в частном санатории «Светлана». Несколько человек — Орлова с Бакшеевым, Павлов с Греч, Комиссаров и Александров — жили под Евпаторией, в том месте, где Сулер когда-то мечтал организовать актерскую трудовую «коммуну». Но как далеки были теперь эти актеры от тех, кого он мечтал там поселить, и, главное, от того, какими он мечтал, чтобы они были…

Да, и люди были другими и вся атмосфера была не только не похожей, она была глубоко враждебной той, какую мечтал создать Сулер. За время, прошедшее после его смерти, война, революция и контрреволюция сделали этих людей совсем другими. Каким смешным и нелепым чудаком выглядел бы теперь среди них Сулер! Какие-то воспоминания о его заветах, его воспитании еще сохранились, но о них говорили как о чем-то отошедшем в далекое, далекое прошлое. И все-таки совсем бесследно это не прошло: вспоминая оставшихся в Москве товарищей, скучая о них, говорили о том, что все-таки, если где-нибудь во что-нибудь высокое верят, то это там, в Москве, в родном театре. Там еще помнят о великих идеях МХТ, там есть еще искусство и там помнят Сулера.

О Сулере вспомнил и я, когда на тридцать шесть часов попал в Евпаторию.

15 (28) августа был полковой праздник Стародубовского драгунского полка. Наш сводный полк решил отметить этот день, большим пиром. Для праздника нужно было вино, и в очень большом количестве. Водку достали — подожгли винный склад с заготовленной еще при гетмане Скоропадском «горилкой» и, «самоотверженно борясь с огнем», унесли со склада около шестидесяти ящиков этой самой горилки. Но хотелось, чтобы было элегантно — с вином и фруктами.

Один из наших офицеров был крымчанином, ему дали денег, нужные бумаги и команду из четырех драгун и приказали без сорока-пятидесяти ведер вина не возвращаться.

Одним из этих «лихих драгун» был я.

Когда мы приехали в Симферополь, где и надо было добывать вино, меня на полтора суток отпустили, чтобы я повидал родителей.

Поздно вечером я вылез на евпаторийском вокзале, спросил о пансионе «Светлана» — оказалось, что это версты за три-четыре от вокзала. Когда я наконец добрался до парка «Светланы», было

уже двенадцать часов ночи. Я перелез через ограду и начал ходить под окнами отдельных вилл, из которых и состоял этот санаторий. Почти везде было темно. В одном из домов, в первом этаже, довольно высоко над землей, горел свет. Я подошел к этому дому, но звать, кричать стеснялся. Ведь хоть я и был драгун, но все-таки мне еще не было восемнадцати лет и я был очень стеснителен, даже робок. Заглянуть в окно с земли я не мог, но, увидев поблизости садовый столик и кресло, я взгромоздил кресло на стол, влез на него и… — господи, до сих пор не могу вспомнить этого без волнения… — увидел отца. Он сидел за столом и, сняв пенсне, низко пригнувшись, писал что-то в своей записной книжке. Так же точно, как он сидел, бывало, тогда, в той ушедшей счастливой, блаженной московской жизни, за своим московским столом. Я тихо сказал: «Вася», он не услышал, видимо, от москитов окно было закрыто, да и море шумело неподалеку. Бросить в окно мне было нечем, и я вынул шашку — не дотянулся, снял ножны, надел их на шашку наполовину, потянулся, рискуя упасть, и достал. Стукнул… Он поднял голову, я сказал опять: «Вася… Это я, Дима». Он вдруг поднял голову к потолку и начал щипать себя за шею, за руки, за грудь. Потом взглянул в окно и, видимо, что-то увидел, но не к окну направился, а от него, пятясь и продолжая щипать себя. Тогда я уже громко сказал: «Это я, живой, я, Дима». Тогда он приложил лицо к стеклу и увидел меня.

Потом он говорил, что уж очень страшно было, что я был на такой высоте и в воздухе — ведь моего сооружения не было видно.

Я соскочил, он выбежал мне навстречу, разбудил мать. Эту ночь мы трое не спали ни минуты. А на другой день было полное счастье. Белоснежные дома санатория, синее небо, синее море, чистые, нарядные, красивые, загорелые люди, ласковые женщины, белые скатерти, дыня на фаянсовом блюде с серебряным ножом, золотое вино в хрустальных бокалах. Ванна, штатское платье, купание в море. Боже мой, как прекрасна эта жизнь! Без вшей, без грязи, вони и хамства. И вот — день без ужаса этого. День в кругу самых лучших в мире людей, самых красивых женщин. Как мне хотелось бы остаться здесь! Нет, даже не здесь, а там, в глуши, где были только навесы у моря, там, где Сулер хотел создать свою «коммуну», жить в самом тяжелом, но чистом и свободном труде.

Но прошла еще ночь разговоров и слез, и на рассвете я на извозчике уехал на вокзал…

Надо было приехать с отвратительного бандитского фронта, чтобы так оценить эту жизнь, как я. А на самом деле отец и вся группа жили плохо, как-то уже очень нескладно.

Жили не настоящим, а смутным ожиданием какого-то изменения, какой-то перемены в своей судьбе. Жили как на даче, но дачная эта жизнь излишне и неестественно затянулась. Материально жили неплохо: Берсенев был великолепным хозяином, как только становилось туго с деньгами, организовывался либо спектакль, либо концерт, а то и два и три. Общая касса пополнялась, и на марку выдавалась приличная сумма денег.

В самой Евпатории играли 9 и 10 июля «Дядю Ваню», 11 июля — концерт, 28 и 29 августа играли в Симферополе «Дядю Ваню», 30 и 31 августа — концерт, 1 сентября «Дядю Ваню», 2 сентября — концерт. На этом закончили евпаторийское житье и переехали в Гурзуф. Оттуда ездили в Севастополь, где 4 и 5 сентября дали два концерта. Ездили в Ялту, где играли 10 и 11 сентября концерт, 25 и 26 — «Дядю Ваню» и 30 сентября — концерт. В общем в Гурзуфе жили с 6 сентября по 17 октября.

В основном группа жила там на даче Ольги Леонардовны и на соседней. Жили коммуной, деньги от концертов Берсенев выдавал на марки не все, а только часть, как бы на карманные расходы, а на остальные питались и оплачивали квартиры. Даже вино покупали сообща, прямо бочонками.

Было грустно, тревожно. С октября фронт покатился к югу. О возвращении в Москву уже не могло быть и речи. Это стало, кроме всех прочих соображений, технически невозможно. Василий Иванович и Нина Николаевна тосковали обо мне — я был на фронте, и с моего августовского приезда в Евпаторию они ничего обо мне не знали. Слухи обо мне доходили до группы скверные — были «очевидцы» моей «гибели». До родителей эти слухи не допускались, но по намекам, по тому, как обо мне избегали вспоминать, они понимали и чувствовали, что со мной плохо.

Племянник Ольги Леонардовны, которого она любила больше всех на свете, тоже пропал — о нем не было никаких сведений. Концерты и спектакли в белом тылу, посещавшиеся и восторженно принимавшиеся высшим белым командованием, окончательно скомпрометировали группу, и вернуться в Москву, а особенно остаться в каком-нибудь городе, если его захватят красные, казалось каким-то безумием. От этого тоже было тоскливо, безнадежно.

Много пели, в группе были хорошие голоса и музыкальные люди, очень подружился с ними молодой композитор Якобсон. Василий Иванович часто и много читал. Почти каждый вечер собирались все вместе, читали, пили, пели, плакали и опять пили… С каждым днем все меньше верили в победу белых, да и

не хотели этой победы — уж очень страшен, дик, безыдеен, глуп и подл был белый тыл. Те, кто был посильнее и вооружен, грабили где только и кого только могли. «Зажал», «получил от благодарного населения», просто «грабанул» — эти «термины» были на устах всех фронтовиков, да и не только фронтовиков — в тылу эти «герои» тоже устраивали «зажимы»: объявляли кого-нибудь побогаче подозрительным, чаще даже не его самого, а его прислугу, производили обыск, после которого хозяева не досчитывались сапог, белья, посуды, кожаной обивки с мебели и т. д. Иногда нападали на какой-нибудь дом, другие вступались, защищали его и прогоняли напавших, но и те и другие крали в доме все, что можно было. Никто этого не скрывал — офицеры традиционных полков приносили в комиссионные магазины (а они во всех городах Юга России были на каждом шагу) туфли, ложки, белье. Вольноперы же и юнкера не стеснялись торговать награбленным даже и на рынке.

Невооруженные — чиновники, служащие, те, кто не мог грабить, — воровали и торговали всем, чем можно, включая и себя, и своих жен и дочерей. Все копили бриллианты, золото, часы — все, что могло иметь ценность при всех режимах и во всех странах. Эмиграции еще не было или почти не было, но мысль о том, что эмиграция из России неизбежна, уже крепла в головах так или иначе связанных с белыми обывателей. А это были чуть ли не все жители Юга России, бежавшие туда из Советской России. Да и из местных какая-то часть интеллигенции была так или иначе замарана — печаталась в контрреволюционной прессе, служила на предприятиях, в учреждениях, театрах, лазаретах, больницах у белых. Иным не хватало гражданского мужества отказаться, другие поначалу от ненависти к большевикам готовы были простить белым все и охотно шли к ним работать. Да и простили бы, если бы те победили! Но битые грабители никому не были нужны. Надеялись только на иностранную помощь, на англичан, французов, даже на греков и румын. Пусть приходят, пусть обращают в рабство, только бы защитили от «ужасов красной мести», от «расправы чека». Но бывшие союзники присылали обмундирование, причем главным образом размеров либо на карликов (ботинки и сапоги номеров 37 и 38), либо на великанов (номера 45 и 46) и такие же шинели, френчи и брюки. Прислали десятки тысяч бамбуковых пик, железных палашей в железных же ножнах. А пулеметы системы Виккерса без патронов и лент; наши же ленты и патроны в них заедало. «Скорострельные» пушки Гочкис времен чуть ли не бурской войны, мулов, которые не умели ходить по льду и снегу, а ведь приближалась зима. И так во всем. Мулов либо «загоняли»

армянским и персидским купцам за сомнительную валюту, которая была все же надежнее «колоколов» (купюр, печатавшихся в Ростове-на-Дону), либо резали на шашлыки.

Все было очень скверно и ухудшалось изо дня в день.

У наших иссякли деньги, а играть в Крыму было бесполезно — в нем сидели зимой только совсем уже безденежные люди. Основная масса беженцев с севера подалась либо в Ростов-на-Дону, либо в Одессу, а то и на Кавказ. Ростов считался очень «нетеатральным» городом. Одесса же очень хорошо принимала Художественный театр в 1913 году, и там театр помнили и любили. Леонидов съездил туда и договорился о гастролях в городском театре с 25 октября по 23 ноября, то есть на целый месяц.

18 октября погрузились в Севастополе на плохонький пароходик общества «Кавказ и Меркурий» и 19-го высадились в Одессе.

Репертуар был пока тот же, с которым выехали из Москвы, но, так как в труппу вошла молодая, но уже завоевавшая в Москве большую популярность актриса Алла Константиновна Тарасова, изменился состав «Вишневого сада» — Аню стала играть она. Это было, конечно, несравненно лучше, чем Краснопольская. Не думаю, чтобы она нашла что-нибудь новое и для спектакля и для себя лично — играла она ту же Финочку из «Зеленого кольца» Гиппиус, которой она дебютировала и прославилась во Второй студии. Но почему бы и Ане не быть такой же чистой, честной, требовательной к себе и другим, чуть надломленной и разочарованной в жизни девушкой, как Финочка? Барышни-дворянки, выросшей в собственном имении, в Алле Константиновне не было. Ну а в ком, кроме, может быть, Лилиной, которую я не помню, она была? Во всяком случае, уездной мещаночкой, какой была Краснопольская, Тарасова не была.

Берсенев с целью застраховаться на случай болезни или ухода Василия Ивановича и вообще не желая «одно-актерской» труппы, задумал поставить с участием Тарасовой «Осенние скрипки» И. Д. Сургучева. Пьеса плохая, но имевшая даже в Москве большой успех у невзыскательной части публики, должна была иметь в провинции еще больший успех. Распределялась она отлично: Ольга Леонардовна — жена (ее роль в московской постановке), Массалитинов — муж (вместо Вишневского), Берсенев — любовник (как и Ольга Леонардовна, основной исполнитель), вместо Ждановой — Тарасова в роли Верочки, воспитанницы, впоследствии невесты любовника.

Начали репетировать. Массалитинов увлекся и ролью и

режиссурой, но сыграли всего шесть раз — Тарасова по семейным обстоятельствам больше, чем на год, ушла из труппы.

Жилось в Одессе плохо. Город был перенаселен. В нем скопилась масса беженцев из занятых Красной Армией городов, тыловые учреждения белой армии, да и из Крыма все перебирались в Одессу.

Все время что-то не ладилось с городским хозяйством, то не было воды, то света. Были дни, когда Василий Иванович, который часто болел и не мог ходить мыться в театр, как это делали в дни нехватки воды остальные, умывался боржомом.

Жили мои родители у Тамары Дейкархановой, которая вышла в Одессе замуж за инженера С. А. Васильева. У них было две комнаты, в которых приютили и моих. Василий Иванович очень этим мучился, он бы предпочел жить в гостинице, но обидеть самого близкого друга нашей семьи он не смог. Жили тихо и довольно мрачно, было очень холодно — конец октября и ноябрь в Одессе время холодных ветров и дождей. Обо мне сведений не было — наш полк в тяжелых боях отступал из-под Курска через всю Украину и Донбасс к Таганрогу. Никаких отпусков не было — значит, не было оказий для писем. В тылах у белых начались восстания — развернули «боевую деятельность» разные «батьки» — и Махно, и Шуба, и Ангел, и много других…

В группе возникла мысль уехать за границу. В Одессе впервые родилась мысль о славянских странах. В Софии главным режиссером Государственного драматического театра был Исаак Эзрович Дуван-Торцов, старый киевский антрепренер и режиссер, который несколько лет служил в МХТ актером. В Сербии тоже нас любят… Но конкретно туда никто не приглашал. Кроме того, ехать куда бы то ни было за пределы России категорически отказывался Василий Иванович. Он и особенно Нина Николаевна верили, что я жив, и надеялись, что я доберусь до них.

Когда в Одессе стало совсем уже скверно, отправились в Ростов-на-Дону. Дорога до Ростова была первым соприкосновением группы со всеми ужасами железных дорог в тогдашнем белом тылу. В Новороссийске, до которого добирались по бурному ноябрьскому морю на отвратительном, грязном пароходе, провели ночь на вокзале. Ростов встретил скверно — театр, который арендовал Леонидов, был превращен в сыпнотифозный госпиталь. Город буквально кишел вшами и поголовно бредил в сыпном и возвратном тифу.

Кое-как расселились по квартирам друзей Художественного театра. Мои жили на фабрике «Жесть» у неких Рысс, знакомых с Василием Ивановичем еще по Вильно.

Для спектаклей сняли маленький театр, пригодный для

театра миниатюр, а не для драматического театра. Играли только спектакль-концерт. Зато выросла труппа: в Ростове в группу влилась одна из лучших актрис Художественного театра — Мария Николаевна Германова. Кроме того, М. М. Тарханов, о работе которого в группе договорились еще летом в Харькове, теперь окончательно вступил в труппу вместе со своей женой — Елизаветой Феофановной Скульской. Он был замечательным и очень нужным группе актером — он мог и играть все роли И. М. Москвина, и быть хорошим Фирсом, и Кулыгиным («Три сестры»), и стариком Гиле («У жизни в лапах»), и Мамаевым («На всякого мудреца довольно простоты»).

Скульская была в состоянии вполне удовлетворительно заменить ушедшую из группы В. Н. Павлову в ролях характерных старух. Павлова со своим мужем, профессором Цингером, уехала за границу, кажется, в Германию, где ему предложили серьезную научную работу.

Двенадцатого декабря выехали в Екатеринодар. Это был тихий, очень провинциальный город, в то время превратившийся в столицу с двумя «правительствами»: кубанской радой и деникинским главным командованием. В начале января Красная Армия заняла Ростов, и фронт был уже недалеко отсюда, но здесь было сравнительно спокойно.

С 27 декабря начались спектакли. В роли няньки в «Дяде Ване» впервые была занята Е. Ф. Скульская. Это было очень провинциально, но крепко. Как водится, с грустью вспоминали Павлову… Второго января 1920 года в Епиходове впервые выступил в спектакле группы М. М. Тарханов. Он был до жути похож на Ивана Михайловича. Не знаю, видел ли он Москвина в этой роли или это было что-то родственное, но он и трюки и фортели брата проделывал почти так же, как тот. В группе ему были очень рады, хотя и критиковали его за штампики, провинциализм, наигрыш.

Третьего января сыграли премьеру — «Осенние скрипки» с Орловой — Верочкой. Против спектакля и вообще-то очень многие возражали, считая пьесу пошлой и дурнотонной, а уж против постановки ее с Орловой поднялся было ропот всеобщий, но Берсенев категорически требовал спектакль «без Качалова» — он не хотел быть от него в зависимости. Орлова была прелестна как Дуняша, она подходила и к девке в «Гавани», и даже сцену в «Мокром» в качестве Грушеньки не портила, но шестнадцатилетняя гимназистка ей была не под силу. И голос, и фигура, и вообще вся ее индивидуальность были сугубо женскими, а не девическими.

Группа роптала, а спектакли шли и шли с огромным успехом.

Попасть на «Осенние скрипки» было почти невозможно. Особенный успех спектакль имел среди коренных екатеринодарцев: откуда-то возникла убежденность, что автор описал действительную историю, происшедшую в Екатеринодаре.

Двадцать восьмого января сыграли «У врат царства» с Элиной — Германовой. Она играла совсем иначе, чем Мария Петровна Лилина. Это звучит парадоксально, но то, что репетиции «Врат» шли параллельно с работой над «Карамазовыми», очень отразилось на том, какою была Элина у Германовой. «Инфернальность», озорство, отчаянность Грушеньки как-то перешли на ее Элину. Она была очень чувственной, очень страстной, ее красное платье последнего акта было пожаром. Женщина, почувствовав себя желанной, запылала и «горит алым пламенем ненасытного вожделения». Может быть, для Гамсуна это самое важное, но у Марии Петровны этого не было. Элине — Марии Петровне лестно внимание Бондезена, она так почти по-детски радовалась ему, но страсти, вожделения в ней не было… Вероятно, Германова была больше гамсуновская, больше Эдварда (из «Пана»), да больше и Элина из «Драмы жизни». Но как забыть, насколько милее, чище, ближе к нам и, главное, больше под стать тому Карено, которого создал Василий Иванович, создал Художественный театр, была Элина — Мария Петровна.

Я воспринимал и женское обаяние и глубину понимания гамсуновской чувственности и не столько мудрой, сколько умствующей философии, которую исповедовала в этой роли Германова, но люблю больше воспоминание о милой крестьяночке, может быть, немного даже мещаночке, простой, очень нашей Элине — Лилиной. Ей можно было простить ее измену, Германовой — нет. Но это так, околокулисные размышления…

Спектакль шел хорошо. Василий Иванович, которому надоело однообразие и скудость репертуара, играл Карено — одну из любимых ролей — с большим удовольствием. Профессора играл Шаров. Как и все, что он играл, это было грамотно, профессионально, но не талантливо. Берсенев играл Иервена. Он был по-настоящему нервен, желчен и зол. Был, пожалуй, самым живым человеком из всего своего тогдашнего репертуара (кроме Петра Верховенского, которого играл, говорят, исключительно хорошо).

С Массалитиновым — Бондезеном дело обстояло неважно, он был живым, достоверным, но очень уж некрасивым и, главное, неэлегантным. Не помогал ни наклеенный орлиный нос (гуммозу на него шло граммов пятьдесят), ни парик жгучего брюнета. Так что поверить в его увлекательность и мужское обаяние было

решительно невозможно. Ингеборг — Крыжановская была, как всегда, очень настоящая, живая и даже трогательная. Только с юмором у нее было, как всегда, слабо. Она его плохо чувствовала и плохо передавала.

Буквально через день была следующая премьера — 30 января были сыграны «Братья Карамазовы». Спектакль шел по инсценировке Вл. И. Немировича-Данченко, но со значительными сокращениями. Играли, конечно, в один вечер: 1) «За коньячком», 2) «Обе вместе», 3) «Мокрое», «Допрос», 4) «Последнее свидание», 5) «Кошмар», 6) «Суд». Несмотря на все сокращения, спектакль продолжался почти четыре часа. Ведь «Мокрое» с «Допросом» шло больше часа, «Кошмар» — больше получаса. Состав был следующий: Чтец — Бертенсон, Федор Павлович — Павлов, Дмитрий — Бакшеев, Иван — Качалов, Алеша — Комиссаров, Грушенька — Германова, Катерина Ивановна — Орлова, Смердяков — Шаров, Григорий — Тарханов, прокурор — Массалитинов, адвокат — Берсенев, следователь — Васильев, исправник — Александров. Оформление было очень близко к московскому, только специального занавеса не было, и чтец читал при открытом занавесе и затемненной сцене.

Я думаю, что, если бы специально поставить перед театром задачу — найти самого неподходящего для передачи Достоевского чтеца, решить ее лучше, чем использовав для этого Бертенсона, нельзя было. Сухо, скучно, формально, с внутренним отвращением, брезгливостью к тексту докладывал он его, как чиновник докладывает своему начальнику об окончании годового отчета. Это было грамотно, отчетливо, но так скучно!.. Отца Карамазова Павлов играл крепко; может быть, только в нем мало было барина, скорее, уж он был лавочник, буфетчик… Но сцену с рассказом о «мовешках» и о своей покойной жене с ее иконой он вел так, что мороз по коже подирал. «Карамазовщину» в нем надо было додумать, довоображать, но это было нетрудно, и его внешний образ и пропитавшее его, правда, не карамазовское, не «инфернальное», а скорее, арцыбашевское сладострастие помогали поверить в его Федора Павловича. Он очень долго бился над гримом, париком, никак ему не удавалось из своей здоровой, крепкомясой физиономии сделать «римлянина времен упадка». Так и не удалось до конца, хотя и то, что получилось, было неплохо, потому что достаточно омерзительно.

Бакшеев — Дмитрий совершенно откровенно копировал Л. М. Леонидова, и, так как у него был широкий, размашистый русский темперамент, искренность, страсть, мощный и горячий голос, да еще хорошая сильная фигура и молодость, получалось хорошо. Конечно, страшного трагизма леонидовского «узко,

узко!» не было, не было и многого, очень многого другого, от чего рыдали мужчины и бились в истерике женщины, когда кончал последнее слово подсудимого Леонидов, но все-таки было много и хорошего.

О том, как играл Василий Иванович, говорить не стоит: ведь все знают, что это была едва ли не лучшая его роль.

Алеша — Комиссаров был никакой, да и роль Алеши в этом спектакле, когда не было ни сцен у Хохлаковых («Бесенок»), ни «надрывов в избе и на чистом воздухе», была никакая.

Германова была пленительной красавицей Грушенькой. Может быть, чуть-чуть слишком европейской. Иногда я думал, что вот так бы играла Грушеньку Дузе. И не потому совсем, конечно, что Мария Николаевна была похожа на Дузе, а потому, что она должна была бы что-то с собой сделать, немного опуститься, опроститься для Грушеньки. Как иностранка ищет какое-то приспособление для преображения в человека иной нации, так и «столичная барыня» Германова искала провинциализм, мещанистость. И искала, мне кажется, напрасно — сверху вниз. Грушенька у Достоевского — это такая глубина (а значит, и высота), что искать надо было только вглубь и ввысь. Не принижаясь до нее, а пытаясь найти в себе то самое большое, самое наисущественнейшее, что позволило бы актрисе хоть где-то мелькнуть истинно Достоевской глубиной. Мария Николаевна же в поисках характерности немножко теряла чувство масштаба психологических глубин.

Вера Орлова играла Катерину Ивановну очень прилично. Были места и горячего чувства и искренности, но ей мешало то, что она все время играла благородную барышню, институтку, а это ей как раз не было свойственно.

Совершенно неожиданно один из самых плохих актеров труппы Шаров оказался хорошим Смердяковым. Правда, все вспоминали Воронова, которого я плохо помнил, говорили, что он был глубже, страшнее…

Тарханову удалось в крошечной роли Григория показать свое большое мастерство. Он был и тупо-глуп и чем-то мил и добр. Он признался, что из-за этой роли впервые прочел роман и он ему так понравился, что он решил прочесть всего Достоевского.

Массалитинов был убедительным прокурором, правда, вся острота его положения (по роману) была совершенно опущена, как, впрочем, и в московской постановке.

Берсенев играл защитника, вернее, не играл, а только произносил защитительную речь на суде. Он очень любил эту роль. Гримировался он совершенным красавцем — с седыми висками свои без того красивые глаза подводил темно-синим

и т. п. Говорил с громадным темпераментом, используя все возможности прекрасного голоса.

В целом спектакль имел огромный успех. Конечно, не было того, чем потрясал московский спектакль в два вечера — ни Леонидова, ни Москвина, ни кутежа в «Мокром», ни Кореневой — Lise, но все-таки это был спектакль зрелого актерского мастерства и высокой культуры.

Возник вопрос о дальнейшей работе. Правление начало переговоры с какой-то иностранной кинофирмой о приглашении ею группы целиком для съемок фильмов по спектаклям Художественного театра. В частности, шла речь о «Братьях Карамазовых».

Необходимы были хоть какие-нибудь паспорта, чтобы было на что ставить визы. Паспорта давало «правительство Юга России». Надо было торопиться, пока оно вообще еще существовало. По-прежнему тормозил отъезд Василий Иванович. Он все еще надеялся, что я жив и доберусь до них, как-нибудь дам знать о себе или уж они точно узнают, что меня нет на свете.

Берсенев надеялся, что в последний момент Василий Иванович не решится отделиться от группы и уедет со всеми.

Как-то в один из февральских дней вся группа, кроме больного бронхитом Василия Ивановича и Нины Николаевны, которая вообще отказывалась от всяких таких связанных с подготовкой к отъезду мероприятий, собралась в театре для фотографирования к паспортам. В театр вошел один из знакомых еще по Харькову офицеров-стародубовцев и сообщил, что на вокзале лежит больной тифом сын Качалова, они его привезли из станицы, где стоят остатки полка. Пока он еще жив, но очень плох.

Берсенев достал извозчика-линейку и, заехав к нашим и сообщив им, что «Дима на вокзале, жив, но болен», поехал за мной на вокзал. Берсенев, Ваня Орлов и Коля Тихомиров нашли меня в коридоре вокзала среди других больных, умирающих и мертвых. Через столько лет помню, как будто это было вчера, какое счастье, покой, благополучие я ощутил, когда увидел над собой их знакомые, родные, милые лица. Я то терял сознание, то опять приходил в себя. Больше по рассказам знаю, что меня привезли в дом, где жили мои родители. В квартиру меня, боясь заразы и вшей, сразу внести не позволили, и несколько часов я был в закрытом магазине хозяев дома. Там меня вымыли, переодели во все чистое, показали врачу, который определил тиф. Судя по тому, что я так болел уже в третий раз, это был возвратный тиф. Температура была 41,8 и выше.

Под утро произошла нелепая вещь. Врач, опасаясь резкого

падения температуры, прописал какое-то сердечное лекарство, которое нужно было дать мне принять, когда температура упадет. Под утро мать, которая всю ночь сидела около меня, заметила, что я очень вспотел, градусник показал, что у меня 35 с чем-то. Тогда она накапала мне двадцать пять — тридцать капель и дала выпить. При всей своей слабости я почувствовал, что выпил что-то не то. Оказалось, что мать дала мне принять сильный раствор карболки. Началась, конечно, паника. Весь дом принимал во мне то или иное участие: несли молоко, искали врача, бегали в аптеку, только отец был как-то странно, напряженно спокоен. Когда мать, которая была, конечно, в самом невероятном отчаянии, бросилась к нему с исступленным воплем: «Что делать?» — он сказал с неожиданным уверенным самообладанием: «Пойми ты: чтобы мать ждала с фронта сына, о котором несколько месяцев ничего не знала, и чтобы она в первую же ночь его отравила… это такая безвкусная мелодрама, которой быть не может. Этого не может быть». И мать успокоилась. Откуда-то достали несколько кружек теплого молока, нашлась знакомая фельдшерица с прибором для промывания желудка, меня напоили, промыли, и я отделался обыкновенной или, может быть, несколько необыкновенной изжогой.

Меня быстро переименовали в артиста Вадимова, на имя которого я получил паспорт. С первого дня выздоровления я стал все вечера проводить в театре. Все сомнения в отъезде отпали, еще и Ольга Леонардовна узнала, что ее племянник жив и здоров и в Крыму, так что и ей ждать было нечего. Начали быстро готовиться к отъезду. Пробираться решили для начала в Грузию, но до отъезда сыграли еще одну премьеру — «На всякого мудреца довольно простоты» Островского.

Спектакль шел почти целиком в новом составе. Кроме И. Н. Берсенева — Глумова и М. Н. Германовой — Мамаевой, все были введены вновь. Берсенев был удивительно красив. Играл смело, уверенно, элегантно. Никакие сомнения, тревожившие в свое время Василия Ивановича, когда он играл эту роль, Берсеневу и в голову не приходили.

Он играл совершенно ясного для публики жулика и проходимца, только очень красивого и обаятельного. Мария Николаевна была очень красива, ей необыкновенно шла прическа 70-х годов XIX века, она отлично носила турнюр и трэн, очень обаятелен был ее плавный московский говорок, некоторые ее интонации звучат у меня в ушах до сих пор. Когда на реплику Глумова: «На каких рысаках я буду подъезжать к вам!» — она отвечала: «Подъезжайте, подъезжайте», — столько в этом было и

грусти, и лукавства, и коварного замысла грядущей мести… Это одно из лучших исполнений женской роли, какие я знаю.

Мамаева играл Тарханов. Играл замечательно. Может быть, немного слишком на публику, но это было смело, и талантливо, и, главное, безумно смешно. Когда он, увидев карикатуру на себя, говорил: «Нет, похоже-то оно похоже», — зал грохотал единой глоткой.

Бакшеев в Крутицком точно копировал Константина Сергеевича; для тех, кто видел в этой роли Станиславского, это было, конечно, жалким зрелищем, а для других — а их было девяносто девять процентов — это было очень смешно и убедительно. Массалитинов хорошо, смешно, ярко и остро играл Городулина, но ему даже в этой роли не хватало светскости: букет, цилиндр и сигара — три предмета, и ему не хватало третьей руки — то подойдет к ручке Мамаевой с сигарой в зубах, то с цилиндром на голове.

Ольга Леонардовна играла Турусину. Мне кажется, что стихия Островского чужда ей. Все было в порядке, но это не было ни смешно, ни страшно. Да она и сама себя не любила в этой роли.

Не могу вспомнить даже, кто играл Голутвина. Видимо, Павлов, но это было, вероятно, так плохо, что я ничего не помню. Начинаю вспоминать по тексту и слышу и вижу Москвина, как будто никого другого никогда и не видел. До чего же он, значит, здорово играл!

Манефа была Вера Греч. Это было слабо очень — сколько она ни тужилась, сколько ни дулась, ничего не выходило. Была ряженная в бабу субретка из оперетки.

Машеньку не помню. Курчаева тоже. Ее играла Краснопольская, его — Васильев. Глумову-мать играла Скульская. Это была ее первая роль в труппе, сделанная в новом спектакле (няня в «Дяде Ване» был ввод), она впервые репетировала с мхатовским режиссером, и ей это было и необычно и трудно. Но играла она так, как будто ни с кем не репетировала: на своих бледных, но крепких штампиках. Даже не очень на своих, а на общетеатральных — играла «как полагается», как все и всегда играют такие роли.

Оформил спектакль Гремиславский очень приятно. Шел он в единых для всех картин сукнах, но в каждой картине сукна в центре были раздвинуты на два — два с половиной метра, и за ними был свой, для этой картины, заспинник. В первом и четвертом действии (вторая сцена — у Глумова) это был желто-коричневый фон, на котором стояла вешалка и висело зеркало; во втором действии это было широкое, завешенное тюлем и ярко

пронизанное светом окно, в третьем там висела тяжелая, широкая синяя бархатная занавеска, в четвертом (первая сцена) — белая стена с двумя колоннами, между которыми — тумба с фигурой солдата под ружьем. В последнем действии сукна были широко раздвинуты и фоном был сад. Мебель была подборная, кроме некоторых миниатюр и картин, написанных Иваном Яковлевичем. Эти картинки помогали характеристике обстановки. У Турусиной — Киевская лавра и портрет какого-то духовного лица, у Мамаевых — изящные миниатюры, у генерала — батальные картины и солдаты, вырезанные из фанеры в виде статуэток.

Помучились с костюмами. Все другие спектакли шли либо в привезенных из Москвы, либо в своих личных костюмах («Осенние скрипки», «У врат царства»), а для «Мудреца» пришлось многое сшить — и оба военных, и некоторые штатские, да и для женщин пришлось сшить целый ряд платьев и даже делать шляпы. Все это было сложно в условиях Екатеринодара, но супруги Бодулины почти все сделали сами, а что не умели — заказали. Какая-то старая знакомая Ольги Леонардовны, мадам Фанни, сшила особо сложные платья ей и Германовой.

Спектакль шел с огромным успехом. Василию Ивановичу Берсенев говорил, что рад дать ему отдохнуть: «Не все же группе на тебе, Вася, ездить».

Дела белой армии становились день ото дня хуже; уже ясно было, что она не продержится до весны. Впервые в группе возникла мысль: а не остановить ли свой «бег»? Так заговорил Иван Яковлевич Гремиславский. Но его быстро переубедили, вернее, припугнули: белые, уходя с Кубани, обязательно «хлопнут дверью» и уж, конечно, не помилуют тех интеллигентов, которые решат остаться, а работники Художественного театра все на виду и все на учете у белой контрразведки. А если и удастся притаиться и дождаться красных, то уж наверняка и те не обласкают.

Решено было уезжать в Новороссийск, а там грузиться на пароход и — в Грузию. Так как в Грузии не имели хождения деникинские «колокола», Берсенев купил двадцать мешков (сто пудов — тысяча шестьсот килограммов) самой лучшей муки-крупчатки, в которой очень нуждались грузины, чтобы, продав им ее, иметь необходимые на первое время деньги. Эта мука, восемь огромных корзин с костюмами и реквизитом, довольно большой личный багаж членов группы (ведь в странствиях были уже девять месяцев и все, что имели, возили с собой) вынудили отправиться не в классном вагоне, а в двух теплушках.

В Грузии

И вот в ночь на 24 февраля 1920 года вся группа с чадами и домочадцами погрузилась в два хороших, прочных, хорошо вымытых товарных вагона с печками и запасом дров. В теплушке, в которой ехало наше семейство, целый конец занимали мешки с мукой, и у нас же были все корзины с костюмами. Зато у нас было гораздо меньше народу. В нашей теплушке ехали Александров, Бакшеев, Орлова, Комиссаров, трое нас, трое Бодулиных, Ваня Орлов и помощник Леонидова Либерман.

В другой теплушке ехали все остальные, человек двадцать пять.

Погрузились мы ночью, а тронулись только на следующее утро. Всю ночь стояли на путях, а на соседних путях стоял штабной поезд генерала Деникина. Не знаю, был ли он сам в своем поезде, но в одном из вагонов, у тамбура которого стояли два зверского вида часовых казака с шашками наголо, всю ночь шел кутеж, и несколько пьяных офицеров пытались, узнав, что в теплушке актеры, проникнуть к нам. Но Берсенев и Массалитинов убедили их, что в вагонах только старики и дети, и они отстали. Долго наши вагоны таскали, толкали, цепляли и отцепляли, пока уже совсем под утро, на рассвете мы двинулись.

Ехать было, пожалуй, даже весело: пели, играли в «почту» — провели между вагонами веревку и пересылали по ней письма от теплушки к теплушке. Переписка шла в стихах — у нас было два поэта, Комиссаров и Василий Иванович; у них — Краснопольская и Калитинский (муж Германовой, профессор археолог). Печка топилась, солнце светило, было тепло…

Александров обнаружил в одном из мешков дырку, набрали через нее крупчатки, у Бодулиной оказалось подсолнечное масло. Решили печь пресные блины — ведь была масленица. На частых и долгих остановках ходили друг к другу в гости. Настроение почему-то было неплохое — впереди было интересное морское путешествие, а там Тифлис, где сейчас «вся Москва» и «весь Петербург».

Через сутки, утром 25-го, прибыли в Новороссийск. Берсенев просил всех не отлучаться, всем оставаться в вагонах, которые загнали на запасные пути, а сам с Леонидовым и его помощником побежал в порт узнавать о ближайшем рейсе на Батум.

Мы спокойно ждали. В город уходить было запрещено: «А вдруг сегодня же посадка, где вас искать?» Ходили на вокзал, на рынок подле него. Покупали кое-какую еду, что-то варили и жарили на печурках в вагонах.

Начальство вернулось только к вечеру. Ни одно пароходное общество никаких обещаний не дает. Русские общества все военизированы — будут перевозить войска и учреждения в Крым. Иностранных никаких пароходов пока не ждут, а если и будут, то только для вывоза иностранцев и тех русских, которые связаны с иностранными экспортерами или фирмами, торгующими с заграницей. Для группы актеров, которая не в состоянии оплатить фрахт валютой, никакой надежды нет.

Берсенев, конечно, на этом не успокоился. Он на другой день начал все снова. Одни планы сменялись другими, но мы все знали, что здесь мы не останемся, что-нибудь он да придумает.

За одним днем наступил другой, третий… С утра до вечера Берсенев и его помощники пробивали эту страшную стену. Возвращались измученные, еле держась на ногах, но не теряя веры и надежды. Берсенев даже находил в себе силы в коротких словах рассказать, что удалось узнать, сделать, какие есть надежды, какие надежды рухнули.

Житье в теплушках стало привычным, как-то даже наладилось. Днем ходили на рынки, что-то продавали, что-то (съестное, конечно) покупали. Готовили, стирали, сушили белье. Вечерами иногда выпивали, тогда пели, читали стихи, спорили. Иногда спорили друг с другом, иногда ссорились теплушка с теплушкой — начиналось с шутливых перебранок, с полемики, потом она переходила в ссору. На ночь запирались и втягивали в вагон сходни — боялись бандитов, так как в городе и его окрестностях очень «шалили». Чтобы ночью не открывать дверей, завели «параши», приспособив для этой цели патронные ящики, внутри цинковые, снаружи деревянные, с веревочными ручками. Дежурные по утрам выносили их и мыли. Воду надо было запасать впрок, так как брать ее из паровозных кранов нам не всегда разрешали, да и набрать ее в чайник, когда она лилась мощной струей в пятнадцать-восемнадцать сантиметров в диаметре, было почти невозможно, не облившись с ног до подмышек. Набирать воду надо было одновременно с паровозом, вернее, через него. Но таких, как мы, беженцев на путях было немало, так что у паровозов выстраивалась очередь, и машинисты иногда попадались злые, не дававшие воды. Им тогда кричали разные оскорбительные слова, а они отвечали струей пара, от которого все разбегались.

Проблемой была и добыча топлива. Надо было почти непрерывно понемногу топить — ни печка, ни теплушка тепла не держали, и, как только переставали топить, в вагоне делалось так же холодно, как и снаружи. Неподалеку от путей находился склад первосортной дубовой клепки, которую англичане купили на

Кубани. Склад этот охранялся английскими солдатами. Мы ухитрялись, проползая под вагонами, воровать эту клепку. Иногда «томми» стреляли в нас. Ваня Орлов, самый смелый из нашей теплушки, был даже ранен, правда не пулей, а осколком камня, в который попала пуля.

Очень было страшно, стыдно и противно нырять под вагонами с клепками, прижатыми к груди одной рукой, опираясь другой рукой о землю. Противно и морально и физически — этой рукой нет-нет да и попадешь в человеческие испражнения, которыми были загажены все пути. А то (и это еще омерзительнее) попадешь в кучи волос — тиф свирепствовал и здесь, как в Ростове, а всех больных первым делом стригли наголо. Клепку кололи бутафорской шашкой на мелкие кусочки и по очереди день и ночь подкладывали в печку.

Ночи были темные, длинные, тревожные. Темнело рано, освещения почти никакого не было. Свечки зажигали только для того, чтобы поесть и устроиться на ночь. Топилась и освещала внутренность теплушки только печка. Около нее дольше всех сидел Петр Семенович Бодулин. Он был очень маленького роста, кривоногий, как все старые портные, человечек с вечно взлохмаченной головой и бородой, с вислым, унылым носом и маленькими печальными глазками. И в свою очередь, и в очередь других он вызвался топить нашу печурку, очевидно, это доставляло ему удовольствие.

Мы все кое-как устраивались на корзинах с костюмами, на свертках с театральными сукнами, на мешках с мукой, на своих чемоданах, а кое-кто и просто на полу, на своем пальто. Спать всю эту долгую ночь было невозможно, и мы вели длинные разговоры. Вспоминали Москву, репетиции, спектакли, накладки, оговорки. Перебирали пьесы, которые могли бы быть поставлены, и распределяли в них роли. Увлекались этим делом так, что ссорились из-за того, может ли, например, Грибунин сыграть Федора Павловича Карамазова, и т. п. Спорили и сравнивали исполнение одной роли разными актерами.

В спорах этих часто «переходили на личности», особенно моя мать и Н. Г. Александров. Николай Григорьевич часто бывал выпивши; он придумал способ быстрее пьянеть — спирт, который ему удалось где-то достать, он разводил кипятком и пил его как чай, дуя на него и втягивая сквозь губы со звуком. Опьянение действовало на него так, как на многих актеров: оно сильно повышало его оценку себя как актера. Если применить толстовскую оценку человека как дроби, в которой числитель — это его объективное качество, а знаменатель — это его мнение о себе, то у трезвого Николая Григорьевича числитель был только

немного меньше знаменателя, а у пьяного знаменатель вырастал в десять-пятнадцать раз. А пьяным он в те времена бывал чаще, чем трезвым, и вступал в длиннейшие споры о том, кто истинный гений, а кто раздутая пустота.

Особенные счеты у него были с «Васькой Качаловым», о котором он говорил: «И милый человек, и „жандильмен“ (джентльмен), но ведь пустышка, мыльный пузырь, родился в сорочке и сделал карьеру на одном обаянии да на бонтоне». А вот, мол, он, Александров, настоящий большой актер, с глубокими чувствами, с огромным трагическим темпераментом, остался чуть не выходным актером. Правда, настоящий театральный зритель в состоянии оценить те бриллиантики, которые он умеет создать и из маленьких ролей, и неизвестно еще, кто сборы делает… Он часто говорил, что у него в жизни две задачи: первая — это выдать дочь Марусю за порядочного человека; вторая — разоблачить Качалова, доказать «всему миру», что он только умелый ремесленник.

Как-то Николай Григорьевич подарил Василию Ивановичу серебряную спичечницу с выгравированной надписью: «Сальери от Моцарта». На эту тему моя мать с ним, конечно, не спорила, для этого она была слишком умна, она только вздыхала и иногда, когда Николай Григорьевич уж очень увлекался собой, демонстративно хохотала. Но когда спор шел не о Василии Ивановиче, а о Сулере, Лужском, а то и Владимире Ивановиче (Николай Григорьевич никого из них не признавал), она взвивалась со свойственным ей темпераментом, и поднимался такой крик, что о сне не могло быть и речи.

Кончалось это обычно тем, что Николай Григорьевич на полуслове засыпал и его гневные филиппики переходили в храп.

Так мы и жили, и не день, не два, а недели… В порт прибыл пароход «Прага» бывшего Триестинского пароходства, а теперь принадлежавший итальянской фирме. Он должен был отойти через две недели и увезти с собой в Венецию через Константинополь всех гражданских консультантов, представителей союзных держав и кое-кого из признанных этими дипломатами деятелей «правительства Юга России». Кроме того, его каюты были проданы английским, французским, итальянским, греческим и турецким негоциантам всех калибров. Нашу группу Константинополь не устраивал, но Берсенев узнал, что группа французских коммерсантов, находящаяся под покровительством представителя Франции при Грузинской буржуазной республике графа Мартеля, собирается ехать в Грузию, да и товары какие-то в Батуме можно погрузить, поэтому, возможно, «Прага» зайдет в этот порт. Итальянцы соглашались

взять на борт нашу группу со всем личным имуществом, но без гарантии высадки в желательном нам порту, без мест и без питания в пути. То есть нам разрешалось самим (без помощи команды и лебедок) втащить свое имущество на палубу, расположиться на ней и ехать до первого порта, где нам прикажут высадиться опять-таки только своими силами. За это разрешение Берсенев должен был заплатить всей имеющейся в портфеле группы иностранной валютой. Хорошо еще, что наш руководитель предусмотрительно приобрел ее.

Но, во-первых, нас могли бы завезти и в Константинополь, и в Синоп, и в Трапезунд; а во-вторых, надо было бы бросить нашу крупчатку. Возник еще один проект: какой-то лихой аджарец или турок предложил нам арендовать его шхуну, погрузиться на нее всем, с мукой и багажом, и плыть до Сухума. Он соглашался везти нас в кредит, рассчитывая получить с нас в грузинской валюте по прибытии в Грузию, но не скрывал, что путешествие в такое время года (март) тяжелое и опасное. Что в районе Сочи и Гагр, где, может быть, придется пристать из-за погоды или чтобы добыть горючего, встречаются банды «зеленых», которые грабят всех, без учета государственной принадлежности.

Группа разделилась на «пражистов» и «шхунистов». Споры шли отчаянные.

А тут ко всем ужасам присоединилось еще самое страшное: задул норд-ост. Тот, кто не испытывал его, не может даже вообразить себе, что это такое. Ветер такой силы, что опрокидываются товарные вагоны, ломаются взрослые деревья, срываются и улетают жестяные вывески. Он дует по три, шесть, девять и двенадцать дней (уверяют, что его продолжительность всегда кратна трем), и в это время прекращается вся жизнь в городе. Нас он застал в период самых острых споров — необходимо было решать, какой способ отъезда мы выберем. А норд-ост проклятый дул и дул. Тянулись мучительные дни почти полной изоляции от всего мира. Все наши бытовые трудности стали в десять раз труднее: воду из крана развевало веерами, огонь в печке задувало, а дымом заполняло всю теплушку; на «привозе» у вокзала никого не было, купить ничего было нельзя. Холодно было так, что мы сидели, прижавшись друг к другу и завернувшись во все, что можно было, — пошли в ход и «сукна» и театральные костюмы.

Я лично со времени превращения в «Вадимова», как только снял с себя военную форму, ходил в костюме Гаева и в его пальто.

Да, мы-то сидели по теплушкам, а Берсенев ни на час не прекращал свою деятельность, бегал по нашим делам от одного нужного лица к другому, упрашивал, и в результате, когда

кончился норд-ост, все было на мази.

Как-то Иван Николаевич, вернувшись после тяжелого дня беготни и хлопот, сообщил сидевшим по углам «ночлежникам» своей теплушки, что через пять-шесть дней мы, вероятно, будем грузиться на «Прагу», а мука, с которой поедет кто-нибудь один, пойдет на шхуне. Кто-то спросил про норд-ост, как при нем можно грузиться, когда все суда ушли от него за мол, он ответил: «Норд-ост завтра кончится».

Мрачный, как-то особенно озлобленный условиями жизни Паша Павлов завопил, как с галерки гастролеру: «Браво, Берсенев!» Все захохотали. Это был намек на то, что, мол, Берсенев приписывает себе власть даже над силами природы.

В самом деле, в контексте с сообщением о погрузке заявление о конце норд-оста звучало так, что выкрик Павлова был всем понятен. Берсенев обиделся, оскорбился смертельно. Да и действительно, смех этот был возмутительной неблагодарностью за его гигантский труд для общего блага.

Оскорбленный Берсенев пришел в нашу теплушку, чтобы объясниться с Василием Ивановичем, пожаловаться ему на отношение к нему группы. Я был послан в ту теплушку, чтобы пригласить к нам Ольгу Леонардовну. Было еще не поздно, и, несмотря на норд-ост, дверь в их вагон была закрыта не до конца. Я заглянул в нее. Все мрачно сидели по своим углам, кто спал, кто просто лежал и смотрел в потолок, кто закусывал, кто что-то штопал или зашивал.

Недалеко от печки, в центре теплушки, на своем чемодане сидела Ольга Леонардовна. Рядом с ней был поставлен на попа второй ее чемодан. На нем была расстелена беленькая вышитая кружевная салфеточка, на которой стоял стеклянный пестрый подсвечник с огарочком свечи, лежала книга в парчовом футляре, ножик слоновой кости торчал из книги. Ноги Ольги Леонардовны были закутаны в одеяло из лисьих шкур. Сама она была в пальто, на шею и отчасти на голову был накинут белоснежный пуховый оренбургский платок. Она спокойно и задумчиво полировала себе ногти замшей и напевала «Уж вечер, облаков померкнули края…».

Господи, кругом грязь, кровь, вши, ревет норд-ост, орут какие-то избиваемые или ограбляемые беженцы, где-то стрельба, вокруг мрак, смерть, а она… Пересади ее такую, какая она есть и внешне и внутренне, в холл самого лучшего отеля, она и там останется такой же. Откуда в ней эта цельность, монолитность, пронизанность культурой. Каждый из нас, попадая в иные условия, приспосабливается к ним, меняется, теряет что-то, делается другим. Она же все, даже эту отвратительную помойку, в какую превратилась наша жизнь, облагородила и приспособила к

себе, победила.

Долго наши старейшины успокаивали и утешали Ивана Николаевича, потом, как полагается, выпили, закусили и разошлись по своим углам. Через несколько дней норд-ост таки кончился и пошли холодные, нудные дожди. Но мы были им рады — все, что ни есть, лучше этого проклятого ветра.

Хозяин шхуны перевез к себе на судно нашу муку, и вместе с нею на шхуну переселился и наш Ваня Орлов. Без него у нас стало много хуже — никто не умел так, как он, раскалывать на дрова какую-нибудь шпалу или кусок забора. Клепку англичане вывезли на какой-то вспомогательный пароход «флота его величества». Да и привычный уклад нашей теплушечной жизни без Орлова изменился. Утро наше начиналось всегда одинаково: поворачивался Иван и говорил: «Кто это бил меня вчера?», кто-нибудь обязательно отвечал: «А тебе не все равно?», и так далее — по первому акту «На дне». Немного и совестно было, что послали его одного в опасное путешествие из-за общей нашей муки. И он безропотно согласился на этот риск во имя общего дела.

Берсенев всякими сложными путями через самое высокое начальство добился того, что наши два вагона подтянули паровозом почти к самому пирсу, к которому должны были поставить под погрузку «Прагу». Отсюда уже надо было перетащить наш багаж на пароход самим. Возили нас по путям целый день, ведь надо было проделать сложную перетасовку нескольких сотен вагонов.

День или два мы прожили на новом месте, и вот наконец, настала ночь накануне посадки. И тут Берсенев сделал еще одно великое дело: пирс, у которого вечером пришвартовалась «Прага», был оцеплен войсками, и благодаря связям Ивана Николаевича оцепление было расставлено так, что наши вагоны оказались внутри него.

Всю ночь с 20 на 21 марта мы таскали наши корзины и личный багаж к самому краю пирса. Под утро «Прага» подошла. В десять-одиннадцать часов должна была начаться общая посадка. С шести часов за оцеплением уже собрались тысячи людей, стремившихся уехать. Нам надо было успеть до начала посадки всех погрузить свое имущество и расположиться поудобнее самим. Никаких средств для погрузки нам не дали — лебедки грузили табак, муку, сушеные фрукты, какие-то ящики, кули, мешки… Некоторые из нас залезли на борт, спустили оттуда веревку, к которой другие привязывали корзины и общими силами втягивали их на борт. В этой работе участвовали буквально все, даже маленький, шестилетний Валя

Гремиславский хватался за веревку. Благодаря такой дружной работе за час всё и все были на борту. Освобожден от работы был только один Массалитинов: за сутки перед этим он упал — под ним перевернулись сходни, и он всем грузным телом ударился об землю. Да еще С. Л. Бертенсон сам освободил себя от этих работ — он познакомился с главным агентом итальянской пароходной компании и беседовал с ним, переходя с языка на язык, — тот оказался таким же полиглотом, как и Сергей Львович, который говорил свободно на четырех или пяти языках.

Мне удалось достать какой-то тент или парус, который я привязал к поручням балкона рубки так, что он лег другим краем на крышку люка — получился сверху и с двух сторон закрытый коридорчик. В нем поместились ногами вместе в одну сторону отец, мать и Ольга Леонардовна, в другую — Башкеев, Орлова и какой-то профессор. Мы приютили его и пригрели, так как он был абсолютно одинок. Сам я тоже пристроился подле них. Германова с мужем и ребенком устроилась где-то в столовой третьего класса, остальные — на своих чемоданах вокруг крышки люка, под парусиной.

Когда мы устроились, началась общая погрузка. Это было что-то страшное. Для того чтобы лишить людей возможности перелезать прямо с пирса на борт, пароход оттащили от пирса на два метра. Через получившееся пространство было перекинуто два мостка. Один прямо в первый класс, по нему входили только иностранцы и самые привилегированные особы из русских, по другому — все остальные. Оба мостка охранялись офицерами с винтовками. Кроме того, около контролеров стояли вооруженные винтовками итальянские матросы. Все шедшие к мосткам должны были пройти через четыре или пять контролей, шли они по узкому коридору из казаков и офицеров. На другой кромке пирса стояла английская миноноска, на которой против обоих мостков расположились отряды английских моряков с пулеметами.

Не хочется описывать всех ужасов этой погрузки. Это еще не была та, последняя, которую описал Шолохов в «Тихом Доне», когда одни стрелялись, другие бросались вплавь за уходящими судами, но много страшного было и на этот раз. Рыдающие женщины, старики, бросавшиеся на колени перед контролером, целовавшие руки итальянским матросам… Пытавшихся пробиться силой били прикладами, вырывали у них чемоданы и бросали в воду. Кто-то кричал дурным голосом и ругал и проклинал тех, кто был на борту, кто-то показывал итальянцам броши, жемчуг, кольца, золотые монеты, умоляя помочь попасть на судно. Но даже самые алчные из команды ничего уже не могли сделать.

Разве не чудом было то, что мы уже были на борту?

Какие-то курды пытались было захватить уже занятое нами «помещение». Но итальянские матросы и служащие, уже привыкшие за ночь к нам и считавшие нас как бы «своими людьми», приняли нашу сторону и загнали нападавших в трюм.

Вечером 21 марта мы отошли и поплыли. Толпы оставшихся на пирсе слали проклятия и самые страшные пожелания и пароходу и всем отплывшим на нем…

Сразу началась сильная качка, ветер бросал верхушки волн на палубу. Мы семеро были сравнительно благополучны, до нас вода не доходила, а остальных наших спасал только брезент, на котором к утру образовались лужи воды. Всем было безумно холодно, но внутри пароходных помещений было так душно, так воняло, что те, кто пытался влезть в коридоры, через пять минут выскакивали оттуда и забирались опять под брезент.

К вечеру 22-го море успокоилось, ветер стих и воздух стал теплее. Все обитатели коридоров, лестниц и переходов внутри парохода вылезли на палубу, стало так тесно, что лежать было почти невозможно. Но мы в своей канаве держались упорно и никого не пускали. Безумно хотелось есть. Орлова и Юлия Гремиславская завели кокетство с коком и выклянчили у него две большие миски спагетти. Их поровну разделили между всеми членами группы. Прошла еще одна ночь — и утром 23-го мы подошли к Поти.

«Прага» причалила к тихой, безлюдной пристани. Других пароходов не было видно. Было тепло и очень тихо. Даже беспокойные, шумные пассажиры нашего парохода затихли.

Мы пристали очень ранним утром, «приличные» пассажиры еще спали, а палубные все столпились у фальшборта и тихо переговаривались. На берегу пели птицы, и где-то недалеко перекликались петухи. Господи, как нам хотелось на этот тихий берег! Берсенев и Леонидов уже где-то хлопотали и суетились. Откуда-то «из сфер» появился чисто выбритый Бертенсон в кремовых перчатках (он путешествовал в передней каюте-люкс главного агента пароходной компании) и сообщил, что есть радиограмма грузинского правительства о том, что в Поти будут высажены только грузины и члены миссии графа Мартеля. Остальных «иностранцев», то есть не грузин, повезут в Батум, где есть возможность подвергнуть их карантинной проверке. Но вообще Грузия не хочет впускать к себе лишних едоков, так как продовольственное положение там тяжелое. Кроме кукурузы и винограда, в Грузии ничего не растет, а ввозить из России, где идет гражданская война, ничего нельзя. Так что, вернее всего, нас повезут куда-нибудь в Турцию, где для русских беженцев

организуются особые лагеря.

Но даже эти страшные прогнозы не могли нам испортить настроение — так дивно пахло и звучало с берега. Через несколько часов был спущен трап, и по нему сошли два-три десятка пассажиров из первого и второго класса, матросики снесли их чемоданы, пассажиры сели на извозчиков, которых приехало гораздо больше, чем пассажиров, и уехали.

Мы смотрели и завидовали. Проверка на берегу была настолько строгой, что даже Берсенев на берег не попал. Лебедки наши что-то не спеша грузили, вот-вот кончат, и мы отплывем…

Настроение начало портиться. Вдоль всего порта на пристани стояли и ходили грузинские военные в толстых желтых куртках. Они начали переговариваться с пассажирами, и кто-то из наших сказал им, что мы из Художественного театра. Сказал, конечно, совсем случайно. («Кто такие?» — «Артисты». — «Откуда?» — «Из Москвы». — «Цирк?» — «Нет, Художественный театр».) Неожиданно этим заинтересовались — кто-то из них бывал в Москве, стали звать какого-то Серго. Пришел Серго — это был человек лет под сорок, важный, стройный, красивый. Он присмотрелся к нашим, и вдруг всю его важность как ветром сдуло: «Ай-ай, Книппер, клянусь богом, Книппер! Ай, Качалов, ай-ай! Ольга Леонидовна, Владимир Иванович», — путал он в восторге их имена. Вдруг он увидел Германову, присел, ударил себя руками по коленям и завопил: «Мария Николаевна, вы меня помните, я в „Юлии Цезаре“ вам ковер стелил! (Мария Николаевна в „Цезаре“ играла уличную танцовщицу.) Помните?» Под мгновенный суфлерский свирепый шепот Берсенева Германова произнесла: «Ну конечно же, помню!» «Сережа, Сережа», — суфлировал Берсенев. «Помню вас, Сережа», — протянула Германова. Серго был в полном восторге. Около него собралась целая толпа военных.

Оказалось, что это государственная милиция, нечто подобное жандармерии или войскам внутренней охраны, что ли. Сам Серго оказался начальником милиции и чем-то вроде прокурора. Учась в Москве на юридическом факультете Московского университета, он был сотрудником в Художественном театре. В Поти он совмещал функции прокурора, начальника милиции и руководителя местных любителей драматического искусства. Для последнего обстоятельства то, что он «играл» в МХТ, имело огромное значение.

То, что его «помнят» артисты, что назвали его «Сережа», подтверждало, видимо, многолетнее хвастовство его московскими успехами и близостью с актерами МХТ. В этот черезбортный разговор вступало все больше людей и с той стороны и с нашей.

Нашлись и еще милиционеры и просто жители Поти, бывавшие в Москве и знавшие МХТ. Наши пожаловались на негостеприимность грузин, что вот, дескать, нас, которые так стремились в прекрасную Грузию, в нее не пускают и придется нам искать приюта где-нибудь в Турции или Италии и т. д. Это вызвало рев и стон возмущения той стороны. Еще немного — и они бы бросились «на абордаж» «Праги». Уже заволновалось командование парохода. Но Серго успокоил своих и, крикнув нашим: «Будьте уверены, вы будете в Грузии!» — помчался куда-то, стоя на извозчике. Оставшиеся ободряли наших и уверяли, что с нами пароход не уйдет — его просто не выпустят, пока все артисты не будут на берегу.

Берсенев каким-то образом оказался-таки на пристани и сумел дозвониться в Тифлис, к А. Р. Цуцунаве, который там возглавлял Государственный оперный театр. Тот ли снесся с правительством, «Сережа» ли этого добился, но вскоре после полудня нас со всем нашим имуществом высадили на пристань.

Толпа, состоявшая из всех именитых граждан города Поти во главе с городским головой, из милиционеров и из нескольких десятков мушей и извозчиков, с криком расхватала наше имущество, с криком распределила его по десяткам извозчиков и собственных выездов, и мы с криком понеслись в город. Крик был оттого главным образом, что именитые граждане, пришедшие со своими чадами и «клиентами», отнимали друг у друга своих почетных гостей — членов нашей группы.

Отец, мать, с трудом вырвавшаяся от членов семейства самого городского головы Ольга Леонардовна и я оказались гостями доктора-гинеколога Гагуа. Он явился в порт в собственном экипаже на паре лошадей, в сопровождении кучера с кинжалом. В экипаж посадили наших, а на извозчика сел сам Гагуа и я с вещами.

Гагуа гнал извозчика так, что тот, чуть не запалив свою лошадь, примчался к дому раньше, чем приехали наши. К их приезду хозяин успел собрать у своего подъезда человек двадцать родственников и соседей, чтоб была достойная встреча.

Нас водворили в просторном провинциальном доме, в самых лучших комнатах: моих родителей — в спальне хозяев, Ольгу Леонардовну — в гостиной, меня — в кабинете, где стояло роскошное никелированное гинекологическое кресло. Так же сказочно были устроены и все остальные. Сказочность была не в роскоши или в каком-нибудь необыкновенном комфорте, нет, в провинциальном Поти его не было, но было самое дорогое для скитальцев — восторженное радушие, стремление сделать наше пребывание в каждом доме лучше, радостнее, веселее, чем в

соседнем. В этом бешеном соревновании гостеприимства тратились последние деньги, резались любимые петухи, куры и индейки, истреблялись самые молодые барашки, открывалось заветное вино.

Нас поили и кормили с утра и до утра, глушили хоровыми песнями и ритуальными возгласами, перед нами плясали и били посуду. Весь город встал дыбом.

На концерте, который был организован 24 марта в помещении кинотеатра, народ стоял стеной. Чтобы вместить хоть небольшую часть желающих, вынесли половину стульев, и все-таки толпа стояла на улице, под окнами и дверями.

Но самым прекрасным временем для меня были короткие часы между «застольями», когда можно было полностью насладиться тишиной и покоем этого райского уголка. Где-то гремят пушки, рвутся с визгом снаряды, свистят пули, вопят, ругаются, хрипят и бредят люди. А здесь поют петухи, мычат коровы, перекликаются своими хрипловато-ласковыми голосами хозяйки-соседки. Так мирно, так покойно… И как это все ценишь после страшных, норд-остных ночей Новороссийска, после ужасов погрузки, после всего этого бездомного года.

Конечно, это не дом, не конец скитаниям, еще далек их конец, да и будет ли им конец вообще, — но это такая сладкая передышка, самая буквальная, когда можно глубоко вздохнуть, осознавая, что никто и ничто тебя не заставит вот сию минуту что-то делать, куда-то торопиться, что никто и ничто не грозит твоим близким, что и они и ты в тихой, защищенной от бурь гавани.

Леонидов уехал в Тифлис, и через два дня Берсенев радостно сообщил нам, что вечером и мы отбываем туда в специально выделенном салон-вагоне и вагоне первого класса.

Дороги я не помню, знаю только, что съесть и выпить всего, что нам натащили в дорогу наши милые хозяева, было невозможно.

В Тифлисе на вокзале нас встретили А. Р. Цуцунава, который когда-то был сотрудником в Художественном театре, актеры, музыканты, художники театра, представители парламента и министерства просвещения. Как-то вышло так, что все, что имело хоть какое-нибудь отношение к искусству и литературе, вообще к культуре, либо возглавлялось, либо обслуживалось людьми, учившимися в Москве и любившими наш театр. Все было легко устроить, ни в чем не было отказа, все с радостью шли нам навстречу.

Нас с большим трудом разместили наилучшим образом по гостиницам и меблированным комнатам. Это было очень трудно,

так как город был перенаселен петроградцами, москвичами, киевлянами, ростовчанами и т. д. Тифлис был тогда столицей меньшевистской Грузии, в нем жили члены грузинского парламента, министерские работники, стоял большой гарнизон, находился дипкорпус и много иностранных коммерсантов. И, несмотря на это, нас поселили очень хорошо. Наше семейство получило целую квартиру, которую освободила актриса Жихарева, уехавшая служить в Баку. Ольгу Леонардовну поселили у некоего Сегала, крупного дельца, имевшего свой дом на улице графа Гудовича, неподалеку от нас. Бакшеева, Комиссарова и Александрова пригласил жить к себе директор Удельного виноделия. Там они ежедневно принимали участие в дегустации вин — занятие для них увлекательное…

Была весна, ранняя южная весна, когда цвели миндаль, персики, абрикосы, каштаны. Город благоухал весенним цветом. Но еще больше он благоухал вином и дымом жарящегося мяса…

Какой это удивительный народ — грузины! Народ — художник жизни, мастер быта. Никакой народ не умеет так красиво пить, пировать, петь, отдыхать. И как артистически, как художественно они это умеют! И умеют все до одного. И везде и всюду, где мы бывали, это было не пьянство, а великолепный ритуальный обряд. Везде пелись чудесные подблюдные и чарочные песни, везде плясались изящнейшие в мире танцы, произносились блещущие изощренными оборотами мысли речи. Везде блюлись чудесные древние и благоуханные, как старое вино, обычаи.

После взбаламученного Юга России Грузия показалась нам покойной, мирной, радовала какой-то особенной старомодной восточной любезностью, неторопливостью. Были, конечно, там свои сложности, но мы в них не вникали. Нас они приняли как-то необыкновенно восторженно. В тяготении к нам объединялись разнообразные слои общества, особенно же, конечно, актерство, и грузинское и русское.

Театр был нам предоставлен на самых выгодных условиях.

Начались репетиции и подготовка оформления. И. Я. Гремиславскому дали возможность подбирать любые декорации из запасов как оперного театра, так и ТАРТО (театра Артистического общества — это был драматический русский театр на Головинском, где сейчас Театр имени Руставели). Оперный театр предоставил ему свои декорационные мастерские, инвентарь. Но так как погода была дивная, работа шла главным образом во дворе театра.

Вскоре появился наш Ваня Орлов. Он на шхуне больше недели добирался от Новороссийска до Гагр. По дороге, на

траверзе Сочи, их обстреляли и чуть не потопили. В Гаграх их арестовали как контрабандистов, и Ваня сидел в тюрьме, откуда его выручил Берсенев, которому он ухитрился дать телеграмму следующего содержания: «Тифлис, Берсеневу. Выручайте муку Гаграх. Иван». И то за оплату такого куцего текста он отдал свой любимый солдатский ремень. Но телеграмма дошла, и через два-три дня Орлов был с нами, а мука была продана, правда, за гроши, так как владелец шхуны загнал ее либо задешево, либо в свою пользу. Все-таки несколько тысяч грузинских рублей оказались нам очень полезны.

Берсенев долго пилил Орлова за то, что он, не сумев сам продать муку, причинил товариществу большой убыток. Ваня Орлов в пьяном виде плакал, ругал Берсенева и всю группу недорезанными буржуями и грозил, когда попадем к своим, «всех, которые сволочи, к стенке поставить». А в трезвом виде он работал как вол, но, так как работы было много, Берсенев нанял на службу меня, сказав, что я и буду его, Берсенева, «первым помощником». А пока чтобы я помогал Ивану Яковлевичу по декорациям и реквизиту и мебели.

И вот с утра до вечера мы размывали старые декорации, грунтовали их вновь, и Иван Яковлевич писал на них стенки для павильонов «Вишневого сада» и «Дяди Вани». Было ясно, тепло, но еще не жарко — стояла мягкая южная весна, апрельские дни.

К 15 апреля все было готово: подобрана мебель и реквизит, переписаны декорации, наряжены белыми тряпочками «цветущие» вишневые деревья. Подновлены, а частично сшиты вновь костюмы. Вымыты, завиты и причесаны парики. Как-то все было удивительно вовремя, без обычной предпремьерной паники и спешки, готово. Были свободные дни, в которые мы много гуляли по Тифлису и очень его полюбили.

Это был совсем другой город, чем теперешний Тбилиси. Кроме Головинского проспекта (теперь проспекта Руставели) и еще нескольких улиц вполне европейского и столичного стиля, улички были узенькие, вымощенные продолговатыми, поставленными на ребро булыжниками, сходившимися елочкой к середине улицы, где был сток для воды. Дома маленькие, с садами, с внутренними дворами и колодцами, длинные высокие заборы из камней… Часть улиц круто поднималась в гору, часть лепилась вдоль гор, и каменные заборы подпирали уровень земли двора или сада так, что высоко над тротуаром часто было видно пасущихся коз. В этих уличках было тихо-тихо, только по утрам пронзительно кричали продавцы мацони, развозившие его на ишаках. Они выпевали свое «мацо-мацони!» — и иногда похоже на них кричали их мохнатые крошки-ишаки.

Зато улица Старого города — Армянский базар — шумела с утра до вечера. В каждом доме ее помещалось по нескольку мастерских-лавчонок, где продавали и изготовляли по заказу кавказские костюмы, шляпы, сапоги, седла, уздечки, ярма для буйволов, вьюки для лошадей и ишаков, металлическую посуду, трубки и мундштуки, трости и нагайки и т. п. Тут же готовили и продавали, вернее, подавали хаши и хачапури, шашлыки и люля-кебаб, сациви и харчо… Продавали вино и чачу (водку из винограда), чучхеллу, халву, кишмиш и сухие фрукты всех сортов. Продавцы и покупатели орали, торгуясь, мастера стучали и звенели. Это все описано десятки раз всеми, описывающими Восток, но удержаться и не написать об этом, когда вспоминаешь эту прелесть, — невозможно.

Даже Кура была совсем другая, чем теперь: она бешено теснилась между скал и домов, которые нависали над ней своими балкончиками и галереями. Шоколадная, подернутая пеной вода то покрывала, то обнажала поросшие рыжей травой камни и черные, лоснящиеся спины купающихся буйволов. Ишаки, а особенно буйволы придавали улицам города какой-то неповторимый колорит. Поражали странная, ни на что привычное не похожая форма рогов, цвет кожи, загадочное, какое-то древнеассирийское выражение буйволиных морд. Крошечные, тонконогие ишачки с неправдоподобно, несоразмерно их изяществу и хрупкости огромными вьюками, — иногда на ишаках еще сидели задумчивые старики с длинными седыми усами. Муши — низкорослые, коротконогие и кривоногие потные бородачи в какой-то особой кустарной обуви, с древними, обитыми кожей деревянными «козами» на спине. На этих «козах» они носили шкафы, огромные диваны, кули угля, бочки, связки досок и бревен. Иногда их самих почти не было видно под таким грузом, только медленно переступавшие ноги и кроткие, напряженные глаза да мокрые от пота носы и усы под втрое-вчетверо превышавшим их размеры грузом…

Пока готовились декорации и доигрывались уже до нашего приезда объявленные и проданные оперные спектакли, наши съездили в Батум, где 8 апреля сыграли «Врата», а 9-го — спектакль-концерт. «Врата» прошли благополучно и с большим успехом, а во время концерта пошел такой сильный тропический ливень, что представление пришлось прекратить — театр был железный, и дождь грохотал по нему так, что ничего не было слышно.

Итак, 15 апреля мы открылись в Тифлисе. Шел «Вишневый сад».

Все было парадно, театр был переполнен.

Партер и ложи были полны грузинской и петербургской аристократии, московской и тифлисской буржуазии, грузинской, армянской и русской интеллигенции. Оркестр был заполнен актерами, главным образом труппой оперного театра.

Как шел спектакль, я, конечно, не помню. В моем юношеском дневнике, который каким-то чудом у меня сохранился, среди всяких любовных воздыханий и стонов уязвленного самолюбия есть запись о том, что «все было очень скверно» — не трогателен Василий Иванович, не смешон Комиссаров (Епиходов), грубы трюки Александрова (Яши) и Берсенева (Пети), не обаятельна Краснопольская (Аня), «отвратительные декорации», плохи сцены гостей. Даже Книппер мне показалась «фальшивой». Похвалил только Массалитинова (Лопахина) и Крыжановскую (Варю). Думаю, что это от случайного мрачного настроения, но, может быть, и от необычно холодного приема, которым был встречен спектакль и который повлиял на мое восприятие его.

А успеха настоящего действительно не было. Он пришел значительно позже, когда зал наполнила обычная публика, покупавшая билеты в кассе, а не получавшая их в конвертах.

Внешний успех был — семь-восемь огромных корзин цветов от именитых граждан, дирекции театра; десятки букетов от «поклонников талантов». Занавес открывали раз шесть-семь. После спектакля на сцену пришел Цуцунава и от имени дирекции театра пригласил всю труппу на раут.

Я туда зван не был и уныло потащился домой. Может быть, этим и объясняется мрачность записи в дневнике. Но какое-то зерно истины в записях было: иначе почему бы, сыграв «Вишневый сад» два раза (15 и 16 апреля), его не ставили до 6 мая? Да и потом этот спектакль шел не часто, так же как и «Дядя Ваня». Большой успех имели «На всякого мудреца довольно простоты» и «У врат царства».

От этого очень загрустила Ольга Леонардовна, и хотя потом и «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» завоевали свое достойное место, но, чтобы ее утешить и удовлетворить, было решено поставить «У жизни в лапах». Расходился спектакль отлично — фру Гиле, Баст, Блуменшен, кузен Теодор и лейтенант Люнум — московские, Гиле дали Тарханову, и он был не хуже Лужского; Фредриксена — Массалитинову — он был намного лучше Вишневского; Гислесена — Шарову (вполне прилично), фрекен Норман — Краснопольская (в Тифлисе ее голубые глазки, белокурая головка и пухленькая фигура имели сногсшибательный успех) была больше чем удовлетворительна.

Начались репетиции. Оформление Иван Яковлевич сделал очень хорошее — в сукнах с деталями: в первом акте ярко-желтая

шелковая занавеска и огромное количество антиквариата; второй акт — звездное небо на черном бархате; в третьем акте — огромный красный диван (из фойе театра) со специально сделанными «футуристическими» подушками на нем. Долго бились с музыкой — в Москве исполнялась изумительная музыка Ильи Саца, здесь ее восстановить не удалось. Бертенсон привлек своего петербургского приятеля — композитора Гартмана, который написал новую музыку. Была она, конечно, несравненно хуже сацевской, но и Ольга Леонардовна и Василий Иванович примирились с ней.

После почти месяца репетиций, 18 мая «Лапы» были сыграны и успех имели больше, чем все до тех пор показанное.

Двадцать седьмого мая сыграли еще одну премьеру — «Карамазовых». Она также имела огромный успех. Чеховские спектакли принимались чем дальше, тем лучше, но и «Мудрец», и «Врата», и особенно «Карамазовы» и «Лапы» (прежде всего) нравились Тифлису больше.

Ольге Леонардовне сшили четыре новых туалета, шляпу, манто. В Тифлисе оказалась какая-то замечательная петроградская портниха, которая не только шила по последней парижской моде, но и торговала моделями из Парижа. Берсенев очень кряхтел и жался, но ценой сокращения выдач «на марки», под нажимом режиссера спектакля Литовцевой (а уж что-что, но нажать, когда дело касалось спектакля, ею выпускаемого, она умела здорово), деньги на гардероб нашей премьерши выдал. Правда, самый скупой в нашей группе — Паша Павлов — очень негодовал. Но спектакль себя окупил очень быстро, и Павлову пришлось замолчать. Кстати, о нем. Он больше всех волновался — сколько выйдет «на марку», но спросить об этом не решался, так как Берсенев не любил раскрывать этого секрета, он всегда любил ошарашить труппу неожиданно большой выдачей, а если дела были плохи, он тем более не любил таких вопросов и сообщение о плохой выдаче подавал под какую-нибудь трагедию или панику, чтобы вопрос о плохих финансах оказался сравнительно мелочью.

Так вот Павлов всегда спрашивал так: «Ваня (Берсенев), вот Петя (Бакшеев) интересуется, сколько у нас выйдет на марку в этом месяце?» А Пете до этого никакого и дела не было — он жил как птица небесная… Иногда Паша попадался, потому что Бакшеев слышал его вопрос и рычал на него: «Зачем врешь, я и не думал интересоваться!» А как-то, когда Паша спросил о том, когда и сколько заплатят, и прибавил: «Николай Григорьевич интересуется», — Берсенев ответил: «Я Коле сам сообщу». Павлов остался в дураках, а мы все еще долго очень смеялись.

Надо сказать, что жизнь складывалась так, что надо было иметь какое-то особенно уж развитое чувство любви к деньгам, чтобы ими интересоваться. На еду хватало выдачи и на одну марку, а вещи покупать какие бы то ни было, имея в виду, что лишний чемодан придется таскать самому, мог только больной жадностью.

Жили мы сытно, и большинство — пьяно. Банкеты, приемы и вечеринки шли одни за другими. Куда-нибудь звали после каждого спектакля. Сегодня — грузинские актеры, завтра — армянское студенчество, послезавтра — городская управа, потом адвокатура, медицинское общество, инженеры-путейцы и т. д. и т. п.

Одна из самых грандиозных вечеринок была 22 мая, в день именин трех Николаев — Н. Г. Александрова, Н. О. Массалитинова и Н. Н. Ходотова — замечательного актера Александринского театра, который, заболев в Крыму, перебрался оттуда в Грузию и очень подружился с нашими. Николай Николаевич был очень интересным, обаятельным и остроумным человеком. Это был центр петербургской высокой богемы, того актерства, которое соприкасалось с высшим светом и одновременно было связано с самыми интеллектуальными кругами поэтов, писателей и художников Петербурга. Ходотова ценили и любили все: актеры, поэты, философы, цыгане, гвардейские офицеры… Очень полюбили Николая Николаевича и в Тифлисе.

Именины праздновали в здании оперного театра. После спектакля (шел «Мудрец»), как только разошлась публика, в большом фойе были накрыты столы на сто восемьдесят — двести человек — вся наша труппа, труппа театра миниатюр «Кривой Джимми», который тоже закончил свои спектакли по Югу России в Тифлисе, много актеров оперного театра, драматические актеры Тифлиса — и русские и грузины, художники, музыканты, поэты.

Один тамада не смог бы справиться с этим застольем, их было несколько — целая группа, но главным был изумительный поэт, обаятельный Паоло Яшвили. Это придало всему празднику поэтический и романтический стиль древнекарталинского пира. Тамады соревновались в тостах; Паоло — красавец, высокий, стройный, с глазами оленя, с могучим, рокочущим и ласкающим голосом, подымал серебряный рог, обхватив его длинными прекрасными пальцами, и читал-пел свои рифмованные тосты и по-грузински и, шутливые — по-русски, вроде; «Здесь много стройных женских шеев, да здравствует Петр Бакшеев!» С рояля сняли крышку, и на ней, поднятой на вытянутых руках самых рослых мужчин, замечательный танцор — князь Ясе Андроников

— танцевал наурскую.

Захотела станцевать так же на крышке рояля наша Ольга Леонардовна, могучие руки взбросили ее на крышку, она оказалась на черном лаке ее и на высоте двух с половиной метров станцевала какой-то бешеный танец. Потом она бросилась вниз, и ее подхватили десятки мощных рук. Ее обожали всем столом — к ее веселой, бесшабашной жизнерадостности тянулись все сердца. Шел ей тогда пятьдесят второй год. Сколько в ней тогда было сил! Играла, репетировала, совершала прогулки по городу и за город, в горы…

Утром, когда публика уже становилась в очередь к кассе театра за билетами на спектакли «художественников», из фойе еще слышались звуки гитары и цыганские песни, под которые наиболее крепкоголовые, уже без тостов, пили последние «чарочки». Но тифлисцы в этом дурного не видели, наоборот, умение петь и веселиться внушало им только большое уважение.

После выпуска всех пьес репертуара и новой постановки «У жизни в лапах» начались интенсивные репетиции пьесы Бергера «Потоп». В данном случае роли были распределены так, что ни Качалов, ни Книппер, ни Германова не были заняты. Из «стариков» был занят один М. М. Тарханов, но в небольшой роли хозяина бара Страттона. В этой роли он легко мог бы быть в любую минуту заменен. Это была целиком и полностью новая постановка.

Если во всех других пьесах репертуара группы большинство ролей исполнялось уже игравшими их ранее, то в «Потопе» ни одна роль не была раньше сыграна никем из артистов группы. Пьеса шла в Первой студии в постановке Вахтангова, под руководством Сулержицкого и Константина Сергеевича. Играли ее Хмара, Чехов, Гейрот, Бакланова, Сушкевич, Смышляев и другие. Теперь распределение было такое: О'Нейль — Бакшеев, Фрэзер — Павлов, Бир — Берсенев, Лицци — Орлова, Страттон — Тарханов, Чарли — Васильев, актер — Александров, изобретатель — Комиссаров. Постановщиком спектакля была Литовцева.

Моя мать страстно хотела, чтобы основная мысль пьесы, как она ее понимала, — объединение людей перед лицом смерти, исчезновение всех искусственных преград между одним человеком и другим, когда рушатся социальные и экономические различия, — совпала, вернее, оказалась созвучной, близкой судьбам нашей группы.

В моментах нашего объединения перед лицом опасности (теплушка, погрузка на «Прагу» и т. д.), в острых минутах нашей жизни она пыталась найти те чувства, которыми живут герои пьесы. Мне кажется, ей это плохо удавалось. Думаю, что она,

боясь высоких слов, стесняясь взывать к истинным чувствам, опасаясь откровенного цинизма Павлова, Комиссарова, скрытой иронии Берсенева, наивного примитивизма Бакшеева, не сумела возбудить и пробудить эти чувства и мысли.

Репетиции были скучными и техническими. Искали характерности, играли образы. Мать мучилась, но ничего не могла сделать. Пьеса не пошла ни в этом сезоне, ни в осеннем.

В моем дневнике за 31 мая записано: «Вася пришел в 6 утра от Церетелли. Принес письма из Москвы. Встал, сижу голый, читаю, дрожу, волнуюсь — не могу ничего разобрать. Письма от Марии Петровны, Лидии Зуевой, Москвина, Лужского, Леонидова, Санина, Эфроса… Жить в Москве, безусловно, можно и нужно скорее ехать туда. Очень хочется. Опять увидеть родные улицы, дома, гимназию, театр».

Действительно, хотелось очень. Не знаю, насколько были искренни другие, говоря о своем стремлении в Москву, на родину, но близким мне, отцу, матери, Ольге Леонардовне, Ивану Яковлевичу Гремиславскому после этих писем, первых из Москвы, первого слова, долетевшего до нас после годового отрыва от нее, вернуться захотелось страстно. Тоска по Москве, по театру ими владела невыносимая. Что толку в сытой, чистой, парадной жизни, что толку в успехе, в чествованиях. Ведь это такой пустяк по сравнению с тем, что осталось там… Ведь вся эта петербургско-московская и «парижско»-тифлисская дребедень — ведь это только «косметика» России, а настоящая Россия — там.

И. М. Москвин писал о том, что группе надо вернуться, чтобы поддержать, а может быть, спасти театр, но он не приукрашивал жизни в Москве: «Едим пшено, играем „Дно“…» и т. д. Так вот, этого пшена захотелось так, что в душе заныло. Пусть пшена, но разделенного с самыми лучшими людьми мира.

Василий Иванович, Ольга Леонардовна и мать сидели с этими письмами и, как драгоценные камни, как цветы, перебирали сверкающие и благоуханные имена: Ваня Москвин, Костя, Василий Васильевич, Володя, Леня, Мария Петровна, Лидочка… Но ведь там были не они одни, там были и Блок, и Горький, и Николай Андреев, и Кардовский, и Шаляпин, и Собинов, и Нежданова, и Гельцер, и, и, и, … Москва, Родина, Россия — все самое близкое сердцу, все, перед чем оно замирает, чем гордится, что любит. Почему мы должны быть здесь — со сброшенной ею мишурой, или, еще страшнее, с отпадающими от прекрасного тела пиявками, почему нам не быть там, где, питаясь пшеном, чечевицей, сахарином, строят новую жизнь, создают новое искусство, где родится новая великая страна… Если бы в эти дни приехал кто-нибудь молодой, энергичный и сказал

нашим: «Собирайтесь, завтра мы едем в Баку и оттуда в Москву, я везу вас», — значительная часть группы пошла бы за ним. Но никто не пришел. Вернее, пришел, но совсем с другими речами. Появился бежавший из Москвы Балиев — он рассказывал об «ужасах чека», о презрении, антипатии к нашей группе во всех имеющих значение кругах, и партийных, и интеллигентских, и чисто актерских… Говорил, что путь в Москву нам заказан: «качаловская группа» — это синоним предательства, подлости, шкурничества. Когда кто-нибудь зажирается, слишком много требует, очень уж тянется к «обеспеченности», предпочитая ее искусству, — ему говорят: «Тебе место у Берсенева, он тебя самым сладким накормит». Он, конечно, преувеличивал, но на нас от этих рассказов нападала тоска.

Появились и еще люди «оттуда» — кто проклинал и ругал все там происходящее, кто, осторожно озираясь, говорил, что есть там все-таки кое-что хорошее, но все говорили, что возвращаться нам невозможно сейчас, пока еще не кончились голод, разруха, пока еще идет война с Польшей и Врангелем, пока еще в сердцах всех, перенесших эту страшную зиму, кипит злоба к тем, кто сбежал и не был с ними, предпочтя «белую булку», — нет, надо подождать.

Особенно пугали родителей моей судьбой, грозя либо «стенкой», либо штрафными ротами. Берсенев хотел вернуться только тогда, когда группа и он сам сможет прийти в театр с почетом, а не «блудным сыном».

Группа была на грани распада — кроме уже названных вернуться хотели Бакшеев, Орлова, Александров, Крыжановская — это был бы полный конец, остальным пришлось бы либо присоединиться к ним, либо разойтись по театрам Тифлиса, Батума, Эривани. И решили, что надо сохранить группу.

Спектакли в Тифлисе кончились. Первого июня сыграли «Карамазовых». Прощанье с публикой было великолепным — дождь цветов, десятки раз поднимался занавес, крики: «Не уезжайте!», «Не покидайте нас!», «Ура!», «Слава москвичам!» и т. д. Толпа в несколько сот человек у актерского выхода…

На другой день — общее собрание группы, доклад Берсенева: очень хорошая выдача на марку, столько никто не ожидал. Кроме того, организовали поездку на три дня в Батум на сказочных условиях: деньги уже полностью выплачены, и на днях будет выдано все. Денег хватит даже одномарочникам на три месяца. Можно хорошо отдохнуть, а в августе соберемся и тогда уж решим — может быть, и в Москву двинемся, к тому времени это будет легче и менее опасно.

В конце доклада — бомба: «Для отдыха актеров МХТ грузинские правители по просьбе дирекции оперного театра предоставляют им дворец великого князя (кажется, Сергея Михайловича), так называемый „охотничий домик“ в Боржоме. Предоставляют бесплатно, с бельем, посудой и обслуживанием с 1 июля по 15 августа». Значит, деньги, комфорт и отдых в дивном Боржоме… А там — Москва, желанная, прекрасная, но на пути к ней столько мук, опасностей… Здесь почет, уважение, привилегии — там неизбежность обвинений, может быть, наказания. Сердце человека слабо — закрыли уши души, заткнули их хорошей выдачей на марки и «охотничьим домиком». Отложили решение до осени. А пока жили все той же жизнью — праздником в городе-духане.

7 июня ученики Театрального училища и Консерватории устроили для нашей группы поездку в Мцхету. У развалин древнего монастыря жарили на углях шашлыки чуть не из целых барашков, пили вино, танцевали, пели, играли в какие-то национальные игры. Они все были такими ловкими, грациозными в танцах, музыкальными.

Наши по сравнению с ними казались такими неуклюжими, неумелыми… Хотя пели и наши хорошо. Когда я сказал об этом Василию Ивановичу, он сначала согласился, но потом вспомнил вечеринки в Москве и в Петербурге, как там умели веселиться…

И опять заныло сердце от тоски, от тяги в Москву… И так было во всем, все, как больное место, натыкаясь на любой предмет, поднимало эту тоску, это волнение, стремление домой. Но решиться на это, проявить энергию, волю, ни Василий Иванович, ни другие, думавшие и чувствовавшие, как он, не могли, не умели.

За этот год они привыкли к полному подчинению, абсолютной обслуженности, разучились что бы то ни было решать и делать сами. Это был год блаженного рабства, занеженности, полной отвычки от такой тяжелой в трудные времена свободы воли. Они все были в состоянии потери воли, за них все решали, их ставили перед готовыми положениями, которые всегда были самыми удобными из всех возможных… Да, надо было еще раз признать сверхчеловеческую силу воли Ивана Николаевича и смириться.

И смирились еще на целых два года. К сожалению, я должен признать, что большую долю хоть и невольной вины за невозвращение в этот раз мне приходится взять на себя — уж очень страшно было моим родителям везти в Москву сына-белогвардейца.

В первых числах июля мы все переехали в Боржом.

Предоставленный нам «охотничий домик» был большим двухэтажным домом в десять-двенадцать комнат и с флигелем для прислуги в четыре комнаты. Во всех этих комнатах поселилась почти вся наша группа. Мы трое — в одной большой гостиной, куда были привезены кровати, над нами — Ольга Леонардовна с Крыжановской, а потом к ним вселился пробравшийся к нам из Москвы индус Сураварди. Его поселили у них за шкафами, хотя это и было Ольге Леонардовне очень неудобно, но она не смогла ему отказать, как это сделали все другие; даже М. Н. Германова, к которой он, собственно, и приехал, сказала, что у них комната маленькая, а их уже и так трое (она, муж и сын).

Об этом Сураварди надо рассказать. Это был индус из аристократической семьи, его отец был видным общественным деятелем и редактором крупной индийской газеты. В детстве, еще до школы, он увидел большую карту мира, на которой его заинтересовала огромная зеленая страна совсем рядом с Индией. Он спросил, что это такое, и, узнав, что это Россия, решил непременно побывать в ней. Окончив школу в Индии, он поехал в Англию, где поступил в Кембридж и окончил его. Своей дипломной работой он избрал русскую литературу и в 1916 году поехал в Москву. Тут его застала революция. Компания литературоведов и поэтов, в которой он был, шла за Блоком, А. Белым и другими, признававшими романтику революции. Так отнесся к событиям и он.

В 1918 году Сураварди предложили работать в каком-то из отделов Наркомпроса. Он охотно согласился и работал до весны 1920 года как самый рядовой советский служащий — получал паек, мерз, голодал. Но работа и среда, в которой он был, вдохновляли его и помогали ему переносить все тяготы тогдашнего существования. После полуторагодового перерыва он каким-то образом получил письмо из Индии от отца с просьбой вернуться домой. Он и решил пуститься в этот, в те времена труднейший путь.

В 1917/18 году он, познакомившись и подружившись с М. Н. Германовой, помогал ей в постановке спектакля «Король темного чертога» Рабиндраната Тагора, который Мария Николаевна вместе с Н. С. Бутовой ставила в помещении бывшего театра «Летучая мышь». Зная, что Мария Николаевна в Тифлисе, он решил начать свой путь на родину с Тифлиса и явился к нам туда перед самым нашим переездом в Боржом.

На заключительном сезонном общем собрании группы его решили включить в нашу группу. Когда наши «маркисты» (Павлов, Греч, Васильев), взволновавшись, так как это в какой-то

степени било их по карману, спрашивали: «В качестве кого же будет этот индус работать?» — им ответила не Германова, которой следовало ответить, а Ольга Леонардовна: «В качестве интеллигентного человека». А моя мать добавила: «В качестве нашей художественной совести».

Так или иначе, но он был принят и «поставлен на довольствие». Наше семейство, особенно Ольга Леонардовна и я, с ним тесно сдружились. Мы гуляли с ним, читали Пушкина, Блока, Балтрушайтиса (он переводил его стихи на английский язык), читали Байрона, Шелли и Лонгфелло по-английски, занимались с ним английским языком. Он читал нам лекции об индийской философии, религии, этике и эстетике; очень много рассказывал о Кембридже, о жизни английского студенчества и вообще об Англии.

Покрытые прекрасными хвойными и смешанными лесами горы вокруг Боржома, горные ручьи и речушки, впадавшие в Боржомку, поселки и деревни высоко в горах, куда мы совершали целодневные прогулки, — все это делало нашу жизнь необыкновенно приятной.

В Боржом к нам приезжали гости из Тифлиса — Н. Н. Ходотов, который несколько дней прожил у нас в комнате, А. Р. Цуцунава и другие.

В августе была организована серия концертов в боржомском парке, в помещении курзала. Был вечер Ольги Леонардовны, Германовой, Василия Ивановича, Бакшеева и Орловой, еще кого-то, не помню.

Десятого августа (случайно в день моего рождения — мне исполнилось девятнадцать лет) был назначен сбор всей нашей группы. Берсенев выступил с обширным докладом, в котором огласил полученное им из Москвы письмо Н. А. Румянцева (управлявшего в те времена всеми хозяйственными делами театра) и выписку из протокола общего собрания МХТ в Москве. Результатом этого собрания явилось следующее письмо в Москву:

«Общему собранию членов Товарищества „Московский Художественный театр“.

Недавно съехались все члены нашей группы, и на общем собрании нашего Товарищества в полном составе мы приняли единогласное решение по волновавшему всех нас вопросу о будущем сезоне. Решение это общее собрание поручило сообщить Московскому Художественному театру нашей Художественной комиссии в лице М. Н. Германовой, О. Л. Книппер, Н. Н. Литовцевой, И. Н. Берсенева, С. Л. Бертенсона, В. И. Качалова и Н. О. Массалитинова нижеследующим письмом:

В течение последних 15 месяцев, волею судьбы отделяющих

нас от Москвы, единственным постоянным нашим желанием было вернуться в родной театр и соединиться со всеми вами.

Обстоятельства сложились так, что осуществить это было невозможно. Сперва военные события мешали нам, а затем в печати появились тревожные сведения, из которых было видно, что возвращение в Советскую Россию не гарантирует личной безопасности отдельным представителям нашей группы. Подвергать же риску кого-нибудь из нас мы не считали себя вправе.

С большой тревогой и волнением, долго-долго ждали мы вестей из Москвы. Наконец, стали доходить до нас письма и короткие записочки от наших товарищей по театру, из которых было видно, что нас зовут в Москву, правда, повинуясь больше голосу сердца, нежели велению разума, что без нас очень трудно и репертуар ограничен до крайности. Вместе с тем мелькали очень определенные опасения, что из-за кризиса с топливом и общей разрухи в предстоящем сезоне в Москве возможна остановка деятельности всех театров вообще. Неполучение никакой официальной бумаги из МХТ мы объясняли себе не только невозможностью руководителей театра взять на себя ответственность за благополучное наше возвращение, но и тем, что в Москве ожидают, когда окончательно выяснится вопрос — будут ли вообще работать театры в наступающем сезоне. В связи с этим мы не предпринимали никаких шагов к осуществлению ни одного из многочисленных возможных планов нашего будущего до получения определенных указаний из Москвы, которых напряженно ждали со дня на день.

И вот около месяца тому назад пришло коротенькое письмо Н. А. Румянцева с копией протоколов общего собрания МХТ — та официальная бумага из театра, которую мы столько времени ждали, наконец была получена. Из протоколов было видно, что план предстоящего сезона МХТ составлен независимо от возвращения нашего в Москву. Даже больше: план этот в случае приезда нашего не подлежал изменению и соединение наше с основной группой МХТ явилось бы в таком случае, как нам казалось, лишь обременением для театра, что очевидно из п. 4 протокола общего собрания членов Товарищества МХТ, гласящего: „Возможное возвращение отколовшейся группы (Качалов, Книппер и др.) не должно и не может до конца операционного года изменить изложенный план, но на случай их возвращения, а также на случай невозможности по какой-либо причине играть в Москве нужно вступить в переговоры для получения одного из театров в Петербурге“.

Обсудив создавшееся положение, группа наша после долгих и

мучительных сомнений, колебаний и переговоров вынесла следующее постановление:

„Считая, что в настоящее тяжелое время единственной и ближайшей задачей театра является сохранение его живой силы, группа артистов МХТ, находящаяся в Грузии, обсудив условия жизни и работы театра в Москве и ознакомившись с официально утвержденным планом будущего сезона, а также не имея гарантий безопасности отдельных членов группы при проезде их через Советскую Россию, постановила: в Москву к предстоящему сезону не возвращаться. Ввиду же того, что основной репертуар группы использован в Грузии до конца, а поставить несколько новых пьес в короткий срок невозможно, группа в поисках другого театрального рынка немедленно приступает к приготовлениям для скорейшего отъезда за границу“.

Подлинное постановление подписано всеми членами группы и признано обязательным для каждого, его подписавшего.

В настоящее время у нас идет весьма сложная и трудная работа по обеспечению нашей поездки деньгами в иностранной валюте и получению соответственных официальных бумаг на право выезда, иностранных виз и т. п. По окончании этой работы и по изготовлении всего необходимого театрального гардероба, которого вне России достать невозможно, мы предполагаем выехать за границу. В принятом нами решении мы руководствовались твердой верой, что, сохранив при современных тяжелых условиях в целости живую силу нашей группы, мы тем самым сохраним для лучшего будущего и наше искусство и наш родной Театр.

1920 г., 10-го августа. Боржом.

Представитель труппы *И. Берсенев*»

После волнений этого собрания, чуть передохнув, приступили к совещаниям по репертуару. М. Н. Германова услышала, что опять возникает разговор об «Осенних скрипках» («этой дешевке и пошлятине», как она говорила), и подняла разговор об андреевской «Екатерине Ивановне», которая, с точки зрения труппы, была не намного лучше. Вкус публики тогдашнего Тифлиса котировался не очень высоко, считали, что успех должны иметь именно пьесы такого сорта. «Екатерину Ивановну» все же провалили; оставили для осеннего сезона «Осенние скрипки» и начали их потихоньку репетировать. Решили продолжать репетиции «Потопа» и в план дальнейшего расширения репертуара внести «На дне» и «Три сестры». Распределение «На дне» было простым — не хватало только подходящей Василисы. Решили пробовать Греч, но, не надеясь на то, что это будет хорошо, решили подумать и о варианте:

Книппер — Василиса, Греч — Настёнка. Остальное все было ясно.

Большие волнения были с «Тремя сестрами». Все распределялось очень хорошо, остро стоял только один вопрос: кому играть Ирину. Несомненной и ясной не было. Начался бой. Массалитинов и сам и через преданных ему людей выдвигал на эту роль свою жену Катрусю (Краснопольскую).

Берсенев, думая, что для успеха спектакля важнее всего, чтобы Ирина была красива, выдвигал Орлову. Ольга Леонардовна и Нина Николаевна утверждали, что наиболее чеховской, мягкой, лишенной всякой вульгарности является Крыжановская.

Мнение Ольги Леонардовны (признанной хозяйки всех чеховских спектаклей) было бы решающим, тем более что с ней была полностью согласна Литовцева (назначенная режиссером спектакля), если бы совершенно неожиданно за Краснопольскую не встала горой Германова. Мы и тогда не понимали, а уж теперь я и постигнуть не могу, что могло повлиять на эту умную и тонкую женщину, обладавшую большим вкусом и культурой, чтобы она поддерживала на роль Ирины неподходящую актрису. Может быть, просто это было актом своеволия против Ольги Леонардовны, которая, по мнению Марии Николаевны, слишком уж стала хозяйкой дела (она была обижена, что «Екатерине Ивановне» предпочли «Осенние скрипки»), — не знаю, но тут уже и Василий Иванович высказался (а он не любил высказываться) и предложил конкурс всех трех.

Двадцать третьего состоялся показ трех Ирин. Я был всей душой за Машеньку Крыжановскую и торжествовал — большинством голосов утвердили ее.

Размножили роли, и мать начала готовиться к режиссерской работе. Мизансцены все помнил Василий Иванович: ведь он играл в этом спектакле две роли — Тузенбаха и Вершинина. Ольга Леонардовна помнила только свои мизансцены, а все остальные знала смутно, путалась, ошибалась, сбивала с толку других и, когда с ней не соглашались, сердилась и очень мило и смешно обижалась, но очень ненадолго.

Возможность вновь иметь в репертуаре группы любимую пьесу и репетировать одну из своих лучших ролей доставила Ольге Леонардовне такую радость, такое счастье, что она долго сердиться не могла и репетировала с огромным удовольствием и с неутомимостью юной дебютантки.

Одновременно наш портной П. С. Бодулин под руководством И. Я. Гремиславского начал приобретать в Тифлисе все нужное для «Трех сестер» — шашки, шпоры, погоны, портупеи, шарфы, ремни, башлыки, фуражки, офицерские шинели, фуражку учителя и члена земской управы. Сшили у военного портного несколько

офицерских сюртуков, мундиров, тужурок и брюк. Все это было страшно дешево — дореволюционное обмундирование никому не было нужно, а за работу старик военный портной брал сущие гроши: ему было приятно в конце жизни поработать на любимом поприще. Берсенев сам с ним договаривался, сказал ему: «Вы же (а потом уже и „ты“) наш», и «родной», и «дорогой», а потом сказал: «Дорого! Надо подешевле, ведь на кого шьешь-то? Ведь это же реклама на весь мир! Ведь в Париже, Берлине и Варшаве будет написано: военное обмундирование шил Генрих Уманский». Старик был из Гродно; спросил, будет ли группа в Гродно, — Иван Николаевич обещал, что будет и что там тоже на афишах будет его фамилия. Господин Уманский заплакал и взялся шить чуть ли не даром, да еще со своим прикладом…

Но в Тифлисе «Трех сестер» не сыграли, не успели.

Сезон в Тифлисе начали 7 сентября «Осенними скрипками». Эта пошлятина имела бурный успех, едва не затмивший успех «Лап» и «Карамазовых». Сезон этот был коротким, сыграли всего девять спектаклей и 15 сентября «Вишневым садом» простились с Тифлисом.

Спектакль прошел не только и не просто с успехом, это не то слово, а с надрывом — это был спектакль-прощание, спектакль-панихида, спектакль-поминки. Плакала публика, плакали мы все, плакали и работники театра — от дирекции до грека-сторожа и всех его детей от семнадцати до двух лет… Все знали, что мы уезжаем совсем, уезжаем за границу.

Для нас трагедия гаевского семейства — прощание с родным домом — была и нашей трагедией. Второй раз мы пускались в «бег». Но в первый раз, когда мы покидали родную землю, садясь на пароход в Новороссийске, мы там никого не оставляли — не было у нас ни родных, ни друзей, ни уюта-быта на берегу, от которого мы отчаливали. Была только война, кровь, грязь, тиф… Здесь же, в Грузии, мы покидали и друзей, и тепло, и любовь. Здесь впервые за все эти шестнадцать месяцев скитаний мы почувствовали какое-то подобие дома… Но главное — здесь мы ощутили, что настоящий дом — Москва — еще достижим, услышали властный и нежный зов Родины, почувствовали возможность вернуться и… оттолкнули эту возможность. Оттолкнули, может быть, навсегда.

Больше всех мучился Иван Яковлевич Гремиславский. Он очень любил своих стариков — Якова Ивановича и Марию Алексеевну, очень ощущал их тоску о нем и главное — о любимом их внуке Вале. Несколько раз он поднимал вопрос о том, чтобы все-таки остаться и ждать установления Советской власти в Грузии или, еще лучше, ехать в Баку, оттуда начинать

обратный путь к Москве. Заколебались было и другие, но решился вопрос неожиданно и бесповоротно.

В Тифлис приехал полпред РСФСР, он пригласил к себе в особняк полпредства Берсенева и Массалитинова и посоветовал им, правда, неофициально, возвращаться в Россию только западным путем, через Латвию или Эстонию, но отнюдь не через Юг, только что ставший советским, — это было бы безрассудно. К этому добавилось еще одно обстоятельство: какая-то русско-итальянская фирма, которая собиралась делать фильмы где-то около Милана, предложила нашей группе контракт с 1 января 1921 года, по которому мы обязывались снять картину по пьесе «У жизни в лапах», а они выплачивали нам в иностранной валюте сумму, покрывавшую расходы по переезду от Батума до Софии, где мы должны ожидать второго взноса на дорогу от Софии до Милана.

Это было чрезвычайно соблазнительно: на грузинские деньги доехать до места за границей, где мы могли бы играть, было невозможно.

Двадцать седьмого сентября из Батума на Константинополь отходил итальянский товаро-пассажирский пароход «Тренто». Значит, до отъезда оставалось еще десять дней. Сидеть эти дни без дела было невмоготу, и через два или три дня после прощального спектакля в помещении Русского театра был организован «литературный суд» над Художественным театром. Это была очень интересная затея.

Группа вся вместе сидела на «скамье подсудимых», «прокурором» был кто-то из ведущих писателей, «председателем» — видный грузинский юрист, «защитником» — московский журналист и театральный критик Яков Львов. «Свидетелями» были русские и грузинские актеры. Двенадцать человек присяжных выбрала вся публика. Я плохо помню весь ход «судебного процесса», знаю только, что было интересно очень, иногда смешно — например, когда выступил «свидетель» Курихин — очень талантливый актер и конферансье театра «Кривой Джимми». Были и очень серьезные речи. «Допрашивали» ряд «обвиняемых» — они отвечали в меру своих сил и возможностей творчески. Ольга Леонардовна произносила похвалу Художественному театру словами Сарры из «Иванова», Массалитинов — словами Лопахина о маке и дачах и т. д. Последнее слово «подсудимого» было поручено Василию Ивановичу. Он построил его на перефразировке речи Брута, говорил о театральности, истинной, прекрасной театральности, во имя любви к которой была убита ложная театральность — «театральщина»: «Театральность была прекрасна, и мы любили ее,

но она превратилась в театральщину, и мы убили ее. Пусть же этот кинжал…» и т. д.

После недолгого совещания присяжные вынесли вердикт, который признавал Художественный театр лучшим театром в мире.

Кроме этого «суда» в оперном театре состоялся еще персональный вечер Василия Ивановича. Это был грандиозный концерт в трех отделениях, в котором он читал и Гамлета, и Брута, и Антония, и «Листочки», и «Кошмар», и «Цикл о любви», в который входили стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока; читал «Сказку о рыбаке и рыбке» под музыку Черепнина, причем за роялем сидел сам Черепнин.

Три с половиной часа продолжался концерт, публика не давала Василию Ивановичу уйти, требовала еще и еще бисов. Василий Иванович был в совершенном изнеможении, но очень удовлетворен успехом и собой. Это (последнее) с ним редко бывало.

Но вот все это было позади, попрощались мы с дивным городом, с дорогими людьми и 26 сентября собрались на вокзале. Готовились очень торжественные и многолюдные проводы, поэтому Берсенев, чтобы избежать суеты с вещами, обычно мешающей свободному общению отъезжающих с провожающими, велел всем членам группы сдать весь свой багаж мне и Орлову; мы же должны были во время речей, музыки и объятий разнести все чемоданы по распределенным местам.

Так все и произошло — гремела музыка, разливалось красноречие, звенели и чмокали поцелуи, слышались рыдания, а мы в поту и пыли таскали и расставляли по купе чемоданы и баулы. Кое-кто из актеров (Бакшеев, Комиссаров и другие) помогали нам. В центре, среди самой элиты провожающих, находился С. Л. Бертенсон, в своем пальмерстоне, котелке и кремовых перчатках. Его умение никогда ничего не делать иногда смешило, иногда злило Василия Ивановича, но всегда поражало. В этот раз, в связи с моим вспотевшим и умученным видом, поведение Сергея Львовича его очень обозлило, и, когда Бертенсон, войдя в вагон в то время, как поезд уже трогался, спросил: «А где же мои вещи?» — Василий Иванович с паническим лицом сорвался с места, выскочил в коридор и завопил: «Димка, Петя, Сережа, где вы, паршивцы, пропадаете? Где вещи Сергея Львовича? Ольга! Что ты расселась, ищи, неси, а то он беспокоится!» — кричал он, теребя ничего не понимавшую Ольгу Леонардовну. С ним редко случались такие пароксизмы гнева, но, когда случались, он был просто страшен.

Сергей Львович боялся подойти к Василию Ивановичу недели

две, а когда выгружались в Батуме, он нанял себе отдельного носильщика и не позволил никому из нас коснуться своих вещей.

София

27 сентября на рассвете мы были уже в Батуме и к концу дня погрузились и в этот раз тоже на итальянский пароход — «Тренто». Но теперь мы путешествовали со значительно большим комфортом, чем на «Праге». Пароход был товаро-пассажирский, и кают на нем было очень мало. Нам дали три очень хорошие каюты. В одной поместились Ольга Леонардовна с Машенькой Крыжановской (Крыжановская была у нас единственная одинокая девушка — все остальные были при мужьях), в другой — М. Н. Германова с мужем и сыном, в третьей — Василий Иванович и Нина Николаевна. Мы, остальные, включая и Леонидова с его женой, и Сураварди, и всех, всех, поместились в большой тридцатипятиместной каюте — кубрике команды.

Итальянская команда имела два кубрика, по одному для каждой вахты. За очень скромную сумму в английских фунтах они согласились жить все в одном кубрике (все равно спит только одна вахта), и мы чудесно устроились в другом. В нем были расположенные в два яруса пружинные сетки, рундуки для сидения и тумбочки вместо столов; кормили нас той же пищей, что и команду, это было по нашим тифлисским привычкам скудновато, но достаточно вкусно и питательно. В пути мы были всего двое с половиной суток, погода была хорошая, плыли мы вдоль никому из нас еще не известных берегов Турции, заходили в Трапезунд, Синоп и еще какой-то порт недалеко от Босфора. Городки эти были жалкими, нищими, грузчики в портах выглядели голодными, истощенными оборванцами.

Наш «Тренто» принял в Синопе голов триста баранов. Страшно и жалко было смотреть, как их загоняли по десять-пятнадцать штук на веревочную сетку, края сетки заворачивались веревками, и кран поднимал высоко в воздух такую пачку, такой пучок баранов — во все стороны торчали ноги с головами вперемешку, их опускали в трюм, сгоняли там с сетки, и пустая сетка плыла по воздуху за новой порцией. После этого до конца путешествия весь наш пароход пропах бараньим салом.

Тридцатого сентября мы вошли в Босфор. В предвкушении его красот мы, уже проходившие через него шесть лет тому назад, рассказывали о садах и дворцах, украшавших его берега, но ожидало нас что-то совсем другое. До сих пор не понимаю, что это было: сознательное унижение и оскорбление русского народа в нашем лице или действительно боязнь тифа. Примерно в середине Босфора наш пароход остановили, и всем пассажирам, ехавшим в третьем классе, а также и нам, ехавшим в кубрике,

велено было пройти в санпропускник.

Организовано это было в какой-то барже, стоявшей у берега, — туда на катерах свезли нас всех под конвоем местных полицейских, заставили раздеться донага, сдать всю одежду и в голом виде (женщин конвоировали вооруженные бабы-полицейские) прогнали под еле капающим тепловатым душем, потом, продержав минут сорок голыми в холодном трюме баржи, выдали прожаренную, вдребезги испорченную одежду — все было до такой степени стойко и прочно измятым, что носить ее уже не было возможно. Каждого пятого или шестого еще осматривал врач и совал ему вынутый из чужой подмышки немытый градусник…

Вернулись мы на пароход оплеванными и угнетенными. Это было первым сигналом того, что нас ожидало в Константинополе.

К городу мы подошли поздно вечером и простояли ночь на рейде. Мы с Иваном Яковлевичем не спали всю ночь и встретили рассвет на палубе. Я не умею и не берусь описывать красоты природы, но это было чем-то до такой степени сказочно прекрасным, этот рассвет после ясной лунной ночи, что… Одним словом, мне очень грустно, что я не умею рассказать о нем. Лезут все уже многократно использованные сравнения и образы, а свежих, достойных этой совсем не сладко-одеколонной и ароматно-конфетной, а ясной, древней, греко-византийской и в то же время восточной красоты, — таких слов нет.

Жаль, что я не могу поделиться с людьми всем тем восторгом, который помню до сих пор.

Утром нас ввели в Золотой Рог, и мы разгрузились в Галате. Нас загнали в тесную комнату и раздали всем анкетные листочки, которые мы должны были заполнить и вместе с паспортами сдать французскому офицеру из Межсоюзнической миссии. Анкеты были какие-то несерьезные, и мы заполняли их тоже несерьезно. Так как я знал языки, то мне это и было поручено. Дошло дело до Сураварди — паспорт у него был, как у всех нас, грузинский, национальность была тоже, как у всех, — русская.

Был вопрос — имя отца, имя матери, девичья фамилия матери: я написал вместо «Зэхавари» или как-то вроде этого (имя отца Сураварди) — Захар; вместо «Луидхуш» (имя матери) — Лидия; основное местожительство — Москва и т. д. Писали мы все это с шутками, весело и безответственно. Молодой французик флиртовал с Юлией Гремиславской, Греч и Орловой, он тоже как будто несерьезно относился ко всей этой процедуре…

Через час все было закончено, и Леонидов помчался в Перу. Мы, сдав на хранение большой багаж, часа три сидели на пристани, пока не вернулся Леонидов с несколькими подручными

— он умел мгновенно обрастать какими-то очень вежливыми и юркими помощниками, — и мы, погрузив свои чемоданы на огромную подводу, на которой поехал Орлов, пошли пешком по крутым улицам, соединяющим Галату (город-порт) с Перой (европейской частью Константинополя), на улицу Пера, где нам были приготовлены в двух или трех третьесортных гостиницах второсортные номера.

Вечером Берсенев разнес нам деньги на три-четыре дня вперед, по сколько-то турецких лир на день. Я жил в одной комнате с Комиссаровым и Александровым. Вечером, найдя русский эмигрантский ресторан, мы уже пили в нем «настоящую смирновскую водку», закусывали сборной солянкой и слушали «Черные глаза»…

На другой день рано утром Берсенев отправился, прихватив меня в качестве переводчика, в межсоюзническую миссию, чтобы, получив паспорта, поставить на них болгарскую визу. Здание, где помещалась межсоюзническая миссия, было небольшим особняком на глухой улице. Принял нас французский капитан по фамилии Бадэ. Фамилию эту я запомнил, так как мы с Берсеневым дали друг другу торжественную клятву, что, где бы, когда бы мы его ни встретили, мы будем мстить ему чем и как только сможем. Боже мой, как мы ненавидели этого человека! Это был красивый, довольно рослый блондин с холеными брезгливыми руками. Брезгливыми потому, что, как-то коснувшись моей руки, он отдернул руку, как будто дотронулся до змеи. Он ненавидел и презирал нас, очевидно, и как русских и как актеров, ненавидел активно, стремясь сделать нам как можно больше неприятностей. В этот день мы ничего не получили, ни паспортов, ни виз. Но чтобы отказать нам, он заставил нас четыре раза приходить в свою контору, каждый раз по получасу ждать пропуска у ворот, где над нами издевались сенегальские негры из охраны, скалившие зубы нам в лицо; а пройдя в контору, стоять перед его столом по часу-полтора, чтобы услышать «demain» — «завтра».

Это продолжалось пять или шесть дней в совершенно точно повторявшемся порядке. После этого он сообщил нам, что нашего дела, «дела тридцати шести русских», у него вовсе нет — оно у англичан, а к нему поступит только через две-три недели, но англичане не принимают по делам выдачи виз на Балканы. Вот если бы мы ехали в Азию или Африку, о визе пришлось бы просить у британцев, «и они охотно бы эти визы дали — в Судане и Родезии нужны рабочие руки». Когда мы начали протестовать и доказывать, что мы ждать не можем, что у нас нет больше средств на жизнь, он с хохотом сказал: «Давайте свои представления на

базаре». Увидев по нашим лицам, что мы оскорблены, он приказал «flanquer á la porte cette canaille» — «вышвырнуть за дверь эту сволочь», и нас буквально вышвырнули на улицу, причем так, что Иван Николаевич упал, а я пролетел до другой стороны улицы… А негры и их белые хозяева хохотали, глядя на нас из окон.

Положение становилось страшным: деньги таяли, а надо было еще иметь средства дожить и довезти багаж до Софии, да заплатить за хранение наших, теперь уже двенадцати-пятнадцати, корзин и ящиков. Гостиница, хоть и третьесортная, стоила очень дорого, переезжать в откровенные ночлежки было бы уж полным падением. Впервые за все наше существование мы почувствовали себя до такой степени беспомощными. Обратиться не к кому было — не было здесь для нас никаких покровителей. Мы привыкли, где бы мы ни были, быть привилегированными, особо уважаемыми людьми. Здесь же любой эмигрант из офицеров, спекулянтов или чиновников, бежавший от большевиков, был почтеннее, чем «труппа комедиантов из Москвы», едва ли не большевистских шутов и прихлебателей.

Попытался было свою светскость и дипломатические таланты проявить Бертенсон, но и он вылетел вместе с Леонидовым из миссии кувырком. Не помогли ему визитные карточки с титулом «доктор», которые он посылал Бадэ.

Было страшно, одиноко и неуютно. Белоэмигрантский посол и консул только плечами пожимали — они тоже были беспомощны, их самих «союзники» терпели только из милости.

Решили и для пополнения кассы и главным образом для завоевания авторитета, популярности, для повышения престижа группы сыграть спектакль. Театра подходящего не было, сняли какой-то полукафешантан, полумюзик-холл и 11 октября поставили в нем концерт. Билетов продано было так мало, что и за прокат зала уплатить не хватило, не говоря уже о расходах на афиши, рекламу, билеты и т. д. Никто из миссии не пришел, хотя всем (в том числе и Бадэ) были посланы приглашения. Собралось человек двести русских эмигрантов, которых пришлось пустить бесплатно, да человек сто-полтораста пьяных солдат и матросов, которые, думая увидеть голых русских девчонок, купили билеты, а увидев «Хирургию», «Злоумышленника», «В гавани» и послушав чтение стихов, накурили, наплевали, насорили и с руганью ушли.

Казалось, что мы испили чашу до дна, дальше некуда. Но на этом «концерте» судьба наша была решена. В антракте, когда мы, подавленные, стояли в садике, который заменял в этом «театре» фойе, и, «мрачному предавшись пессимизму», высчитывали, сколько мы доложим за этот концерт и как будем жить дальше, в

сад вошла группа из нескольких английских военных и штатских. Один из штатских спросил по-русски, есть ли в труппе Сураварди, его, мол, хочет видеть его друг. Я с радостью побежал звать Шахида, он также радостно и доверчиво подошел к ним, и вдруг… на его руках оказались стальные браслеты наручников. Его окружили и увели.

Мы были ошеломлены и испуганы. Я чувствовал себя по меньшей мере Иудой, «целованьем своим» предавшим друга.

Ночь мы никто не спали — положение было совершенно отчаянным: ко всему еще аресты! Но оказалось наоборот — нас не выпускали именно из-за Сураварди: французы тянули, потому что англичане расследовали биографию и деятельность Сураварди. То, что мы индуса, британского подданного, пытались провезти в Европу под русским именем, навлекало на него подозрение в измене родине, его сочли тайным агентом Коминтерна, пробирающимся в Индию. Он прочно засел в тюрьме под угрозой смертной казни. Зато на следующий же день нам было приказано явиться в миссию. Мы пошли туда с Берсеневым, и после обычных унижений Бадэ принял нас и приказал на другой день всей «группе 36», как он нас называл, явиться за получением паспортов и виз. Мы попытались было просить не вызывать всех старых и больных, женщин и детей, но он был непреклонен: нет, все тридцать шесть должны быть у него.

Все явились и, простояв два часа в грязном, холодном коридоре, лично расписавшись и поставив отпечатки своих пальцев, получили паспорта с разрешением выезда в Болгарию. Получить визы в болгарском консульстве, достать товарный вагон для вещей и для всех нас было уже сравнительно нетрудно, и 14 октября мы погрузились и поехали в Софию.

Было стыдно бросить Сураварди, было страшно и за него и за себя — денег уже не было почти совсем, еле хватило на оплату вагона и на покупку хлеба и обрезков колбасы на ужин для всей группы.

Мы ехали ночью, было холодно, голодно и жутко. И все-таки наши актеры пели хором, Орлова и Греч пели свой дуэт «Когда будешь большая», Калитинский в темноте рассказывал о Византии и болгарах, о щите Олега на вратах Царьграда, о Фракии, по которой мы ехали… Опять почти никто не спал до рассвета.

Наутро мы оказались где-то на запасных путях софийского вокзала. Леонидов ушел часов в восемь в город, а мы, голодные, синие от холода, сидели, завернувшись в пледы, одеяла, зимние пальто, и ничего хорошего не ждали. Все хорошее осталось там, в России, здесь мы жалкие, никому не нужные беженцы. Даже

Берсенев пал духом, у него пропал голос и болели горло и уши. Подходили какие-то носатые, темноволосые, бедно и странно одетые люди, рассматривали нас бесцеремонно и жалостливо и говорили про нас на каком-то странном, напоминающем церковные молитвы, языке. Время шло к десяти, хотелось есть, пить, мы чувствовали себя грязными, мятыми, ныло тело от бессонной, проведенной на чемоданах ночи…

Вдруг где-то за триста-четыреста метров мы увидели группу людей, которые быстро приближались к нашему вагону, вот уже мы увидели, что во главе ее, рядом с быстро семенящим толстеньким Леонидовым, катит свое толстое брюхо какой-то лысый, толстощекий человек — лицо его показалось нашим знакомым — ближе, ближе — ура! Это Дуван, наш Исаак Эзрович Дуван-Торцов, бывший актер МХТ, один из основателей Второй студии, а за ним еще какие-то черноглазые и белозубые оживленные люди, человек двадцать-тридцать. Наши высыпали из вагона, один из пришедших бросился к Василию Ивановичу, обнял его, схватил его руку и поцеловал ее. «Братушка Киров, Стефан Киров!» — узнал его отец. Дувана и Кирова узнавали и другие. Киров был когда-то сотрудником Художественного театра и назывался тогда просто «братушкой» — так раньше называли в России болгар. Их целовали, обнимали, все перемешалось — приветствия, возгласы, рукопожатия…

Подъехали какие-то телеги-дрезины, на них сложили наши вещи, и все оживленной толпой двинулись к вокзалу. Там нас ждали уже штук десять экипажей, два-три автомобиля, все быстро расселись в них, и через полчаса мы оказались кто в гостинице, а кто (как, например, мы с отцом) в частных домах актеров и друзей театра. Нас с отцом пригласил к себе Стефан Киров — один из ведущих актеров Софийского драматического театра, и его жена — красавица Констанца Кирова, актриса того же театра.

Ольгу Леонардовну и Нину Николаевну пригласила к себе премьерша театра (фамилии не помню).

Опять, как в Поти, — от мрака к свету, от унижения к почету, от тоски к ликованию вывело нас светлое имя нашего дорогого Театра! Вот уж, действительно, «не мне, не мне, но имени Твоему!» — могли бы воскликнуть мы: любовь людей к Художественному театру спасла нас еще раз. Только что мы были жалкими, голодными беженцами, вчера нас пинал ошпоренный сапог элегантного хама Бадэ — сегодня мы дорогие, почетные, знатные гости всей этой маленькой, но доброй и сердечной страны, этого ласкового и щедрого города.

Быстро и легко мы пришли в себя, обрели хорошее настроение, бодрость и веру в свою счастливую звезду. Нам

предоставили театр на сколько угодно времени на самых льготных условиях, и закипела работа. Прием и вдохновил нас и взволновал — стала ясна необходимость особенно серьезно ответить на такое отношение.

За четыре дня мы приготовили оформление и срепетировали и «Вишневый сад» и «Врата» и 20-го открылись «Вишневым садом». Спектакль шел как-то вдохновенно, приподнято по настроению и на сцене и в зале. В ложе сидел царь Борис с большой свитой, партер был заполнен всем софийским высшим светом. То же было и на другой день, и на третий, и на четвертый, когда играли «Врата». И покатился наш долгий софийский сезон, который продолжался почти полтора месяца, с 20 октября по 2 декабря. Правда, играли не каждый день, так как наши спектакли чередовались со спектаклями болгарской труппы.

Была пьеса, которую играли и мы и они, — «У жизни в лапах». Спектакль у них шел намного хуже, чем у нас, но оформление у них было очень эффектным; мы же играли в сукнах, с подобранной мебелью. Несмотря на это, публика и пресса оценили наш спектакль много выше своего, болгарского.

После шестидневного перерыва для репетиций 9 и 10 ноября были сыграны «Братья Карамазовы» в два вечера. Интересна судьба этого спектакля. Начали с одного «Кошмара», потом прибавили «Обе вместе», «Мокрое» и «Суд»; в Тифлисе добавили еще «За коньячком». Играли, конечно, в один вечер. Теперь ввели еще ряд картин и стали играть в два вечера. В первый вечер играли: 1) «За коньячком», 2) «Обе вместе», 3) «У калитки», 4) «Луковка» (Ракитин — Берсенев), 5) «Внезапное решение», 6) «Мокрое», «Допрос». На втором вечере шло: 1) «Последнее свидание», 2) «Кошмар» и 3) «Суд». Чтецом был вместо уж очень скучного, по чиновничьи-петербургски читавшего в Тифлисе и раньше Бертенсона наш новый актер А. С. Астаров. Читал он не бог весть как глубоко и интересно, но все-таки какие-то эмоции привносил.

В первом вечере у Василия Ивановича были только две сцены, сравнительно легкие, не требовавшие от него особого напряжения, и он весь спектакль сидел за спиной Астарова и слушал его с экземпляром текста в руках и потом очень серьезно и внимательно работал с ним, иногда просто учил его с голоса.

Мне кажется, что спектакль шел очень хорошо, но, видимо, публике это было тяжело (два вечера подряд в театре), так как в Софии сыграли «Карамазовых» всего два раза, но зато мы четыре дня (с 9 по 12 ноября) жили в атмосфере Достоевского.

Болгарские актеры и вообще все друзья театра и после первого и особенно после второго вечера толпились за кулисами,

восхищались и поражались умом и глубиной постановки, талантом и мастерством наших актеров. Я думаю, что их слезы и восторги были искренними, так как на оба вечера они опять почти все пришли в театр.

Оформлен спектакль был по-московски, в сукнах, с подбором мебели и реквизита. Это в Софии удалось сделать довольно хорошо.

Четырнадцатого ноября состоялся юбилейный спектакль Исаака Эзровича Дуван-Торцова. Дуван был крупным провинциальным режиссером-антрепренером, одно время даже «держал сезон» в Киеве, но потом передал свои коммерческие дела каким-то компаньонам, а сам переехал в Москву и вступил в труппу МХТ. Играл он очень мало и держал себя чрезвычайно скромно, даже робко. Я помню его в крошечной роли кузена Теодора («У жизни в лапах») и Хлеба («Синяя птица») и во Второй студии, где он в очередь с Аслановым играл в «Зеленом кольце» роль отца Финочки. После революции он каким-то образом оказался в Софии, где его пригласили на должность главного режиссера драматической труппы. В его юбилей шли отрывки из поставленных им болгарских спектаклей и в исполнении наших актеров, но с участием Дувана «Где тонко, там и рвется» Тургенева. Книппер, Качалов, Массалитинов, Берсенев играли свои роли и в Москве. Верочку играла В. Г. Орлова, гувернантку — В. М. Греч, приживалку — Е. Ф. Скульская и капитана — сам юбиляр.

Весь юбилейный спектакль, а «Где тонко» особенно, имел огромный успех. Берсенев хотел было повторить «Где тонко», но Ольга Леонардовна и Василий Иванович воспротивились. Возражали они потому, что уж очень не свою роль играла Орлова и ужасен был сам Дуван — для юбилея это еще куда ни шло, но для спектакля гастролей МХТ это было недопустимо. Официальной причиной отказа было то, что надо репетировать, а репетировать нет времени — надо все силы бросить на «Три сестры». И действительно, начиная с 15 ноября все дни и даже частично в те вечера, когда у нас не было спектаклей, мы очень интенсивно репетировали «Три сестры».

Насколько беспомощна была Нина Николаевна в качестве режиссера в «Потопе», настолько же она была на высоте в «Трех сестрах». Она и сама играла в этом спектакле в свое время Ирину и очень хорошо знала всю пьесу, очень ее любила и глубоко понимала. Под ее руководством с большой радостью работали даже Ольга Леонардовна и Германова, давно игравшие свои роли. Ольга Леонардовна увлеклась репетициями, перестала ворчать и «охранять основы», как это было на первых репетициях в Грузии.

Василий Иванович работал с каким-то особенным смаком, он много говорил с Иваном Николаевичем и помог ему в работе над ролью Тузенбаха. Вершинина он репетировал заново, ему хотелось найти в нем совсем другое, чем то, каким его играл Константин Сергеевич. Ранее же он играл эту роль в рисунке Константина Сергеевича. Не знаю, удалось ли ему это, мне трудно судить, думаю, что он был другим, чем Константин Сергеевич; его Вершинин был «офицеристее», правдоподобнее, чем Константина Сергеевича, но К. С. Станиславский был единственным, неповторимым, тогда как качаловский Вершинин был типичным. Я не знаю, что важнее: неповторимость и единственность или типичность; когда говоришь себе: «Я таких знаю, вот в Н. есть что-то от Вершинина, а в С. — другое от него» — или когда видишь живого, настоящего человека, который *один*, который никого не напоминает. Во всяком случае, смотреть на то, как репетировал Василий Иванович в те дни, было наслаждением. Много работал он и дома. Часами он искал вершининское самочувствие и внешнюю форму поведения — как тот сидел, как вставал, как снимал шашку, как кланялся, как здоровался с женщиной, со штатским, с молодым офицером…

Ольга Леонардовна тоже искала новое, она была гораздо влюбленнее в Василия Ивановича, чем в Константина Сергеевича. «… А впрочем, говорите, мне все равно…» — во втором действии у нее звучало: «Я хочу вашей любви», — она уже любила его. Поэтому так понятно было ее раздражение и на няньку и на всех после ухода Вершинина: его отняли у нее, когда он уже был ей дорог, нужен… Не принимала она совсем Германову и очень раздражалась на нее. Думаю, что в чем-то она была права. Доброй мудрости (или мудрой доброты) Ольги в Марии Николаевне не было. Она не была старшей сестрой — матерью своих сестер и брата, не растворялась в семье, а была как-то сама по себе, сама для себя. Но она была породиста, красива, обаятельна, умна…

Машенька Крыжановская — Ирина была очень проста, искренна… Ей мешала, особенно в первом действии, ее некрасивость — у нее были небольшие, какие-то запухшие сверху глаза и очень толстые щеки. Лучше всего она играла четвертое действие. Но партнер у нее для четвертого действия Тузенбах — Берсенев был трудный. Весь спектакль, до прощания, он играл без особых глубин, без обаяния, но на вполне достойном уровне, но самое тонкое, самое лиричное место роли (про потерянный ключ, «я не пил сегодня кофе», про вечность жизни) он совсем не чувствовал и, по-моему, просто не понимал. Он не был чеховским актером.

Бакшеев играл Соленого немного грубовато, без всякого

второго плана, но крепко и убедительно. У Павлова — Чебутыкина все было на месте, но глубины любви к семье Прозоровых, к Ирине у него не чувствовалось. Мать очень много работала с ним, но у Павлова не было в палитре нужных красок, а в душе — способности любить. Зато ирония над собой, трагический юмор и, главное, отчаяние от погибшей жизни — пьяная сцена третьего действия ему очень удавалась.

Массалитинов был интеллигентный, трогательный Андрей. В. Г. Орлова была яркой и сочной Наташей, очень женственной и обаятельной в первом действии, глупой и ничтожной во втором и страшноватой и омерзительной в третьем и четвертом. Но, конечно, далеко ей было до тонкой, ювелирной филиграни Марии Петровны Лилиной. Я лично этого не сознавал, но все наши «старики» вздыхали об этом постоянно.

Но самой большой радостью спектакля была, конечно, Ольга Леонардовна. От свиста и прощания («мерлехлюндия») в первом действии до «У лукоморья» в четвертом — она была непрерывно прекрасна. Я не могу перечислить и описать даже сотую долю ее удач. Я особенно любил, как она снимала шляпу: «Я остаюсь завтракать», — так она вдруг наполнялась радостью, светом, будто в ней лампочка засветилась. А второе действие — с Вершининым? А «Мне хочется каяться, милые сестры» — какая вдруг отвага, лихость, нежность к Вершинину наполняли ее каждый раз… Ну, да что писать, разве можно найти слова для того, чтобы передать всю сложность, глубину, нежность, разнообразие красок этого перла женского актерского творчества! Иногда мне кажется, что Ольга Леонардовна играла Машу даже лучше, чем Раневскую…

Оформлен этот спектакль был почти точно по Симову, только без входа снизу в первом и втором действии, и с несколько условным, обобщенным домом четвертого действия. Костюмы были очень хороши — и военные, и штатские, и женские были сшиты еще в Тифлисе очень хорошо, правильно и со вкусом. Мебель и реквизит подобраны и частично сделаны отлично.

Неудача на генеральной была только одна — это музыка, военный оркестр, марш четвертого действия. Бертенсон, который обычно занимался у нас музыкой, подобрал какой-то марш из репертуара сценического оркестра театра, и его сыграли. Ольга Леонардовна зарыдала от ужаса — вместо и веселого и грустного, трогательно-лиричного и в то же время мажорного, оптимистического марша, под который Ольга Леонардовна сотни раз кончала пьесу, был сыгран примитивный и грубый прусский марш. Ольга Леонардовна категорически отказалась играть под него, но положение казалось безвыходным — генеральная была за

три дня до премьеры, и времени уже не было.

Только любовь всех нас в группе к Ольге Леонардовне могла сделать чудо, и оно было совершено. Василий Иванович и Иван Яковлевич Гремиславский напели московский марш и подобрали его на рояле, местный концертмейстер записал его, и за сутки молодой болгарский композитор оркестровал его.

К премьере оркестр разучил и сыграл старый московский марш, тот, под который кончались «Три сестры» с 1901 года. Ольга Леонардовна была счастлива и благодарила… С. Л. Бертенсона. Он любезно принял изъявление ее благодарности, хотя палец о палец не ударил для этого и, наоборот, утверждал, что выбранный им марш много лучше московского и что все это несносные капризы и глупые сантименты.

Спектакль имел совсем особый успех. Особый по сравнению с успехом всего остального. Вообще говорить о том, что в Софии имело больший успех, что меньший — нельзя: каждый спектакль был триумфом русского искусства. При хотя бы беглом знакомстве с пьесой (а болгары знали русскую литературу) язык не был препятствием, понимали если не каждое слово, то смысл каждой фразы. В зале постоянно слышались вздохи, какие-то сочувственные или возмущенные междометия, часто всхлипывания, еще чаще смех. Публика была влюблена в театр, в спектакли… Труппу знал весь город — в магазинах, в «млекарницах» (кафе-кондитерских), где мы завтракали и закусывали в перерывах в работе, нам кивали головой, как-то особенно покачивая ею, улыбались и старались угодить всеми силами.

Но, повторяю, «Три сестры» имели особый успех. Тоска по Москве в эту вторую зиму нашего отрыва от нее овладела даже самыми равнодушными из группы, у других же она была непрерывно щемящей и кровоточащей раной. Поэтому ли, или просто глубоко волновал и вскрыл какие-то душевные каналы замечательный чеховский текст, но все последнее действие шло на таком нерве, в таком почти ненормальном, граничащем с психозом и истерикой напряжении, что превращалось во что-то подобное сектантскому радению. Не думаю, что это было настоящим, высоким искусством, но это заражало зрительный зал и создавало там то же перенапряженное нервное состояние, что-то вроде массового психоза. Публика большей части партера и лож не расходилась, а оставалась сидеть по получасу после последнего занавеса и плакала, или просто молчала, или тихо-тихо разговаривала…

Такими были эти два спектакля «Трех сестер», которыми мы

закончили наш софийский сезон. Предстояло ехать в Белград. Расставаться с Болгарией было грустно. Уж очень хорошо нас приняли здесь, очень полюбили…

Город София был в 1920 году маленьким, очень провинциальным. Только центр состоял из четырех- и пятиэтажных зданий, а чуть в сторону — и уже дома одноэтажные, с садиками, много глухих глиняных заборов и домов без окон, вернее, с окнами в закрытые дворы — влияние Турции, Востока…

Жили мы почти все в двух отелях — «Хотел сплендид палас» и «Хотел палас». Почему два отеля назывались почти одинаково, не знаю. Это вызывало много недоразумений, когда кое-кого из наших привозили вместо одного «хотела» в другой. Правда, скоро уже все извозчики знали, где кто из нас живет.

Язык усвоили быстро — он похож на язык православного богослужения, на язык молитв. Долго только не могли привыкнуть к жестам, обозначающим «да» и «нет»: болгары качают головой, когда утверждают, и кивают снизу вверх, когда отрицают.

Очень нам нравилась еда — острые мясные блюда с паприкой (красный перец), вкуснейшие изделия из молока — каймак, югурт, оригинальные сладкие — пахлава, кодеиф…

Начиналась зима, и скоро нас должны были вызвать в Милан на съемки представители фирмы, с которой был в Тифлисе подписан договор. Можно было бы, конечно, ждать их вызова и здесь, в Болгарии, но тогда надо было переходить в другой театр — нельзя же было превращать национальный театр Болгарии в русский театр. Да и на сборах у болгар наши спектакли отражались катастрофически. Затевать организацию постоянного театра не стоило, а гастролировать дальше, вернее, дольше было как-то неудобно, ведь с 20 октября по 2 декабря — это полтора месяца. Да и как хорошо, и тепло, и приветно нам здесь ни жилось, как успешно ни работалось, все-таки хотелось на пути к Родине, к Театру, о котором мы никогда не забывали, посмотреть широкий мир, проверить себя — «людей посмотреть и себя показать». Ведь Болгария была только началом зарубежных странствий.

Во время нашего софийского сезона в России произошло великое событие: Красная Армия разгромила Врангеля и овладела последним оплотом белых в России — Крым был очищен от контрреволюции. По моим тогдашним нелепым убеждениям, в России должен был появиться Бонапарт.

Мне безумно захотелось на Родину еще и ради того, чтобы не пропустить этого момента и оказаться где-то возле него, возле

того, кому я мечтал служить.

Перед самым нашим отъездом в «государство СХС» (сербов, хорват, словенцев), как тогда называли Югославию, мы получили известие о том, что компания, которая собиралась нас снимать, лопнула. Деньги, которые мы от них получили и на которые добрались от Тифлиса до Софии, были все истрачены до сантима, правда, возврата их никто от нас и не требовал. В общем, хотя многих из нас и волновала мысль о съемках, освобождение от контракта было нам теперь выгодно. Нас манила, хотя и пугала «большая Европа». Главное, что пугало, — это страх покинуть страны славянского языка — в них нас понимали, а как нас поймут и примут в странах немецкого языка, бог весть!

Правда, в венских газетах уже появились заметки их софийских корреспондентов о небывалом успехе русского театра в Болгарии.

С деньгами у нас было благополучно, но тем не менее экономный Берсенев не допускал никаких излишеств и роскоши — провожаемые всей Софией, мы уезжали из нее в сидячих вагонах третьего класса. Кое-кто из группы считал, что это нас компрометирует, но в своей прощальной речи председатель Союза болгарских актеров приветствовал и поставил в пример болгарским актерам нашу демократичность и скромность, особенно отмечая, что такие артисты с мировым именем, как Книппер и Качалов, едут как простые болгарские рабочие и селяне. Да и других провожающих наша скромность трогала. В вагонах было холодно, тесно — по восемь человек в купе. Ехали долго — железнодорожное сообщение еще не было полностью восстановлено после войны. Скоро все проходы между лавками были заставлены чемоданами вровень со скамейками, и на них по восемь человек спали «сардинками». Это было удобнее, чем в теплушках, но тоже далеко от комфорта международных спальных вагонов.

Югославия

Белград встретил нас неприветливо. Очевидно, такая уж у нас была судьба: вверх — вниз, вверх — вниз. После ужаса Новороссийска — гостеприимство Тифлиса; после оскорблений и унижений Константинополя — ласка и тепло Софии.

Белград только два года как пережил войну, много зданий было разрушено, электричество работало плохо, водопровод был испорчен, улицы были плохо вымощены…

Жизнь, видимо, была дорога — люди выглядели плохо, казались голодными и оборванными.

Нашу семью и, конечно, Ольгу Леонардовну поселила около себя Тамара Дейкарханова. Тамара уже год жила здесь со своим мужем, которого пригласило на службу сербское правительство в качестве главного инженера по восстановлению Дунайской речной флотилии. Жили они (и мы с ними) в одноэтажном доме, без электричества, с холодной уборной, умывались в тазах, принося воду из колонки на улице.

Сергей Александрович Васильев, муж Тамары, взял двухнедельный отпуск специально, чтобы принять на себя заботы и уход за Ольгой Леонардовной и моими родителями.

Несмотря на некомфортабельность, жили мы уютно и приятно. Тамара закармливала нас своей лукулловской кулинарией, Васильев носил воду, топил печи, заправлял лампы. Другие жили так же в смысле устройства, но без такой ласки и уюта.

С театром было хуже. Тут отсутствие комфорта не восполнялось уютом и сердечностью. Театр был еще не отстроен, и нам дали манеж, кое-как приспособленный под спектакли. Там же играли и сербы. Здание было на редкость неудобным. Сцена была крошечная, никак не оборудованная, декораций не было почти никаких. До сих пор не представляю, как Иван Яковлевич ухитрился выгородить и обставить «Вишневый сад», «Мудреца», «Дядю Ваню», «Врата» и «Карамазовых».

Работали мы как звери все дни и ночи напролет. За ночь переписывали и перекраивали декорации с «Вишневого сада» на «Дядю Ваню» и с «Мудреца» на «Врата», перебивали мебель, из скамеек делали диваны, из листов фанеры, набитых на ящики, сделали «многоуважаемый шкаф» и т. д. Мы с Орловым работали только как физическая сила — весь замысел, вся выдумка шла от Ивана Яковлевича. Но самым страшным был свет: никакого реостата, никаких фонарей — один софит из двух десятков лампочек. Но и тут что-то удалось придумать — С. А. Васильев

привел нам какого-то русского эмигранта — инженера-электрика, и тот сделал нам жидкостные реостаты, два или три рефлектора с зеркальным отражением. А на премьере в присутствии «всего Белграда» свет вообще погас! Произошла авария на единственной электростанции. Но дирекция нашего манежа-театра была к этому, видимо, привычна: вдоль рампы расставили штук десять карбидных фонарей; они, правда, воняли, но давали света достаточно, чтобы можно было разглядеть актеров. А мы-то над «рассветом» и «закатом» так бились!

Это был самый короткий и самый мрачный наш сезон.

Сыграв за шесть дней шесть спектаклей, мы покинули Белград. Не особенно нам здесь понравилось, хотя принимали нас очень хорошо, сердечно, приветливо и хлебосольно.

Следующим городом на нашем пути был Загреб. Ожидали мы от этого города мало хорошего — если так трудно нам пришлось в столице, то что же ждет нас в провинции, какой был этот хорватский городок. Но закон качелей оставался законом нашей судьбы: вверх — вниз, вверх — вниз…

Загреб показался нам Веной, Парижем — одним словом, мировым центром. Это был поразительный город. Я боюсь называть цифры, но помнится мне, что население его в 1921 году было около ста тысяч. То есть город по количеству жителей вроде Смоленска или Орла. В нем было два театральных здания, из которых одно первоклассное, пять-шесть вполне отличных гостиниц, музей живописи, прелестный пригородный парк, который мы называли «Тушканчик» (его звали, кажется, Тушканац), центральная площадь — Елачичев трг — была обстроена прекрасными барочными зданиями. Главная улица — Илица — оживленная, всегда кишащая народом, с элегантными витринами магазинов, среди которых был огромный книжный магазин, где с первого дня нашего приезда были выставлены прекрасные издания Чехова, Достоевского, Горького, Гамсуна на сербском, хорватском, немецком и русском языках и большие портреты Василия Ивановича, Ольги Леонардовны, Станиславского и почему-то Шаляпина.

В городе был университет, студенты которого предложили нашей группе бесплатное участие в наших спектаклях в качестве статистов. На Илице был ресторан «Москва». Держал его Марко Иванович Карапич. Это был сын знаменитого Жана — владельца одноименного московского ресторана в Петровском парке. Этот очень известный в старой Москве ресторан имел патент трактира второго разряда, открывался в четыре часа утра (он числился «извозчичьим двором») и закрывался в восемь часов вечера. В него приезжали докучивать после «Яра», «Стрельны»,

«Мартьяныча» и т. п., чтобы выпить чарку водки под популярную среди московских кутил жареную целиком чайную колбасу и пить чай «парами». Иногда (а во время войны главным образом) под видом чая подавалось шампанское. Вот сын этого Жана, работавший под отцовской маркой в Москве до самой революции, принявший русское подданство, после революции эмигрировал и открыл в Загребе эту «Москву» — ресторан, знаменитый русской кухней.

Узнав о приезде группы Художественного театра, в которой он предполагал увидеть своих московских гостей, он встретил нас на вокзале. Из завсегдатаев ресторана в группе оказался один Александров, но и Василий Иванович и Ольга Леонардовна тоже бывали у него. Разочарован он был тем, что не приехал Москвин — его он ждал больше всех.

С первого же дня задняя комната ресторана была закрыта для всех посетителей, кроме членов нашей группы. В ней обедали, ужинали, собирались для бесед, Берсенев принимал там для деловых разговоров. Это был наш дом, наш клуб, наш очаг…

Но главное, конечно, что сделало нашу жизнь и работу счастливой и радостной, — это театр. Все в нем было прекрасно. Изумительная оперно-опереточная труппа под руководством крупного дирижера; драматическая (ее возглавляли интересные, высококультурные режиссеры Гавелла и Иво Раич); балет возглавляли наша московская балерина Маргарита Фроман и ее брат. В репертуаре театра была и классическая опера и оперетта. Забыть не могу певицы Строцци в «Чио-Чио-Сан», комика Грундта в «Летучей мыши». Драматическая труппа была еще выше оперной.

Имена актеров я, к сожалению, перезабыл; помню Анчицу Керниц, Арндта…

Когда мы приехали в Загреб и успели посмотреть несколько их спектаклей, нам стало жутковато: а не шлепнемся ли мы здесь? Это были первоклассные спектакли, без всякого провинциализма, чувствовался строгий, взыскательный руководитель, все было со вкусом, серьезно, добротно, и главное — талантливо. В труппе не было ни одного плохого актера… А у нас? К сожалению, были. Это и повергло наших главарей в тревогу. Самое интересное, что те, кто внушил эту тревогу, наши «Шмаги», нисколько не волновались: они были уверены в себе и за свое «мастерство» не тревожились.

Высокопрофессионально была налажена и вся постановочная и техническая сторона дела. Во главе каждого цеха стояли ответственные, серьезные, опытные и преданные театру люди. Я больше всего имел дело с главным реквизитором и его

помощником. Оба были пожилые (с моей тогдашней точки зрения), солидные, пунктуально-аккуратные, благовоспитанные люди. Такими же были и машинист («мастер сцены»), и главный осветитель со своими помощниками, и все рабочие, вплоть до важного, лысого, с седыми бакенбардами (под покойного австрийского императора) портье.

Говорили все очень хорошо и охотно по-немецки. Ведь только три года тому назад это была Австро-Венгрия, и немецкая речь была в какой-то степени признаком образованности и культуры. Мой достаточно хороший немецкий язык, да еще в русских устах, пользовался большим успехом. Ко мне лично в театре относились удивительно хорошо.

К нам как к театру, как к явлению искусства они отнеслись настороженно-подозрительно. Все гастролеры с востока и юга были в их глазах, глазах людей, воспитанных по-венски, немного дикарями. Но сначала наше отношение к делу — монтировки, репетиции, подготовка костюмов, париков и т. д., а потом (и это, конечно, больше всего) сами спектакли убедили их в высоте культуры нашего труда и искусства.

Со дня нашей премьеры, еще до конца ее и огромного ее успеха, после первого же занавеса весь театр, все Narodno Kazaliste — от Гавеллы и Раича до мальчишки-электрика, от главного интенданта (директора) до истопника — стали нашими верными друзьями и почитателями. Работать стало легче и приятнее. Успех рос от спектакля к спектаклю. Рецензии были восторженные. Появились рецензии о наших спектаклях и в газетах других городов и даже стран.

Загребский корреспондент одной из крупнейших газет Вены написал о наших чеховских спектаклях, что это крупнейшее художественное событие в послевоенной Европе.

К концу января на спектакле «У врат царства» за кулисами у нас появился один из руководителей пражского Национального театра. Он выразил свою признательность за наслаждение от спектакля и предложил Василию Ивановичу приехать в Прагу на гастроли. Василий Иванович с благодарностью отказался и рекомендовал гостю переговорить с Берсеневым и Леонидовым о поездке в Прагу всей группой. Таким образом Загреб не только сам по себе оказался настоящей «маленькой Европой», но и открыл нам двери в «большую Европу».

Играли мы в Загребе с 18 января по 13 марта, то есть почти два месяца. Правда, играли с большими и короткими перерывами, в которые ездили в столицу Словении — Любляны. Это был маленький, но тоже чрезвычайно театральный городок, очень красивый, живописно расположенный в предгорьях Юлийских

Альп. Народ там был очень приятный и дружески к нам настроенный. Мы имели дело в основном с людьми театра, судили по ним, и нам казалось, что если хорваты очаровательно соединяли в себе добродушие, благожелательность к людям, душевную широту, сердечность, мягкость, свойственные им как народности славянской, с австрийской аккуратностью, деловитостью и особенной венской благовоспитанностью и любезностью, то у словенцев ко всем этим свойствам прибавлялись еще воспринятые ими от соседних итальянцев легкость, веселость, музыкальность, изящество и артистичность.

Не только суровые сербы, но даже гибкие и душевно и физически грациозные хорваты казались менее изящными рядом с очаровательными словенцами.

Приехавший с нами в Любляны незадолго до того выпущенный из константинопольской тюрьмы и появившийся в Загребе Сураварди встретил здесь своих московских друзей-поэтов из бывших в русском плену австрийцев, освобожденных революцией и группировавшихся одно время в Москве вокруг Брюсова и Балтрушайтиса. С этой компанией мы встречали в Люблянах, в отеле «Слон» старый русский Новый год.

Тринадцатого января после большого, прошедшего с оглушительным успехом концерта мы компанией человек в пятьдесят собрались в огромном номере, который в этой уютной старинной гостинице, принимавшей около ста лет назад в своих стенах Меттерниха и Александра I, занимала Ольга Леонардовна. Сидели до позднего утра, пели друг другу свои песни, поэты нам — свои словенские и итальянские, наши им — русские и цыганские. Читали Блока, Ахматову, Брюсова, Волошина; словенцы читали свои стихи и тут же переводили их на русский язык. Под конец Сураварди читал «Жиль на свиэте рицар биедни», а потом свои переводы пушкинских стихов на бенгальский язык. Русские, словенцы и индус объединились на любви к поэзии, к слову, к музыке, к красоте и больше всего на любви к Москве, к России… Каждый второй тост был за Москву, за того или иного москвича, за тот или иной московский театр, университет, музей, за московские улицы, за Кремль и т. д.

Мы знали, что сто лет назад в этих комнатах заседал враждебный свободе и человеку Священный союз, знали это, помнили и поэтому с еще большим жаром любви к человеку, к лучшему, что в нем есть, ткали нити дружбы и нежности друг к другу… Это была дивная, незабываемая встреча Нового года.

После этих наших спектаклей в Люблянах многие словенцы начали приезжать «к нам» в Загреб и говорили, что из любви к нам они ближе сошлись с хорватами и лучше поняли друг друга.

В Люблянах мы, наконец, «разродились» — после восьми почти месяцев репетиций и перерывов сыграли «Потоп». Спектакль шел прилично, но не мог, конечно, идти ни в какое сравнение с другими нашими спектаклями. Пресса Люблян, очень к нам расположенная, не могла не отметить этого и вежливо и доброжелательно, но и пьесу и спектакль обругала решительно и категорично. Газеты писали о том, какой неприятной неожиданностью оказался в репертуаре Художественного театра такой легковесный, претенциозно-философский, сентиментальный спектакль. Писали о том, как не подходит, как чужда эта пьеса стилю и художественным приемам этой труппы. Наши видели в этих отзывах предвзятость отношения прессы к европейским (не русским) пьесам в нашем репертуаре. Но это не соответствовало истине — ведь «У жизни в лапах» и особенно «У врат царства» проходили с успехом, хотя о «Лапах» в Загребе писали, что только блестящее исполнение спасает эту пьесу, но, не принимая пьесу, спектакль все же хвалили. Я думаю, что «Потоп» действительно не вышел. Как я уже раньше писал, в нем не было никакой сверхзадачи, а только ее присутствие, ее главенство в «Потопе» Первой студии сделало то, что слабая пьеса стала материалом для изумительного спектакля. Кроме того, как это мне ни грустно, но мать моя оказалась очень слабым режиссером для такой работы.

Ведь все, что ставилось до сих пор в группе, было в той или иной степени возобновлением, реконструкцией в старых традициях. Она очень хорошо работала, бесконечно много сделала для Чебутыкина — Павлова, но ведь были традиции Артема и Грибунина; она буквально сделала всю роль Орловой — Наташи, но ведь это после М. П. Лилиной…

Причем она (Литовцева) совсем не навязывала актерам образа, интонаций, приемов первосоздателей этих ролей, она помогала найти *свой* образ, *свою* линию поведения, приводила к мысли о том, чего добиваться, как *своим*, самостоятельным путем идти к той цели, к какой своим, но иным путем шли прежде другие.

В «Потопе» таких традиционных образцов не было. Московский спектакль знали мало, никто в работе над ним участия не принимал. Видели его только в качестве публики, по одному, редко по два раза. Но кроме того, ведь в студийном спектакле были такие исполнения, как Чехов и Вахтангов — Фрэзер, как Хмара — О'Нейль. Смешно было бы думать, что хотя и талантливый, но мало интеллигентный Паша Павлов мог равняться с Чеховым и Вахтанговым, а темпераментный и страстно-размашистый, «рубашечный герой» Бакшеев мог

оказаться на уровне такого глубокого и по-европейски масштабного актера, как Хмара. Хмара и Керженцева в «Мысли» играл, и Росмера в «Росмерсхольме», умел мыслить на сцене, а Бакшеев в этом силен не был… Правда, вероятно, Берсенев был гораздо лучше Гейрота, Тарханов — Сушкевича, но это не спасало — Гейрот и Сушкевич были в Москве направлены, вписаны в тонко, умно и глубоко продуманный и прочувствованный спектакль. Берсенев же и Тарханов оставались как-то сами по себе…

Да, это была наша первая неудача, если не считать скандального концерта в Константинополе. Мать была убита и мучилась, считая себя виноватой в этой неудаче. Надежда, что спектакль разойдется и постепенно станет идти лучше и иметь больший успех, не оправдалась: ни Загреб, ни Осиек (где мы были в марте), ни Белград (когда мы были там во второй раз) не приняли этой нашей работы, и как пресса, так и реакция публики были еще хуже, чем в Люблянах. Мать пыталась искать спасения во внешних эффектах, главным образом в шумах. По ходу пьесы говорится: «Это рухнула плотина». В Студии для звука рушащейся плотины ломали кусок фанеры с одновременным ударом в барабан. У нас же под колосниками подвешивалась целая поленница дров на двух веревках, по сигналу веревки перерубались, и дрова со страшным грохотом рушились на обитые фанерой станки. Мало того, в этот же момент раздавался залп из трех ружей, гремел театральный гром, ударяли в турецкий барабан и в литавры. С каждым спектаклем мощность звука нарастала (мать не знала удержу в своих требованиях). В Белграде, например, к нам на сцену была вызвана (Берсенев устроил!) команда пулеметного взвода с двумя строенными пулеметами, из которых одновременно давалась короткая холостая очередь.

Грохот был невыносимый, но на публику он почему-то не производил никакого впечатления.

Да, пришлось констатировать, что спектакль, не удавшийся в главном, никакими эффектами спасти невозможно.

Следующей нашей премьерой должно было быть «На дне». Для того чтобы его хорошо приготовить и в это же время отдохнуть, решили на семнадцать дней прекратить спектакли и пожить две недели где-нибудь на курорте. Берсенев решил не выдавать всех денег «на марки», а за счет группы снять какой-нибудь маленький санаторий и поселиться в нем «коммуной». Так и сделали. Недалеко от Люблян есть дивное озеро Блед, вокруг озера — курортный поселок. В это время года, в конце февраля, там был мертвый сезон, и нашим руководителям удалось снять

целый маленький «семейный пансион» только для нашей группы. Причем ввиду того, что мы должны были питаться одной семьей по единому меню, без особых изысков и разносолов, да еще и время несезонное, с нас взяли чуть ли не полцены.

И вот, отыграв 11 февраля «Три сестры», мы, простившись со своими друзьями в театре и с уютным старым «Слоном», рано утром сели в два больших автокара (автобусы с только сидячими местами), распрощались с Л. Д. Леонидовым, который направлялся в Вену, где хотел попытаться снять театр и организовать наши гастроли, и двинулись в дорогу. Подробностей пути я не помню, но чудо приезда, чудо возникновения в глубине долины этого дивного озера помню, как будто это было не полвека назад, а на той неделе. Боже мой! Чего бы я не отдал, чтобы… нет, не увидеть (этого мне мало), а показать это своим близким, чтобы увидеть не только самому эту красоту. Не только эту, конечно, а все то прекрасное, что привелось мне увидеть за мою долгую и такую круто замешанную на событиях и потрясениях жизнь. Иногда думается, что взял меня господь бог за руку и в утешение в том, что нет у меня талантов созидающих, а есть только талант воспринимающий — привел и показал: рассвет в русском лесу, моря и океаны, вершины гор, долины и потоки Кавказа и Альп, Золотой Рог Босфора, Париж, весенний Гайд-парк, расцвет Московского Художественного театра, Лувр и многое другое прекрасное, ради чего стоило жить и страдать.

Одним из таких даров судьбы было видение Бледа. Не могу, не хочу изжеванными словами рассказывать об этой красе неба наверху, над снегом вершин, и неба внизу, под зеленью склонов, в глади озера с ледяными краями… А в середине нижнего неба — скала с замком, круто, неровно-асимметрично торчащим вверх, все вверх, без единой горизонтали. Замок утром розово-золотой, вечером черно-лиловый…

Пансион, в котором мы жили, стоял на самом берегу озера так, что застекленная терраса, на которой мы иногда в хорошую погоду получали «яузе» (чай и закуска в пять часов), висела над самой водой. Кормили скромно, по-домашнему, но вкусно и сытно.

Каждый день, без выходных, с десяти утра до двух шли напряженные и очень производительные репетиции «На дне». О распределении ролей я уже писал; в нем был один, но зато очень существенный недостаток: не было Василисы. Германова ее играть отказалась, у Греч ничего, кроме крика, не выходило, и репетировала ее Ольга Леонардовна. Это было ужасно. Она это и сама понимала и, с глубоким горем отдавая такую чудесную и

любимую роль, как Настёнка, пыталась добросовестно и старательно вжиться в характер Василисы, но это ей было явно не под силу.

В остальном все было в порядке; хотя у Греч Настёнка, конечно, не была таким «бриллиантиком», как у Ольги Леонардовны, но это было больше чем удовлетворительно. Павлов был интереснее и страшнее Бурджалова (Костылев), Бакшеев — Пепел, Орлова — Наташа, Массалитинов — Сатин. Да и Шаров — Бубнов, и Комиссаров — Медведев, и Берсенев — Клещ — все было на отличном и хорошем уровне. К концу отдыха спектакль был готов.

Иван Яковлевич Гремиславский со своим штатом с грустью покинул Блед на пять дней раньше, чтобы подготовить в Люблянах оформление. Костюмы были готовы уже с Тифлиса и Софии. Я всегда очень высоко ценил замечательное мастерство Ивана Яковлевича Гремиславского, его удивительное умение увидеть в каждой вещи ее скрытые возможности и выявить их так, как это в каждом отдельном случае максимально возможно. Пока все наши спектакли требовали обычных интерьеров, он легко находил в благоустроенных театрах (а мы, кроме Белграда, играли в театрах достаточно обеспеченных) нужные ему, подходящие павильоны, и, переставив стенки справа налево или наоборот, вставив на место окон двери, подкрасив их и т. д., он получал нужный павильон для любой чеховской пьесы, для «Осенних скрипок» и «У врат царства», а другие пьесы мы играли просто в сукнах.

Но тут для костылевской ночлежки найти что-нибудь подходящее было очень трудно. Иван Яковлевич обтянул мешковиной какие-то обреченные на слом стенки, перевернул одни стенки вверх ногами, а другие наизнанку, сколотив из двух ящиков русскую печку, из распиленной на полосы фанеры — комнату Пепла. После того как все это было расписано, Иван Яковлевич получил достаточно убедительный подвал. Низко опущенные падуги, свет и реквизит завершили все. На изнанке высокого задника Иван Яковлевич написал кирпичный брандмауэр; обив какой-то готический двухэтажный дом той же мешковиной и расписав ее под цвет штукатурки, а облупленные места под кирпич, он создал очень хорошее оформление «заднего двора».

Все оформление было сделано и написано за полтора дня бешеной работы трех человек — самого Ивана Яковлевича, Ивана Орлова и меня. Причем я был преимущественно чернорабочим, так как по-настоящему ничего не умел делать, а только помогал, но зато уж изо всех сил. Наблюдавшие нашу работу руководители

люблянского театра тут же пригласили Ивана Яковлевича сделать у них постановку, какого спектакля — не помню, и он между прочим сделал для них эскизы. Его необычайно высоко оценили и в Загребе и вообще в Югославии, ему неоднократно предлагали остаться во всех городах, где мы были, и предлагали очень хорошие условия. Но разве мог он даже подумать об этом?

Двадцать восьмого февраля была генеральная, 1 и 2 марта мы сыграли «Дно» и на этом простились с милыми Люблянами.

К концу нашего пребывания в Бледе туда прибыл Л. Д. Леонидов и сообщил, что в первых числах апреля нас ждет Вена. С невероятным трудом (по его словам) ему удалось добиться для нас театра и въездных виз. Последнее было не легче первого: в Австрии было нечего есть, гостеприимно принимали только тех, кто ввозил продовольствие или валюту, на которую его можно было купить, а мы были только едоки, без всяких «ценностей». В хлопотах ему помогало имя Книппер-Чеховой (Антон Павлович был очень популярен в культурных кругах этой страны).

С 5 по 13 марта мы играли в милом Загребе. «Потоп», как я уже говорил, провалился и здесь, только с большим треском, чем в Люблянах. «На дне» имело успех, но очень много меньший, чем чеховские спектакли, «Карамазовы» и «У врат царства» — так, где-то между «Мудрецом» и «Осенними скрипками». Хотя последний спектакль в Загребе (мы кончили «Дном») прошел триумфально, но это был триумф не спектакля, а труппы, театра. Убогий подвал «ночлежки» был буквально засыпан цветами. Больше получаса после последнего занавеса публика не расходилась и кричала «Живио!» и «Добре дошли!». Настоящие и искренние слезы лились по обе стороны рампы. Уж на что мы были избалованы лаской и любовью в Тифлисе и в Поти, но подобного, равного Загребу, в нашей жизни за эти годы мы не знали ни до, ни после него. Успех бывал, бывали и дружбы, и возникало тепло во взаимоотношениях, но взаимовлюбленности такой не бывало.

На всех наших спектаклях везде, где только можно было при переполненном зале приткнуться, виднелись лица хористок, кордебалета из оперетты, музыкантов, не говоря уже об артистах драмы всех рангов и положений. Наши тоже по нескольку раз смотрели их спектакли — и драматические, и оперные, и опереточные. И как бы переполнен зрительный зал ни был, знавшие всех наших актеров любезные билетеры устраивали их самым лучшим из всех возможных образом, вплоть до того, что ставили нам в проходах стулья. Стоило одному из наших войти в «Казалистна кавану» (театральное кафе), как у трех-четырех столиков вскакивали знающие их театральные люди и наперебой

звали к себе.

Жалко было со всем этим расставаться — и с дивным парком, и с «Москвой», с ее милым Марко Ивановичем, и с сердечно любящей нас публикой, и, главное, с этим насквозь культурным, насыщенным атмосферой тонкого и высокого искусства театром… Но мы, как Агасфер, должны были идти и идти все дальше и дальше.

Теперь нам предстояло сыграть несколько спектаклей в главном городе Славонии — Осиеке. Это был очень типичный провинциальный городок, чистенький, тихий и скучный.

Сыграли мы там четыре спектакля: «Вишневый сад», «Потоп», «Дядю Ваню» и «Осенние скрипки».

Наибольший успех имели «Осенние скрипки» — может быть, потому, что это был последний спектакль. Но настоящий успех мы имели только на нем.

У меня лично была большая, хотя принятая нашей труппой смехом, неприятность. Для «Потопа» мне нужно было четыре-пять круглых столиков (для кафе-бара). Рядом с нашим театром в саду было закрытое на зиму кафе.

Я выпросил у хозяина четыре железных столика с мраморными крышками и с трудом перетаскал их в театр. После «Потопа» я решил вернуть их, но с первым же столом упал и разбил мраморную крышку. Испугавшись скандала, я решил отдать их в последний момент, утром, перед отходом парохода. Так и сделал: перетаскал их в кафе в семь часов утра, помчался на пристань и прятался там до самого отплытия и только с последним гудком пробрался на пароход. Надо мной долго смеялись по этому поводу.

Из Осиека мы плыли по Драве и Дунаю до самого Белграда. Это было на редкость приятное и какое-то освежающее путешествие. К сожалению, оно длилось один всего день — вечером мы были уже в Белграде.

За три зимних месяца в городе произошли большие изменения. Был отстроен хороший отель, сильно разрушенный и разграбленный во время войны, и в нем с комфортом разместилась вся наша труппа. Тамары Дейкархановой в Белграде не было — ее вызвал в Париж Никита Балиев, открывший там свою «Летучую мышь». Играли мы уже не в манеже, а в восстановленном и отлично отделанном театре. Сыграли три чеховские пьесы, «На дне» и один раз наш неудачный «Потоп». Успех был хороший, но того контакта с публикой, той атмосферы дружбы со зрительным залом, какая была в Загребе, конечно, не было.

Был конец марта, шла весна, вторая наша весна перед

третьим нашим летом в странствиях. Весна была светлая и холодная, и то ли от этого, то ли оттого, что Белград был чужим и холодным, но об этом кратком сезоне в столице Югославии мы всегда вспоминали с тоской. Главное же, что волновало, тревожило и не давало покоя, — это была мысль о том, что мы расстаемся со славянскими странами, что не будет перед нами больше понимающего почти каждое слово зала. Ведь нам предстоял самый серьезный экзамен: играть в Вене. В Вене, городе, который всегда славился своим театром, в городе, где нас будут смотреть люди, видевшие лучших актеров мира. Мы должны победить этих зрителей вопреки языковому барьеру. Как-то там все сложится, как к нам отнесутся, как примут… Ведь и в быту там будет трудно: никто почти из труппы не знал немецкого языка. То ли дело с братскими народами — и с болгарами, и с сербами, хорватами и словенцами легко было объясняться, а теперь все почти будут без языка…

Да, с мрачными думами мы садились 1 апреля в поезд, который вез нас в Вену. Но нам еще предстояла одна неожиданная радость — нас ждала волна тепла и ласки, которая смыла и отбросила на время наши тревоги и сомнения, и не такой уж страшной стала нам казаться Вена. Вот что такое была эта радость. Поезд наш уходил из Белграда поздно вечером, проводили нас очень мило и тепло, но это были далеко не те проводы, к каким мы привыкли, какими нас избаловали друзья и поклонники нашего театра. Вагон был второго класса, с мягкими сиденьями, именно сиденьями — спали сидя, навалившись друг на друга.

Утром, когда, усталые от неудобных поз, от мучительного полусна-полубодрствования, мы подошли к какой-то станции, нас встретили громовой музыкой: на перроне играли по очереди два оркестра, военный духовой и смешанный. Это был Загреб. Было пять часов утра, но весь вокзал был полон веселой нарядной публикой — это наши друзья встречали нас, чтоб попрощаться в последний раз. На вокзале был весь театр — от директора до портье.

Все актеры всех трех трупп, музыканты, рабочие всех цехов, даже милая кассирша из билетной кассы, хорошенькая рожица которой всегда приветливо улыбалась нам из своего окошечка…

Наш кормилец Марко Иванович, официанты из «Казалистна каваны», профессора, студенты университета, служащие гостиницы, в которой мы жили, все, все, все… В ресторане были накрыты столы и приготовлен завтрак для всех.

Мы сели вперемешку со своими хозяевами, захлопали пробки шампанского, оркестры гремели, все хором запели какую-то

хорватскую песню про проводы милых гостей…

Но вот уже прозвенел звонок — поезд, который был специально задержан, простоял свыше двадцати минут, но больше стоять он уже не мог. Мы, целуясь и обнимаясь одновременно с десятками друзей, кинулись к вагонам, но и тут нас встретила неожиданность — на каждом месте был поставлен картон с бутербродами, бутылками, конфетами, сигаретами. Все купе были надушены духами, на каждом столике стояли букеты цветов…

Паровоз загудел, толпа человек в двести пятьдесят грянула «Живио!», и под эти сердечные крики, едва видя сквозь слезы умиления и счастья дружеские и весело-заплаканные лица жителей нашего любимого Загреба, мы отъехали от вокзала. Ну как было не измениться нашему настроению? Как было не поверить в свое счастье, в свое право на успех, ведь если «маленькая Вена», как любили называть свой городок коренные загребцы, так исключительно полюбила нас, неужели же и большая, настоящая Вена не примет нас и не полюбит?..

Больше уже никто не дремал, все, перебивая друг друга, говорили об этой дивной встрече, об этой четверти часа, до краев наполненной любовью и таким ценным для нас признанием. Эта любовь еще теснее спаяла нас, ведь не только несчастье и горе объединяет людей, но и общая любовь…

Скоро была австрийская граница. В вагон вошли щеголеватые, любезные, чуть презрительно-фамильярные к пассажирам второго класса австрийские таможенники и жандармы — мы въезжали в Австрийскую республику. Часа через два мы были в Вене.

Это был самый трудный, самый ответственный наш сезон.

Как я уже писал, театр мы получили с огромным трудом. Никто не верил в серьезность и художественные достоинства нашей труппы.

Вена

Вена, как утверждали наши «старики», мало изменилась с 1906 года, она только обеднела и перестала быть столицей великой державы Австро-Венгрии с многомиллионным населением, а стала главным городом небольшой республики. Но верхушка общества осталась по составу той же, только обедневшей и постаревшей на пятнадцать лет. Они, все те, от кого зависела судьба наших гастролей, — директора государственных (бывших кесарско-королевских) театров, чиновники городского управления, ведавшие городскими театрами, писатели (Артур Шницлер, например), редакторы газет, театральные и художественные критики — все эти люди были если не на тех же, то около тех же постов, как и пятнадцать лет назад. И они, оказывается, отлично помнили гастроли Художественного театра. Но из тех, кого они помнили, теперь здесь была одна «госпожа Книппер-Чехова». Помнили они Немировича-Данченко, Москвина, даже Савицкую, Лужского и Артема, и, конечно, не по гастролям только, а и по частым упоминаниям в газетах и журналах знали Станиславского. Из приехавших даже Василия Ивановича мало кто помнил — в 1906 году он был далеко не выгодно для себя показан: Барон в «На дне», Тузенбах в «Трех сестрах», Петя Трофимов — все эти роли были второстепенными. А другие наши премьеры либо совсем не были в той поездке (Массалитинов, Берсенев, Бакшеев, Павлов), либо были «на выходах» (Александров, Германова).

Так вот, надо было пробить стену подозрительного и презрительного недоверия. Вот тут надо отдать должное С. Л. Бертенсону. Благодаря своему отличному немецкому языку, своей светскости, лоску, своим визитным карточкам с баронской короной и со званием «доктор» и частицей «фон», которые были на них напечатаны и которым вполне соответствовали его тон, манеры и лексикон, — он был охотно везде принят и сумел внушить доверие к труппе, которую представлял.

Открылись мы 8 апреля «Тремя сестрами» в помещении Stadttheater («Штадттеатр»).

Продажа билетов шла плохо. Чтобы как-то ее форсировать, нужна была реклама. Причем для Вены, бедной, полуголодной, продававшей американцам за хлеб, сахар и консервы свои изумительные гобелены, фарфор, хрусталь и другие сокровища музеев, нужна была не та реклама, какую мог дать Л. Д. Леонидов, то есть афиши, анонсы, объявления в газетах (хотя и это было трудно — мало было денег), нужна была тонкая,

умная реклама — беседа с Артуром Шницлером, интервью с Раулем Асланом, репортаж о встрече Ольги Леонардовны с Блейбтрой, премьершей «Бургтеатра». Вот этого всего и добился Бертенсон.

Так что к первому открытию занавеса в Вене, когда М. Н. Германова сказала дрожащим от волнения голосом: «Отец умер ровно год назад…» — зал был, как говорил наш оптимист Леонидов, «наполовину полон». Волновались мы все! Так все было трудно, так холодно-враждебен казался нам весь этот город! Вена, город, который все бывавшие в нем хоть раз, вспоминают как самый любезный, самый радушный город в мире. Но нам он в эту первую неделю таким не казался. Уж очень на нас косо смотрели наши коллеги в театре. Чего стоило добиться в нашем и в принадлежавшем тому же хозяину Театре в Иозефштадте разрешения взять со складов старые декорации для перекраски их!

Для «На дне» мы нашли декорации, в 1911 или 1912 году сделанные по фотографиям МХТ для этой же пьесы, которую играла и которую провалила местная труппа. Это было счастье, так как иначе мы вынуждены были бы играть «На дне» в сукнах. Для «Трех сестер» легко подобрали павильоны для первого и третьего действия, но в четвертом у нас стоял дом не то из «Фауста», не то из «Нюрнбергских мейстерзингеров», правда, на нем висела большая табличка: «Доктор Чебутыкин».

С «Дядей Ваней» было нетрудно — играли все в одной декорации. Но вообще трудно было со всем: с мебелью, реквизитом, светом, трудно было от презрения к нам административно-технического персонала. Русские «варвары», с которыми недавно только воевали, о «зверствах, грязи, дикости» которых пропаганда рассказывала ужасы, эти полулюди осмеливаются показывать свое «искусство» в Вене, веселой Вене, которую они считали «центром мировой культуры».

Когда я, войдя на сцену театра, снял по нашему обычаю шляпу, один из старых рабочих спросил: «Когда тебя успели этому обучить?» — и не поверил мне, что это наш обычай, что мы по сцене не только в шляпах, но и в пальто не позволяем ходить ни себе, ни другим.

На этот раз обычного и привычного нам чуда коренного изменения в отношениях после первого спектакля не произошло. Любезнее и несколько уважительнее стали, но дружбы, сердечных взаимоотношений не получилось. Я думаю, что это из-за театра. Это был чисто коммерческий театр, где все определялось сборами, а мы проходили на шестьдесят-семьдесят процентов. И пресса была хорошая, но сенсации не было, а привлечь не

понимающую языка публику могло только наличие именно сенсации, моды. Этого не получилось. Но изменение отношения «общества» произошло коренное: после премьеры «Вишневого сада», в котором Аню играла вступившая в нашу труппу Алла Тарасова, спектакля, прошедшего с огромным успехом, президент управления государственными театрами, тайный советник доктор Феттер пригласил всю труппу на большой прием, «на чашку чая».

Бертенсон, конечно, не захотел, чтобы все были туда допущены, он отобрал «семь пар чистых», только тех, кто, по его мнению, имел право представлять русскую интеллигенцию в венском свете. Я благодаря знанию немецкого языка был допущен, но на другой день получил уничижительный разнос за то, что поцеловал руку барышне — восемнадцатилетней дочери Феттера: «Где вы воспитывались, чему вас учили, если вы не знаете, что девушкам рук не целуют». Я от дикого конфуза, целуя пятнадцать дамских рук, не сообразил, что шестнадцатая — девичья…

Утром 16-го мы играли «Три сестры» для Союза актеров. Вот тут был аншлаг! Театр был забит до отказа. «Эх, если бы такой сбор, да платный!» — скрежетал зубами Леонидов. Успех был огромный. Небывалый в обычные дни, как и наполненность зала.

Конечно, это был не Загреб, и не Любляны, и не София, не было ни слез, ни восторга, ни цветов, но для Вены и это было грандиозно.

После этого спектакля наши «главари» (а с ними и я) стали получать приглашения во все театры Вены, мы увидели ряд изумительных спектаклей. В Бургтеатре — «Мессинскую невесту» Шиллера с Блейбтрой и с Асланом; «Гамлета» с Иенсеном; и в замечательном оформлении, с дивными световыми эффектами «Росмерсхольм»; в опере слушали «Кольцо Нибелунга». В каком-то маленьком театре — «Тайфун», и много еще хорошо сыгранных, интересно поставленных и, что на меня произвело самое большое впечатление, очень художественно и технически совершенно оформленных. На всю жизнь не забуду призрака в «Гамлете», который шел по зубцам, наступал и на пустоту между ними, а сквозь него светили звезды… А заходящее солнце в «Росмерсхольме», луч которого перемещался с предмета на предмет, подымаясь все выше и выше и меняя цвет от желтого к оранжевому и красному, по мере того как садилось солнце… А как было освещено лицо, одно только лицо, почти одни глаза у Иенсена во время монолога «Быть или не быть…». А Блейбтрой — донна Изабелла в «Мессинской невесте» — как она была прекрасна!

В Вене наши премьеры поняли, почувствовали, что, как они

ни хороши, как ни крепко сидит в них мхатовская закваска, но еще год-два таких скитаний по миру без новой работы, главное, без контроля Константина Сергеевича и Владимира Ивановича — и мы скатимся к провинциализму, к самоэпигонству, к гибели…

Надо было подчистить, подтянуть и то, что мы играли, надо было повысить требования к себе и друг к другу. В этом смысле Вена сыграла огромную роль. Соприкосновение с требовательной и взыскательной публикой, публикой, не настроенной заранее гостеприимно и по-братски, как это бывало в славянских странах, и, с другой стороны, возможность соприкоснуться с высокой и глубокой театральной культурой — все это не могло не подействовать на нашу труппу, не могло не заставить ее подтянуться, почиститься, пересмотреть свою работу и повысить требовательность к своему мастерству.

Сыграло роль и появление в наших спектаклях Аллы Тарасовой. Она была совсем юной актрисой и по годам и по свежести, чистоте, свободе от штампов. Как всякая неофитка, она была сурово-требовательна к чистоте школы, к верности заветам, в которых еще недавно воспитывалась. Она никому не делала никаких замечаний, она просто удивлялась, а иногда краснела до слез, когда чувствовала фальшь, наигрыш, «представление», штамп. И если не все, то многие, очень многие подтягивались и убирали «ракушки». Не все в этом сознавались, но вот Василий Иванович при мне говорил, что даже растерялся от взгляда ее строгих и как будто смущенных за него глаз, когда он репетировал с ней Гаева; сразу слетали трючки, и серьезнее стало все. Ольга Леонардовна говорила на это свое «глупости какие», но по глазам было видно, что и она довольна этой атмосферой строгости и чистоты, которую несла с собой Алла Константиновна.

Отношение к нам работников театра к концу все-таки довольно сильно изменилось; в том, что вначале они так недоверчиво к нам отнеслись, было больше художественного, театрального патриотизма, нежели национальной неприязни. У австрийцев мы никогда не замечали злопамятности к нам как к бывшим врагам. Им просто трудно было допустить мысль, что те, кого они привыкли считать полудикарями, могут заниматься высоким искусством. Но вне театра мы ни в начале гастролей, ни в конце не ощущали враждебности; особенно, пожалуй, хорошо к нам относились те, кто должен был бы больше других нас ненавидеть, — это люди, бывшие в плену в России. Таких было очень много. И об этом они вспоминали без злобы, без ужаса, а скорее, пожалуй, наоборот — с теплом и любовью.

Как-то мы с Василием Ивановичем зашли в огромный

ресторан-пивную — «Rathauskeller» («Погреб под ратушей»). Это была гигантская пивная, заставленная десятками ничем не покрытых столов, за которыми сидели в пальто и шляпах и пили пиво и закусывали самые разные люди: адвокаты с портфелями, служащие ратуши, ломовые извозчики, студенты-корпоранты, солдаты, целые бюргерские семьи с детьми.

Мы сели, заказали пива, сосисок. Под сводами подвала стоял ровный гул от негромких разговоров, стука и звона посуды, ножей и вилок. Вдруг Василий Иванович прислушался и, чуть привстав, потянулся ухом куда-то в сторону. Я тоже напряг слух — сквозь ровный многоголосый шум можно было ясно расслышать мелодию «Из-за острова на стрежень», которую пело множество грубых мужских голосов. Потом запели еще что-то уже не русское, а потом опять русские песни. Мы решили, что это какое-нибудь белогвардейское сборище, но потом поющие так дружно прокричали трехкратное «хох», что мы усомнились, русские ли это.

Расплатившись, мы пошли на голоса, и что же оказалось? В углу подвала за тремя или четырьмя столами сидели человек тридцать-сорок мужчин, пили пиво и пели, главным образом русские песни. Они стройно, но с явно нерусским акцентом запели «Вниз по матушке по Волге». Спросили кельнершу, кто это такие, она нам объяснила, что это ежегодная встреча «русского землячества» — австрийских солдат и офицеров, проживших по два-три года в плену в России. В определенный день они съезжаются в Вену и сходятся здесь, чтобы вспомнить годы плена.

Когда кельнерша рассказала им, что мы русские, нас заставили подсесть к ним, все хотели с нами выпить и наперебой рассказывали, как хорошо к ним отнеслись в России — в Сибири, на Урале, на Волге, где кто из них был, какой замечательный народ русские, как они хорошо поют, пьют, какие приветливые там женщины…

Мы вспомнили того мальчика-австрийца на трамвайном прицепе в Москве, которому старушка сунула булку. Это ведь такое свойство у нашей страны — все, кто в ней пожил, никогда ее не забывают и всегда вспоминают ее и русских людей с любовью и благодарностью.

В общем, у нас осталось от Австрии, вернее, от Вены хорошее воспоминание, хотя жилось нам трудно и из-за работы (особенно вначале) и из-за безденежья и вообще скудности во всем.

Сыграли мы там все три чеховские пьесы, «На дне», «Карамазовых» в два вечера и один раз «Врата». Ни «Лап», ни «Осенних скрипок», ни «Мудреца», ни, конечно, «Потопа» не играли. «Врата» прошли с успехом, слушали и принимали их

очень хорошо, но сбор был совсем плохой — венская публика хотела видеть русских актеров только в русском репертуаре, смотреть их в пьесе Гамсуна ей было неинтересно.

Пресса в Вене была, в общем, хорошая, причем она улучшилась к концу гастролей, да и сборы имели тенденцию к повышению. Так что можно сказать, что Вену мы победили. Это не было, конечно, торжеством завоевания, как в Софии и Загребе, но и объект был другой! Вена — ведь это действительно одна из столиц мира, во всяком случае, в том, что касается культуры, искусства, театра.

Уехали мы из Вены все же с облегчением, с чувством людей, благополучно закончивших тяжелый и ответственный труд, завершивших его успешно.

Прага

Прага встретила нас тепло. Прежде всего тепло в буквальном, температурном смысле. Мы приехали туда в последние дни апреля. Были дивные весенние дни, а в Праге май удивительно прекрасен.

Поселились в двух отличных, близко друг к другу расположенных гостиницах «Граф» и «Беранек». Театр — «Виноградске дивадло» — был тоже недалеко, минутах в десяти-двенадцати от гостиниц. Театр был великолепный. Ивану Яковлевичу было из чего выбрать и павильоны и пейзажи. Да и отличные мастерские были предоставлены в его распоряжение — было где переписывать и переделывать декорации.

Завоевывать доверие и уважение здесь не пришлось — оно было завоевано с 1906 года. Здесь помнили, любили и уважали Художественный театр. Здесь любили все, в чем видели родственное, славянское. Ни одна славянская страна, вернее, ни один славянский народ не был так давно и крепко связан с Россией культурными, творческими каналами (если не считать Кирилла и Мефодия, но я не о тех далеких временах говорю, а о XIX веке), как чехи с русскими, как Прага с Москвой.

Мы как-то удивительно остро и радостно ощутили эту связь. Вокруг нас сразу, буквально с первых дней приезда, сгруппировалось целое общество самых разных, но одинаково дружелюбных и сердечно настроенных к Художественному театру людей. Нет, пожалуй, неправильно будет говорить о сердечности, это в Софии и Загребе была только сердечность, здесь не это главное, здесь, в Праге, главной была глубокая и умная заинтересованность в творчестве, в методе, стиле и характере нашего театра. Может быть, не было того семейного тепла, интимности и уюта, как в Загребе, но был внимательный, вдумчивый, доброжелательный и требовательный интерес. Да, требовательный, взыскательный взгляд следил за нашими спектаклями, концертами, выступлениями в печати.

Интересовались и планами на дальнейшее, репертуаром, писали, советовали готовить то или это. Были предложения создать школу, театральное училище или войти, влиться в чешскую консерваторию, открыв в ней русско-чешский драматический факультет.

Вообще как-то сразу, даже до открытия сезона вокруг театра создалась атмосфера стабильности, покоя, постоянства существования нашей группы в Праге. У всех, окружавших нас, было стремление создать у наших ощущение того, что они дома,

что Прага — это не этап странствий, а завершение их.

За пять-шесть дней, которые мы прожили здесь со дня приезда и до открытия сезона, вокруг нас завертелась, закипела и успела перекипеть и выкристаллизоваться борьба русской эмигрантской колонии.

Как и везде в те времена за границей, в Праге были разные и резко враждебные друг другу лагеря и группировки эмиграции — от крайних монархистов до «левых кадетов» и даже эсеров. Все они пытались завербовать нашу группу, вовлечь ее в свои ряды. Берсенев, к которому, как к нашему представителю, вожаки этих организаций и групп в первую голову обращались, оказался на большой высоте. Он сумел сразу поставить нас не только вне каких бы то ни было их партийных группировок, но и вообще вне рядов эмиграции. Он, а за ним и все остальные при встречах и с эмигрантами и с чешскими политическими деятелями утверждали, что мы ни в коем случае не изгои, что путь к возвращению на родину для нас не закрыт.

Сначала он, а потом и Василий Иванович и Ольга Леонардовна подтвердили то, что мы, вероятно, вернемся на родину в ближайшем будущем. Это сразу оттолкнуло от нас «организованную эмиграцию» и наоборот, привлекло к нам массу в тот период колебавшихся, во всем сомневавшихся, готовых перестроиться и ждавших, жаждавших влияния извне, чтобы «сменить вехи», рядовых беженцев. Многие из них формально входили в разные партии, но в душе (во всяком случае, лучшие, честнейшие из них) больше всего томились и тосковали по родине.

То, что мы оказались вне всяких направлений, вне эмиграции, было очень одобрительно принято чешским обществом и даже правительством. Им эмигрантская шумная, визгливая драчливость, видимо, очень уж надоела. К тому же не сегодня-завтра в Праге ждали советскую делегацию для торговых (а может быть, и политических) переговоров. Ведь это была весна 1921 года — всем было уже ясно, что Советская власть утвердилась в России навсегда, что гражданская война закончена полной победой, интервенция разгромлена, Кронштадтский мятеж ликвидирован, что на всей почти территории России началось восстановление, а значит, в Европе начнется борьба за этот новый огромнейший рынок… А тут под боком идет эта грызня и склока.

Россию и русских здесь любили и традиционно и искренне, но эмигрантские счеты между собой, драки и плевание друг в друга раздражали. Наша внеэмигрантская позиция очень способствовала созданию вокруг нас атмосферы дружелюбия и

почтения и побуждала к стремлению облегчить нашу работу и жизнь. Но основным, конечно, были наши спектакли.

Шли они очень хорошо, мне кажется, лучше, чем когда-либо. Очень многое дало труппе возвращение в нее Аллы Тарасовой. В Вене она своим участием подняла «Вишневый сад», который до нее, с Краснопольской, чья Аня была большим художественным компромиссом, шел много хуже. Теперь Тарасова стала играть Аню еще намного лучше и сыграла еще и Ирину в «Трех сестрах», где она была гораздо лучше Крыжановской. Она играла в очередь с ней, причем, когда та играла Ирину, Алла Константиновна играла горничную, чтобы не заставлять делать это обиженную Краснопольскую.

Кроме этого, Тарасова сыграла вместо Краснопольской и фрекен Норман в «Лапах» и вместо Орловой — Верочку в «Осенних скрипках». И все лучше предыдущих исполнительниц.

В нашем рукописном журнале, издававшемся «Серкомом» (С. М. Комиссаровым), появились стихи:

«*Мужской хор*:

Нашлась Тарасова,
Ура, ура, мы спасены.

Женский хор:

Пускай кричит „ура“ сова,
А мы молчим, мы смущены…»

Так оно было действительно: с приходом Тарасовой все встало на место, труппа стала полноценной, казалось даже странным, что мы могли существовать без актрисы такого необходимого амплуа.

Начав сезон 2 мая, мы закончили его 7 июня, играя каждый день без единого выходного. Мы сыграли за это время около сорока спектаклей, причем почти все с аншлагами. Пресса была все время самая хвалебная. Появились статьи о наших спектаклях и в «Berliner Tageblatt» («Берлинер тагеблатт») и в немецких театральных журналах. Не знаю, какие спектакли проходили хуже, какие лучше; кажется мне, что прием был разнообразным, но равно хорошим. Не играли только «Потоп».

Условия жизни были очень хорошие, выдачи «на марки» были превосходные, но Иван Николаевич от каждой получки откладывал такую сумму, что нам представилась возможность не работать совсем месяца два-три. За это время решили готовить

новый репертуар.

На бурных и продолжительных общих собраниях шли горячие споры о том, что ставить. Чего только не предлагали! И «Гамлет», и «Гроза», и «Лес», и «Чайка», и «Иванов», и «Лев Гурыч Синичкин».

К нашей группе тянулось много актеров, оказавшихся за границей. Шла переписка с Хмарой (он был в Берлине), с Жилинским и Соловьевой (в Ковно), с Ричардом Болеславским (сначала в Варшаве, потом в Берлине). Было и еще много писем с просьбой принять в группу, но я их не помню. Запомнил только тех, кто в результате вступил в нее.

Болеславский предлагал себя не только (вернее, не столько) как актера, сколько как режиссера. Он предлагал поставить «Гамлета», писал, что у него есть готовый постановочный план его. Это, мне кажется, решило выбор: раз он берется ставить «Гамлета», будем его играть. Как бы ни сложилась наша судьба, иметь в репертуаре «Гамлета» — это же замечательно!

Стали искать репетиционное помещение. Болеславский не собирался долго работать за столом, он предлагал приехать и приступить к делу в начале июля, с тем чтобы в середине месяца уже репетировать в мизансценах. Тогда решили на месяц разъехаться кто куда на отдых, а к 15 июля собраться в Праге — репетировать в репетиционном зале и две-три недели на сцене. Перспективы жизни и работы в Праге в июле — августе нашу группу не радовали совсем. Как это ни странно, но Прагу мы, во всяком случае большинство из нас, не полюбили. Признавали ее красоту, удивительную прелесть Старого города, Влтавы, мостов, ратуши, признавали и ценили, но привязанности, родственного чувства к Праге не родилось. Умом понимали, что Прага во всех отношениях значительнее, да и красивее, чем Загреб, и все-таки при одном упоминании нашего милого Загреба у всех прояснялись лица и влажнели глаза. Я думаю, что это было оттого, что в Праге мы жили чисто «отельной» жизнью, с друзьями и поклонниками встречались на банкетах, раутах, вечерах и т. д. В Загребе же мы с хорватами работали в одном театре, мы как бы стали одной труппой — мы толклись у них в фойе и артистических уборных во время их спектаклей, они были как дома за кулисами у нас. Мы ходили на их репетиции, кое-кто, например, Иван Яковлевич и С. Л. Бертенсон, даже принимали участие в их постановках, они часто сидели на наших репетициях, их главный дирижер не брезговал налаживать музыкальное сопровождение и дирижировать сценическим оркестром в наших спектаклях, «еврейским оркестром» в «Вишневом саде», военным в «Трех сестрах» и «множеством тихих скрипок» в «У жизни в

лапах». Эта общая работа сроднила нас с труппой, а через нее — и с городом. Ведь ничто так не сближает людей, как совместная работа, да еще работа в любимой области — в искусстве.

Но тут, в довершение всех благ (дотация в виде скидки с платы за аренду театра, снятие всех видов налогов, распоряжение владельцам отелей о взимании с нас платы за номера, как с чехов, так как иностранцы платили дороже, и т. д.), которыми осыпали нас чехи, они еще предоставили нам в прекрасной местности близ города Мелник дом «Замек Неуберг». Это была баронская усадьба с дивным парком, со всей обстановкой, с дворецким и экономкой, с постельным и столовым бельем, с кухонной и столовой посудой. И все это абсолютно бесплатно.

Берсенев организовал там хозяйство и коммунальное питание. Но самое главное, в этом «замке» был огромный полуподвал, в котором можно было репетировать. Иван Николаевич попросил провести туда освещение, так как дневного света там было мало. Проветривалось помещение очень хорошо, там было сухо и тепло, так как рядом с нашим будущим репетиционным помещением была бывшая прачечная с большой печкой. Таким образом, все отлично решалось — с 10 июня мы можем переехать в наш «замек», месяц там отдыхать, а с середины июля начать там репетировать.

Два с половиной месяца жизни на прекрасном воздухе и возможность в таких условиях приготовить «Гамлета»! Так мы и сделали.

Два часа поездом до Мелника и полчаса ходьбы от вокзала до нашей резиденции. «Замек Неуберг» (владелец которого, барон фон Неуберг, уехал в Австрию) принадлежал государству, старый дворецкий — чех пан Аугуст и экономка — пани Новакова составляли весь его штат. Берсенев нанял еще кухарку и уборщицу-судомойку. Подавать на стол, убирать со стола должны были дежурные из нашей группы. Нас там жило человек сорок, так что дежурить приходилось не чаще раза в неделю. Дежурили по четыре человека. Это было всегда темой шуток и смеха и проходило легко и весело.

Вообще жизнь наша наладилась. Замок стоял в лесу, от которого его отделяло шоссе, а от шоссе его двор был отгорожен высокой железной решеткой. Дом выходил одним фасадом на этот двор, другой фасад выходил в огромный и очень разнообразный парк, где были ели, пихты, лиственницы, липы, буки, дубы и масса цветов и кустов. Сейчас это немного одичало: пан Аугуст не мог ухаживать за садом, он был стар и слаб. Кое-что привели в порядок наши дамы, но все-таки все выглядело немного дико и свободно, и это было еще лучше.

Наша группа-семья все росла и росла. В Загребе к нам вновь присоединился Сураварди, в Вене — Алла Тарасова с мужем, годовалым сыном и милой няней-украинкой «з під Катеринославу»; наша Машенька Крыжановская вышла замуж за скульптора Аркадия Бессмертного, который удивительно играл на гитаре и свистел; вскоре к нам приехал племянник Ольги Леонардовны — Лев Книппер (позже известный композитор); через месяц мы радостно и комически-торжественно встречали Ричарда Болеславского с женой Натальей Платоновой (бывшей петербургской кафешантанной певицей); потом приехал Г. М. Хмара, потом Жилинский с Соловьевой…

Совместно отмечали все дни рождения, именины, дни свадьбы и т. д. Особенно весело отпраздновали именины Ольги Леонардовны — пили, пели, гуляли всю ночь. Она всегда, а в то лето как-то совсем уж особенно была любимицей труппы.

Василий Иванович поздравил ее стихами, которые начинались так:

«Приветствовать Ольгу, мою Книпперушу,
Готов без конца я стихами,
Ведь я же люблю ее „больше, чем душу“,
Ну, словом, не скажешь словами.
О, сколько, Ольгуша, с тобою связалось
Прекрасного, светлого, всякого,
О, сколько событий пред нами промчалось
И сколько имен от Акима до Якова!»

Не жила с нами М. Н. Германова. Она была обижена на группу. Ее никак не устраивал «Гамлет». Она с семьей жила где-то под самой Прагой, где ее муж — профессор-археолог А. П. Калитинский — получил кафедру в университете. Не жил с нами и С. Л. Бертенсон — он лечился в Карловых Варах и приезжал к нам только раз-два за лето, когда проводились общие собрания группы.

Кроме добавлений извне наша группа пополнялась еще и, так сказать, «изнутри»: Катруся Краснопольская, жена Массалитинова, лишившись с приходом Тарасовой ряда ролей, утешилась, родив прелестную девочку. Жена Берсенева — О. Н. Павлищева — тоже родила девочку. Теперь у нас в группе было уже пять детей: Андрюша Калитинский, Валя Гремиславский (по семи лет), Алеша Кузьмин (тарасовский) одного года и две новорожденные девочки.

Жили дружно и приятно. Каждый день часа по четыре — четыре с половиной репетировали в нашем «репетиционном

помещении» в подвале. Там было тепло и сухо в дождливую и холодную погоду и прохладно в жаркие дни.

В часы репетиций все в доме и вокруг него замирало — все всегда помнили о работе, даже если в ней и не участвовали. В свободное время купались в реке, гуляли, играли в городки во дворе перед домом. Эта игра страшно заинтересовала чешскую молодежь, мальчишки и юноши, проходившие по шоссе мимо наших ворот, застревали перед ними на долгие часы, но со свойственной чехам воспитанностью к нам не заходили.

Василий Иванович очень много работал над текстом Гамлета. Он, как всегда, не удовлетворялся имеющимися переводами и комбинировал свой текст из них и, кроме того, додумывал и досочинял сам. Достали английский текст, и Сураварди переводил его и растолковывал смысл и особенности отдельных выражений.

Репетиции шли в удивительно легкой и хорошей атмосфере: все были довольны своими ролями, многие очень увлечены ими. Тарасова и Крыжановская по очереди репетировали Офелию. Обе работали в полную силу, а Алла Константиновна даже, можно сказать, самозабвенно. Это была ее первая большая роль, большая и в смысле «главности» и по ее месту в истории мировой литературы. Она это очень глубоко понимала и искала под руководством Нины Николаевны, которой очень верила еще со времен «Зеленого кольца», какие-то новые для себя приемы, добивалась особой, «высокой» дикции, ритмичности и музыкальности речи…

Ольга Леонардовна играла королеву Гертруду, а Н. О. Массалитинов короля в крэговско-станиславском спектакле. Играли, кажется, хорошо. Но, как они (вернее, Николай Осипович) говорили, мучительно боролись с собой во имя крэговского толкования. Теперь они были свободны. Режиссеры не давили на них, никуда их не тащили насильно. Никакой декларативности, полемичности в задачах режиссуры не было: стремились только к вдумчивому, глубокому пониманию мысли Шекспира и такой же передаче ее, но форму искали поэтичную и романтичную. Конечно, виденные нашими, особенно Ниной Николаевной и Ольгой Леонардовной, спектакли венского «Бургтеатра» («Гамлет», «Мессинская невеста» и другие), певучесть речи австрийских актеров, некоторая декламационная приподнятость речи, как она ни чужда нашему актеру, пленили их и внушали им неприятие слишком «низкой», слишком бытовой речи. В этом смысле труднее всех было преодолеть инерцию Павлова — Полония, которого тянуло то к Федору Павловичу Карамазову, то к Чебутыкину, то к какому-то «вообще папаше» из

водевиля. Но он был одаренным человеком, способным к борьбе со своими штампами.

Трудноват в этом плане был и Бакшеев — дух отца Гамлета: он то завывал, как ксендз в святую троицу, то «бытовил», как кондуктор. Но и он охотно и покладисто работал.

Интересно намечал свой монолог Хмара — Первый актер. Похожа была (даже в женском платье) на юношу актера Соловьева. Шаров был умным и скучным Горацио, но такова уж эта роль. Ричард Болеславский с Иваном Яковлевичем, запершись в нашей «гостиной» (в оранжерее), рисовали, чертили, сочиняли внешнюю форму спектакля. Но к решению и к созданию «Гамлета» я еще вернусь, описывая время ближе к его выпуску.

Самым важным для судьбы нашей группы явилось вот что: в конце июня на имя Василия Ивановича пришла телеграмма от Владимира Ивановича Немировича-Данченко с предложением не решать планов будущего сезона до получения письма, которое следует. Вскоре пришло письмо, в котором сообщалось о том, что в самые ближайшие дни за границу выезжает Подгорный, которому поручено организовать возвращение нашей группы в Москву. Если не всех, то тех, кто считает себя обязанным это сделать.

Это письмо пропало, а я его не помню, конечно, наизусть. Но помню, какой неожиданной показалась такая формулировка. Ведь мы еще не сообщали в Москву о своем решении вернуться. Сведения, которые мы имели о положении в России, были именно в это лето очень тревожными: голод в Поволжье, недоедание повсюду, разруха, тиф. Как бы мы ни скучали, как бы ни томились по родине, но на возвращение сейчас не все были способны… Потом — разделение группы на тех, кто обязан, и тех, кто не обязан… Это вызывало много волнений и разговоров, но пока они шли только втихомолку. «Вот приедет Подгорный, тогда и будем думать, тогда и будем решать».

В двадцатых числах июля из Праги приехал зачем-то ездивший туда Берсенев и со встревоженным лицом передал Василию Ивановичу, что его очень просит завтра или послезавтра повидаться с ним председатель советской торговой делегации П. И. Мостовенко. Василий Иванович вместе с Берсеневым и с Массалитиновым выехали на другой же день в Прагу. Я не помню рассказа о том, как прошла эта встреча. Главным было письмо от Владимира Ивановича Немировича-Данченко, которое П. И. Мостовенко передал Василию Ивановичу.

Это письмо, написанное 17 июля, было следующего содержания. Владимир Иванович писал о полной катастрофе с бюджетом — денег совершенно не было. Нужно было бы играть,

чтобы заработать их, но «спектаклей у нас нет, большинство как-нибудь разбрелось. Так что прекращена выдача текущего жалованья, и, что еще хуже, приостановились все подготовительные работы… „Дно“, — писал он, — осточертело, „Мудрец“ сошел (заболели Ершов, Шевченко, Раевская. — *В. Ш.*) … „Федора“ мы не играли. И Москвину трудно, и надо почистить. Даже „Анго“, прошедшую за год сто двадцать раз, не сможем играть еще некоторое время (из-за болезни Шевченко и Баклановой. — *В. Ш.*)». Дальше Владимир Иванович писал, что у Константина Сергеевича возник план передать дело театра Первой студии. «Я в конце концов согласился… Но наши „старики“ запротестовали и заявили, что производить такую решительную операцию с Художественным театром, не посоветовавшись с так называемой „качаловской“ группой, — нельзя. Тогда было решено отправить к вам Подгорного. Он должен развернуть перед вами и положение театра во всех деталях, и условия жизни со всеми подробностями. И узнать, как вы хотите на это реагировать». И дальше самое страшное: «Без слияния с вами театр, Художественный театр, кончится».

Потом он с большой болью писал о недоразумении, а может быть, и чьей-то злой воле, из-за которой они получили тот страшный ответ из Боржома, о чем я рассказал раньше. «Как мог у вас кто-то понять, что это означало, что вы не нужны театру, — совершенно неясно! И мы предполагаем, что было от кого-то из Москвы какое-то, может быть даже провокационного характера, письмецо. К тому же и в вашей среде слишком боялись возвращения».

Потом Владимир Иванович писал о том, какие пьесы можно было бы возобновить с возвращением группы: «Горе от ума», Пушкинский спектакль, «Пазухина», «Лапы», «Врата», «Карамазовых», «Гамлета» и ряд других. О новом репертуаре писал: «… не считаясь с вашим возвращением, решили было ставить „И свет во тьме“». Но сначала загоревшийся Леонидов быстро остыл, и «… постановили ставить… только с Качаловым (и если не с Германовой, то, может быть, с Книппер)». Возобновили было репетиции «Розы и Креста» с Гаэтаном — Ершовым, Бертраном — Знаменским, «но мое хотение было так вяло по понятным причинам, что его не трудно было парализовать».

Удивительное это было письмо, столько в нем было и трагической правды и искренности, и в то же время, угадывая страхи вожаков группы, Владимир Иванович хитро (а может быть, и не очень хитро) намекал на то, что всем, мол, будет интересно и почетно. «… Радостнее встречу правление, состоящее из Берсенева, Массалитинова, Бертенсона…». Обещал работу и

Л. Д. Леонидову (по предполагаемым заграничным поездкам). Даже Катрусе Краснопольской напоминал о ее интереснейшем выступлении на «понедельниках». Писал, что «в верхах» отношение к МХТ хорошее. Писал о всяких трудностях жизни и кончал письмо, как будто рассердившись на себя за свои хитрости, так: «Ни за что мы не ручаемся, да и не считаем себя обязанными ручаться. Хорошо ли будет, плохо ли, они (т. е. вы) должны делить с нами тяжесть, заботы, страдания, гордость побед… Без вас театр, вероятно, погибнет. С вами он, может быть, вновь засияет. Пусть каждый берет последствия на свою совесть».

В конце Владимир Иванович приписал следующие замечательные строки: «Бывает у нас мучительнейшая тоска по внешне благообразной жизни, — все бы бросили, чтобы очутиться в благоустроенных условиях. Бывает трудно поборимая скука, так тускла бывает жизнь. Но бывает такая гордость и такое удовлетворение совести, каких мы прежде не знали. Это когда мы окунаемся в нашу работу, нашу, Художественного театра, когда мы чувствуем, что его искусство не застоялось, не заплесневело, что, наоборот, с него счищается всякая дрянь. И — вот, подите же — жизнь не улучшается, скорее наоборот, а такое настроение все чаще и шире. И оттого, что в театр входит много молодых, и оттого, что что-то разрядилось в атмосфере, исчезла какая-то мещанская театральная критика, испарилось что-то вздорное, засорявшее художественную атмосферу, мысль непрерывно толкается туда, где все должно быть просто, серьезно и благородно. Сейчас, когда я пишу эти строки, я мысленно пробегаю по прошедшей зиме, по бывшим занятиям, репетициям, классам, беседам и стараюсь охватить не только свои занятия и те стремления, которые бродили около меня, но и большую, непрерывную работу Константина Сергеевича, и спешу заглянуть мысленно в то, что делали другие — Лужский, Москвин, студии, районная группа, — я вспоминаю, что очень часто нам кажется, что теперь, когда идет такая колоссальная мировая перестройка идейных начал, — то, что мы делаем, это, может быть, для нас самое лучшее. Пока есть на одной чаше весов это удовлетворение духовных потребностей, спокойствие художественной совести и сознание исполняемого долга, — другая чаша, сколько ни кладется на нее забот, досад, недостатков, — не перевешивает. Никогда еще за все эти десятилетия жизнь не ставила такой резкой, такой видимой грани между стороной духовной, идейной и материальной. Грань жестокая, дающая себя чувствовать на каждом шагу, непрерывно в течение дня, оттого так мучительны эти вскидывания души то в самое дорогое и радостное, то в самое досадное, ничтожное и раздражающее и озлобляющее.

И не знаешь, где лучше. С чем лучше? С кем лучше? И то, что кажется наверное лучшим, может оказаться серым, тусклым, скучным.

Вл. Немирович-Данченко».

Это письмо произвело на всю группу глубокое впечатление. Нет, это мало сказать — впечатление, это было потрясение, это была душевная буря… Оно принесло не только сознание огромности и бездонности своей вины, но и ощущение своей ответственности за возможный распад театра. Театра, которому обязаны всем, что имеем, всем, чем сильны и богаты. Даже изменив ему, мы продолжали кормиться им. Ведь все, почти все («почти», потому что были такие самовлюбленные дураки из самых бездарных, которые этого не понимали) сознавали, что только ему, Театру, они обязаны тем успехом, той сравнительно легкой жизнью, которой они наслаждались эти два года. Теперь настала пора рассчитаться за нее, заплатив свой долг Театру, отдав себя в его распоряжение. Это был долг чести, порядочные люди знали, что они его заплатят.

Но кроме этого письмо принесло с собой такой волнующий, такой вдохновляющий воздух Москвы, атмосферу Камергерского, сцены, закулисья…

Если письма, полученные год тому назад в Тифлисе, несли с собой случайные клочки этой атмосферы, то письмо Владимира Ивановича дохнуло этой атмосферой с силой порыва ветра. Как будто сквозняком раскрыло окно, и все наполнилось этим ветром. Я, только косвенно, через близких своих, знакомый с этим ароматом, — и то почувствовал мощную тягу к Театру, туда, в Москву. А уж о Василии Ивановиче, Нине Николаевне, Ольге Леонардовне, Александрове, Бакшееве, Гремиславском и говорить так нельзя. У них это была не просто тяга, лирическая грустинка, желаньице: «Ах, увидеть свое фойе, свою уборную, свой двор!» — это было мощное решение — *ехать*.

И если бы Подгорный или кто-нибудь другой приехал в Прагу — не для агитации, не для разъяснений и уговариваний, а просто для организации переезда, — группа распалась бы еще в июле — августе 1921 года. Ведь надо учесть, что это не теперешнее время, когда почти в каждом большом городе, уж не говоря о столицах, есть консульские отделы Советского Союза; тогда это (переезд в РСФСР) была сложная и рискованная экспедиция. Получить визы для выезда из страны, в которой находишься, транзитные визы (через Германию, Польшу, Литву и Латвию — другого пути не было), въездную визу в РСФСР надо было на паспорт. А для этого надо было иметь его. Надо было иметь российское советское гражданство. А мы его потеряли. Ведь не могли же мы въехать в

Советскую Россию с грузинским удостоверением личности, выданным не существовавшим уже правительством, на которое нам до сих пор благодаря умелости Л. Д. Леонидова ставили визы и прописки.

Не только для решения судьбы группы, не только для выяснения судьбы каждого члена группы, когда он вернется в Москву, но и для самой организации возвращения, техники переезда был необходим приезд «посла Москвы», как мы потом звали Н. А. Подгорного.

Вот что писал Е. К. Малиновский П. И. Мостовенко: «Как я Вам уже телеграфировал и писал, я виделся с Качаловым и другими. По словам Качалова, у них большое тяготение к возвращению в Москву. По его словам, они решили не снимать театра и не входить ни в какие переговоры об оставлении их здесь, пока не вырешится вопрос о возможности возвращения в Москву».

Дальше он писал о том, что в группе волнуются откуда-то дошедшими слухами, что нужны в Москве не все, не группа полностью, а, как он пишет, «только, так сказать, сливки». Он просил Елену Константиновну ускорить дело с выездом Подгорного, так как «убежден, что если бы Подгорный явился, вопрос о возвращении стал бы на реальную почву».

Да, этот проклятый вариант со «сливками», он много нервов испортил Василию Ивановичу, Ольге Леонардовне и другим убежденным «возвращенцам». Желание сохранить *всех* не было для них сентиментальностью, актерским пьяным объяснением в любви, это было правдой.

От харьковских «красно-белых» дней, от прострелянных и продутых норд-остом ночей новороссийской теплушки, от «Праги» и «Тренто», Константинополя, Бледа, Софии и Загреба — до родившихся в группе Тани Павлищевой, Алеши Кузьмина, до наших собак Загреба и Пражки, до рождающегося «Гамлета» — от, от, от и до, до, до — мы-таки стали родными, стали — семьей.

Владимир Иванович со свойственной ему мудростью и прозорливостью намекал и на того и на другого, но он не мог намекнуть на всех и всем обещать актерскую работу. Вот эти, на которых не намекали, — они и мучили Василия Ивановича. Вот если бы можно было вернуться группой и играть в МХТ свои спектакли, как их играли в поездке! Вот это было бы другое дело…

Многие члены группы требовали, просили (в зависимости от взаимоотношений) Василия Ивановича, чтобы он настаивал именно на таком варианте возвращения. Или совсем не возвращался бы и остался в группе.

Июль — август были только началом этой борьбы, которая длилась до апреля 1922 года.

А пока решили работать дальше. «Гамлет» должен быть сыгран. Работали рьяно. Около 20 августа пришло ужасное известие из Петрограда — скончался А. А. Блок. Нам всем было жаль и грустно, а Василия Ивановича охватило какое-то отчаяние. Ни мать, ни я никогда не подумали бы, что он так может реагировать на чью бы то ни было смерть…

Но жизнь шла дальше, а значит, и репетировать надо было дальше.

К середине августа все было готово, надо было переходить на сцену. «Виноградске дивадло» гостеприимно предложило нам сцену для репетиций и монтировок. Работали каждый день с девяти до четырех часов. К 25 августа была готова и вся монтировка. Она была и очень простая и в то же время сложная. Состояла она из темно-серых репсовых сукон, которые двигались на кольцах по особой системе труб. Сукна состояли из трех пар раздвижных занавесей, двигавшихся параллельно рампе, и из трех пар кулис, которые передвигались между занавесями перпендикулярно или под небольшим углом к занавесям. Комбинируя эти занавеси и кулисы, можно было получать очень разнообразные выгородки. Приводилось в движение все это хозяйство восемнадцатью «бесконечными» шнурами-раздержками. Орудовали этими шнурами только свои, так как приучить рабочих сцены всех театров, в которых приходилось играть, передвигать их в точно условленный момент и на нужное место было невозможно.

Ричард Болеславский оказался удивительным мастером для организации такого рода работы: он обучил каждого актера перед выходом на сцену, или после ухода с нее, или во время картин и актов, в которых они свободны, «становиться на номер» и производить перестановку. Кроме этого они же должны были выносить на сцену и уносить с нее все, правда очень немногочисленные, предметы мебели и бутафории. Ричард был необыкновенно волевым командиром и сумел заставить работать буквально всех. И никто не ворчал и не отлынивал, чему способствовало еще и то, что работа была распределена абсолютно демократично: тянули шнурки и таскали кубы-стулья, и цилиндры-табуретки, и призмы-столы одинаково Массалитинов — Клавдий и Астаров — Марцелл. Даже Ольга Леонардовна, уходя со сцены после «спальни», уносила (на пару с «мертвым» Полонием) свое ложе.

Освобожден от таких работ был один Василий Иванович.

Стояли «на номерах», разумеется, также и члены семей —

А. И. Кузьмин (муж Тарасовой), и Аркадий Бессмертный (муж Крыжановской), и другие. Смешнее всех был Шахид Сураварди — ему почему-то с очень большим трудом давалось это дело (умение передвигать кулисы), и часто слышался грозный голос Ричарда: «Почему семь „б“ не на месте?» — и робкий, сконфуженный ответ Шахида: «Заиэла» (заело). Как-то Нина Николаевна спросила его: «Шахид, а что значит „заело“?» «Не знаю, так все гаварат», — ответил он. Но и его обучили этому делу, и перемены проходили мгновенно и без сучка, без задоринки.

Рабочие театра, верховые, только поднимали и опускали подвесные декорации — задники и панно. Вел спектакль под общим руководством Ричарда Ваня Орлов. И. Я. Гремиславский руководил освещением, сидя в регуляторе, Бертенсон — оркестром, я отвечал за мебель, бутафорию и реквизит, Нина Николаевна — за шумы. Все костюмы, реквизит и все панно, ковры, драпировки были сделаны своими руками. До сих пор помню, как приятно было, лежа на полу, трафаретить черным анилином и бронзой по темно-красному фону сотни корон — это был ковер-фон для «Тронного зала», а рядом ползал Сураварди, и мы, работая, вели долгие и такие интересные и содержательные беседы… А Бессмертный в это время, высвистывая свои мелодии, резал из липы «скипетр» и «державу», которые потом золотила бронзой на сиккативе Юлия Гремиславская. Как все это было радостно, любовно, уютно, семейно…

Четвертого сентября мы открыли в Праге сезон «Тремя сестрами» и сейчас же уехали в Пильзен, где играли с 5-го по 9-е; 11-го сыграли «Дядю Ваню» с М. Н. Германовой в роли Елены Андреевны и В. Соловьевой в роли Сони. Это было сделано для утешения Марии Николаевны, она очень болезненно переживала «Гамлета», в котором были заняты все, кроме нее, и которым, главное, была увлечена вся труппа. Была она очень красива, изящна, аристократична, но книпперовского обаяния, чеховского второго плана, глубины подтекста не было и в помине. Все-таки она не была актрисой чеховского репертуара. Да, мне кажется, не очень и стремилась к нему.

Соловьева была несравненно хуже Крыжановской, которую, в свою очередь, всегда сравнивали с М. П. Лилиной, говоря: «Да, далеко ей до Лилиной». Вера Соловьева была уж так добра, так ангельски кротка, так любила всех и каждого, что нельзя было верить, что она способна глубоко любить дядю Ваню и быть влюбленной в Астрова. Это был какой-то сироп любви и ласки, в котором тонули все человеческие чувства — и раздражение на отца, и сердитый выговор дяде, и упреки Астрову… А уж «ангелы»

и «небо в алмазах» у нее вообще были из марципана. Сладко все было до приторности.

С 3-го по 14-е включительно каждый день были прогонные и генеральные «Гамлета». 15-го, в день первой генеральной, чтобы не переутомлять Василия Ивановича, Астрова дали сыграть Бакшееву. Это было, конечно, очень слабо. Мария Николаевна чуть не сорвала спектакль — она не хотела играть с Бакшеевым, но ее уговорили, она скрепя сердце сыграла, но после спектакля сказала Нине Николаевне, что «с этим ветеринарным фельдшером» она играть не в состоянии. Боюсь, что она была права: очень уж Астров у Бакшеева получался неинтеллигентным. Да и не только это — он что-то, очень мало что, запомнил у Константина Сергеевича и пытался совершенно механически копировать его. Да, эти вводы не были украшением нашего сезона — ни Германова, ни Соловьева, ни особенно Бакшеев. Но тем не менее и в Вене и в Берлине им всем давали играть эти роли. Это была необходимая страховка на всякий случай.

18 сентября был сыгран «Гамлет». Прошел сравнительно гладко, хотя мелких накладок по монтировочной части было много. Было и «зайэла», и не у одного Сураварди. Были и задержки с выходами и с музыкальными номерами. Была и смешная накладка: в самом финале, когда Клавдий, заколотый Гамлетом, падает позади скамьи, на которой лежит мертвая Гертруда, Массалитинов своей тяжелой тушей опрокинул эту скамью, и Ольга Леонардовна свалилась с нее и скатилась с трехступенчатого возвышения. Она выдержала свою «мертвость» и не попыталась удержаться, а как неодушевленный предмет пересчитала все ступени. Потом она бушевала и кричала на всех, но со свойственной ей отходчивостью и юмором быстро успокоилась и смеялась над своим падением.

Но это все не важно, важно то, что спектакль имел настоящий, серьезный успех, хотя публика на добрую треть состояла из представителей прессы, режиссеров, актеров и других деятелей искусства.

Василий Иванович был очень собой недоволен. Очень. На комплименты посторонних отмалчивался с вежливой улыбкой, на комплименты близких оскорблялся с болезненной злобой. Он считал, что ничего ему не удалось, что все было пусто, немощно, лишено глубины мысли… В какой мере он был прав, не знаю. Сознаюсь, что не ощущал заметной разницы между теми спектаклями, которые Василий Иванович считал «постыдными» (в смысле его личной работы), и теми, которыми он был сравнительно больше удовлетворен. Да и не я один — отзывы Нины Николаевны иногда не совпадали с самоощущением

Василия Ивановича: те места роли, которые ему давали удовлетворение, ей не нравились, а нравились другие, при воспоминании о которых, о том, как он их сегодня играл, он морщился… Мнение же других, и особенно Ричарда Болеславского, режиссера-постановщика, Василия Ивановича первое время (время выпуска и первых пяти-шести спектаклей) не только не интересовало, но раздражало.

Прошло много-много лет, и каких лет! Что я могу сказать о спектакле в целом и о Василии Ивановиче в частности? Во-первых, спектакль плохо помню, потому что мало обращал внимания, плохо фиксировал то, как играли. Все внимание и мое и, мне кажется, не только мое, а и всей группы было направлено не столько на то, как идет спектакль, как играют актеры, сколько на то, как спектакль принимается публикой, прессой, иностранными режиссерами и актерами…

В других наших спектаклях возможно было положение, при котором спектакль, или роль, или место в роли могли быть приняты публикой, но не одобрены общественным мнением группы; и наоборот, группа могла очень высоко оценить то, что не принималось вовне. Критерием было соответствие «системе», вкусам, стилю, традициям Художественного театра. Проверяли на приемлемость «там», на то, как то или иное прозвучало бы на сцене в Камергерском, что бы сказали Константин Сергеевич и Владимир Иванович. И это было нетрудно, так как все, что до сих пор делалось, было реконструкцией по старым чертежам, критерием была верность им, иногда изменение, исправление этих чертежей, но всегда *только их*.

Здесь же такого критерия не было. И вообще «чертежа» не было. Я боюсь и не люблю пользоваться мхатовской терминологией, но здесь рискну: в спектакле не было ни «сверхзадачи», ни «сверхсверхзадачи». Не было ни решения, *что* хотят сказать в этом спектакле, ни *во имя чего* ставится этот спектакль, что им хотят сделать. Как, впрочем, не было ясно (да и мало кому интересно), зачем вообще существует театр (в частности группа), чего он хочет, зачем ставит те или иные пьесы, так или иначе распределяя роли.

От этого спектакль получился без четкой идеи, он ничему не учил — ни восприятию мира, ни этике, ни эстетике. То есть, вернее, не истолковывал того, что было в пьесе, ничего не подчеркивал, не писал курсивом, не ставил ударений. Это было культурное, корректное, бережное донесение Шекспира. Очень корректное, очень культурное, но сухое, бескровное. Возможно, что я ошибаюсь, так как больше воспринимал спектакль с точки зрения его внешнего оформления (буквально «с точки зрения»).

Оформление было очень остроумным в смысле технологии ведения многокартинного спектакля в гастрольной поездке, без своего постоянного технического персонала. Больше того, оно создавало интересные мизансценировочные возможности, было интересным в смысле «режиссуры планшета», его цветные детали (задники, панно, драпировки, гобелены) и по стилю и по краскам гармонировали с костюмами, аксессуарами, они соответствовали тону, характеру, атмосфере, настроению происходивших на их фоне событий. Самый строгий, придирчивый судья не нашел бы в них никаких погрешностей против изысканнейшего вкуса.

Но в оформлении не было таланта, не было лица художника, вообще не было художника. Это было решение оформления, созданное идеальным заведующим постановочной частью, но не художником. И это было не только внешним, но и внутренним образом всего спектакля в целом. Он был на вполне достойном Европы уровне. Он мог бы быть спектаклем любого хорошего театра любой столицы мира, но он не мог бы быть событием, которое оставляет след в истории мирового театра, вроде «Русских сезонов» Дягилева. Это не значит, что Болеславский не начинал работы с изложения своего замысла, но то, что он нес коллективу, было ниже уровня коллектива; во всяком случае, для Василия Ивановича это прозвучало наивно и мелко.

Вообще в этой работе было какое-то трагическое несоответствие масштабов: с одной стороны — Шекспир, Гамлет, Качалов, с другой — Болеславский и Гремиславский. Ричард был бы, вероятно, неоценимым сопостановщиком при большом мастере, он сумел бы блестяще организовать не только спектакли, но и работу по их созданию. Он снял бы с этого мастера всю заботу и выполнил бы за него работу, чтобы сберечь его силы для мысли и творчества.

Иван Яковлевич, работая в качестве заведующего художественно-постановочной частью и художника-исполнителя, создал бы идеальные условия работы большому художнику (как он это и делал для Рабиновича, Головина, Дмитриева и многих других), организовал бы выполнение оформления, монтировку и проведение спектакля. И тот и другой это блистательно выполнили и тут, но то, *что* они выполняли и проводили, не было таким, каким должно было быть.

Я был на первых беседах Болеславского со всей труппой, но ушел разочарованный: не было в его концепции ни одной яркой, глубокой, новой мысли.

Помнится, что в основе всей трагедии он полагал то, что «распалась связь времен» и Гамлет «связать ее рожден». Случайно (мне кажется) лучшим местом спектакля, лучшим местом роли

Василия Ивановича был именно конец сцены с Духом.

Вспоминая исполнение Василия Ивановича, я всегда думаю об одном. Мне очень нравилась (когда мы играли «Гамлета» за границей) сцена в спальне матери; казалось, что Гамлет — Василий Иванович действительно видит дух отца, что он и убедителен, и грозен, и нежен с матерью.

И вот летом 1922 года Василий Иванович и Ольга Леонардовна сыграли эту сцену в каком-то сборном спектакле-концерте на сцене МХАТ. И мне было так неловко, так стыдно… Я вдруг почувствовал ту пустоту, безмыслие, бестемпераментную декламацию, которыми Василий Иванович мучился почти весь период выпуска спектакля и часто после. Надо было этой сцене прозвучать в стенах МХАТ, чтобы зазвенела ее фальшь. Уверен, что так же, а может быть, и хуже прозвучал бы весь спектакль.

Но много в нем было и очень хорошего. Кроме «Распалась связь времен» — монолога, который всегда удавался, часто удивительно хорошо шла сцена с Офелией, сцена с Полонием («Слова, слова, слова»), «С недавних пор утратил я всю свою веселость», наставление актерам. Редко Василий Иванович (да и Нина Николаевна тоже) бывал доволен монологом «Быть или не быть». Ни разу не был доволен «Мышеловкой», и очень, очень редко бывал доволен «Кладбищем». А все начало, встреча с Горацио и «Распалась…» было, очевидно, действительно здорово. Я очень поверил в это после того спектакля, который в Праге смотрел Александр Моисси. Он просил меня записать ему латинским шрифтом эти две строки, выучил их и с видимым наслаждением повторял, не копируя, но в то же время очень похоже на Василия Ивановича.

Моисси был (по его словам) совершенно покорен и звучанием голоса и пластикой Василия Ивановича в «Гамлете», принимал также очень и Тарасову, про которую сказал только, что она с самого начала немного сумасшедшая, спросил Нину Николаевну, что это за неожиданное толкование.

Ольга Леонардовна Моисси очень нравилась вообще, но в этой роли он ее не принимал. Когда кто-то из нас (может быть, даже и я) рассказал ему, что в какой-то рецензии о крэговской постановке про Массалитинова и про нее написали, что они похожи на самовар и чайник, он очень смеялся и сказал, что и без золотого облачения этого спектакля они это сходство сохранили: оба они только аксессуары, а не персонажи.

Мне кажется, что Моисси к спектаклю в целом относился не очень серьезно, рассматривал его только как антураж Василия Ивановича, как его гастрольный спектакль. И для этого считал его, вероятно, достаточно хорошим, ведь ему приходилось в этот

период своей деятельности играть того же «Гамлета», и «Ромео», и «Живой труп», и «Привидения» с совсем случайными, кое-как слаженными ансамблями. По сравнению с такими наш казался ему, разумеется, академическим. Однако, когда через несколько месяцев ему предложили сыграть в Копенгагене «Гамлета» с антуражем из нашей группы, он не захотел — сказал, что совсем не совпадает ритм речи и действия. Другие же спектакли группы он оценил чрезвычайно высоко. Особенно чеховские пьесы. Будучи в Праге, он пересмотрел у нас все, а что мог — по два раза.

После какого-то нашего спектакля поклонник нашего театра, пражский банкир Розенкранц, пригласил ряд наших актеров и Моисси к себе на ужин. Так как я сидел с Моисси на спектакле и ходил с ним к нашим актерам в уборные, был приглашен, главным образом в качестве переводчика, и я. После изысканного ужина большая часть компании постепенно разошлась, остались до позднего утра Моисси, Василий Иванович, измученный, никак не рассчитывавший на таких «каменных гостей» хозяин и я. Это была одна из самых мучительно трудных по напряжению и, пожалуй, самая интересная ночь в моей жизни. Оба они — Василий Иванович и Моисси — были предельно заинтересованы друг другом; они стремились понять друг друга до самых глубин, до самых сокровенных извилин творческого метода. Ох, нет, не метода — это слишком холодное, поверхностное в данном случае слово, — до взлетов и провалов, до бездн и озарений самого творчества. Стремились постигнуть в сравнении с собой, со своими путями и мерами и, соизмеряя, вскрывая себя, обнажали себя до последних тайных покровов…

Я с двенадцати лет дружил с отцом, но никогда он так не открывал мне себя, как открывал в эту ночь через меня Сандро. Часов пять или шесть продолжалась эта «исповедь горячего сердца». Хозяин моргал воспаленными глазами, тайком смотрел на часы и открывал все новые и новые бутылки с сельтерской и вином, и вновь и вновь зажигал спиртовую горелку под кофейником, подливая туда воды и подсыпая кофе… Разошлась и позасыпала вся прислуга, все члены семьи, а они все говорили и говорили, смотрели друг другу в глаза, иногда целовались, иногда жали друг другу руки… Потом кричали мне в ухо те или иные казавшиеся им особенно убедительными слова, сравнения, эпитеты, примеры, пришедшие им в голову. Потом просили у хозяина, которого называли и Розенкранц, и Гильденстерн, и Розенштерн, и Гильденкранц, еще кофе и «шприц» (сельтерская с вином). Он ни на какие искажения фамилии не обижался и, видимо, только молил бога избавить его от этих разговорившихся

гениев и проклинал идею пригласить их к себе.

О чем только они не говорили! О любви на сцене — об ощущении женщины, об особенностях сценического эротизма; о чуде силы и ловкости — как они творятся вместе с образом; об обмане силы звука — актер может сыграть мощь голосом, и зритель ощутит, что у него рвется барабанная перепонка, а на самом деле звук был почти не слышен; о высшей *радости* от искренности своего *горя*; о наслаждении, которое дает отчетливость фиксации своего самозабвения; о многоплановости, многоярусности чувствования и мышления, переживания и наблюдения над собой…

Я был в полном изнеможении от невыносимого напряжения, но был в ударе — переводил так, что «слова лились, как будто их рождала не память рабская», а глубокое понимание. Иногда, даже часто, это было легко: они говорили одно и то же — один на своем милом, певучем южно-немецком, австрийском диалекте, другой — по-русски… И я, переводя, повторял им их же слова. Это приводило их в восторг и умиление, тогда они только смеялись со слезами на глазах и обнимались.

Да, это была одна из лучших ночей «моих университетов», как я называл наши скитания, заменившие мне вуз, которого я из-за них лишился.

Вскоре после этого Моисси уехал из Праги, но дружба его с Василием Ивановичем и вообще с группой сохранилась до конца существования группы, а с Василием Ивановичем и дольше. К другим встречам с ним и с его ролью в жизни группы я еще вернусь.

Сезон в Праге группа закончила 10 октября пятым спектаклем «Гамлета». Шел он теперь совсем складно, без всяких шероховатостей и накладок. Офелию кроме Тарасовой играла еще и Крыжановская; это было намного слабее, так что было решено оставить ее только страхующей дублершей. Машенька перенесла эту обиду со свойственной ей кротостью.

С 14-го по 17-е играли в Братиславе и 19-го приехали в Вену. На этот раз «Штадттеатр» принял группу несколько иначе, чем в первый раз. Это были уже не случайные спектакли малоизвестной и малопочтенной труппы странствующих русских комедиантов, какими они казались в начале первого приезда. Прошли с успехом весенние спектакли в Вене, потом несколько месяцев играли в Праге, а Прага всегда была для Австрии в целом, а теперь для Вены большим и глубоко уважаемым авторитетом в вопросах искусства. Наша группа была теперь в глазах Вены почти пражским театром, да еще и любимым, почитаемым театром. Пражский немецкий театр и связанная с ним группа оставшихся в

Чехии немецких художников, писателей, музыкантов, которая издавала в Праге немецкую газету, отнеслись к группе с громадным уважением. Почти каждый спектакль отмечался рецензиями, а о некоторых печатались большие статьи. О «Гамлете», например, был помещен целый подвал, написанный женой Моисси. Все это имело большое значение для тона венской прессы.

Наш сезон мы открыли «Вишневым садом», «Мудрецом» и «На дне», которые мы сыграли по два раза. Спектакли были отмечены репортерскими заметками во всех газетах, причем все эти заметки сообщали о том, что Вена с огромным интересом ждет «московского „Гамлета“», который должен быть ей на днях показан.

Большая работа вокруг спектаклей, которую проделал Бертенсон, сумевший расширить и укрепить завязанные весной связи, эхо Праги и общее повышение жизненного тонуса Вены — все это послужило тому, что наш «Гамлет» явился большим художественным событием сезона.

Двадцать седьмого октября, при переполненном зале, состоялась наша премьера. Успех был большой, хороший, но не фурор. Несколько раз аплодировали среди действия, аплодисменты были (и очень дружные) после каждого акта. После конца хлопали всем залом, но без энтузиазма, то есть, вернее сказать, был и энтузиазм, но такой, что он только подчеркнул хороший, а не огромный успех: группа человек в двадцать пять — тридцать русских эмигрантов кричала, хлопала, они пытались даже раскрыть руками занавес, требуя выхода на поклоны…

Василий Иванович был недоволен собой и очень раздражен этой бестактной «овацией». За кулисами переливались из группы в группу человек пятнадцать — двадцать пять венских актеров и режиссеров, директоров, чиновников управления театров, рецензентов и т. д., говорили сверхлюбезные слова, жали руку Василию Ивановичу. И только Василию Ивановичу, как будто и не было ни режиссуры, ни партнеров. Кто-то сказал роковое, определяющее и… губительное слово «гастроль», спектакль был принят как гастроль одного актера. Это был приговор.

Группа не хотела служить «антуражем», а Василий Иванович быть гастролером. Совсем не к этому стремились, не об этом мечтали и он и все, когда с таким увлечением, с такой любовью делали этот спектакль. Но вся венская пресса и все устные отзывы были именно такими: спектакль как общая, соборная работа всего коллектива — от Василия Ивановича через Ричарда и до Сураварди, дергавшего шнуры с влюбленностью в Шекспира, — все это не удалось. Во всяком случае, Вена приняла его так, как

нам бы не хотелось, чтобы спектакль принимался.

Тем не менее спектакль прошел при хороших сборах четыре раза, притом, что наши любимые «Три сестры» прошли один, «Дядя Ваня» — тоже, «Вишневый сад» — два раза и т. д.

На прощанье, чтобы оставить в Вене хорошее воспоминание, мы при переполненном зале сыграли «Братьев Карамазовых» в один вечер, сократив «У калитки» и речи в суде. Новостью в этом спектакле был немецкий чтец. Молодой венский актер с большим увлечением работал над этим труднейшим материалом, и результат был очень хороший. Было только очень обидно, что весь этот талантливый труд использовался всего один-единственный раз. Решено было, что этого актера, фамилию которого я не помню, будут приглашать в Берлин и другие немецкие города, всюду, где мы будем ставить «Карамазовых». Добавлю, что этого ни разу не сделали: в Берлине наша публика на три четверти состояла из русских эмигрантов, а в других городах Германии мы «Карамазовых» не играли.

В Вене в этот приезд мы пробыли почти месяц (с 19 октября по 16 ноября), и 17 ноября наша группа прибыла в Берлин.

Берлин

Берлин в 1921–1922 годах был одним из центров русской эмиграции. Если я не ошибаюсь, в Берлине и его окрестностях жило около ста тысяч русских. Здесь были десятки русских ресторанов и кафе, в которых работали сотни людей, а кормились десятки тысяч. Было два крупных книгоиздательства со своими типографиями, две газеты, из которых одна — «Руль» — была ведущим органом всей эмиграции. Впоследствии таким органом стали парижские «Последние новости», но в эти годы «Руль» был «властителем дум» огромного большинства эмиграции. Большое количество русских работало на заводах и фабриках, много было кустарей — портных и портних, шляпниц, ювелиров, резчиков по слоновой кости, токарей по кости, янтарю и т. д. Они делали броши, кольца, браслеты, веера, бусы, абажуры, переплетали книги, сапожничали, выжигали, мастерили «русские игрушки» — деревянных солдатиков, матрешек, петухов на чайники. Вышивали в «русском стиле», плели кружева, стегали одеяла, чинили часы, даже делали гробы…

В социальном отношении это были главным образом бывшие чиновники, офицеры, люди интеллигентских профессий, и если не больше, то заметнее всего — коммерсанты всех калибров.

Немецкая марка неудержимо падала, цены на товары менялись не по дням, а по часам, менялись неравномерно — это давало возможность ловким и сообразительным людям пользоваться скачками цен, спекулировать и «торговать воздухом». Продавали, покупали, перепродавали и снова покупали все, что возможно, — от имений и автомобилей до сигарет и порнографических открыток.

Причем люди, которые вчера торговали сигаретами, завтра, если им повезло с курсом доллара, в компании с другими «счастливцами» покупали пивную. Бывало, конечно, и наоборот. Мелкие торговцы, чтобы иметь оборотный капитал, закладывали в табачной лавке свои портсигары и женины серьги, крупные — пользовались кредитом в «Северном банке торговли и промышленности». Банк этот весь, сверху донизу, состоял из русских финансовых деятелей. Одним из его директоров был бывший управляющий и член дирекции московского банка «Юнкер» И. Г. Коган. Мы знали его очень хорошо потому, что до революции все актеры МХТ, когда у них появлялись деньги (при получении дивидендов на паи Художественного театра, например), несли их ему, и он открывал им счет и покупал для них акции и облигации, дававшие наибольший процент.

После Февральской революции многие пытались обратить свои средства в иностранную валюту или вложить их в какие-нибудь иностранные предприятия. И. Г. Коган этого не сделал и потерял после Октября все свое очень значительное состояние. За границу он вывез только деловую репутацию и глубокое знание финансовых операций. Стоило ему вступить в банковское дело, как в этот банк потекли со всех сторон вклады. Я слышал, что имевшие с ним дело представители наших торгующих организаций и работники нашего торгпредства неоднократно советовали ему вернуться в Советскую Россию, гарантируя ему интересную работу. Я думаю, что, если бы он остался в России или возвратился бы туда, он нашел бы достойную работу в финансовых органах.

Совсем по-другому обстояло дело с его женой, Марьей Борисовной. Представить себе ее в советских условиях было совершенно невозможно. Все, что ценой огромного, напряженного, непрестанного труда зарабатывал муж, с легкостью и широтой, совсем несвойственными буржуазке, а скорее, сближавшими ее с «отживающим дворянством» или с богемой, она растрачивала на широкую и веселую жизнь, с наслаждением делала дорогие подарки, угощала великолепными обедами и ужинами, обожала встречать приезжающих роскошными цветами и провожать уезжающих конфетами и фруктами… О ее московских приемах я знаю только понаслышке, а в Берлине у нее был «бесплатный трактир» не хуже комиссаровского в дореволюционной Москве. Начиная с двух часов дня в их квартире в Вильмерсдорфе (буржуазная часть Берлина) всегда кто-то завтракал, кто-то говорил по телефону, кто-то кого-то принимал. Обычно ей звонили, чтобы узнать, дома ли она, и потом приходили перекусить, отдохнуть, поболтать, встретиться с кем-то (кому назначили свидание), а иногда приходили и без звонка. Многие у нее обедали и ужинали. Портные и портнихи по ее записке шили людям в кредит, в пансионах сдавали комнаты, не требуя оплаты вперед…

Почему я пишу об этом семействе, об этом доме? Потому что в жизни актеров такие семьи играли всегда большую роль. Как бы широки и тароваты ни были некоторые представители богемы, но они редко испытывают такую любовь, такой интерес к собственной своей среде, чтобы терпеть во имя ее неудобства и даже приносить жертвы, на которые способны только люди, соприкасающиеся с искусством, с творчеством именно этим способом, то есть кормя и ублажая его деятелей. Такая бескорыстная, готовая на все любовь — это их вклад в культуру. Они были «службой тыла», «интендантством» того воинства,

которое двигает вперед культуру. Они были той почвой, из которой когда-то выросли Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы, Щукины, Дягилевы… Начиналось с увлечения артистами, художниками, а потом переходило в увлечение их творчеством, их произведениями.

У Коганов в Берлине был открытый дом для людей искусства и до приезда группы Художественного театра, ну а уж с ее появлением личная жизнь семьи растворилась в каком-то безумии гостеприимства.

Как-то я слышал, как глава дома говорил «мамзели» (кухарке): «Господин доктор Бертенсон на несколько дней уехал, вы можете в эти дни готовить баранину, я ее очень люблю». Дело в том, что кухарка, зная, что Бертенсон не любит запаха баранины, не смела ее готовить — «а вдруг господин доктор придет?» Настолько весь дом был подчинен стремлению угодить гостям!

Ко времени приезда группы Художественного театра в Берлине было несколько русских театральных предприятий, но они были как-то нестабильны: затевались с большим шумом и рекламой, открывались тоже с шумом и потом почти беззвучно распадались. Более или менее крепко держался театр «Синяя птица» Южного и Аренцвари. Какое-то время у них работал большой и тонкий артист Виктор Хенкин. На моих глазах родился и умер театр О. В. Гзовской и В. Г. Гайдарова. Помню их спектакль «Хозяйка гостиницы» Гольдони. Гзовская играла Мирандолину, Гайдаров — Кавалера, Булатов — графа, Вибер — маркиза, Асланов — Фабрицио. Трудно сейчас восстановить в памяти хоть что-нибудь, помню только, что Ольга Владимировна была прелестна, обаятельна, изящна, только гораздо более кокетлива, чем в Москве. Кокетлива не только со своими поклонниками по пьесе, но и с публикой. Не думаю, чтобы это могло понравиться ее московским учителям.

Гайдаров играл абсолютную копию Константина Сергеевича, в этом была даже своего рода талантливость. Вспоминая, как Бакшеев копировал Константина Сергеевича в «Мудреце», все признавали, что это было только попыткой, бледной копией; у Гайдарова же слово за словом, жест за жестом, каждая интонация, каждое движение — все было точным повторением того же у Константина Сергеевича. А Асланова — Фабрицио было до слез жалко: умный, пожилой, неловкий, со скованными движениями интеллигента, стесняющегося своей роли, он был до невероятия не на месте в роли страстного итальянца, бешеного в любви полумальчика-полуюноши. Никаким гримом нельзя было скрыть старые, грустные, умные армянские глаза на «загорелом» и

«румяном» «юном» лице. Вибера не помню, Булатова помню больше — он мне казался персонажем из рассказов Василия Ивановича о провинциальных «благородных отцах».

«Саломею» Уайльда в их же театре совсем почти не помню; смутно вспоминаю какие-то декадентские декорации и не соответствовавший им танец Ольги Владимировны, очень какой-то старомодный.

Гайдаров был очень красив с взлохмаченными рыжими волосами и с загримированным, с нарисованными ребрами, телом. Ирода также «крепко» играл Булатов.

Посмотрев оба эти спектакля, я не только успокоился за свой театр, но и преисполнился гордостью за него. Я приехал несколько раньше всей группы, да и спектакли начались у нас в Берлине через две почти недели после приезда, и играли мы не каждый день, так что времени побывать в театрах у меня было достаточно.

Помню очень интересный спектакль в Гроссшаушпиль-хаузе (бывший цирк Буш) у Рейнгардта — «Разбойники» Шиллера. Все «лесные» сцены шли на арене — огромном опускающемся и поднимающемся просцениуме, а интерьерные сцены — на самой сцене. Декорации пейзажа были абсолютно натуралистическими — скалы из папье-маше были обработаны со скучной точностью муляжа, кусты, мох, трава, песок дорожек — все было «как настоящее». За окнами павильонов то плавно двигались по голубому небу легкие белые барашки облаков, то по черному небу клубились мрачные тучи, между которыми сверкали звезды. Все это было потрясающе настоящим, умилительно взаправдашним; впервые виденный мною «волькен-аппарат» (сложный оптико-световой прибор для воспроизведения движущихся облаков) создавал полную иллюзию неба и безграничной дали; все… кроме актеров. Актеры выли, рычали, демонически хохотали — поверить в истинность их чувств и их поведения нормальный человек не мог. После высококультурной, утонченной, изысканно-сдержанной манеры игры актеров венского «Бургтеатра» это казалось глухой провинцией. И это театр знаменитого Рейнгардта? Просто не верилось…

Видел я гетевского «Фауста» в «Резиденц-театре», с прекрасным актером Эмилем Яннингсом в роли Мефистофеля. Тоже не понравилось. Раздражал отвратительный натуралистический гротеск ведьм на Брокене — их играли мужчины с вылезающими из одежд вислыми резиновыми грудями. И та же провинциальная грубая крикливость декламации.

Замечательным по художественной технике был спектакль

«Необыкновенные приключения капельмейстера Крейслера» — инсценировка рассказов Э.-Т.-А. Гофмана. Поставил его один из двух директоров Театра на Кениггрецерской улице — Мейнхардт. Этот театр принадлежал фирме «Мейнхардт и Бернауэр», но второго мы никогда не видели, он ни в какие дела не вмешивался, кроме, очевидно, чисто финансовых. Нам, группе, пришлось иметь дело только с Мейнхардтом. Это было довольно-таки тяжело. Когда начинали с ним переговоры, то надеялись, что работать с владельцем театра, который кроме этого, даже главным образом является режиссером-художником, будет легко и приятно. Оказалось все наоборот. Ни один антрепренер, чиновник-директор, владелец театра не проявлял себя таким кулаком, как этот. В то же время нельзя было не признать, что его постановка «Крейслера» была удивительно удачной.

Я не помню, да и вообще не имею права судить о том, как пели, какая была музыка. Плохо, вернее, вообще не помню, как и что они играли, но технические и световые постановочные эффекты помню. Помню, как колодец в две-три секунды превращался в огромное развесистое дерево, настолько натуральное и прочное, что в его ветвях мог сидеть человек; как из ложи театра в луче лунного света на сцену спускался сам Крейслер. Мгновенные превращения, молниеносные смены мест действия — все это под музыку, без единой задержки. Все было отработано, отрепетировано как цирковой номер, вернее даже как работа идеально вымуштрованного артиллерийского расчета.

Что-то, при всем восхищении точной и тонкой художественной работой, было в этом для нас неприятное — уж очень это было по-прусски. В этом театре предстояло играть и нам. Но мне хочется до рассказа о наших гастролях еще немного повспоминать о Берлине тех лет.

Прелестна была опереточная звезда Фритци Массари. Она была самой популярной женщиной Берлина — ее именем назывались сигареты, ликеры, стиль прически, цвет белья, фасон, система корсетов. Последнее особенно «убедительно»: звезде было за шестьдесят лет, а играла она молодых, пикантных женщин. Ярче всего я запомнил, как она шлепала себя по ляжке. Мне в двадцать лет это было простительно, но, когда через пятнадцать лет я, вспоминая те годы, спросил Н. А. Подгорного, помнит ли он, как я водил его на какую-то оперетту с участием Массари, он усмехнулся и сказал: «Звонко она себя по бедру хлопала». Вот оно как!

Помню удивительные программы в мюзик-холлах — акробаты, стрелки, жонглеры и т. д., — но все лучшие номера были иностранные. Все, что было прусским, было грубо и

примитивно. В больших и дорогих театрах легкого жанра, где бывали «сливки общества» — приезжие и главным образом иностранцы, — все номера «разговорного жанра» были если и не остроумны, то уж хоть цензурны, а в маленьких театрах ревю и эстрады процветала откровенная и грубая похабщина.

Грубость нравов была необыкновенная. Постоянные драки, причем драки не мужественно-спортивные, а хулиганско-кабацкие, когда бьют палками, кастетами, бутылками, бьют трое одного, бьют женщин…

В первый же день приезда в Берлин я пошел в кино. Это был один из лучших, элегантнейших кинотеатров города. При выходе создалась пробка — шел дождь, и публика задерживалась под навесом входа, чтобы переждать непогоду. В давке какая-то женщина не то толкнула, не то обругала жирного бюргера в котелке. Он вырвал у нее из рук зонтик и бил ее этим зонтиком по голове, пока зонт не сломался, а она плевала в него и била его ногами в живот. Я было полез разнимать, но моя дама (русская берлинка) не пустила меня, сказав, что «это здесь не принято» (вмешиваться). Очевидно, она была права — никто не вмешался, бюргер бросил своей сопернице под ноги зонт и ушел.

Коренной Берлин жил плохо. На заработки жить было почти невозможно — деньги падали так быстро, цены поднимались что ни неделя (а потом что ни день), и, не имея доходов в валюте или золоте, оплатить самый скромный прожиточный минимум было почти невозможно. Вот и получалось, что рабочие, служащие, чиновники жили впроголодь, а спекулянты-шиберы, как их с ненавистью называли берлинцы, и, главное, иностранцы — жили роскошно. Выставки в витринах магазинов были такие, что голодному и плохо одетому и плохо обутому человеку (а таких было большинство) они казались фантастическим сном. Голодных или, уж во всяком случае, не вполне сытых было очень много. Можно даже сказать, что было очень мало сытых людей, говорящих как берлинцы. Почти все сытые говорили с акцентом или на чужих языках.

В маленьком ресторанчике-пивной, где я почти всегда закусывал около часа дня, таких, как я, то есть заказывавших закуски, мясо, зелень, сладкое, настоящий кофе, были единицы. Обычные посетители брали только эрзац-кофе, а еду вынимали из кармана — это были тоненькие ломтики серого хлеба, слегка смазанные маргарином или мармеладом.

Бывал я и в домах у театральных работников, видел, из чего состоял обед семьи: это было почти всегда одно и то же — картофельный, гороховый или бобовый Eintopf, то есть одно блюдо, одновременно и суп и второе, где мяса, шпика, колбасы

или рыбы было по десять-пятнадцать граммов на едока, а остальное — густое варево из этих овощей. Хлеб, сахар, масло — все в самых скромных дозах. Один случай помог мне глубже и теснее познакомиться с жизнью коренного, даже, вернее, не столько коренного, сколько «изнаночного» Берлина.

Как-то раз я увидел, что шедший впереди меня человек пошатнулся и упал; я и еще несколько прохожих подняли его и отнесли в кафе, у дверей которого это случилось. Это был совсем молодой человек лет двадцати двух — двадцати пяти, чисто, но бедно одетый. Врач или аптекарь, которого откуда-то привели, пощупав пульс, сказал короткое, страшное и обычное по тем временам слово: «Hunger» (голод). В бумажнике юноши не было ни марки, но там был билет Schauspielerverein'a (Союза актеров). Когда он пришел в себя, ему дали чашку кофе с несколькими каплями водки. Но только после того, как я заплатил за это. Берлинцы были тогда не слишком тароваты, а хозяева кафе и тому подобных мест особенно. Да это и понятно — голодных было столько, что если всех их жалеть, — это было бы верным путем к банкротству.

Уходя, я всунул в бумажник юноши немного денег и записку со своим адресом. Через несколько дней он пришел ко мне, чтобы поблагодарить. Он оказался актером (вернее, статистом), уже несколько месяцев без постоянной работы. Чтобы отблагодарить меня, а заодно и попытаться поправить свои дела, он предложил мне в компании с ним повезти в Гамбург труппу «даменбокса». Это была труппа, состоявшая из шести пар девиц-боксеров во всех весовых категориях. Они проводили бой на настоящем ринге, с рефери, каждый бой длился от четырех до шести раундов, а одна пара в среднем весе дралась восемь раундов.

Мое участие заключалось в том, что, внеся деньги на организационные расходы, я должен был получить пятьдесят процентов чистого сбора. После недолгих колебаний я согласился, доверил Шенеману (это фамилия моего компаньона) все свои чешские кроны, которые высоко котировались в то время в Берлине, и через неделю был приглашен на встречу со «своей» труппой. Она произвела на меня удручающее впечатление — двенадцать самых отъявленных, наглых проституток, в большинстве уже немолодых (с моей тогдашней точки зрения), то есть лет по двадцать пять — тридцать. Но пойти на попятный я постеснялся, не хотел обидеть Шенемана. Одним словом, не сумел выйти из «дела» и остался «директором» этой «труппы». К счастью, в Берлине мы не выступали (я очень боялся, что кто-нибудь из знакомых забредет на наше «представление»), а отправились прямо в Гамбург.

Я представлял своих «бойцов» публике, объявлял их весовые категории и бил в гонг в начале и конце раундов, а Шенеман был судьей-рефери. В Гамбурге и Альтоне мы выступали в течение двух недель. Шенеман выплатил мне очень приличную сумму денег, частично даже в валюте, и дело пошло дальше без меня.

Знакомство, а потом дружба с Шенеманом помогли мне узнать самые низы Берлина и стать, так сказать, «своим человеком» в среде деклассированного общества тогдашней Германии.

Ничего хорошего я там не нашел. Очень близки они были с чуть ниже их находившимся миром уголовников. И тем не менее это были дельцы, осторожные, трусливые, старавшиеся действовать наверняка. Их задачей было пусть с помощью преступления, но обязательно стать «приличными», «самостоятельными». Это была потенциальная буржуазия.

Мало радости было и от общения с русскими эмигрантами. Мало было среди них порядочных людей. Много было бессмысленной злобности, клеветы друг на друга, жульничества — от самого крупного до самого мелкого. Крупные жулики основывали различные предприятия на паях и «на вере», а потом обирали друг друга… Мелкие просто крали, сутенерствовали, торговали своими женами и дочерьми, поступали в кабаки официантами и вышибалами. Даже те, которые, как я раньше писал, работали или ремесленничали, кроме этого пытались заработать еще и «трудом неправедным».

В мире театральной эмиграции атмосфера тоже была скверная.

Еще до приезда группы ко мне на пятый этаж по крутой лестнице пришел Н. П. Асланов и рассказал о неприязни, с которой говорят о нашей группе актеры-эмигранты. Он пришел, чтобы через меня узнать, есть ли у него шансы присоединиться к «качаловской группе». Мне это было и лестно — и больно за него. Но в эмиграции люди подчас шли на унижение ради того, чтобы устроиться; такой крупный актер и сравнительно пожилой человек, как Н. П. Асланов, мог прийти ко мне, мальчишке…

Были и еще актеры, втайне мечтавшие попасть в группу, но и они и многие другие внешне приветливо, но в душе с желчной ненавистью ждали ее приезда.

В прессе появились совсем не лестные для группы заметки о «ненастоящести» этого Художественного театра, о его неудаче с «Гамлетом», о том, что в Вене, кроме второстепенного «Штадттеатра» для его спектаклей ничего лучшего предоставить не хотели.

Неожиданной молнией было появление в серьезной и

авторитетной берлинской газете «Берлинер тагеблат» подвала на двух полосах — статьи жены Сандро Моисси (ее фамилию я забыл), в которой был дан глубокий и полный преклонения разбор спектаклей нашей труппы. Она цитировала письма Моисси о Гамлете — Качалове как об одной из величайших вершин актерского мастерства мирового театра. Затем появилась заинтересованная и полная уважения статья Альфреда Керра — это уже была работа С. Л. Бертенсона, — так что усилия «врагов» пропали зря, и группу ожидала хорошая встреча.

Восемнадцатого ноября группа прибыла в Берлин. Здесь в это время шла забастовка отельной прислуги, и почти все гостиницы пикетировались и въезжать в них было рискованно — пикетчики могли забросать всякой тухлятиной и грязью. Только десяток гостиниц «люкс», вроде «Адлона» и «Кайзерхофа», где были полицейские заслоны, охранявшие штрейкбрехеров, были еще открыты. Они были нам, конечно, не по средствам, и пришлось расселяться по меблированным комнатам и «пансионам».

Ольгу Леонардовну приняла у себя ее племянница — О. К. Чехова — дочь ее брата Константина Леонардовича Книппера и бывшая жена Михаила Александровича Чехова — актера МХТ, племянника Антона Павловича Чехова. Эта красавица разошлась в Москве с М. Чеховым, вышла там же замуж за Фридриха Яроши — венгерского писателя из освобожденных революцией военнопленных австро-венгерской армии, и уехала с ним в Берлин. Здесь ей удалось с помощью Яроши сделать блестящую кинокарьеру. В сезоне 1921/22 года она была уже одной из самых популярных звезд германского кино. У них в Берлине была прелестная квартира, где Ольга Леонардовна могла жить в самом изысканном комфорте.

Нашим на первых порах повезло меньше. Там, где поселился я, на пятом этаже скромного пансиона, без электричества (с газовым светом), без ванны, я их принять, конечно, не мог; найти им что-нибудь хорошее вблизи театра было очень трудно, и я снял им комнату у какого-то прибалтийского барона, убежавшего из Дерпта. Он говорил на подчеркнуто «народном» русском языке, сыпал поговорками, ругал на чем свет стоит немцев, «обожал своих русаков», «сам в середине души русак», но, пользуясь положением в связи с забастовкой, содрал с них вдвое дороже, чем полагалось, и все в инвалюте и за месяц вперед. До сих пор помню его поганую усатую и бородатую баронскую рожу, его куртку с роговыми пуговицами и гнусный акцент, с которым он ругался, изображая «истинно русского» человека. Он потребовал, чтобы оплачивалась не только комната, но и стол. «Я сдаю только так, как говорят по-русски: на хозяйских харчах». Харчи были

отвратительные, наши брали всю еду к себе в комнату и потом отдавали все полуголодной польке — прислуге барона. Питались в основном в доме М. Б. Коган.

То, как устроились с жильем, конечно, имело значение, но не только благодаря этому Берлин их на этот раз не порадовал. Слишком много было еще следов войны — и голодные лица, и бедная, поношенная одежда, нищие, солдаты в рваном обмундировании, трясущиеся и дергающиеся от контузий, слепые в солдатских шинелях, которых водили по улицам тощие собаки. И все это подчеркивалось наглой и безвкусной роскошью шиберов и иностранцев. Мать и отец, так же как и я, почувствовали озлобленность и грубость берлинской толпы. Не верили в искренность встречающих их товарищей по искусству. Отношение большинства эмигрантов было настороженно-подозрительным — уже распространились слухи о беседе с Мостовенко, о том, что возвращение в Москву части группы — вопрос решенный…

Двадцать восьмого ноября 1921 года в Кениггрецерском театре начались наши берлинские гастроли. Шли «Три сестры». Бертенсон и Леонидов сделали все возможное, все от них зависящее, чтобы собрать в зале самое лучшее, вернее, самое нужное общество. Не считаясь ни с какими расходами, они разослали пригласительные билеты на самые лучшие места во все берлинские газеты и многим корреспондентам газет других городов и других стран. Были министры, представители дипкорпуса впервые встретились с явившимися почти полностью советским полпредством и консульством.

Публика слушала спектакль затаив дыхание. На словах: «В Москву, в Москву, в Москву!» — всхлипывали и рыдали… А в антрактах ругали и злословили. Это была уже непобедимая привычка — каждая группа, каждая «партия» обливала ядом и желчью другую группу и «партию»; как только от дружно ругающей кого-нибудь компании отходил один из ее членов, начинали ругать его. Но больше всего ругали за то, что «игра не та», что вот «когда смотрели у них „Дети Ванюшина“ — это была игра». А под конец плакали почти всем залом и вызывали по пятнадцать-двадцать раз.

Пресса была хорошая. Хорошая не только потому, что хвалили, но и по тому, *как* хвалили. Хвалили так, что публика должна была стремиться посмотреть спектакли. И действительно, сборы с лихвой окупили расходы, связанные с приглашениями на премьеру.

Играли подряд три раза «Три сестры», потом два раза — «Дядю Ваню», по два раза — «Мудреца», «Врата», «Карамазовых» (в один вечер, с чтецом — Астаровым).

Двадцатого декабря во время литературного вечера (мы устроили его, чтобы дать отдых техническому персоналу театра) Берсенев, который не участвовал в концерте, бледный, серьезный до мрачности, подошел к Василию Ивановичу и протянул ему распечатанную телеграмму на его имя. Это была телеграмма из Риги от Н. А. Подгорного, извещавшая о его приезде 23 декабря.

Двадцать третьего я отпросился у Ивана Яковлевича Гремиславского и поехал с Бертенсоном и Берсеневым встречать Николая Афанасьевича. Не знаю, с какими чувствами и мыслями встречали его мои спутники, но для меня встреча с ним была великим событием. Я расстался с ним два с половиной года тому назад у околицы украинского хутора, где стоял наш эскадрон. Он шел на огромный риск, пускаясь в путь для перехода фронта. Мне тоже многое грозило — ведь я воевал… Расставаясь, мы думали и, кажется, говорили о том, как трудно представить, что мы оба уцелеем и когда-нибудь увидимся. Это было очень маловероятно. И вот это все-таки случилось. Мы оба целы, здоровы и вот-вот сомкнем объятия, которые разомкнули тридцать долгих и полных событий месяцев тому назад.

Я так дрожал от волнения, так лязгал зубами, что Бертенсон со свойственной ему душевной «чуткостью» посоветовал мне попрыгать, чтобы согреться. Не помню момента, когда я увидел Николая Афанасьевича, помню только, что он, обойдя моих спутников, бросился ко мне и стиснул меня в своих железных руках. Не только, конечно, воспоминания о тревогах разлуки волновали меня, но и гораздо больше то, что в Николае Афанасьевиче я видел посла Москвы, посланца Родины. Он был весь совсем другой, весь московский, весь «оттуда». Мне казалось даже, что от него пахло чем-то московским, Камергерским… Господи, как страстно захотелось в Москву! Он как будто нарочно бередил это желание, называя улицы, переулки: «На Петровке цветочный магазин Ноева открыли», «в Столешниковом переулке есть кондитерская, там…», «он так и живет на Арбате», «у Константина Сергеевича в Леонтьевском…», «Шел Володя (Вл. И. Немирович-Данченко) по своей по Никитской…» и так далее и так далее.

Мы отвезли Николая Афанасьевича прямо в пансион, где жила его жена, Ольга Лазаревна Мелконова, и по дороге он успел своими рассказами, московскими анекдотами и остротами довести нас всех, даже флегматичного Бертенсона, до сладкого томления по Москве. Я же пришел в полное исступление. Хотел ехать сейчас же, немедленно.

Целую ночь, как стихи, как заклинание, как молитвы, я твердил номера московских телефонов, фамилии знакомых,

живущих в Москве. В первый же вечер, вернее, ночь по окончании спектакля (шел «Дядя Ваня» с Василием Ивановичем и Ольгой Леонардовной) собрались у М. Б. Коган.

Пришли и положительно решавшие для себя вопрос возвращения (Василий Иванович, Ольга Леонардовна, Нина Николаевна и Бертенсон), и сомневавшиеся, и противники. «И грянул бой!»

С этого дня и чуть ли не до дня отъезда шла упорная и ожесточенная борьба. Подгорный боролся за каждого человека, которого считал нужным театру. Сторонники сохранения работоспособной группы действовали, опираясь на жалость к остающимся. Но Василий Иванович был тверд и непоколебим. Ни испытания жалостью, ни соблазны славы и денег при дальнейшем блистательном процветании группы не смогли изменить его решения. Он не очень торопил, не форсировал события, понимая, что приезд зимой немыслим, — ведь Подгорный не скрывал того, что даже театр плохо отапливается, где же смогут достать топливо вернувшиеся? Да и вопрос питания зимой гораздо острее, да и в работу театра надо включаться с лета. Кроме того, до весны были уже ответственные обязательства и в Берлине и в Скандинавских странах, переговоры с которыми велись уже с полгода. Кроме Скандинавии звали еще и в Голландию и в Прибалтийские страны, и чем ближе придвигался отъезд и распад группы, тем заманчивее становились приглашения. Было ли это случайностью? Не думаю. На мой взгляд, это объяснялось тем, что противники возвращения вводили в бой все более и более мощные «калибры орудий».

Вскоре после Нового года, гримируясь рядом с Василием Ивановичем (шел «Вишневый сад»), Берсенев «между прочим» рассказал, что некто Гроссман (муж одной из актрис Первой студии, Порфирьевой) предлагает свое посредничество для устройства двухлетних гастролей группы по Североамериканским Соединенным Штатам. «Условия предлагают блестящие». Но и это не сбило Василия Ивановича с его позиций. Единственное, что могло бы поколебать его решение, — это был страх за меня, страх кары за мою белогвардейскую авантюру. Это было слабым местом его «боевых порядков», но никто не пытался его использовать, так как все знали мое решение и верили в него: вернуться, даже если не вернется Василий Иванович, вернуться, чтобы службой в Красной Армии реабилитировать себя и заслужить прощение своей вины.

Люди, не знавшие этого, но очень не хотевшие по разным причинам возвращения в Москву и распада «зарубежного Художественного театра», били именно в эту точку. «Как вы

можете везти сына на расстрел?» — писали одни. «Ведь ты же сам толкаешь Димку к стенке», — писал из Америки А. А. Кайранский. Василий Иванович впадал надолго в мрачное настроение от этих запугиваний, но решения своего не менял. И не потому, что ему была безразлична моя судьба, нет, — он очень волновался за меня, но он больше верил Подгорному, зная, как тот относится ко мне, когда Подгорный ручался, что никто меня в Москве преследовать не будет.

Были, конечно, минуты и часы сомнений, когда одолевали соблазны славы, покоя, налаженности жизни, усиленные жалостью к остающимся, грусти от предстоящего конца целого периода жизни, конца группы, в скитаниях которой было много и тяжелого и радостного, и темного и светлого… Многое связало его с этими людьми — товарищами и друзьями, ставшими одной семьей. И рвать эти нити было больно. Влиять на группу, уговаривать всех ехать вместе с нами он не считал себя вправе, понимая, что если даже и ему будет в Москве в чем-то хуже, труднее и сложнее, то многим из тех, кого в Москву и не очень зовут, будет там просто очень трудно. Ведь те маленькие места, которые занимали они в театре, давно уже заняты, связи потеряны, жизненные условия, налаживавшиеся годами, разладились.

Кроме Василия Ивановича, Ольги Леонардовны и Нины Николаевны решительно за возвращение были Н. Г. Александров, И. Я. Гремиславский и С. Л. Бертенсон. Александров безумно любил свою дочку Марусю и действительно был предан МХТ и Константину Сергеевичу и Владимиру Ивановичу, он без настоящего Московского Художественного театра не мог жить. Иван Яковлевич стремился к своим старикам, которые без него и без внука своего Вали тосковали ужасно, а главное, он был убежден в необходимости работать на родине и для родины. Он, пожалуй, был самым сознательным, убежденным и упорным «возвращенцем». Ведь еще в Екатеринодаре и в Тифлисе он ратовал за возвращение в Москву.

Бертенсона тянуло в Москву чувство долга перед пригревшим его в тяжелую пору его жизни театром и, главное, вера в то, что он займет в театре, а может быть, и над ним большое положение. Он не допускал мысли о том, что нэп — это не поворот назад, и верил, что страна на пути к реставрации, к возврату прошлого. А тогда его место будет снова «наверху». Убедившись в ошибочности своего прогноза, он эмигрировал и, прожив в США тридцать три года, там и умер.

Так думал не он один. Многие эмигранты уверенно ждали, что через полтора-два года можно будет вернуться домой «на

белом коне». Да и в нашей группе кое-кто рассчитывал на такое возвращение и на родину и в театр, то есть рассчитывал вернуться с требованиями, с правами, хозяевами положения.

Что же, в конце концов, так властно тянуло в Москву Василия Ивановича? Ответить на этот вопрос не просто. Не простыми были и те силы, которые этого мягкого и податливого на уговоры человека сделали твердым как кремень и непреклонным. Не простыми, а очень сложными. И складывались они, мне кажется, вот из чего. Одна из сил (не главная) была потребность в режиссере, в режиссере-критике, в учителе. Он ощущал художественную деградацию труппы, товарищей. А так как он был больше чем объективен, то допускал возможность, а иногда и констатировал наличие этой деградации и в своей работе.

Как-то зайдя на «Мудреца», он пришел в ужас от того, что «разделывали» Берсенев и Германова. О Берсеневе он говорил неохотно: он всегда утверждал, что как бы он ни старался быть объективным, ему не может нравиться другой актер в его роли, так что судить и разбирать то, как играет Глумова Берсенев, он не хотел. Но уж Марию Николаевну он ругал исступленно, ругал страдальчески, мучительно для себя, так как любил ее и очень ценил вообще и в этой роли в частности. Страдал он и от провинциализма и дешевки замшелых, «бородаевских» штампов, на каких играл М. М. Тарханов и Мамаева в «Мудреце» и Луку в «На дне». Очень огорчили его Массалитинов и Ольга Леонардовна в «Осенних скрипках». А ведь это были лучшие актеры труппы! С каким же ужасом он представил себе, что бы пережили Константин Сергеевич и Владимир Иванович, увидев их и, главное (главное для Василия Ивановича), его самого! Он очень верил Нине Николаевне, но считал, что, варясь в своем соку, и она потеряла высоту критерия.

Василий Иванович очень рано начал ощущать свою старость. В это время ему было всего сорок шесть лет, но он уже говорил о последних годах актерской жизни и хотел, как он говорил, не осрамить ими всего своего творческого пути. Он чувствовал, что скользит, сползает, катится вниз и, чтобы схватиться и удержаться, тянулся к Константину Сергеевичу и Владимиру Ивановичу. Эта тяга особенно сильно напрягалась от писем Владимира Ивановича и от рассказов Подгорного. Об этих рассказах я скажу дальше.

Другой силой был страх отстать от России, от того, что там растет и зреет, отстать от того движения, оказаться вне того пути, по которому идут лучшие люди России, и завязнуть в гнилом эмигрантском болоте.

Все, что было в России, — работало, творило, созидало; все,

что было здесь, — пережевывало жвачку и разбавляло ее ядом злобы. Ведь там были не только мхатовцы, там были и Эфросы, и Шаляпин, и Собинов, и Мейерхольд, и Таиров, и Н. А. Андреев, и Ахматова, и Есенин, и Маяковский, и Брюсов… Там была творческая жизнь — здесь комфортабельное сидение в баре. Но и это было не главной причиной.

Главное было — ностальгия. При всей нелюбви к иностранным, «ученым» словам я сознательно не говорю «тоска по родине», чтобы подчеркнуть болезненность, близость к душевному заболеванию того состояния, в каком Василий Иванович находился. Как, сказав вместо «горло болит» — «ангина», подчеркиваешь медицинскую категорию своего состояния. Он был болен этой тоской. Только человек, находившийся за рубежом родины без возможности вернуться, может понять всю безысходность тоски по родине, весь ужас и мрак такой тоски.

При всей своей обычной сдержанности и неэкспансивности он был способен буквально взвыть (вернее, был не способен не взвыть) от каких-то звуковых или обонятельных ассоциаций, связанных с Россией. Это глупо и смешно, но, когда я для смеха набил трубку махоркой (ее продавали в Берлине как средство от моли), он чуть не разрыдался…

Как-то поздно ночью, возвращаясь из гостей, мы поехали на конном омнибусе (в Берлине с двух до шести утра по некоторым улицам еще ездил такой старинный экипаж, его называли Bummlerwagen — «кутиловоз»), — он взволновался запахом лошадей: «московских „ваньков“ вспомнил».

Все более раздражаясь Берлином, презирая эмигрантов, Василий Иванович иногда презирал и себя за слишком большую привязанность к комфорту, когда ловил себя на маленькой и мелкой грусти от мысли, что вот так легко там рубашки не купишь, ванны с душистыми солями не примешь, такси пальцем не подманишь… Ему не хотелось ощущать в себе этих сожалений, хотелось с открытой душой предвкушать большую и глубокую радость встречи с обновленной Родиной.

Подгорный очень скоро после приезда в Берлин стал одним из самых частых посетителей нашего «клуба» — дома Коганов. Он очень много и хорошо рассказывал про Москву. Он не агитировал, не пытался соблазнять Василия Ивановича и Ольгу Леонардовну московскими радостями, он просто рассказывал и театральные анекдоты и сплетни и описывал спектакли и репетиции, и, как это всегда было в нашей среде, одно обвивалось вокруг другого.

Очень интересно описывал, а иногда и «показывал» постановку «Мадам Анго»; рассказывая о работе над ней, он

уснащал эти повествования изображениями смешных «кви про кво» между Владимиром Ивановичем и опереточной певицей — полькой Невяровской: она неожиданно и пикантно понимала режиссерскую терминологию Владимира Ивановича и лекции Константина Сергеевича по его «системе», которые иногда посещала.

Десятки комических и трагикомических случаев, происходивших до, во время и после репетиций и спектаклей, делали рассказы о жизни и работе театра реальными, конкретными, осязаемыми. А огромность масштаба деятельности театра и творческая насыщенность ее, которая вырисовывалась при одном перечне студий! Первая, где работали Вахтангов и Чехов, где были интереснейшие спектакли и еще более интересные планы работ. Вторая, где зрела целая новая труппа. Третья, где Вахтангов совсем по-новому строит работу и жизнь. И, наконец, музыкальная студия комической оперы, где состоялась премьера «Анго», спектакля, идущего с огромным успехом, где готовится второй спектакль — «Птички певчие» («Перикола»). Оперная студия Константина Сергеевича, где с увлечением работает рядом с Константином Сергеевичем ряд крупнейших оперных певцов и музыкантов.

Василий Иванович утирал слезы от смеха, слушая эти рассказы, и далеко не всегда только от смеха…

А между тем сезон продолжался. После месяца с лишним в Театре на Кениггрецерштрассе с 3 января перешли в помещение «Кюнстлертеатра». Первый был в районе старого города, второй — в новом Берлине, в Вестене (западная часть). Тут сыграли «Вишневый сад», «На дне». Зал был на три четверти, если не больше русским. Подгорный, который смотрел все спектакли, расхвалил «Три сестры», не очень принял «Вишневый сад» и совсем изругал «На дне»: не принял ни Тарханова — Луку, ни Шарова — Бубнова и, главное, Греч — Василису. Последнее исполнение было действительно слабым недопустимо. Его отношения к другим спектаклям я не помню.

Новый год встречали в огромной компании все у тех же Коганов.

Было шумно, весело, но и надрывно. Надрыв был от предстоящей разлуки, а у Марии Борисовны собрались представители и едущих твердо, и сомневающихся, и твердо не едущих. Содействовал этому настроению и Григорий Михайлович Хмара, пришедший на вечер с гитарой и рвавший всем душу своей талантливой цыганщиной. Он изумительно играл и прекрасно пел. С ним пришла и до состояния транса влюбленная в него стареющая, но необыкновенно интересная шведско-

немецкая киноактриса Аста Нильсен. Она никого и ничего не видела вокруг себя, так была поглощена своим «Грришей». Она научилась по-русски произносить «р» и гремела им со страстью.

Когда Василия Ивановича попросили читать, она какое-то время терпела то, что в присутствии ее «Грриши» кто-то смеет владеть вниманием общества, но потом спросила Нину Николаевну (они сидели близко, и Нина Николаевна несколько раз обращалась к ней по-немецки): «Скоро этот белокурый господин прекратит свою декламацию — все же хотят слушать Гришу». Взгляд, которым ответила ей ее собеседница, был достаточно красноречив, чтобы влюбленная шведка поняла, что обратилась не по адресу, и она пересела подальше. Хмара потом извинился за нее перед Василием Ивановичем, но Василий Иванович не был обижен, он считал, что шведка права, и, чтобы сгладить недоразумение, прочел «Erlkönig» («Лесной царь») Гете по-немецки. Но и тут не прошло — Аста сказала: «Sehr schlecht» («Очень плохо»). Василий Иванович сконфуженно развел руками, и все общество грохнуло хохотом.

Начался 1922 год. Пятнадцатого января «Вишневым садом» мы закончили спектакли в Берлине, чтобы возобновить их тем же спектаклем 4 февраля. За это время состоялись гастроли группы в Скандинавии.

Семнадцатого января спектаклем «Вишневый сад» начались первые в истории Художественного театра гастроли в Копенгагене. Играли в одном из лучших театров города, в «Дагмартеатре». У этого театра есть любопытная традиция: когда билеты все проданы, на башенке, венчающей фасад театра, загорается большой газовый факел. За все восемь дней, что группа играла в Копенгагене, факел пылал ежевечерне.

Может быть, только в Вене мы играли перед залом, в котором не понимающих языка было большинство. Но все же в Вене был какой-то процент австрийцев, понимавших русский язык (бывших в плену хотя бы), было порядочно и чехов и хорватов, было и довольно много русских. В Копенгагене в зале театра был едва ли один на сто понимавший язык. Поэтому особенно волновала и удивляла реакция зала.

Первое, что нас поразило, было следующее: после сцены Лопахина с Дуняшей и с Епиходовым все уходят за кулисы встречать приехавших Раневскую, Аню и других. Сцена пуста, слышны только звуки приезда — бубенчики лошадей, хлопанье дальней двери, веселые, возбужденные голоса, хлопанье ближней двери, голоса громче, громче… Через сцену семенит Фирс, видимо, встречавший господ на станции, и… перед самым выходом Ольги Леонардовны, *еще до* ее появления на сцене, вдруг

разразился буквально шквал аплодисментов. Публика оценила правду, которая была в звуках приезда. Сначала все растерялись. Павлов, еще не успевший уйти со сцены, подумал, что приветствуют выход Ольги Леонардовны (так случалось уже), но аплодисменты были *до* общего выхода. Это были аплодисменты режиссуре, театру.

Потом это никогда и нигде не повторялось. Спектакль после такого «допинга» прошел в прекрасном тоне и ритме. Датчане аплодировали удивительно дружно, мощно, как-то спортивно-мужественно и коротко. Все вместе начинали и все сразу кончали. Слушали, затаив дыхание, в антрактах в зале было тоже тихо, зал гудел сдержанными голосами, не слышно было ни громких восклицаний, ни взрывов хохота, почти все сидели с книжками и программами, изучали текст, чтобы лучше понимать действие.

На другой день отлично прошел «Дядя Ваня», на третий — с триумфом — «Карамазовы» с датским чтецом. Читал директор театра и его главный режиссер доктор Роозе. Это был необычайно обаятельный и интересный человек, глубоко знавший и умно любивший русскую литературу и искусство и с огромной симпатией и уважением относившийся к Художественному театру. Он категорически потребовал, чтобы Василий Иванович остановился у него в доме, и весь период жизни в Копенгагене отец пользовался радушным гостеприимством Роозе и всей его милой семьи.

После «Карамазовых» уважение семьи Роозе к Василию Ивановичу перешло в какое-то обожание, такое впечатление произвел на них его Иван, в особенности «Кошмар».

«Карамазовы» были сыграны в этот период два раза, и оба раза с громадным успехом, ими и закончили, вернее, прервали гастроли и отправились на пять спектаклей в Стокгольм. Там играли «На дне» (им открылись), «Дядю Ваню», «Карамазовых», и два раза прошли «Три сестры».

Успех в Стокгольме был не меньший, чем в Копенгагене. Прием был, пожалуй, даже теплее. Имело значение то, что там было больше понимавшей язык публики. Было довольно много и русских эмигрантов, но больше было шведов, живших в России или часто там бывавших. Крупнейшая шведская фирма «Нобель» владела в Баку нефтяными скважинами, заводами по переработке нефти, вела работу по разведке нефти. Сотни ее служащих жили в России, многие были женаты на русских, и все, конечно, хорошо говорили по-русски. Да и многочисленная семья Нобелей почти вся довольно хорошо понимала русский язык.

Была там и семья Викандер — у них в Одессе была фабрика линолеума, сын хозяина этой фабрики был женат на одесситке

Вере, и у них в доме говорили по-русски. Таких «русских» шведов было много. Много было и финских, вернее, финляндских шведов, которые были даже русскими подданными (ведь Финляндия входила тогда в Российскую империю) и имели дела в России. Теперь они вели дела в Швеции. Все они любили если не Россию, то, во всяком случае, русскую культуру, язык, особенно театр.

Быстро промелькнули эти пятнадцать дней скандинавской поездки. Сыграв пять спектаклей в Стокгольме, мы еще на три спектакля вернулись в Копенгаген, сыграли там еще раз «Дядю Ваню» и два раза «Три сестры». Это была только разведка — весной предстояла еще одна большая скандинавская поездка.

К 1 февраля вернулись в Берлин и 4-го уже возобновили спектакли в том же «Кюнстлертеатре». Какой же голодной показалась нам Германия после сытой и благоденствующей Скандинавии. Покой, сытость, здоровье, доступность всего всем — там и тревога, нужда, голод, спекуляция и злоба — здесь. Еще и климат и погода подчеркивали эту противоположность: и в Стокгольме и в Копенгагене стояла дивная, какая-то андерсеновская зима — сады и скверы завалены чистым снегом, деревья в инее, края каналов покрыты прозрачным зеленым льдом, а по середине их по черной воде плавают белые чайки, небо светло-синее, и на солнце сверкает легкий, медленно опускающийся снежок — будто замерзшая роса. А в Берлине шел дождь, дул пронзительный ветер и небо было желто-серое.

Конец группы

В первых числах февраля слег наш Ваня Орлов. Он развозил по квартирам актеров их багаж, поднимал его на верхние этажи, очевидно, вспотел и простудился. Оказалась у него та самая «испанка», от которой к концу войны в Германии погибло много сотен тысяч людей, больше, чем от англо-французских снарядов. Ваню положили в больницу, и через несколько дней, 14 февраля, он умер.

8 февраля мы с Болеславским были у него, он уверял, что здоров, что завтра выйдет и будет вести «Гамлета». Он не допускал мысли, что этот спектакль, требовавший участия всех сил труппы, может идти без него. Но ему становилось все хуже и хуже, и, когда 12-го мы у него были, он уже не узнавал нас, пел немецкую песенку из «Месяца в деревне» — «Cathrinchen, Cathrinchen, wie lieb ich dich so sehr», не переставая поправлял на себе одеяло. Сиделка указала мне на это и сказала: «Он себя приводит в порядок — значит, скоро будет там» — она показала вверх. Значит, и немцы верят в наше «оправляется». Через день не стало нашего Вани, единственного нашего пролетария.

Это была первая смерть в нашей группе. До сих пор мы только пополнялись, а Ваня открыл счет смерти. Жалко было его безумно. И грубоват он был, и простоват, но уж так предан театру вообще и нашей группе в частности, как, вероятно, никто другой. Вот и не пришлось ему поставить к стенке наших «контриков», как он в пьяном виде грозился иногда. Да никогда он этого и не сделал бы, был он добрый и благожелательный к людям человек. На похоронах его собралась не только вся наша группа с чадами и домочадцами, но и еще человек сорок-пятьдесят друзей нашей группы, в том числе и несколько работников Советского полпредства.

После похорон собрались на поминки в маленьком ресторане около Кенинггрецерского театра, где мы всегда собирались по разным поводам. Хозяин его, добрый и веселый немец, очень нас любил и считал нам в таких случаях «оптом» дешевле. В ресторане было только одно окно-дверь, оно закрывалось железной шторой, и мы были в уединении: а для ухода была дверка во двор, через черную лестницу. Эти поминки были последним нашим общим собранием. Во время его было сказано все самое главное, было окончательно выяснено, кто возвращается и кто нет. Морально группа кончилась. Спектакли ее продолжались и в Берлине (полностью), и в Лейпциге, и в Дрездене, и в Сопоте, и в Прибалтике — отдельными спектаклями

и малыми группами, а весной опять всей труппой в Скандинавии, но ничего уже не репетировали, ничего не готовили, никаких планов совместной работы не строили.

Смерть Вани Орлова была смертью, которая не объединила семью, а завершила ее распад. Все было ясно, спорить больше не о чем. И это было даже, пожалуй, хорошо. В самые грустные дни — 9, 11 и 13 февраля — мы играли в Берлине «Гамлета». Мне кажется, что это не будет статистической ошибкой, если я скажу, что из четырех с половиной тысяч человек, пересмотревших в Берлине нашего «Гамлета», четыре тысячи четыреста пятьдесят были русские. Наша администрация и наши друзья и знакомые утверждали, что в зале совсем не было слышно немецкой речи. «Вся Москва» и «весь Петроград», да и «весь Ростов» и «все» другие города наполняли зал. Это и понятно — немцам Гамлет — Качалов, русский Гамлет был менее интересен, чем «На дне», «Карамазовы» или Чехов, для русских же это было национальное событие.

Как шел спектакль? Мне труднее судить об этом спектакле, чем о каком бы то ни было другом. Из-за болезни Орлова на меня пала двойная нагрузка — я должен был работать и за него. Спектакль был трудный, не шел давно, репетиций было мало; 4 февраля шел «Вишневый сад», 5-го, 6-го, 7-го монтировали и репетировали «Гамлета» (свет, оркестр, статисты и т. д.), 8-го играли «Мудреца», чтобы дать перед премьерой отдых Василию Ивановичу, 9-го шел «Гамлет». Вот и было мне совсем уже не до оценок, со своими делами дай бог управиться, чтобы накладок не было. Могу судить только по запомнившимся разговорам. Мать была, скорее, довольна. Она говорила, что спектакль «отстоялся» — его не играли со 2 ноября, то есть три с лишним месяца, и хотя репетиций было мало, недостаточно для возобновления спектакля после такого перерыва, но прошли эти репетиции собранно и интенсивно. Василия Ивановича она очень хвалила, особенно за монолог «С недавних пор утратил я всю свою веселость». Этот монолог он часто читал в концертах и так, в компании. Мать считала, что, очень глубоко вдумавшись в него и вложив в работу над ним, в разделку его большой труд, он и всю роль, весь остальной текст глубже освоил, сделал своим, не только он овладел текстом, но текст, роль овладели им, проникли в него и заполнили его.

Василий Иванович с несомненным, но, как всегда, скрытым удовольствием слушал это, верил, хотя и сомневался, подозревая, нет ли за этим у Нины Николаевны каких-нибудь приемов режиссерской педагогики. Отдельные места роли (особенно «Мышеловка») продолжали его мучить и возбуждать острое

недовольство собой. В эту серию спектаклей «Гамлета» он был очень огорчен своей внешностью — за эту зиму он пополнел довольно основательно, особенно лицо стало каким-то мясистым и одутловатым — так ему по крайней мере казалось. Он часто говорил, что хотел бы для Гамлета моей худобы и, главное, угловатости и остроты черт моего тогдашнего лица. Часто смотрел в зеркало и злился на пухлость щек, на округлость подбородка. Пробовал даже клеить бороду, но если это еще можно было пробовать в России или в Европе англичанину, то русскому играть в Германии Гамлета бородатым было невозможно: получался типичный, с их точки зрения, русак.

Пресса и так, хваля Василия Ивановича, констатировала, не обвиняя в этом, что Гамлет у него русский, больше знакомый с Достоевским, чем с Бэконом. «Славянский Гамлет-богоборец», — писал А. Керр в «Берлинер тагеблат».

На последнем спектакле случилось несчастье, которое могло бы оказаться катастрофой: во время дуэли у Берсенева — Лаэрта отломился кончик шпаги и попал Василию Ивановичу в веко. Потекла кровь, Василий Иванович весь конец акта (и спектакля) играл, прижав ладонь к глазу. Мать, смотревшая финальную сцену из зала, была в ужасе — она решила, что у него выколот глаз. Бывший в театре врач осмотрел Василия Ивановича, у него оказалась глубокая царапина на верхнем веке и легкий ушиб глазного яблока. Глаз заплыл кровью. На другой день шел «Вишневый сад». Чтобы не мучить Василия Ивановича, не заставлять его играть с больным глазом, попросили Подгорного играть Гаева. Тот с удовольствием согласился. В этом согласии «посла Москвы», в его участии в «качаловской группе» было торжество примирения, вернее, прекращение борьбы. Все было ясно — распад группы решен, чего же еще воевать?

На другой день Василий Иванович играл «На дне».

Девятнадцатого февраля берлинский сезон кончился, и группа распалась на отдельные группки.

Четырнадцатого марта мы играли в Лейпциге «Вишневый сад» с Подгорным — Гаевым, 15-го там же — «Дядю Ваню» с Бакшеевым — Астровым и Подгорным — Серебряковым. Ольга Леонардовна играла и Раневскую и Елену. Это были спектакли уже не «качаловской группы», а, скорее, гастроли Книппер-Чеховой.

Шестнадцатого мы переехали в Дрезден и играли там в Саксонском театре «Вишневый сад», а 17-го там же «Дядю Ваню».

Театр в Лейпциге был просто хорошим (лучше известных мне берлинских) театром, театр же в Дрездене был чудом театральной архитектуры и оборудования. Огромное сценическое

пространство состояло из семи сцен-площадок, каждая из которых могла опуститься на глубину в девять метров и перемещаться на этой глубине от арьерсцены (задней части сцены) к зрительному залу и обратно. Три такие сцены-площадки составляли игровую сцену, две еще были в это время внизу, на глубине девяти метров, где с них можно было снимать оформление и обставлять их вновь. Отработавшая сцена могла опуститься вниз, а на ее место подвинуться либо находившаяся сзади нее, либо та запасная сцена, которая находилась сбоку. Таких боковых сцен было две — по обе стороны первого плана. Ширина (по рампе) каждой сцены-площадки была двенадцать метров, глубина (от зала назад) — шесть метров. Высота до колосников была свыше тридцати метров, высота горизонта-панорамы была двадцать восемь метров, так что играть можно было без падуг.

Все подъемы и сцен и задников были гидравлическими, все приводилось в движение машинистом из его будки, где был щит управления. Мы были в полном восторге от возможности поработать на этой сцене. Замечательным было не только механическое и осветительное оборудование и оснащение, но и организация дела, воспитание штата, отношение к делу всех и каждого отдельного работника. После окончания наших коротких, всего двухдневных, гастролей я попросил разрешения остаться и поработать несколько недель в этом сказочном театре. Мне это разрешили, и я проработал там в качестве практиканта недели две, поработал бы там и еще, если бы не пришла телеграмма от матери о том, что в первых числах апреля всех нас, возвращающихся в Москву, вызывают в Советское полпредство, в консульский отдел, для получения паспортов. Часть группы была с 28 по 30 марта в поездке, они играли «Дядю Ваню» и «Осенние скрипки» в маленьком, но очень людном польском городе Сопоте.

Там был единственный в Центральной Европе игорный дом, где были и рулетка и баккара, туда ездили все немцы, чехи, австрийцы, поляки, скандинавы, те, кому Монте-Карло было либо далеко, либо не по средствам. Спектакли прошли там без настоящего успеха, и наши вернулись очень мрачными.

Не помню точно даты, но где-то в самых первых числах апреля мы всей, как мы стали называться, «Московской группой» отправились в полпредство. В эту группу вошли: В. И. Качалов, Н. Н. Литовцева, О. Л. Книппер-Чехова, Л. К. Книппер, И. Я. Гремиславский, Ю. Н. Гремиславская, Н. Г. Александров, П. А. Бакшеев, С. Л. Бертенсон, А. К. Тарасова, А. П. Кузьмин и я. Процедура была не торжественная — заполнили еще раз заявления и анкеты (дополнительно к давно уже заполненным) и

по лучили временные удостоверения на право въезда в РСФСР. Подгорный сразу отобрал их у нас, так как надо было ставить на них транзитные польские, литовские, латвийские визы. Мы же, хотя и стали советскими гражданами, должны были ехать в последнюю нашу гастроль в Скандинавию еще с эмигрантскими документами — на советские скандинавы виз тогда не ставили.

С 8 по 11 апреля Леонидов повез Василия Ивановича и М. Н. Германову на гастроли в Ригу. Они играли там с актерами местного русского театра «У врат царства», сцены из «Братьев Карамазовых» и еще что-то, не помню. Василий Иванович выступал и там и в Ковно с концертами. Я в эту поездку не ездил, в журнале спектаклей группы, который вел С. Л. Бертенсон, ни об этой поездке, ни о завершающей наше странствие поездке по Скандинавии нет никаких следов — ни городов, ни дат, ни пьес…

В эти дни в Берлине произошло событие, произведшее большое и чрезвычайно тяжелое впечатление на всю нашу группу, особенно на Василия Ивановича и Н. Г. Александрова. В одном из берлинских клубов с докладом о политическом положении Европы выступал лидер кадетской партии, депутат Государственной думы, профессор П. Н. Милюков. Не знаю, конечно, цели и содержания его доклада. Вероятно, это были очередные пророчества о приближении краха Советской власти и призывы к единению всех эмигрантов и подготовке их к принятию «большевистского наследства». Организовал это собрание и председательствовал на нем В. Д. Набоков, хороший знакомый отца и Александрова по комиссаровскому дому. Во время речи Милюкова из рядов вышел какой-то человек и двинулся по проходу к эстраде. Подойдя метра на три-четыре, он крикнул: «Вот тебе, мерзавец, за оскорбление государыни-императрицы!» — и, выхватив револьвер, направил его на оратора. Набоков вскочил, бросился вперед и загородил собой Милюкова. Раздался выстрел, и предназначенная лидеру кадетов пуля попала в его защитника. Он был убит. Самые оголтелые монархисты даже Милюкова считали крамольником — не могли простить ему разоблачительных речей в Государственной думе, произнесенных пять лет тому назад. Незадолго до этого Набоков встречался с отцом, он очень сочувственно относился к его возвращению на родину и сам задумывал среди эмигрантов «Союз возвращения». Он рассказывал Василию Ивановичу о своих встречах с А. Н. Толстым, который в это время тоже собирался вернуться в Россию.

Это убийство — самая возможность его, живучесть среди эмигрантов таких диких монархических настроений через пять лет после свержения самодержавия — угнетающе подействовало

на Василия Ивановича. Не то чтобы он испугался, но как-то неуютно почувствовал себя. «Как будто через стадо проходишь, черт его знает, что бык может сделать…» — как-то сказал он. Нет, скорее, скорее домой, в Москву.

Оставалось еще одно, последнее обстоятельство — трехнедельная поездка в Скандинавию. Незадолго до нашего отъезда в Копенгаген в Берлин приехала из Москвы секретарь Владимира Ивановича Немировича-Данченко Ольга Сергеевна Бокшанская. Привезла с собой много писем от московских друзей. Кроме писем от товарищей по театру она передала Василию Ивановичу письма от Эфроса, Смирновой, Санина, его давнишней корреспондентки А. В. Агапитовой, которая подробно писала о жизни его сестер Александры Ивановны и Софьи Ивановны, об их воспитаннице Наташе, о племяннице Вере, о положении с квартирой на Малой Никитской.

От этих писем и от рассказов Ольги Сергеевны о театре и театрах, о жизни в Москве, — а рассказывала она очень живо и интересно, с умным пониманием, что именно интересует ее слушателей, — в Москву захотелось уже совершенно нестерпимо.

Был день, когда Василий Иванович совсем было решил отказаться от гастрольной поездки, придумал даже такой выход: он даст в Берлине, Ковно, Риге большие концерты с тем, чтобы сбор шел в пользу остающейся за границей части группы. Этим он думал компенсировать то, что они потеряли бы с его отказом ехать в Скандинавию. Но не тут-то было — был договор с неустойкой в валюте. А никакие концерты в Берлине и в Прибалтике валюты, которая могла бы идти в сравнение с датскими и шведскими кронами, дать не могли. Надо было ехать.

Последние гастроли

Четырнадцатого апреля выехали в Копенгаген. Настроение было тяжелое. Атмосфера в группе была нехорошая. Даже дорога, самое путешествие в поезде было теперь совсем другим — не было ни песен под гитару, ни хождений «в гости» из купе в купе. Ехали тихо и уныло. Даже и размещение в вагоне подчеркивало разделение группы: «москвичи» ехали с «москвичами», остающиеся — отдельно.

Рано-рано утром, часов в пять, мы переехали границу. Василий Иванович, который ехал в одном купе с Ольгой Леонардовной и Ниной Николаевной, плохо спал и вышел в коридор покурить. Поезд уже шел по Дании. На откидной скамеечке сидел какой-то маленький и худенький человек, он смущенно и приветливо улыбался Василию Ивановичу. Можно себе представить, как поражен был отец, когда узнал в этой фигуре Сандро Моисси! Это была огромная радость. Наш верный друг гастролировал в это время в Копенгагене. Услышав о приезде группы и зная о тяжелой атмосфере в ней, опасаясь, что эта атмосфера может отразиться на художественной стороне спектакля, особенно «Гамлета», он ночью после своего спектакля (он играл Гамлета с датской труппой) выехал на границу, чтобы встретить Василия Ивановича… Что тут можно сказать еще? Разве это не вершина человеческого благородства? Ради того, чтобы поднять настроение друга и соперника (два Гамлета в одном городе в одно время), он не спал ночь после такого спектакля и перед таким спектаклем (в день нашего приезда он тоже играл), в сущности, чтобы пожать ему руку и просидеть с ним два-три часа в купе, пока поезд шел от границы до Копенгагена.

Пресса и, конечно, наши «менеджеры» сделали из этого рекламный шум, но ведь Моисси этот шум не нужен был, больше того, с точки зрения «конкуренции» он ему был вреден. До конца своих дней Василий Иванович помнил об этом и с огромной нежностью и глубоким уважением относился к Моисси. А тогда он был ему бесконечно благодарен за это проявление внимания, подчеркнувшее то, как высоко Моисси ценил и его лично и наши спектакли в целом. Трудно выразить, но мне кажется, что это и так понятно, как эта встреча изменила все настроение и самочувствие всех нас и как отразилась на настроении вокруг нас.

Моисси сумел сделать наш приезд праздником, и в праздничном же духе началась наша работа в Копенгагене.

Шестнадцатого апреля мы открылись, как и в зимний период,

«Вишневым садом». С волнением ждали, будут ли опять аплодировать на «приезд», но нет, это не повторилось. Видимо, этого нарочно не добьешься. Такое удается лишь раз. Но принимали очень хорошо и после каждого действия и после конца хлопали дружно, энергично и долго.

Восемнадцатого играли «Гамлета». Это был, пожалуй, лучший спектакль из всех, то есть я не знаю, именно ли первый спектакль, но вообще все три «Гамлета», сыгранные в Копенгагене, были лучшими из всей поездки. То ли он «отстоялся», то ли волнение перед Москвой, то ли отношение Роозе, Моисси и других друзей-ценителей сказалось, не знаю, но Василий Иванович играл сильнее, крепче, страстнее и, главное, смелее, чем когда бы то ни было в жизни. Это он сам так определил: «Совсем почему-то не трусил. Чувствовал какие-то флюиды симпатии». Пресса была не плохая, но и не восторженная; очень подчеркивалось «славянство», «русскость» этого Гамлета. Но мы, по совести говоря, ни одной рецензии не прочли: языка датского никто из нас не понимал, Роозе переводил нам те места, которые находил нужными.

Работа по монтировке спектаклей вообще, а «Гамлета» в особенности была трудна из-за того, что всеми работниками сцены руководила ненавидевшая русских заведующая постановочной частью. Это была пожилая женщина, хромая и горбатая, до того свирепая, что ее боялись, как огня, буквально все в театре. На моих глазах она палкой, без которой не могла передвигаться по сцене, так хватила по спине здоровенного рабочего, что он скрючился. Остальные реагировали на это молчаливыми насмешливыми улыбками и подмигиванием. Смеяться вслух, а тем более возмущаться никто не осмеливался. Она была аристократического происхождения, носила не то баронский, не то графский титул, что-то, какую-то собственность, земельную или торговую, не знаю, потеряла в России и потому так плохо относилась к русским.

Узнав же, что большинство из нас не эмигранты (которых она хоть и презирала, но жалела), а советские, она возненавидела нас совсем уже люто. Но кое-как благодаря нажиму Роозе и хорошему (теперь лучшему, чем в первый приезд) отношению к нам рабочих все сладилось, и спектакли шли хорошо, без накладок. Наш «технический персонал» обогатился за счет того, что в него вошел племянник Ольги Леонардовны — Лев Константинович Книппер, позднее известный композитор. Он работал моим помощником вместо покойного Вани Орлова. Благодаря высокому интеллекту, вкусу, спортивной ловкости, энергии, темпераменту, быстроте реакции он очень скоро стал отличным помощником и

совершенно затмил не только Орлова, но и меня самого.

Жили мы в гостиницах всю поездку с ним вдвоем и благодаря этому и, главное, благодаря совместной работе еще крепче сдружились. В группе мы с ним тоже были всегда «по одну сторону баррикад» — оба рьяно стояли за возвращение.

Двадцать третьего апреля мы сыграли последний спектакль в Копенгагене и тепло и трогательно простились с милым семейством Роозе и со многими датскими актерами, бывавшими у нас за кулисами и подружившимися с нами. Одна из них, прекрасная драматическая инженю и героиня Бодиль Ипсен, которой наши очень восхищались в Катарине («Укрощение строптивой»), особенно подружилась с Ольгой Леонардовной и потом переписывалась с ней. Моисси уехал из Копенгагена раньше нас.

Рано утром на пароме переправились мы в шведский городок Гельсинборг. Там мы в ужасном, типично провинциальном театре сыграли «Вишневый сад». Сцена была крошечная, декорации скверные. Мы кое-как подобрали для первого и третьего действия какие-то павильоны, а для второго, кроме задника с морским пейзажем, ничего не было. Пришлось закатать «море», оставив только голубоватое небо, которое было так низко, что мы вынуждены были опустить черные падуги почти до голов актеров. Самое же страшное — не было реостатов, и весь спектакль шел при ровном белом свете. Иван Яковлевич возмутился, что его не предупредили, не получили его и режиссуры согласия на проведение спектаклей в таких позорных условиях. Однако успех совершенно не соответствовал этому — он был грандиозным.

После спектакля городские власти и работники театра устроили нам банкет. Это было бы очень приятно, если бы не одно «недоразумение». Наши хозяева, не очень разбиравшиеся в истории и в политике, желая почтить нас, распорядились, чтобы оркестр при входе нашей группы встретил ее русским гимном. Другого, кроме «Боже, царя храни», оркестр не знал. Конфуз вышел великий, особенно для «москвичей» — хорошее напутствие для возвращения в Советскую Россию! Но, кроме злосчастного гимна, все было хорошо: приветливые лица «отцов города» и наших коллег — шведских актеров, хорошенькие девушки и молодые женщины, вкусная еда. В другое время, намного месяцев раньше, мы, вероятно, наслаждались бы этим и беззаботно и радостно отдыхали и веселились. Но теперь это был «не в коня корм».

Конечно, внешне все было как полагается, обменялись несколькими тостами, нам пели какие-то шведские застольные песни, и мы пели бургомистру и директору театра и первой

актрисе «Чарочку» и «Как цветок душистый» и т. д., но было это формально и пусто, каждый думал о скором конце нашей группы…

Одни с тревогой гадали о своей будущей судьбе, удастся ли найти работу и сохранить куцый коллектив, другие — о том, как их встретит родина.

Когда через много лет Василий Иванович в одну из своих заграничных поездок встретился с Ф. И. Шаляпиным, тот говорил ему о своей тоске по родине, о мечте спеть в Москве, но и о непобедимом страхе перед этим. «В Париже сегодня спел хуже, завтра спою лучше. А вот если после первого выступления *в Москве* народ скажет: „Это Шаляпин? Э-э-э… Я думал, действительно что-то особенное, а это та-ак…“ — тут-то я бы и помер». Василий Иванович, рассказывая об этом, говорил, что совершенно те же страхи владели им при его возвращении после трехлетнего отсутствия. Он все время и напряженно думал об этом, готовил себя к возможности если не провала, то к известному разочарованию в нем, к крушению «легенды о Качалове».

Да, разно, но тревожно было на душе почти у всех. Один только наш портной Бодулин, охмелевший от крепкого шведского грога, объяснял Ольге Леонардовне, почему он не хочет возвращаться: «Там в Москве в театре я как был „портное“, так и помру в этом звании, а здесь, видите, — на банкете я всем ровня, за мое здоровье городская голова пьет!» Он был вполне спокоен и доволен своей судьбой — будет ли группа, нет ли, ему, опытному и трудолюбивому театральному портному, работа, дескать, всегда будет. Кстати, умер он в нищете в Нью-Йорке, где остался в 1924 году после гастролей МХАТ.

Утром мы уже были в пути на Гётеборг.

Это был большой портовый, торговый город с процветающей культурной жизнью — в нем были университет, торговый политехникум, интересный музей и замечательный театр, вроде Дрезденского если не по технике, то по организации.

Сыграли мы там, к сожалению, только два спектакля: 25 апреля «Дядю Ваню» и 26-го «На дне». С «На дне» помучились — найти декорацию, подходящую для «ночлежки», подобрать мебель было трудно. Самые бедные лачуги в шведском понимании бедности и убожества годились бы разве что для русского купеческого или мещанского жилья. Но опыт у нас (вернее, у Ивана Яковлевича Гремиславского) был большой: одна стенка лежа, другая наизнанку, тут рваный мешок, здесь рогожа (мы из Тифлиса вывезли и больше шелка и бархата берегли пять-шесть рогожных кулей), вместо стола — старый ящик, вместо

кровати — лавка, застеленная рваным лоскутным одеялом, — какое-то подобие русского «Дна» получилось.

С «Дядей Ваней», наоборот, было легко — для каждого действия свой павильон, который можно было выбирать из десятка, любые гарнитуры прекрасной мебели.

Успех и здесь был большой и шумный. Хотели и тут чествовать нас банкетом, но наши нашли предлог отклонить приглашение, да к тому же мы ночью после второго спектакля уже выехали в Стокгольм. Здесь мы играли с 28 апреля по 3 мая. Сыграли весь наш основной репертуар, включая «Гамлета». Успех был не ниже копенгагенского. Кое в чем он был даже выше — как я уже писал, здесь больше было знающих русский язык. Была неожиданная и не особенно приятная для нашей семьи встреча.

В начале своих воспоминаний я рассказывал, как в 1917 году мы сбежали от пригласившего нас на лето семейства Марк. Так вот, в Стокгольме за кулисы явилась сама Лили Гуговна с сыном. За эти несколько лет она почти забыла русский язык, стала еще надменнее и противнее. Узнав, что через две недели мы едем в Москву, она посмотрела на нас с презрительной жалостью, быстро прекратила все разговоры и ушла. Ольга Леонардовна, как девчонка, высунула им вслед язык.

Театр, в котором мы играли, был хорошим, чистым старым театром, без особых технических новшеств, но с прекрасным штатом технического персонала. Это были большие, сильные, хорошо упитанные, часто даже толстые люди. Работали они как будто не торопясь, без всякой судороги-спешки, а получалось все быстро. В отношении языка с ними было тоже легче, чем в Дании, — они старались понять мою смесь немецкого с английским и с десятком шведских слов.

Очень большой интерес и к нашим спектаклям и к труппе проявляли шведские актеры, особенно молодежь. Они все время пробирались за кулисы, на сцену, в буфет и во все глаза смотрели на наших. Мужчины были все как на подбор — рослые, красивые, скромные и тихие. Одного из них я узнал — он был героем в ряде очень тогда гремевших шведских фильмов, в частности «Эротикона» и «Огненно-красного цветка», которые, кажется, показывались и в Советской России.

Наших остающихся очень чествовали в огромной семье Нобелей (нефтяников). Едущих в Москву туда не приглашали, чем наши были очень довольны, — уж очень махрово антисоветски было это семейство настроено.

Свободного времени у нас было мало, так что города мы совсем не смотрели. Это было обидно — ведь так много интересного в нем было для нас. Что-то общее было у него с

Петербургом. Самый воздух северного приморья, пронизанный устойчивым и ровным светом северной весны, белые ночи, торцовые мостовые, каналы… Много было и зданий, напоминающих петербургские. Для наших это напоминание было до боли, до нежной тоски любимо: весенние гастроли МХТ в Петербурге всегда были самой большой радостью их молодости.

Удивительно радостным было 1 мая в Стокгольме. Это у них праздник студенчества, молодежи. По улицам ходят, взявшись за руки, группы по шесть-восемь-десять юношей и девушек в белых студенческих фуражках на белокурых (у большинства) волосах, лица юные, веселые, сияют от радости, и от солнца, и от блеска солнца в витринах, и от белых фуражек. Они все что-то веселое и нежное напевают и скандируют, но никто не орет, не изображает «неудержимой радости» и «юной бодрости». Радость сдержана уважением к остальной улице, и от этой сдержанности она особенно насыщенна.

Мы до двух или трех часов ночи, вернее, утра, светлого майского утра, не могли уйти с улицы. Так радостно было за эту молодежь, не знавшую всего того, что сопровождало юность воевавшей Европы.

Третьего мая мы закончили гастроли в Стокгольме и выехали в Мальме. Ехали опять ночью и видели мало; сколько я ни старался бороться со сном и смотреть в окно, чтобы, пользуясь тем, что ночь весной короткая, хоть что-нибудь в Швеции увидеть и запомнить, — мне это не удалось, и проснулся я уже незадолго до приезда в Мальме.

Город был меньше Гётеборга, не говоря уже о Стокгольме, но чистенький и веселый. Очень чувствовалась близость моря. Театр был хороший. Играли мы тут два спектакля: «Вишневый сад» и «На дне». Можно было бы всей группой сюда и не ездить, но, так как в Мальме кончалась трехлетняя жизнь нашей группы, — решили не расставаться… чтобы торжественно расстаться.

На другой день после последнего спектакля в Мальме, последнего спектакля «качаловской группы», мы собрались в свадебном зале гостиницы, где жили. Собрались, чтобы попрощаться. По рисунку И. Я. Гремиславского были сделаны серебряные памятные значки нашего трехлетия, на них были даты и чайки, летящие в Москву. Больших речей не было. Выпили по бокалу шампанского, и все со всеми перецеловались. С зареванными лицами сели мы в вагоны, которые въехали на паром, перевозивший поезд через пролив в Германию.

«Качаловская группа» или, как она называлась официально, «Группа артистов Московского Художественного театра» — кончилась. Все. Конец.

Теперь мне хочется написать о нашем возвращении в Москву.

Возвращение

Шестнадцатого мая мы двинулись в путь. Весь день накануне Василий Иванович писал и рвал и опять писал свое прощальное письмо оставшейся группе. Они пока что оставались еще группой, только к своему названию прибавили слово «зарубежная».

В самый день нашего отъезда, или на другой день, не знаю, они отправлялись куда-то на гастроли, и на их афишах значилось: «Гастроли зарубежной группы артистов МХТ».

Так мучительно дававшееся Василию Ивановичу письмо или один из вариантов его сохранился. Вот оно:

«Дорогие товарищи!

Прошу вас принять мой прощальный привет. Не знаю, как вам со мной, а мне с вами грустно расставаться. Тем более расставаться при таких плохих отношениях, какие у меня с вами, с большинством из вас, установились за последнее время. Если бы ничего хорошего мы с вами не пережили за эти три года наших скитаний, то, может быть, и не было бы так грустно *так* расставаться. Но ведь мы вместе пережили много всякого, много, слава богу, хорошего, мы многим душевно связаны друг с другом, и теперь мне грустно и даже больно отдираться от вас душой и телом. Некоторых из вас я очень люблю, ко многим очень привязался, но даже и те, кого люблю меньше, все равно мне близки и дороги, все без исключения. Само время, эти три года такой необычной жизни сблизили меня с вами и породнили, даже, может быть, помимо моей и вашей воли. И я скажу о себе — я верю, что пройдет совсем немного времени, и я всех вас буду вспоминать только добром, а горечь и обида, какие накоплялись против вас за эти годы, исчезнут как дым. Уже и теперь я смотрю вам вслед спокойно и дружелюбно, без злобы и раздражения. Эти дурные чувства исчезли из моей души, и исчезли не только потому, что мы с вами расстались, а еще более потому, что теперь, отойдя от вас на это маленькое расстояние и спокойно думая о наших взаимоотношениях, я понял то, чего не понимал и от чего раздражался, находясь с вами. Это мне стало ясно только теперь.

Мы все, кто больше, кто меньше, виноваты в том, что не создалась у нас за эти три года более чистая атмосфера и артистическая и, главное, человеческая. Посмотрим все друг на друга повнимательнее, заглянем каждый в свою душу, и мы увидим, что при всей внешней сплоченности, внешней близости и физической привычке друг к другу, — как мало было среди нас взаимного уважения и доверия, то есть самого главного в

человеческих делах. В этом виноваты *мы все*. Но, — к тому я и веду речь, — но ради тех больших и важных моментов, какие мы *вместе* пережили, ради тех радостных впечатлений, какие нам милостиво посылала судьба (вспомните отношение к нам публики хотя бы в Загребе), ради тех благословенных минут, какие нам давал господь бог в тишине и покое Бледа, в красоте Тифлиса и Гурзуфа, и моря, и гор, и проч. и проч., наконец, ради нашей первой общей потери нашего милого Орлова, которого все вместе любили, — простим, от всей души простим наши вины друг перед другом. Поистине у нас каждый перед всеми и все перед каждым виноваты. Если этим сознанием проникнемся, то и обиды наши, и раздражение, и даже, может быть, страдания наши действительно обратятся в радость, радость для нас самих.

Добрый вам путь и сейчас, когда мы еще вместе, и потом, когда вы разбредетесь в разные стороны.

Ваш *Василий Качалов*

15 мая 1922 г.»

Всем нам тяжело было расставаться, но все понимали неизбежность этого расставания. Неизбежность ли? В данном случае — да. Потому что это в значительной мере зависело от Василия Ивановича. Будь на его месте другой или будь он другим, все могло бы решиться иначе. Ведь он мог хоть попытаться поставить условием своего возвращения прием в театр всей группы, включения в репертуар МХАТ ее спектаклей целиком, так, как они шли в поездке.

Необходимость в нем, в Ольге Леонардовне и в еще некоторых была так остра, что не исключена была возможность, согласия на это руководства МХАТ, и тогда группа сохранилась бы и лишь с течением времени рассосалась бы в организме театра.

Но как мог Василий Иванович ставить какие бы то ни было условия, когда он считал себя виновником тех трудностей, которые родной театр перенес за эти годы, когда его терзало сознание греха перед Родиной — его дезертирства в самое тяжелое время… Не был он способен на это и по своей человеческой сущности и по своему ощущению себя в театре, в котором он всегда чувствовал себя переоцененным, считал себя всегда должником, всегда, а теперь не только должником, но еще и расточителем… Кроме того, вся группа все равно бы не вернулась. Ведь и до сих пор еще есть какая-то часть, цепляющаяся за что-то непонятное, что мешало им вернуться и в 1923 году, когда вернулся И. Н. Берсенев. Многие так и умерли там, а иные прозябают в самых тяжелых, унизительных условиях… Но теперь уже поздно: пути, начавшие расходиться в

1922 году, разошлись слишком далеко.

Как это иногда бывает в серьезнейшие, поворотные часы жизни, они-то из памяти и улетучиваются. Кто провожал нас на вокзал, какие слова говорились, даже времени дня — не помню. Запечатлелось почему-то, как проезжали Польский коридор. Это было ночью, но польские жандармы всех разбудили и, тщательно проверив паспорта (советские!!), встали у обоих выходов из вагона, причем разводивший их унтер встал у двери нашего купе и сказал, вернее, крикнул обоим стражам: «Смотрите, чтобы ни одна собака к дверям не подошла, и в уборные тоже не пускать!» — и отец перевел нам это. Услышавший этот перевод унтер, видимо, знавший русский язык, любезно спросил отца по-польски: «Пан знает польский язык?» Василий Иванович, побледнев от гнева, встал и прямо в лицо унтеру по-русски выговорил: «Нет, я этого языка не знаю». Тот шарахнулся, взяв под козырек, отошел и, уже тихо отдав еще какие-то приказания своим подчиненным, исчез из вагона.

Наутро мы были на старой русской границе в Вержболове. Наши вспоминали свои довоенные возвращения через эту станцию. Теперь за ней начиналась не Россия, а враждебная нам буржуазная Литва. Не знаю, как впоследствии, но в 1922 году она была еще в очень многом совсем русской. Во время долгой стоянки в Ковно смазчики и сцепщики вагонов говорили по-русски, а один, идя вдоль вагонов и простукивая буксы своим молотком на длинной ручке, совсем как где-нибудь в Твери или Бологом, пел высоким, типично русским тенорком: «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя».

Мы стояли у окна и радовались. Но официально мы еще далеко были от родины: границы, таможни, проверки паспортов, визы, визы… Польская, немецкая выездная, литовская въездная, литовская выездная, латвийская въездная… Все медленно, нелюбезно, подозрительно.

Наконец 18 мая утром — Рига. Долго сидели на вокзале, никак не могли выяснить, когда будет поезд на Москву. Случайно на вокзале оказался администратор театра, где Василий Иванович недавно выступал. Он быстро выяснил, что поезд на Зилупе (граница Латвии) пойдет вечером, к нему, вероятно, прицепят советский вагон, который передадут через границу в Себеж, а там… дело советских.

В нашем распоряжении был целый день. У всех оказались знакомые, у которых можно было пробыть хоть часть времени. Василий Иванович с Ниной Николаевной пошли к московским друзьям Цейтлиным, я — к своему гимназическому товарищу Саше Шульману. Сходили мы еще и в баню — кто знает, скоро ли

мы сможем еще хорошо помыться, ведь мы совсем неясно представляли себе условия, в которых будем жить в Москве.

Поздно вечером мы забрались в темный, освещенный только светом зари и вокзальных фонарей вагон. Это был старый-старый вагон «микст», такой же, как тот, в котором мы три года тому назад уехали из Москвы в Харьков, а может быть, это он и есть? Вспомнили, кто в каком купе ехал, и даже какие-то опознавательные знаки обнаружили. Очень всем хотелось, чтобы было именно так, что-то в этом видели символическое, какое-то прощение грехов, вроде как страна наша ждала нас и сохранила нам наш вагон, чтобы сделать эти три года не бывшими, — сели в этот вагон в июне 1919 года, а из него вышли в мае 1922 года, а все, что было, — нам приснилось. Ничего будто и не было.

Спали все плохо, тревожно и беспокойно. Я несколько раз выходил в коридор и каждый раз встречался с кем-нибудь «вышедшим покурить». То Н. Г. Александров, то Петя Бакшеев, то Василий Иванович. Поезд шел плохо, часто и подолгу стоял на каких-то маленьких станциях — ведь это был местный латвийский поезд, связывающий Ригу с восточными окраинами страны. Где-то среди дня мы подошли к Зилупе. Последняя проверка паспортов, сверка их со списками и с лицами — очень почему-то внимательно сверяли фотокарточки с нашими физиономиями.

В Зилупе было очень много латвийских военных — и жандармы, и солдаты-пограничники, и просто солдаты, и офицеры. Все почему-то страшно мордастые, свирепые, подчеркнуто воинственные, вылощенные и подчеркнуто элегантные: сапоги их были до блеска начищены, франтовские мундиры туго и гладко облегали их упитанные тела. Масса оружия — винтовки, пистолеты, сабли, тесаки. На бетонных вышках — пулеметы, на самой станции — бронепоезд с расчехленными пушками. Как будто ожидается нападение врагов или уже идет война.

Мы долго пробыли в Зилупе. Одинокий наш вагон был отведен метров за сто от станции и там стоял, окруженный бдительными жандармами и пограничниками. Все двери были заперты, окна закрыты. Потом с советской стороны подошел паровоз, нас прицепили к нему, и мы медленно двинулись через нейтральную полосу.

Последнее, что мы видели в стране, которую покидали, были бульдожьи морды «защитников европейской законности и порядка», державших «у ноги» винтовки с примкнутыми штыками.

Но вот позади нейтральная полоса, вот арка с полусмытой

дождями надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», вот землянка, на крыше которой два красноармейца. Один лежит на животе и помахивает в воздухе босой пяткой, из-под сдвинутой на затылок фуражки под белесыми бровями — покойные, любопытные глаза. Другой, спиной к нам, что-то наигрывает на гармошке. Мне не хочется видеть тут символы, но в этой противоположности характеров двух стоявших лицом друг к другу воинств были потрясающие образы, олицетворение двух миров. Одного — трусливого и потому фанфаронски задиристо-воинственного, и другого — мощного и потому спокойного и мирно-отважного. Одного — фальшиво напряженного, другого — искренне миролюбивого.

Василий Иванович радостно заулыбался, глядя на босого «вояку», — вот она, Русь, простая, легкая, свободная… И на душе стало светло и легко…

Через много лет я спросил его, помнит ли он въезд в Россию в 1922 году? «Как же, — сказал он, — босого красноармейца-то? Конечно, помню, разве такое забудешь?»

Мы подъехали к станции Себеж. На платформе шло обычное для провинциальной станции гулянье. Густая толпа перетиралась под окнами нашего вагона. Торговались, ругались, хохотали, пели… «И все по-русски», — невольно удивлялись мы. Было странно и непривычно от сплошь русской речи.

Нас довольно долго проверяли, осматривали ручной багаж (большой багаж пошел на московскую таможню).

Из Москвы навстречу нам выехал администратор МХАТ С. А. Трутников. Он довольно энергично способствовал ускорению всего процесса проверок, осмотра и, главное, отправки вагона, и ко второй половине дня мы уже ехали по России.

Мы не отрывались от окон, хотелось смотреть и смотреть; все казалось другим, чем везде, своим, родным… «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, — как слезы первые любви», — читал Василий Иванович, и, как никогда, остро, и сладко, и нежно, и страстно воспринимали мы эти слова. Мне кажется, никогда в жизни я не ощущал такой напряженной, такой переполняющей любви к Родине…

На другой день к вечеру мы были в Москве. Вокзал кишел народом, суетливым, неумелым, не приспособленным к путешествиям. С непортативным, нескладным багажом, с испуганными глазами, с красными, потными лицами, люди неслись куда-то не туда, их возвращали, они волокли свои мешки и сундучки обратно. Как это было не похоже на берлинский вокзал, с которого мы уезжали! Там все ездят привычно, спокойно, организованно. Но нам и в этом хаосе виделось что-то

милое, теплое, свое, смешное и родное — ведь и в нас это было, ведь и мы где-то внутри были такими же неорганизованными. Но не в этом даже дело, просто все русское, все родное — нелепая суета вокзала, булыжник привокзальной площади, ни на каких других в мире не похожие извозчики с пролетками «в виде сломанных скрипок» — все, все вызывало наше умиление и приязнь. Уж очень всему были открыты наши души, уж очень иссохли от тоски по родине наши сердца. И все, что мы воспринимали родного, своеобразного, не похожего на заграницу, — все было на потребу, все радовало и грело. Так, вероятно, возвращался бы в родной аул надолго оторванный от него горец — бедная сакля, грязновато все, серо и тесно, но и серость и грязь родные, дорогие, в них прошли детство и юность.

Но мы-то видели не одну грязь и серость, нет, она только не мешала, не застилала нам (как застилает чужим и своим мещанам) истинной красоты, внутреннего богатства, простора и душевной чистоты нашей страны…

Парадной, торжественной встречи не было.

Приехали мы к вечеру, все актеры были заняты — уже начались спектакли. Поезд наш пришел с опозданием часа на три-четыре. Так что многие из собравшихся встретить разошлись не дождавшись. Но нечего греха таить, было это и намеренно: руководители театра не хотели проявить большой радости и ликования. Не хотели, чтобы «кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали». Помню на вокзале А. В. Агапитову, Лидию Зуеву, стариков Гремиславских, А. К. Книппер (племянницу Ольги Леонардовны), Анну Николаевну (жену) и Марусю (дочь) Александровых. Еще какие-то близкие люди и родственники, но ни речей, ни цветов…

Все быстро разъехались на извозчиках, а может быть, и на автомобилях, не помню. Помню только, что шел я за ломовой подводой, на которой в театр везли багаж всех приехавших. Шел долго, по бесконечной Мещанской, по Сретенке, Лубянке, Кузнецкому мосту. Полок гремел по булыге улиц, в косых лучах вечернего солнца золотилась пыль, звенели и дребезжали московские трамваи. Белая, летняя московская толпа гуляла, лузгая семечки, больше по мостовой, чем по заставленным какими-то лотками тротуарам. Все было не так, как «там», все было по-московски — и люди, шедшие по мостовой, и так по-московски, единственно в мире звеневший ножным (а не электрическим) звонком и завывавший на поворотах трамвай, и кустарные самодельные вывески-картины, и золотой крендель булочной, и свиная голова мясной… А каменные тумбы подворотен и углов переулков… А деревянные мостки у дощатых

стен с косым потолком над ними — вокруг редких строек… А круглые тумбы с афишами — мне так хотелось скорее-скорее прочесть их, чтобы узнать, чем живет, какой духовной пищей питается она, моя Москва. Но ломовик орал на меня, чтобы я не глазел по сторонам, а берег кладь: «Это тебе не деревня, московские огольцы лямзить ох и ловки!»

Во двор театра я вошел часу в девятом; у актерского подъезда толпились загримированные актеры — они взволнованно обсуждали недавно закончившуюся встречу «качаловцев» с М. П. Лилиной, И. М. Москвиным, Л. М. Кореневой и другими участниками спектакля «Ревизор», который шел в этот вечер.

«Качаловцев» отправили по квартирам, не дождавшись моего прибытия с вещами, обещав развезти им вещи потом. Ко мне подошел расторопный молодой парень — это был (как я потом узнал) «адъютант» Ф. Н. Михальского Федор Степанович Снетков — и предложил перетаскать «папашины» вещи к нам домой. Тут только я узнал, что мы будем жить не на Малой Никитской, а здесь же, во дворе театра. Это было помещение бывшей дворницкой, квартирка из трех малюсеньких комнат и кухни, с большой русской печью в центре всей квартиры.

Каким-то чудом удалось юному Феде Михальскому расставить в этих микрогабаритах наши огромные вещи с Малой Никитской. Когда я вошел, Василий Иванович и Нина Николаевна, не успев еще оправиться от встречи с театром (двором и зданием его со входами «в контору», «за кулисы»), с некоторыми друзьями и от переезда по Москве, переживали «встречу» с нашим могучим буфетом, с дорогим нашим столом, за которым столько было сижено (и с какими сотрапезниками!), с диванами, кроватями, картинами. С вещами не забытыми, но давно мысленно похороненными, казалось, что ими давно уже топили печи…

Трудно разложить по полочкам, какие встречи были весомее, но и встреча с вещами была волнительна. Менее, конечно, чем со страной, с городом, с Театром, с друзьями и товарищами, — по-другому, но тоже радовало и волновало прикосновение к их теплому, столько раз ощущавшемуся и виденному естеству.

В этот вечер, после ухода сестер Василия Ивановича и племянницы Веры, которые принесли сохраненный ими у себя в Кунцеве (где они жили тогда) минимум посуды, постельного белья и всего, без чего трудно устроить быт и о чем мы, привыкшие за три года к гостиничной жизни, просто забыли, — мы долго не спали и сидели втроем на нашем старом диване красного дерева и вспоминали, вспоминали. Обновляли в памяти все, связанное с этими вещами, — квартиры, людей, события…

Воскресенье ушло на вживание, устройство, притирание себя к новому быту. Быту, очень не похожему на ставший привычным за эти годы.

В понедельник к нам пришел Толя Горюнов (актер Вахтанговской студии, а для нас еще племянник Москвина) и от лица Третьей студии пригласил посмотреть вечером «Турандот» в помещении МХАТ. Он передал привет от Евгения Богратионовича и сказал, что он очень, безнадежно болен, доживает последние дни.

В восьмом ряду были оставлены места для всех нас. Это был первый спектакль, виденный нами в Москве после трехлетнего отсутствия. Какое счастье, что наше восприятие новой для нас Москвы, нового советского театра началось с этого изумительного спектакля! В нем была вся свежесть, вся бесконечная талантливость, тонкость и чистота, присущие русскому искусству. Чистота мысли, чистота чувств… Это бескорыстная, искренняя игра в театр, игра детей, в которой каждый ребенок неповторимо гениален.

И в то же время это был самый «европейский» спектакль из всех, виденных в Европе. Как изумительно изящен и элегантен был Завадский, с какой утонченно мужественной грацией носил он фрак! Куда венским и берлинским театральным «фатам» и «героям-любовникам»!.. А прелестная женственность Мансуровой, а платья Ламановой, ведь они были не то что модны, они были впереди европейской моды. Могли ли мы думать, что юноши здесь умеют так благородно носить фраки, а девушки — «туалеты»? А милая, полудетская прелесть дзанни… До чего же это было хорошо!

«Турандот» была первой страницей той волшебной книги, которую мы получили возможность перелистывать в ту светлую весну. За ней шла веселая, острая, прелестная «Анго», потом «Узор из роз» во Второй студии, где так волнительно было видеть повзрослевших и так актерски выросших друзей и подруг Финочки из «Зеленого кольца» и молодежи из «Младости»; смелый, умный, глубоко современный «Эрик XIV», после которого весь модернизм Берлина показался подражательным, искусственным и вымученным по сравнению с внутренне оправданной смелостью М. А. Чехова, С. Г. Бирман…

А «Федра» в Камерном? А «Ревизор» с гротесковым и в то же время абсолютно живым Москвиным — городничим и фантастическим, неправдоподобно истинным Хлестаковым — Чеховым? А «Евгений Онегин» в Оперной студии К. С. Станиславского в Леонтьевском переулке?.. Все яркое, полноценное, настоящее, органичное, принципиальное и, главное,

чистое. Чистое до последней капли. Все было разным, все было не похожим одно на другое, но всех объединила эта удивительная чистота, бескорыстие искусства. Здесь не было ни коммерческого меркантилизма, ни снобизма, ни оригинальничанья — всего того, на чем держался театр буржуазного Запада. И благодаря этому все спектакли казались сияющими, как снеговые вершины.

На «Турандот» Щукин в одной из интермедий приветствовал наших: он протрещал языком телефонный звонок, поднял воображаемую трубку и, разглядывая сидящих в восьмом ряду Василия Ивановича, Николая Григорьевича и других, рассказал «собеседнику» про них, что они хорошо выглядят, что у них добрые лица, что им, наверно, нравится спектакль… Весь зал захлопал, наши встали и кланялись во все стороны. Это была их первая встреча с московской публикой, встреча теплая и сердечная. После нее на душе у них стало спокойнее, и они с меньшей тревогой ждали встречи с Москвой со сцены.

Первым из вернувшихся выступил в театре Петя Бакшеев — 27 мая он сыграл Пепла в «На дне». 29-го — в большом понедельничном концерте, в котором Константин Сергеевич играл сцену из «Штокмана», впервые выступил Василий Иванович. Он читал речи Брута и Антония из «Юлия Цезаря». Волновался исступленно, успех имел громадный.

«Легенда о Качалове» не рухнула.

Каково же было потрясение Василия Ивановича и участников концерта, когда после его окончания на сцену вышел Владимир Иванович Немирович-Данченко и сообщил публике и участникам, что скончался Евгений Богратионович Вахтангов…

Первого июня Василий Иванович, Александров и Бакшеев играли «На дне». Пятого июня в концерте на сцене МХАТ впервые выступила Ольга Леонардовна — читала «Рассказ г-жи NN» Чехова. А в воскресенье 11 июня впервые на сцене МХАТ вел концерт-спектакль я. Гремиславский приступил к работе в качестве художника и заведующего постановочной частью, Нина Николаевна репетировала «У жизни в лапах» с новыми исполнителями.

Вот так мы все и втянулись в работу и зажили нормальной московской жизнью. А вместе с трудом, работой пришло и ощущение правомочности, закономерности нашей жизни в Москве и на родине. Во многом пришлось перестроиться, от многого отвыкнуть, ко многому привыкнуть. Но отвыкать надо было больше от плохого, а привыкать больше к хорошему. Его было больше, чем плохого. Москва этих дней, первого лета нэпа, была полна противоречий. Открывались кафе, рестораны, начал действовать тотализатор на бегах, в саду «Эрмитаж» появилась

рулетка с двумя «зеро» (когда выпадает «зеро» — выигрывает собственник рулетки). На Тверской и Неглинной табунчиками стояли «букашки» (проститутки). Как в Берлине. Но если там все это было естественным, органичным, неотъемлемым свойством жизни, то здесь это была легкая накипь, пена. Чуждо было все это самой сущности советской жизни.

«Там» это было основой жизни, это был быт. Здесь все эти нэпачи, кутившие в «Не рыдай», были лишь эпизодом. Типична же была босая девушка на концерте в Консерватории, которая два дня не обедала, чтобы купить себе не туфли («А что, теперь лето!»), а билет на концерт. Вот такая девушка была только здесь и нигде в другом месте быть не могла. Я сидел рядом с ней, и мне было неловко за свой «европейский» крахмал и лаковые «джимми». «Там» в театр ходят из снобизма, а здесь такие, как эта девушка, делают искусство достойным того, чтобы отдать ему жизнь.

Как-то поздно ночью, возвращаясь от Эфросов, мы с отцом и матерью шли по щербатым торцам плохо освещенной Тверской. Было пусто и тихо. Откуда-то издали слышался голос, читавший стихи. Его перебил другой, третий. Они приближались, догнали, потом перегнали нас… Это была стайка молодежи, видимо, рабфаковцы или вузовцы. «Нет, вот что послушайте: „Я знаю: век уж мой измерен; но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я“. Слышишь, Катя?» Они засмеялись, посыпались веселые, смешливые реплики. Последнее, что мы слышали, когда они уже завернули за угол, был «Левый марш» Маяковского, который они чеканили хором: «Левой, левой, левой» — доносилось уже еле слышно, издалека…

Василий Иванович остановился, помолчал и чуть охрипшим голосом сказал: «Слыхали? Вы понимаете, какое счастье, что мы вернулись?»

Алексинское лето

Но вот и кончился этот наш искус врастания в жизнь новой Москвы. Кончился вместе с казавшимся таким длинным театральным сезоном 1921/22 года. В этом сезоне у нас было так много: и Моисси, и Михаил Чехов, и Фритци Массари, и «Анго», и голодная, шиберски-спекулянтская и одновременно революционно накаленная Германия, и сытая, благополучная Скандинавия, и, главное, потрясение обретения Родины и чудо встречи со старым, истинным, вечно новым и юным МХТ, и «Турандот»… И все-все это невиданное, небывалое, романтическое и поэтическое, даже в нищете великое, что мы встретили, обрели в новой, советской Москве.

Василия Ивановича пригласили погостить у них Эфросы. Они жили вместе с руководимым Н. А. Смирновой и В. Н. Пашенной курсом Школы Малого театра в уютном городке Тульской губернии — Алексине на Оке. Там ученики Школы и отдыхали, и репетировали, и раза по три в неделю играли спектакли своего школьного репертуара. Василий Иванович взял с собой меня, а я посоветовал ехать туда моему товарищу по гимназии, тогда актеру Художественного театра А. М. Тамирову, который охотно согласился и позвал с собой В. Л. Ершова.

Довольно противным было наше путешествие до Алексина, проделанное нами в кишевшем клопами бывшем международном вагоне, в других купе которого ехала целая компания деревенских спекулянтов, прасолов-гуртоправов. Они пригнали в Москву целый гурт овец, удачно его продали и теперь бесшабашно пропивали свои миллионы и миллиарды в вагоне-ресторане, вернее, вагоне-кабаке. Василий Иванович попытался было войти туда, чтобы выпить стакан чаю, но застал там всеобщую потасовку — арендатора этого заведения, жирного буфетчика, группа посетителей прижала к стойке, и один из «клиентов», долговязый парень в широких оранжевых галифе и ночных туфлях, хлестал по физиономии огромной селедкой, держа ее за хвост.

Ночь была тяжелая, бессонная, но зато утро нас вознаградило за все. На алексинском вокзале, вернее, маленькой провинциальной станции, мы наняли извозчика, оказавшегося завзятым театралом, отлично знавшим всех актеров театра, — знал и «тетю Надю» (Н. А. Смирнову), и «самого Смирнова» (Н. Е. Эфроса), и «Веру Николаевну» (В. Н. Пашенную), и еще многих, кого мы не знали, а он называл по именам: «Николай», «Ира», «Федя»…

Городок был небольшой, мы быстро его миновали и подъехали к Оке. Было раннее утро. В реке купался целый табун лошадей. Верхом на могучем вороном жеребце в воду въезжал совершенно голый, золотисто-рыжий, стройный, как молодой бог, юноша. Василий Иванович даже привстал с сиденья, так красив был этот всадник, так прекрасна была вся картина. Наш извозчик завертел фуражкой и завопил отчаянным голосом: «Севка, эй, Севка! Я к вам в гости хороших людей везу!» «Севка», не обращая на него никакого внимания, направлял своего фыркающего коня в самую глубину реки… Это, как мы потом выяснили, был Всеволод Аксенов. В рыжий цвет были выкрашены его волосы, так как он снимался в кино.

В пригородном лесу стояло с десяток деревянных дачек, когда-то принадлежавших алексинским и даже тульским богачам, теперь в них жили наши друзья — Грибунин с Пашенной, Эфрос со Смирновой, а три-четыре дачи были заселены студийной молодежью.

На самой опушке леса был выстроен летний театр с крошечной сценой и со зрительным залом мест на двести — двести пятьдесят. В одной из дачек на террасе была организована общая столовая. Эта терраса и была местом всех собраний, и деловых и веселых, на ней создавалась будущая Студия Малого театра, существовавшая с 1925 по 1936 год.

Встретили Василия Ивановича восторженно, а при нем — и меня тоже очень приветливо. Молодежь, составлявшая этот курс, эти студийцы, были очень сложным и интересным организмом. Они казались очень дружным и крепко спаянным коллективом при соприкосновении с внешним миром и в то же время были раздроблены, разъединены на отдельные группы и течения, то не принимавшие, то осуждавшие, то восхвалявшие другие группы или личности. Причем эти комбинации личностей и течений все время изменялись.

Были тут и чисто актерские взаимоотношения — зависть к выдвигающимся удачникам, непризнание одними талантов товарищей, не обоснованные способностями претензии других (вернее, тех же: бездарности претендовали на получение того же, что получали не признаваемые ими таланты). Были и любовные сложности и даже драмы: юноши и девушки влюблялись и разлюбляли, были безнадежно влюбленные, были и холодно безлюбые, были покинутые и страдавшие от этого, были страдания ревности и оскорбленные любовные самолюбия. Было все, что бывает в молодом, тесно объединенном коллективе. Несколько пар уже сошлось в браке, несколько уже разошлось… Но главным в их жизни был, несомненно, театр. Даже и романы и

браки зарождались почти всегда на сцене — отношения сценические продолжались и в жизни.

Театр был центром не только для студийцев и для их руководителей, он был центром и для всего городка. Так же как уже знакомый нам извозчик, всех актеров знали все в Алексине. Знали и посещали все спектакли, и не по одному, а по два-три раза. Публика состояла не только из алексинской служащей интеллигенции, из торговцев, кооператоров, железнодорожников, но и из пригородных полумещан-полукрестьян, огородников и скотоводов, птицеводов и их жен. Считаясь с последними, спектакли начинали обычно после того, как коров пригоняли домой и подоили, иначе зрительницы устроили бы у входа скандал. Часто можно было услышать под аккомпанемент зирканья молочных струй о подойник переклички со двора на двор о том, что сегодня дают в «киатрах» и кто лучше играет в «Даме из Торжка» — Половикова или Цветкова, а Луизу Миллер — Ничке или Артемьева.

Мы, четверо мхатовцев, сразу и с головой погрузились в эту жизнь. Сначала только смотрели спектакли и репетиции, но очень скоро вошли в работу. Василий Иванович, не признававший за собой способностей, а значит, прав режиссера и педагога, впрямую никого не учил, никаких замечаний не делал, советы давал самые осторожные — по поводу грима, костюма, манеры его носить, вообще манер и осанки, но влияние его, значение его в художественной жизни этой молодежи было и при этом его невмешательстве не меньшим. Он действовал на них самим своим существом, своей влюбленностью в поэзию, в слово. То, *что* он им читал, влияло на их вкус, вступало в борьбу с плохим вкусом части руководителей тогдашнего Малого театра; то, *как* он им читал, зарождало в них стремление к правде, к настоящей высокой и умной простоте, от которой было очень далеко (и от правды и от простоты) то, чему они учились у многих (правда, не у всех) своих учителей. А читал он им долгими вечерами, иногда целыми короткими летними ночами. Читал Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Блока, Ахматову, Волошина, Есенина. Играл целые сцены из «Горя от ума» (один и за Фамусова, и за Скалозуба, и за Чацкого), из «Гамлета», «Карамазовых», «Бранда», «Леса». Слушателями студийцы были прекрасными, а это вдохновляло его и придавало ему силы и поражающую неутомимость. Начиналось это чтение почти после каждого позднего (послеспектакльного) ужина и продолжалось часто до рассвета. Но этими чтениями деятельность Василия Ивановича не ограничилась. Через две-три недели он сыграл с молодежью ряд сцен из «Леса».

Василий Иванович всю жизнь мечтал о роли Несчастливцева, много раз принимался работать над ней, и тут наконец его мечта осуществилась. В этой работе у Василия Ивановича сложились с молодежью удивительно гармоничные взаимоотношения. Если благодаря ему у них пробуждалось стремление к правде, к глубине, к уходу от актерских штампов, от того плохого, что бывало в Малом театре, то они, в свою очередь, своей молодой театральностью, некоторой приподнятостью, праздничностью пробудили в нем молодого, казанского Качалова. Он с удовольствием открыл какие-то клапаны, туго завинченные в нем годами работы в МХТ, — он перестал бояться некоторых «плюсиков», некоторого пафоса, приподнятости. Он, говоря языком провинциальных актеров, нашел настоящий тон, тот, в котором он мог играть в этом ансамбле без диссонанса, без дисгармонии.

Володя Ершов и Аким Тамиров, оба выросшие в МХТ и не мыслящие для мхатовского актера никакой иной, кроме мхатовской, манеры, услышав Василия Ивановича на репетициях «Леса», только переглянулись, пожали плечами, а в антракте растерянно обратились ко мне: «Что это твой-то, какого дрозда дает, зачем это он под них-то шпарит?» Недоволен был и абсолютный художественник В. Ф. Грибунин. Он просто обозвал Василия Ивановича (как это было свойственно Грибунину) самыми нецензурными словами. Но спектакль и Аким, и Володя Ершов, и даже Грибунин смотрели с настоящим волнением, и после спектакля Аким, как самый непосредственный и пылкий, со слезами на глазах мычал со свойственным ему армянским темпераментом: «М-м-м-м, до чего же здорово, колоссально, слушайте, братцы мои, товарищи, как, оказывается, можно играть! Вот что значит настоящий театр!» И пристал к тоже взволнованному, но молча сопевшему Грибунину: «Дядя Володя, а Старик (Константин Сергеевич) такое, как Василий Иванович делал, принял бы, а? Или разнес бы в пух? А я думаю, принял бы, а?» И Владимир Федорович как-то неожиданно огрызнулся: «А почему бы и не принял? Он все хорошее принимает, это вы, щенки, из него пугало сделали…» И пошел, тяжело сопя (у него была тяжелая эмфизема) и не то напевая что-то, не то бормоча какие-то считалочки.

Я хочу отвлечься от своего повествования, чтобы рассказать здесь же об этом удивительном человеке.

Владимир Федорович Грибунин был одним из самых красочных явлений в Московском Художественном театре. Очень многие, в том числе Василий Иванович, считали его *самым* талантливым актером Художественного театра. Тогда еще в

употребление не вошел (по крайней мере у нас) термин «органика», «органичность», поэтому не хочется его применять, вспоминая актеров того времени, но, когда я теперь слышу, что про кого-нибудь говорят «он так органичен», я про себя добавляю: «как Грибунин». Он был так удивительно насыщенно прост, бытовой тон (говоря языком Малого театра, где он учился) был для него естествен, давался ему легко, без всяких приспособлений и усилий. Я совсем ребенком видел его в Осипе («Ревизор»). Когда он просыпался на кровати и смотрел в сторону зрительного зала, глаза у него были такими сонными и бессмысленными, он (Осип) с таким трудом осознавал действительность, переходил от сна к бодрствованию, не сулившему ему ничего хорошего, — это было и жалко и безумно смешно, по залу прокатывался легкий смешок, переходивший в хохот. Когда Осип, окончательно проснувшись, опять закрывал глаза и перебрасывал свое неуклюжее, тяжелое тело на другой бок, пытаясь опять уснуть, все, ну буквально все его тело выражало такую тоску, такое голодное озлобление, что к началу текста зритель уже был подготовлен и сочувствовал Осипу.

Нельзя было не чувствовать с Грибуниным, не становиться на его точку зрения, не входить в его положение, каких бы подлецов он ни играл, каким бы омерзительным поведение его персонажа ни было. Играя, например, Фурначева («Смерть Пазухина»), он был всегда субъективно прав, он был подлецом, убежденным в своем праве на подлость. Да Фурначев и не считал подлостью то, что было ему выгодно. Грибунин разоблачал своих «героев» именно тем, что был абсолютно искренне правым во всей подлости своих действий (Фурначев), убежденно, уверенно, лениво-сонно-глупым (Курослепов), всегда *был*, всегда *поступал, действовал*, никогда не изображал. Этого, конечно, полагается ожидать от каждого хорошего актера МХТ, но в такой степени, как у Владимира Федоровича, этого ни у кого не было. Вернее сказать, бывало лишь в моменты вершин их достижений, их мхатовских постижений вершин «системы», «школы», — а у Грибунина не бывало, не могло быть иначе. Но в то же время он не был способен ни на какой взлет, ни на какой отрыв от бытовщины, от русского быта. Даже в маленькой роли антиквара Гислесена («У жизни в лапах») он казался торговцем из Гостиного двора, а не из Христиании и тянул к российской «развесистой клюкве» весь этот в остальном такой вполне европейски-корректный спектакль.

Еще больше, пожалуй, чем непобедимый, неустранимый бытовизм, в его актерской карьере ему мешали лень, нелюбовь к репетиционной работе и циничное неверие во всякие искания,

всякое новаторство режиссеров. Насколько он купался в роли на спектакле, легко и изящно живя в образе, настолько же он мучительно переносил репетиционный процесс. Особенно невыносимы были для него разговоры по поводу образа, задачи, сверхзадачи, сквозного действия. Он все время бормотал что-то, совсем не относящееся к пьесе и режиссерской экспозиции ее, пел про себя частушки или просто ругался себе под нос, едва шевеля губами, но так, что ближайшие к нему слышали и с трудом сдерживали смех. Он портил атмосферу репетиции, делал ее скучной и бессмысленной, но, когда доходило до его места, он мгновенно делался серьезным и с такой полной отдачей всех сил, всего таланта, с такой правдой действовал, что многие репетировавшие до него и с ним казались плоскими схемами рядом с живым, трехмерным, полнокровным существом. И все-таки режиссеры, даже самые большие, дорожа атмосферой репетиционного процесса, часто задумывались, прежде чем дать ему роль.

Алексинская молодежь очень ценила его неожиданный грубоватый юмор, очень прислушивалась к его критическим замечаниям, которые он делал неохотно, только тогда, когда мог их сделать кратко и метко, в одном слове или в лаконичном предложении по большей части непристойно-юмористического характера.

Меткость его афоризмов и кличек была такова, что они прилипали к актеру или целой сцене, а то и ко всему спектаклю так, что потом их и с кожей нельзя было отодрать. На нового человека удручающе действовал его лексикон, в значительной степени состоявший из непристойностей, но они не запоминались, а запоминалось то, что этим лексиконом выражалось: глубокое и тонкое понимание настоящей правды в искусстве.

Таким противоречивым существом, таким полным неожиданностей художником был этот замечательный актер.

Другой алексинский патриарх — Николай Ефимович Эфрос — был от «Леса» в восторге, он собрал всех участников спектакля, да и не только их, и произнес целую речь о синтезе двух систем, об эпохальном значении этого спектакля. Он был по-отечески увлечен, влюблен в талант актрисы, игравшей Аксюшу, а немного и в самую актрису — Надюшу Артемьеву. Василия Ивановича же он любил и как актера и как человека уже чуть не двадцать лет; может быть, от соединения этих двух привязанностей и произошло некоторое преувеличение, как любил говорить Василий Иванович, «экзажерация» его восторгов.

Но всем нам и спектакль и устная рецензия на него любимого

и чтимого всеми Николая Ефимовича доставили огромную и горячую радость. Николай Ефимович был для всей этой молодежи самым дорогим человеком. Очень любили его и мы. За три с чем-то года (мы с 1919 года его не видели) он основательно изменился. Он и постарел и отяжелел, но в чем-то стал смелее, открытее и этим моложе. Как будто он, потеряв свою осторожность ответственного сотрудника «Русских ведомостей», стал свободнее, откровеннее, горячее. Его чуть косо расставленные прекрасные, грустные, иногда озорные, но всегда добрые еврейские глаза смотрели на окружающих, как будто искали в каждом самое лучшее, что в нем есть, и непременно находили, выявляли это лучшее. Борода у него стала белая, широкая, плотная, совсем библейская. Большой гладкий нос удивительно чисто, невинно и молодо выглядывал из густой растительности. Ходил он немного кособоко — одно плечо выше другого и как-то по диагонали, как будто шел не туда, куда смотрел и куда хотел идти…

Еще проще, еще лаконичнее и прозрачнее стала его философия и эстетика. Теперь принадлежность к определенной общественной группировке, связанность с миросозерцанием прежней среды не существовала более. Все это рухнуло вместе с крушением старого общества. Исчезла и среда, исчезли и люди — умерли, эмигрировали, спрятались. Эфрос остался один среди совсем новых людей — среди театральной и околотеатральной молодежи. И полюбил эту молодежь, актеров-студийцев, как никогда никого не любил. Прежде он много общался, дружил с актерами, увлекался ими, критиковал их, то превозносил, то ниспровергал. С ним очень считались, его боялись, в зависимости от его рецензий то уважали (когда хвалил), то презирали (когда ругал), но он не был своим, он был выше ли, ниже ли, но в стороне. Теперь он был среди них, внутри них, он был их дедом, дядей, может быть, даже дядькой, он отдался им, он питал их, он стремился разделиться на тысячи частей, чтобы как можно большему количеству людей отдать как можно больше себя. Он жил только ими и Надеждой Александровной. Да, это было одно: для него они были неотделимы от Надежды Александровны.

Над ним посмеивались — и над его увлечением то одной, то другой актрисой, и над его слишком уж сервильной преданностью Надежде Александровне, за которой он ходил как нянька, не брезгуя никакой самой грязной и унизительной (разумеется, с точки зрения пошляков) работой.

Но и смеясь над ним, его любили, уважали, его мнение, его решение никогда не подвергалось никаким сомнениям.

Он был абсолютным и непререкаемым авторитетом и во всем,

что касалось театра и всех видов искусства и литературы, и в вопросах морали и норм поведения. Он критиковал молодых любовно, очень остерегаясь поколебать в них актерскую веру в себя, ощущение себя на месте на сцене; но бывал и гневен, даже свиреп; остерегаясь повредить им как актерам, он совсем не боялся обидеть их — это было невозможно, для этого они слишком были уверены в его любви. Он критиковал их не только как актеров, но и за их семейную жизнь, за то, как они ухаживали, как проявляли свою любовь. Все в них было ему важно, вся их жизнь, все их поведение — ведь из этого строились, созидались они — артисты, художники. Да, он был удивительным человеком, другом и наставником их. И как необходим такой наставник молодому актерскому коллективу! Молодежи будущей Студии Малого театра в этом отношении повезло.

В ночь после спектакля «Лес» мы долго сидели на заветной террасе, пили чай, и опять Василий Иванович читал усталым, чуть охрипшим голосом «Ненастный день потух», и «Я вас любил», и «Я вас люблю», и письмо Онегина. И Клава Половикова пела свои роковые романсы, вроде «Раз пришла домой хмельная я…», а Наташа Цветкова — лирические частушки. И были мы все влюблены, и до зари ходили берегом Оки парами, сидели на ее высоком берегу, пока сияние луны не сменялось светом раннего утра…

Утром, когда я тихо-тихо пробирался к своей кровати, стараясь раздеться и улечься, не разбудив Василия Ивановича, он неизменно сквозь сон говорил свое обычное: «Нашлялся, сукин кот? Никто тебе физиономию не набил, донжуан сопливый? Допишешься!» Я отмалчивался, тихо хохотал и, сладко потягиваясь под одеялом, засыпал.

В это лето мы с отцом как-то уж очень крепко подружились. Возникла особенная, одновременно и мальчишеская и мужская дружба. Он сжился со мной, вернее, даже вжился в меня. Он вместе со мной переживал мои сердечные, любовные дела, видимо, получал от них удовольствие — и от сходства их с его молодыми романами, и в качестве сочувствующего наблюдателя, и, главное, от участия в них… Да, он в них участвовал, путая, вернее, отождествляя себя со мной; мои похождения и смешили и то радовали, то огорчали его. Мои влюбленности он переживал и прочувствовал вместе со мной, как будто принимая в них непосредственное участие.

Он так близко, так ясно понимал, ощущал меня, что без моих рассказов знал, что я сказал, что сделал, что мне говорили и что и как получилось. Мне он об этом прямо не говорил, но по отдельным его словам, даже больше по интонациям и

междометиям я чувствовал его полное знание всей моей жизни, всего со мной происходившего. Мы много говорили по ночам, куря в постелях еще и еще «одну последнюю» папиросу. Их огоньки то гасли, то разгорались снова, освещая часть его руки или нос и брови… Когда у одного загоралась спичка, другой жмурился от казавшегося после темноты очень ярким света и призывал кончить разговоры и спать наконец. Но в темноте глаза раскрывались, и разговоры разгорались снова.

И, боже мой, как многому я научился, как много понял за этот кусок жизни с ним. Я и раньше хорошо его знал, хорошо понимал, что он считает хорошим, в чем видит благородство, добро и что презирает, что в людях его огорчает, чего в них он боится. Но раньше он никогда так много, ясно и четко этого не высказывал, вернее, не давал понять. Видимо, наступило такое соотношение возрастов, когда обо всем буквально можно было говорить и когда, главное, у него уже не могло быть опасений, что я приму его высказывания за воспитывание, за внушение, за проповедь… И он никогда не поучал меня, он не формулировал своих правил жизни, законов морали в какие-либо заповеди (вроде «не укради» или «блаженны миротворцы») — нет, уж если сравнивать со священным писанием, это были скорее притчи, нежели заповеди. Да, пожалуй, именно в форме притчей-рассказов, повестей о своем детстве, юности, университете, провинциальном театре, старом МХТ он выражал свое отношение к людям, свою оценку их качеств, свою оценку их отношения друг к другу и к нему самому. В этом, в том, *что* он помнил, *как* помнил, *как* определял, выражалась его мораль, его мудрость, его жизненная философия.

Это были по большей части смешные, иногда грустно-жалобно-смешные, иногда просто веселые, озорные, студенческие, всегда очень правдивые и ярко, сочно конкретные и красочные повествования, сквозь анекдотизм которых, нелепость положений и чудаковатость людей — героев, участников их — всегда сквозила мораль его, особенная, собственная, может быть, нелепая с точки зрения других людей, но крепко в нем сидевшая, крепко настоянная на талантливой наблюдательности. Это были убеждения, выкованные долгой, сложной, творчески богатой жизнью очень оригинально, своеобразно и тонко умного человека. Это были законы нравственности, правила поведения хорошего человека. Эти правила выявлялись не только в том, что и как он рассказывал, но и в том, как слушал, как реагировал на мои рассказы, что одобрял, что презирал, что принимал в моих воспоминаниях о детстве, о гимназии, фронте, о жизни в Берлине, в моих мечтах и планах будущего, в моих определениях людей,

меня окружавших.

Мне хочется попробовать составить что-то вроде его «кодекса чести», хотя я понимаю всю трудность этой попытки — ведь очень многое зависело от интонаций, от жестов, от междометий… от того, как он изображал, имитировал людей, о которых говорил. Из этого уяснялось его отношение и к событиям и к людям. А ведь этого не передашь на бумаге! Кроме того, в таком «кодексировании» есть что-то глубоко чуждое его же морали — есть нарушение скромности, в наличии которой он видел одну из основ порядочности. В самоуверенности, безапелляционности суждений, самовлюбленном учительстве он видел и ограниченность пошляка и торжественную глупость филистера — и боялся этого и в других и в себе.

И все-таки мне хочется как-то зафиксировать его правила жизни, я считаю себя вправе сделать это, потому что очень крепко его любил и очень ясно его понимал (насколько я способен, насколько мне доступно понимание этого очень сложного, противоречивого и изменчивого человека). Так вот как мне представляется понимание им того, «что такое хорошо и что такое плохо».

Мне не хочется подбирать эти правила по степени их значительности или их взаимосвязи, расскажу просто так, как мне запомнилось; не хочется также пытаться отчеканить их в форму каких-то изящных «афоризмов и максим», попытаюсь лучше восстановить в памяти и передать его лексикон и его интонацию.

Василий Иванович часто говорил о справедливости, утверждая ее трудность для человека и необходимость хотя бы стремления к ней. Мне кажется, он считал, что стремление быть справедливым, беспристрастным — самое определяющее человека стремление. Человек, движимый инстинктами, — животное; человек, движимый только эгоистическим сознанием *своей* выгоды, *своего* блага, *своего* права (последнее самое важное), гораздо хуже животного, страшнее и опаснее. Со стремления к справедливости, со стремления понять интересы других людей начинается вообще всякая человечность. Он считал, что нельзя быть справедливым, пока не научишься воспринимать себя, свое поведение с точки зрения другого человека, других и разных людей. Надо уметь видеть себя глазами другого и любой вопрос уметь рассмотреть с точки зрения интересов другого, стараясь понять, как этот другой понимает положение, каким видит тебя.

«Он воспринимал меня пошлым дураком, фатом дурного тона, „актером актеровичем“, героем-любовником с бархатными нотками голоса — это несправедливо, но я его понимаю, я

понимаю, почему он меня таким воспринимал, у него были очень мне понятные основания, я ни одной секунды не обижаюсь на него. Мне только смертельно горько, что он умер, и я никогда не сближусь с ним, и не будет у него возможности переоценить меня». Это он говорил о Блоке, первую годовщину смерти которого мы отмечали в то лето.

История отношений Василия Ивановича с Блоком слишком интимна, слишком «закулисна», — мне не представляется допустимым разобраться в ней, да это и не в плане моих воспоминаний, но я не мог не рассказать о том, как Василий Иванович умел понять и оправдать отношение к себе, даже самое несправедливое. Причем это касалось не только отношения к нему больших людей, иногда он так же ясно определял, за что его не любит, чем он раздражает какого-нибудь продавца в магазине или массажиста в водолечебнице.

Мучительно раздражаясь всякой грубостью, всяким хамством, он особенно яростно возмущался хамством «сверху вниз». Считая, что вообще никому нельзя хамить и ни к кому нельзя подлизываться, нельзя ни перед кем пресмыкаться и заискивать, он мог скорее простить человеку, если он нахамит начальству или будет заискивать у подчиненных, чем если он унижается перед власть и силу имущими и хамит «вниз». Нет ничего омерзительнее барского, барственного хамства. Человека, грубо разговаривающего с прислугой, с подчиненным, «мне хочется убить палкой по голове» (его слова).

Он совершенно не понимал жадности к деньгам и, хотя тратил их с удовольствием, легко мирился с их отсутствием. Терпеть не мог расчетливости и огорчался, если видел ее в близких или просто хороших, нравящихся ему людях. Постоянно говорил о том, что не надо бояться быть обманутым, обсчитанным — обманутого можно, жалея, уважать; обманувшего же, ловкача, уважают только такие же прохвосты, как он сам. Лучше переплатить и недополучить, чем недоплатить и переполучить. Говорят иногда: «Мне не жалко денег, но я не хочу, чтобы из меня делали дурака». Так в тысячу раз лучше быть в глазах жуликов дураком, чем в своих глазах хоть на минуту жуликом. «Дурак» в деловом отношении — это порядочный человек. «Джентльмен всегда переплачивает» (его слова). И это отношение к материальным ценностям он переносил и в более глубокое — лучше быть недооцененным, чем несправедливо переоцененным. Если ты недооценен, у тебя может таиться надежда на то, что когда-нибудь тебя оценят. Если переоценен, ты всегда живешь, ожидая, опасаясь разоблачения. Опасение разоблачения — самое страшное в жизни. Себя Василий Иванович

почти до старости, до прихода к нему мировой славы, считал переоцененным и с тоской и тревогой ждал если не разоблачения, то разочарования от несбывшихся ожиданий. Каждую неудачу, каждое непризнание он воспринимал как начало конца своей «карьеры», права на которую казались ему очень долго сомнительными.

Как я уже говорил, Василий Иванович охотнее слушал самую свирепую критику, если находил в ней хоть что-нибудь, что можно использовать в работе, чем дифирамбы. Но в двух случаях он расходился со своими друзьями-критиками и оставался при своем — это в отношении к роли Епиходова, которую он считал своей удачей, находил, что играл ее интересно, очень по-чеховски, и (забегая вперед) к роли царя Федора. В этой роли он себе очень нравился, очень гордился своей работой, своим созданием и, хотя и не спорил, но не соглашался с теми, кто говорил ему или о нем, что это не его дело, что роль ему не удалась. Этот неуспех его очень мучил долгие годы. В этом случае он критикам не верил и слушал их только из вежливости. Он считал, что принять его в этой роли мешает традиция, создавшаяся как результат москвинского образа. Не знаю, видел ли Василий Иванович Добронравова — о нем он ничего мне не говорил, — но Хмелев, которого он вообще очень высоко ценил, в этой роли ему не нравился. Но тут я уж очень забегаю вперед от Алексина и его бесед. Так вот возвращаюсь к ним и к его мысли о разоблачении.

Василий Иванович часто говорил, что и из-за возможности позора разоблачения нельзя врать. К вранью, ко лжи у него было особое отношение. Врать-выдумывать, врать-преувеличивать, врать-утешать, врать ради радования людей, врать, чтобы не огорчить, соврать, чтобы отделаться от скучного человека или общества, — это он допускал, прощая, даже иногда поощряя… Но соврать, чтобы казаться чем-нибудь, чем ты не являешься, соврать ради какой бы то ни было (материальной или моральной) выгоды, соврать из трусости — это подлость. Трусость он понимал очень широко, очень разнообразно, вернее, разномысленно. Некоторые виды боязливости, пугливости, страха он прощал, оправдывал, сердился на тех, кто демонстрировал отсутствие в себе, неспособность к этим чувствам, считал их фанфаронами и хвастунами. Сам, например, боялся коров, боялся пьяных хулиганов, боялся высоты, крыс, змей — и не скрывал этой боязни, но в этом он не видел трусости, а вот в боязни не угодить начальству, в отсутствии творческой смелости, в боязни не иметь успеха он видел трусость и ее презирал. Больше всего и мучительнее всего он презирал ее в себе. То, что он называл в

себе трусостью, — это было неверие в себя, осторожность и, конечно, боязнь не иметь успеха, «не дойти» до публики, не быть признанным. Но об этом я уже писал раньше.

Было и другое понимание «трусости» — когда его хвалили за деликатность, он отмахивался, говоря: «Это от трусости — боюсь хамства». Когда поражались его щедрости, тоже объяснял ее «трусостью» — «боюсь увидеть недовольное лицо». О причине щедрости не знаю, но деликатность у него шла совсем не от «трусости» — он был естественно и глубоко деликатен. Он остро чувствовал причиняемую другому боль, поэтому почти никогда ее не причинял, не мог, был просто не в состоянии ее причинить. «Нет боли мучительнее, чем та, которую ощущаешь, наступая каблуком на собачью лапу или на босую ногу ребенка. От этой, от такой боли может разорваться сердце».

Изнутри, из сущности Василия Ивановича, исходила и его воспитанность, и внешняя и внутренняя. Ведь никакого воспитания в смысле выдрессированного «хорошего тона» он не получил. Вырос без гувернеров и гувернанток. Правилам поведения учился, только наблюдая людей вокруг себя, а вот чему подражать и у кого заимствовать — это решалось его внутренним чутьем и внутренним вкусом. Так, отличавшая его глубокая и одновременно элегантная благовоспитанность имела своей основой деликатность души. Он часто говорил, что не надо бояться проявить невоспитанность; если думаешь о людях, об их удобствах, о том, чтобы им было приятно, об их самочувствии — никогда ничего по-настоящему грубого и «невоспитанного» не сделаешь. В «не той вилке» только дурак увидит невоспитанность, а в барственном презрении к не вовремя, и не в нужном порядке протянутой руке, в замечании, сделанном за мелочь, — вот в чем отсутствие благовоспитанности. Но это не значит, что не следует постоянно отшлифовывать свои манеры, свой стиль поведения — это те формы, которые облегчают и украшают взаимоотношения между людьми. Но нельзя превращать их в основу своего поведения.

Исключительно серьезно (это не для парадокса) он относился к юмору. Отсутствие его у человека он воспринимал не только как серьезнейший, существенный недочет в человеке, как неполноценность человека, но и как признак, как настораживающее отрицательное качество. Людей, не понимавших юмора, и особенно людей, боявшихся смеха, боявшихся вызвать смех, не выносивших смеха над собой, он опасался. Считал их либо дураками, опасными своей глупостью, либо подлецами. Людей смешных непосредственно он предпочитал умелым, опытным юмористам. Блоковские

«испытанные остряки» были ему отвратительны.

Одного крупного театрального деятеля, которого он высоко ценил и уважал за деловитость, ум, энергию, талант администратора, он сразу и категорически переоценил после вечера в компании, где тот несколько часов был «душой общества» — рассказывал анекдоты, острил и вообще «держал площадку». Даже его деловые качества начали вызывать у Василия Ивановича сомнения. «Очень уж он пошл, как его всерьез воспринимать?» Очень ценил хороших, наблюдательных рассказчиков, особенно таких, которым верил, вернее, когда верил, что они видят то, о чем рассказывают. Они могли и придумать и преувеличить, но если это было талантливо, с видением того, о чем говорили, — принимал рассказ, если нет — словом «врет» ставил крест на рассказе, а иногда и на рассказчике.

Василий Иванович очень любил природу и умел наслаждаться ею. Очень ценил в людях понимание красоты природы, но еще больше, чем понимание, ценил способность чувствовать красоту ее. Больше — так как, если понимание выражалось в словах восторга, оно его раздражало. Чуть ли не единственным недостатком у очень им любимой Н. А. Смирновой он находил ее «смирновиады» — так в их кругу называли ее восторженно-поэтические воспевания закатов, форм облаков, волн ветра во ржи и т. д. Когда она начинала: «Посмотрите, как удивительно прекрасно этот зубчатый край соснового бора рисуется на розовой заре, как перламутрово-серые облака клубятся на золоте заката…» и т. д., — он тихо злился и старался каким-нибудь конкретным вопросом отвлечь ее от этих излияний.

Сам он мог подолгу всматриваться в простор полей, вслушиваться в шум лесов и воды, внюхиваться в ароматы лугов и очень любил, очень благодарно оценивал, когда ему указывали на что-нибудь особенно прекрасное. Но еще больше, чем «смирновиад», не переносил штампов в восприятии как природы, так и искусства. Шаблонные определения, «кстати» приведенные стихотворные или прозаические цитаты, которые у некоторых «эстетов» всегда готовы на все случаи жизни, цитаты из хороших поэтов и о прекрасных явлениях, но своей карманной всегдашней готовностью опошляющие и явления и авторов, — угнетали его и раздражали.

Раздражало его и в тысячный раз сказанное: «Смотрите, какой закат, вот если художник такое бы изобразил, сказали бы, что так не бывает». Но еще больше злили его вовремя и кстати всплывшие в памяти строчки: «Весь день стоит как бы хрустальный», или: «Есть в русской природе усталая нежность»,

или даже: «Ненастный день потух…» и т. п. В посторонних это его злило, а в близких огорчало — он видел в этом отсутствие способности непосредственно ощущать природу, необходимость смотреть на мир не своими глазами, а глазами художника, воспринимать его через призму чужого глаза, слова, кисти… Совершенно так же его огорчало и восприятие произведения искусства через сходство с другим произведением, оценка его по степени похожести на образцовое, на общепризнанное, на «классику». Он ценил оригинальность, своеобразие и в восприятии, но еще, и, конечно, гораздо больше, ценил ее в творчестве.

У Василия Ивановича было очень острое и тонкое чувство нового. Он умел и любил найти новое, свежее, впервые сказанное, неповторенное и в картине, и в скульптуре, и в том, как сыграна роль, прочитано стихотворение, спета оперная партия или романс, исполнен танец. Он радовался этому и долго хранил о нем благодарную память. К доставившему такую радость он испытывал чувства, похожие на влюбленность. Всю жизнь он так был влюблен в Шаляпина, очень долго не мог без нежной, влюбленной улыбки вспоминать М. А. Чехова в Калебе («Сверчок на печи»), Фрэзере («Потоп»), Аблеухове («Петербург»)[9]. Очень любил Н. Ф. Колина и С. В. Гиацинтову в «Двенадцатой ночи».

Гораздо реже Василий Иванович бывал обрадован режиссерской работой. Мне кажется, он вообще не любил режиссера, если он был слишком явно ощутим. Не верил в возможность и, главное, в нужность «режиссерской экспозиции», в замысел, план, решение. Признавая нужность режиссера-контролера, режиссера-зеркала и, конечно, режиссера-организатора, наладчика спектакля, — он раздражался режиссерским трюкачеством, особенно если целью трюка, фортеля, самовыявления было проведение, утверждение злободневной позиции, иными словами — ненавидел режиссеров-конъюнктурщиков, карьеристов.

Карьеризм вообще он брезгливо презирал, но карьеризм в искусстве ненавидел остро и злобно. Даже талантливые люди, когда они лгали в искусстве, лгали искусством, заставляя лгать других ради своей карьеры, ради того, чтобы ничего в искусстве не понимающие, но высокопоставленные люди их похвалили, превращались для него в ничтожества. «Проститутка, самая вульгарная проститутка», — говорил он в таких случаях. Особенно мучительно было ему, если такой «проституцией» занимался близкий ему, связанный с ним годами дружбы и совместной работы человек. А это случалось.

Как-то огорчил его в этом смысле и я. Правда, это было

совсем не в плане искусства-творчества, но все-таки то, как это огорчило Василия Ивановича, делает этот случай достойным описания.

В 1922 году наряду с другими работами мне было поручено провести инвентаризацию мебели на внетеатральных складах МХАТ. Уж не помню, каким именно способом мне удалось договориться с рабочими, назначенными мне в помощь, так, что условия, на которых они должны были работать, оказались очень выгодными для дирекции и невыгодными рабочим. Человек, руководивший в те времена финансами и хозяйством МХАТ, очень меня расхвалил и поставил в пример другим административным работникам. Я с гордостью сообщил об этом отцу. Реакция была неожиданной и бурной — он назвал меня негодяем и мерзавцем. «Неужели ты не понимаешь, что „делать карьеру“, радуясь похвалам какого-то кулака, вероятно, жулика и проходимца, тем, что обсчитывать рабочих, может только последняя дрянь. Надо делать все, что в твоих силах, чтобы они зарабатывали больше, а работали меньше, легче. Даже если тебя за это будут ругать всякие такие хозяйчики. Да их похвалы — позор для тебя!»

Он долго сердился и даже не разговаривал со мной. Я чувствовал в его отношении к себе брезгливую гадливость.

Еще об одном качестве Василия Ивановича мне бы хотелось рассказать. Правда, это не относится к «кодексу морали», о котором я пытался дать представление, но уж очень это качество для него характерно и как для человека и как для художника. Это свойственное ему мастерство, талант читателя, искусство чтения. Да, иначе как искусством эту его способность я не могу назвать. Он читал, продумывая каждую фразу, останавливаясь, возвращаясь к первым встречам с персонажем, перечитывая отдельные абзацы и целые главы по два, по три раза. Проверяя прямую речь на слух, ища интонацию, акцент, ритм ее. Если произведение не выдерживало такого внимания, было недостойно его, он с горечью расставался с ним, все-таки прочтя не менее половины. Но если привлекало хоть чем-нибудь, заинтересовывало его, вызывало сомнения или просто нравилось, он перечитывал его целыми кусками, читал вслух близким, а иногда почти незнакомым: соседям по купе, больным в больнице и в санатории, отдыхающим в доме отдыха. Читал, чтобы проверить и нравящееся ему и, наоборот, вызывающее раздражение, показавшееся фальшивым, «враньем», как он называл то, чему не верил. Нравящееся же читал вслух неделями, отыскивал все новых и новых слушателей.

Так у Василия Ивановича было на моей памяти с

«Подростком» Достоевского, с повестями и рассказами Чехова, с Горьким (отдельные места из «Детства» и «Моих университетов», «Мордовки» и из других рассказов, главным образом поздних), с Буниным, с Л. Толстым («Война и мир», куски «Детства» и «Отрочества»). «Каренину» он любил несравненно меньше, а «Воскресение» до 30-го года не любил совсем. Много позднее он почти так же увлекался Шолоховым, Паустовским.

Не могу не упомянуть уже многократно рассказанное.

Лежа в больнице, он вписал в сокращенный вариант «Мещорской стороны» Паустовского все выпущенные места, для этого ему достали в больничной библиотеке экземпляр с полным текстом. «Вдруг захочется перечесть, а тут очень хорошие места выпущены».

Как-то он разбудил ночью и мать мою и меня — очень захотелось прочитать нам поразивший и пленивший его кусок из роллановского «Кола Брюньона»: «Ну просто невтерпеж было…» — извинялся он потом, прочтя весь кусок, а потом еще два-три места из него «на бис».

Быстрое, легковесное прочитывание книг возмущало Василия Ивановича и огорчало. «Ну что ты халтуришь, ну как это можно триста страниц в один день, ведь ты ничего не понял, ничего не просмаковал, не запомнил». Он раздражался, когда при беседе о недавно прочитанном романе путали имена, названия местностей… «Ну как ты читал, так, проглядел содержание, и все! Стоит для таких читателей работать!»

Не любя и никогда не применяя литературоведческой терминологии (я никогда не слыхал от него таких слов, как «эпитет», «метафора», «образ» и т. п.), он умел наслаждаться самим мастерством литератора, он и в прозе, как и в стихе, умел услышать ритм, отметить его смену, мелодию и гармонию речи. Только газеты он просматривал наскоро, но и то не для того, чтобы, узнав последние новости, отбросить газету, а для того, чтобы на одной-двух статьях остановиться и прочесть их вдумчиво.

Огромную работу Василий Иванович проделывал над переводными текстами. Впервые он приступил к такого рода труду, получив роль Гамлета. У него на столе лежало восемь-десять разных переводов — от Полевого до К. Р., и он неделями бился над каждой строкой, комбинируя из всех переводов такой, который казался ему наилучшим. Английского языка Василий Иванович не знал, но кто-то сделал ему подстрочный, дословный перевод трагедии — он и им пользовался. Хотя надо сказать, что этот перевод больше смешил его, чем помогал ему, — дословность оказывалась иногда анекдотичной.

Потом он так же работал над Ибсеном и Гамсуном, но не путем компиляции переводов, а просто исправлением переводов А. и П. Ганзенов. С наслаждением он занимался этим, работая над речами Брута и Антония («Юлий Цезарь» Шекспира). Переводы, бывшие в его распоряжении, ему не нравились. Его огорчало, что в них нет бронзового звона латыни. Он утверждал (так ему казалось), что Шекспир должен был хорошо знать латынь и что обе эти роли он, прежде чем написать по-английски, продумал и прослушал по-латыни. И сам Василий Иванович, работая над этими речами, прежде чем начать читать речь Брута, прочитывал по-латыни речь Цицерона о Катилине, а перед речью Антония — что-нибудь из «Метаморфоз» Овидия. Мне кажется, что его текст этих речей получился более близким к латинскому по звучанию и по строю фраз, чем это было у Шекспира в английском тексте. Василий Иванович шутя говорил, что Шекспир был бы им доволен, потому что ему, Шекспиру, не удалось в глухом и шипящем английском языке добиться звона царственной латыни. В русском ему, Василию Ивановичу, это удалось.

Эта страсть переделывать переводные литературные произведения распространялась у Василия Ивановича и на русские. Так, огромную работу он проделал над «Думой про Опанаса» Багрицкого. Он отлично понимал недопустимость искажения произведения, но ничего не мог с собой сделать. Причина этой страсти была в любви к произведению, в стремлении сделать его понятным, разъяснить дорогие и ценные мысли, которые казались ему недостаточно доходчиво или звонко выраженными. Он с тоскливым страхом ждал встречи с Багрицким, которому, он знал, стала известна такая его «популяризация». На вопросы друзей, зачем он это делает, раз понимает всю недопустимость такого вольничанья и раз ему потом приходится этого стыдиться, он раздраженно отвечал, что не может не стремиться к улучшению того, что ему нравится. Это, видимо, было выше его сил. При этом он одновременно и смущенно и упрямо выслушивал упреки в плохом вкусе, в литературной и синтаксической безграмотности своих «вариантов», но читать на концертах продолжал по-своему. Играло тут роль и то, что дикционно ему были всегда удобнее его варианты.

В этих последних страницах я далеко ушел от алексинского лета. Далеко не все, что я писал о Василии Ивановиче этого времени, было мною понято именно тогда. Но там, как я уже говорил, укрепилась, углубилась и утончилась наша дружба, там я начал острее и ярче воспринимать его, поэтому мне и хочется к этому процессу познавания отца присоединить и многое другое,

что я сейчас вспоминаю о нем, когда пишу о том лете.

Когда я вспоминаю Василия Ивановича в Алексине, да, пожалуй, и не только в Алексине, а вообще в то лето между приездом из-за границы и осенней поездкой туда всем театром, я думаю об удивительной чистоте, скромности, строгости его поведения в то лето. Он почти совсем не пил — только какой-то минимум, меньше чего уж нельзя было, чтобы не обидеть компанию, никак не реагировал на девичье окружение Алексина, а ведь он был еще не старым человеком — ему было сорок семь лет, а выглядел гораздо моложе.

Трудно сейчас сказать, в чем тут было дело, почему обычно очень ему свойственная в те годы жадность к жизни, то, что он называл в себе «бастовщиной» (Пер Баст в гамсуновской «У жизни в лапах»), а мне казалось в нем свойством, сближавшим его с Облонским или с Ерошкой, — в то лето как-то притихла, приумолкла. Это был период какой-то нравственной диеты — очищения от берлинской и вообще эмигрантской мути. Причем это не было равнодушием и сонливостью, не было и успокоенностью от возвращения, кончились, мол, скитания, волнения, тревоги — настал покой домашней жизни, то есть какая-то доля была и этого, но не это было главным. Это был не покой, а настороженность внимания к тому, что было вокруг, напряженность рассматривания, изучение, анализирование того, что произошло с людьми за три года (и ведь какие годы!), напряженность взвешивания, оценивания себя в новой (да-да, *новой*) среде. Было и актерское волнение — свойственный ему всегда некоторый комплекс актерской неполноценности в это время обострился необыкновенно. Он боялся, просто как ученик боялся, предстоящих в августе репетиций с Константином Сергеевичем, трепетал от ожидания встречи и бесед-замечаний Владимира Ивановича. Он знал, как внимательно-придирчиво они оба будут искать в нем «ракушек» после трехлетнего самостоятельного дальнего плавания, как беспощадно и жестоко будут эти «ракушки» соскребать…

Вот эта вздернутость не давала Василию Ивановичу легко и безмятежно отдыхать. Ему легче было играть и репетировать с новой, малознакомой молодежью, забываться, читая им ночами стихи, его успокаивали, умеряли его тревоги и сомнения их восторги — так было легче, чем просто отдыхать и наслаждаться жизнью, как он любил и умел это во время прежних летних отпусков где-нибудь в Кисловодске или в довоенной Европе. О том лете нельзя не вспомнить как о самом чистом и целомудренном из всех его лет. При этом он был очень здоров, очень много ходил по береговому бору, много купался в Оке, рано

вставал даже после долгих ночных сидений. Очень много читал и работал. Работал над ролью Бориса Годунова из пьесы «Царь Федор Иоаннович». Он должен был играть эту роль во втором составе спектакля. Предполагалось два состава. Первый: Федор — Москвин, Ирина — Книппер, Годунов — Вишневский, Шуйский — Лужский. Второй: Федор — Певцов, Ирина — Пашенная, Годунов — Качалов, Шуйский — Станиславский.

Правда, еще до отъезда в Алексин Константин Сергеевич высказывал сомнение в том, что Певцов будет играть Федора, очевидно, сам Илларион Николаевич признался ему или Владимиру Ивановичу в своих опасениях, в том, что сможет врасти в ансамбль «стариков». Предполагая возможность того (а может быть, и зная о ней), что Москвин останется без дублера, а это в условиях намеченной осенью поездки в Америку было недопустимо, Константин Сергеевич предложил Василию Ивановичу подумать и над ролью Федора. Сначала это предложение ошеломило Василия Ивановича — уж очень крепко засел во всех мхатовцах образ Федора — Москвина, но, прочтя трагедию, он заинтересовался этой ролью. И чем дольше думал и вчитывался, тем яснее и заманчивее вставала перед ним задача создания совсем другого, не схожего с москвинским Федора. Не могу сказать, чтобы он увлекся этой ролью, — слишком многое этому мешало.

Главное, это то, что ему не нравилось произведение А. К. Толстого, стихи которого он считал слабыми, характеристики персонажей — примитивными, композицию — подражательной. «Шекспир для семинаристов» — как-то назвал он его трагедию «Царь Борис». Мешала увлечься и неопределенность положения — ведь уверенности, что ему придется играть, пока не было. Мешало и то, что буквально каждый, кто узнавал о таком предположении, реагировал на него с удивлением.

Но все-таки Василий Иванович несколько раз читал мне с глазу на глаз отдельные места роли Федора. Он легким пунктиром намечал линию роли, вернее, то в роли, что ему казалось главным: что Федор — сын Грозного, Рюрикович, что в нем царь только скрывается под обликом пономаря, и моменты, когда это царское прорывается наружу, естественны для него. Конечно, большую роль в направлении его поисков играло стремление (может быть, даже и не вполне сознательное) уйти от Москвина, у которого «пономарь» был главным и проявление царственности было неожиданным, мучительным и противоестественным.

Василий Иванович с первых слов Федора: «Стремянный,

отчего конь подо мной вздыбился?» — хотел быть грозным, вспыльчивым сыном Грозного, а не растерянным и испуганно-сердитым, болезненным неудачником, каким был Федор у Москвина. Кое-что от этого замысла он сохранил в образе и когда вышел с ним на сцену. Но, конечно, не все и не полностью.

Но, в общем, к концу лета роль Годунова была у него больше готова, зрелее, чем Федора. Надо было ехать в Москву, готовить репертуар для заграничной поездки. За время нашего отсутствия Н. А. Подгорный и его помощники проделали большую работу по организации этой поездки. Заехав на два дня в Тулу, где Василий Иванович участвовал в концерте, организованном актером и администратором Школы Малого театра Н. Г. Эльским, в середине августа мы уже были в Москве. Начались интенсивные репетиции. Я тоже оказался занят выше головы — заведующий постановочной частью и художник МХАТ И. Я. Гремиславский уехал вскоре в Берлин, где надо было строить часть декораций для ряда пьес мхатовского репертуара, а мне была поручена подготовка к отправке всего остального имущества. Поглощенный этой работой, взволнованный, потрясенный ответственностью, я уже не был более так близок с Василием Ивановичем; он был занят своей работой, а я — своей, и нам было не до друг друга.

Потом, впоследствии, у нас бывали и другие повторы острой напряженной дружбы, но эта, алексинская, в ту осень кончилась. Ею завершилась вся трехлетняя эпопея нашей поездки, завершилась и моя юность. После этого лета началась моя большая и ответственная работа в настоящем МХАТ, в настоящей, а не «семейной» нашей труппе, которую так и называли «качаловской».

На этом мне и хочется закончить свои воспоминания.

Может быть, когда-нибудь, если сумею, продолжу их и расскажу о двухлетней европейско-американской поездке всего театра в целом.

notes

Примечания

1

Так называлась актерская «биржа».

2

Старославянское наименование театра.

3

Bitte dunkel — пожалуйста, темного [пива] *(нем.)*.

4

Образец изысканного вкуса *(латин.)*.

5

«Ах, какой прелестный мальчик!» *(итал.)*.

6

Доведение до нелепости *(латин.)*.

7

По действующему лицу из пьесы А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Диалог польского посла Гарабурды с Грозным Василий Иванович очень много и часто читал тогда.

8

«Водолазами» на Юге России в те времена дразнили духовенство, а я имел глупость рассказать кому-то, что у меня дед был священник. Пошли разговоры, что у меня отец священник, и меня стали дразнить «жеребячьим отродьем» и «водолазом».

9

В Гамлете Василий Иванович М. А. Чехова не принял совсем. Он смущенно объяснял это тем, что ему очень трудно принять другого актера в своей роли. Он категорически утверждал, что и никто, ни один актер не в состоянии искренне принять другого в своей, особенно любимой, роли.